От Волги до Веймара

Луитпольд Штейдле


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Издательство «Прогресс» выпускает к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде книгу бывшего полковника вермахта Луитпольда Штейдле под названием «От Волги до Веймара». На советско-германском фронте Штейдле был с первого дня войны и вплоть до капитуляции под Сталинградом, где он командовал 767-м гренадерским полком 376-й пехотной дивизии.

- Луитпольд Штейдле
- Исповедь бывшего полковника вермахта
- Воспоминания об отчем доме
- Первая из войн
- Мюнхен в дни революции
- Житейские заботы
- Католики и фашизм
- Нападение
- Битва под Москвой
- В Южной Франции
- Котел на Волге
- Агония между Дмитриевкой и Алексеевкой
- Конец в Сталинграде
- Тяжкий путь познания
- На пути к немецким братьям
- Пребывание в Луневе
- Между Волгой и Ильмом
- Приложения{92}
- Примечания

Луитпольд Штейдле
От Волги до Веймара

Проект «Военная литература»: http://militera.lib.ru

{1} Так обозначены ссылки на примечания автора. Примечания в конце текста книги.

К тридцатилетию разгрома немецко-фашистских войск на Волге

Все тексты, находящиеся на сайте, предназначены для бесплатного прочтения всеми, кто того пожелает. Используйте в учебе и в работе, цитируйте, заучивайте… в общем, наслаждайтесь. Захотите, размещайте эти тексты на своих страницах, только выполните в этом случае одну просьбу: сопроводите текст служебной информацией – откуда взят, кто обрабатывал. Не преумножайте хаоса в многострадальном интернете. Информацию по архивам см. в разделе Militera: архивы и другия полезныя диски (militera. lib. ru/cd).

Исповедь бывшего полковника вермахта

Издательство «Прогресс» выпускает к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде книгу бывшего полковника вермахта Луитпольда Штейдле под названием «От Волги до Веймара"{1}.

За два года эта книга выдержала в ГДР уже три издания, ныне готовится четвертое. Чем объяснить столь большой интерес широкого круга читателей к книге Л. Штейдле, которая носит во многом автобиографический характер? Ведь эта книга, как и книги В. Адама «Трудное решение», И. Видера «Катастрофа на Волге», О. Рюле «Исцеление в Елабуге», Г. Вельца «Гренадеры, которых предали», представляет собой в основном воспоминания о Сталинградской битве, ее последствиях и влиянии на дальнейший жизненный путь, мировоззрение и общественную жизнь авторов. Во всех этих книгах описывается одна и та же битва, один и тот же ее ход и исход, хотя авторы переживали эту битву и ее последствия по-разному и описывали ее с разных позиций и под разными аспектами.

Полковник В. Адам рассматривает все военные и политические события как начальник управления кадров 6-й армии, куда стекалась информация как от подчиненных частей и соединений, так и от верховного военного командования вермахта. Подполковник И. Видер был офицером штаба армейского корпуса и, следовательно, рассматривал все военно-политические события с корпусной вышки. О. Рюле излагает все происходившее как казначей санитарной роты и впоследствии как антифашист, а полковник Л. Штейдле, как и Г. Велъц, рисует происходившее и свои переживания с позиций боевых командиров, один – как командир полка, другой – как командир батальона.

Не случаен тот факт, что воспоминания Л. Штейдле, как и воспоминания Г. Вельца, носят очень живой и яркий характер: они написаны очевидцами. Более того, Л. Штейдле, работая уполномоченным Национального комитета «Свободная Германия», вел «Сталинградский дневник». Он сумел передать в нем все основные фронтовые события не только как наблюдательный человек, но и как активный участник боевых действий. Он писал свой дневник не со слов, своих друзей и товарищей, не по донесениям командиров батальонов и рот, а по личным наблюдениям, видел, что творилось при отступлении

окруженных войск под Сталинградом, что происходило на передовой и среди войск, цеплявшихся за развалины города. Он ярче видел и глубже воспринимал агонию армии, переживавшую голод, холод, болезни и чувство обреченности и безнадежности.

Книга Л. Штейдле охватывает предвоенный и послевоенный периоды жизни автора. В сущности, это вся история его жизни.

Естественно, однако, что около половины книги автор посвящает Сталинградской битве. Можно без преувеличения утверждать, что главы, описывающие катастрофу гитлеровской армии на Волге, наиболее впечатляющие, Здесь Л. Штейдле предельно беспощаден. В острой сатирической форме он критикует военные мероприятия верховного командования гитлеровского вермахта, погнавшего на убой сотни тысяч солдат. Картины разложения немецко-фашистской армии и ее агония обрисованы мастерски, с огромной впечатляющей силой. И трудно не согласиться с немецким рецензентом книги Л. Штейдле М. Линдау, который писал в газете «Нейе цейт» 4 декабря 1969 года в связи с выходом первого издания этой работы, что эти главы могут сравниться с описанием гибели французской Шалонской армии в битве при Седане в романе Эмиля Золя «Разгром», битве, которая ускорила крах Второй империи во Франции.

Касаясь этой темы, главный редактор еженедельника «Зонтаг» Берндт фон Кюгельген писал: «Что происходит с командиром, когда от его полка остается в живых 11 офицеров и 34 солдата? Он или хватается за пистолет и бросает на произвол судьбы жалкие остатки полка, или он, слепо выполняя приказы сверху и оцепенев в беспомощном состоянии летаргии, продолжает бой, пока красноармеец не ворвется в траншею и не крикнет: „Руки вверх!"{2} Л. Штейдле находит третье, единственно правильное решение в этой ситуации. Он дает приказ подчиненным об организованной сдаче в плен и капитуляции. «Штейдле относится к тем военным командирам, – продолжает далее Б. фон Кюгельген, – которые, как генерал-майор Ленски или генерал-майор доктор Корфес, рассматривают военные нормы ответственности и дисциплины не формально, а по существу. Это был час, в который имели силу слова: «Здесь Родос, здесь прыгай!"– и они решились действовать вопреки приказам из «волчьего логова“.

Л. Штейдле решил действовать, следуя более высокому приказу. Он возглавил добровольную сдачу в плен не только подчиненных солдат. Он сумел склонить к организованной сдаче в плен за несколько дней до всеобщей капитуляции командира своей 376-й пехотной дивизии генерала Эдлера фон Даниэльса. К

ним примкнули позднее в ходе организованной сдачи в плен от 6 до 7 тысяч солдат и офицеров соседних частей и соединений вермахта.

Л. Штейдле было нелегко тогда убедительно объяснить основания и причины своего такого решения. Он не стал на легкий путь, как это порою бывало с некоторыми солдатами и офицерами вермахта, которые вчера ревностно выполняли преступные приказы Гитлера, а сегодня, попав в плен, объявляли себя убежденными антифашистами. Не таков полковник Л. Штейдле. Он довольно подробно описывает свой жизненный путь, показывая при этом и отдельные шаги по преодолению прошлого.

Кто же такой Л. Штейдле? Полковник Л. Штейдле родился в 1898 году в семье профессионального военного. Его отец – военный юрист старой военной школы. Сам Л. Штейдле был участником первой мировой войны, сначала лыжником горнопехотной дивизии, потом унтер-офицером, а с октября 1917 года, став лейтенантом, он командовал уже ротой.

Ужасы первой мировой войны и преступное поведение германских войск на территории Бельгии и Франции произвели на него сильное впечатление. Двадцатилетним лейтенантом он вернулся в 1918 году в революционный Мюнхен. События Баварской революции заставили его о многом задуматься, однако для пересмотра своих идейных позиций не было достаточных предпосылок. Он не нашел путей к рабочему классу, идейные позиции, политические и социальные идеалы которого оставались для него тогда чуждыми.

Военное поражение Германии было для молодого офицера концом его военной карьеры. Он, как и многие офицеры того времени, оказавшись не у дел, хочет посвятить себя работе в сельском хозяйстве, о которой он мечтал с детства. Сначала он стремится создать свое небольшое сельскохозяйственное предприятие. Терпит в этом начинании неудачу, затем нанимается инспектором-управляющим в имение княгини Блюхер и пытается провести там небольшой, но, по его мнению, важный социальный эксперимент.

Во времена Веймарской республики безработица в Германии стала социальным бедствием. Чтобы как-то бороться против пагубного воздействия безработицы, Л. Штейдле решает переучивать безработных горняков Вестфалии в сельскохозяйственных рабочих. Этим он преследовал следующую цель – дать безработным горнякам новую, более перспективную, по мнению Штейдле, профессию, обеспечить им безбедное существование и вселить в рабочих уверенность в завтрашнем дне. Но княгиня Блюхер преследовала совсем иные цели. Она

хотела путем найма безработных горняков, готовых в то время на любые условия, сделать более уступчивыми при найме на работу польских батраков, которые в поисках заработка наводнили тогда Германию. Л. Штейдле затеял процесс против княгини, естественно, его проиграл и был уволен с работы как «национально неблагонадежный».

Позднее Л. Штейдле служил несколько лет на большом конном заводе. Несколько месяцев он был безработным, зарабатывал на хлеб насущный в качестве агента по страхованию и как продавец религиозной литературы. Как офицер рейхсвера в ноябре 1934 года был призван в армию и с тех пор вплоть до капитуляции служил в вермахте на разных должностях. Более 3 лет был преподавателем тактики в военных училищах. Он был недоволен расистской политикой нацистов, которые преследовали евреев и оппозиционно-настроенное духовенство. Особенно его потрясло посещение Варшавского гетто. Однако он следовал вместе с войсками вермахта в Советский Союз. Л. Штейдле начинает понимать чудовищность нацистской лжи о превентивной войне со стороны Германии, о «славянских недочеловеках», считая, что фашистский приказ о расстрелах комиссаров Красной Армии противоречит международному праву, дистанцировался от зверств, чинимых эсэсовцами и специальными частями, удивлялся героизму советских партизан – однако решающие выводы он сделал лишь после поражения под Сталинградом.

На советско-германском фронте Штейдле был с первого дня войны и вплоть до капитуляции под Сталинградом, где он командовал 767-м гренадерским полком 376-й пехотной дивизии.

В воспоминаниях Л. Штейдле наряду с описанием битвы на Волге большое внимание уделяется также важнейшим событиям политической истории, ходу военных действий в разные периоды войны, показу послевоенных преобразований на территории Германской Демократической Республики.

В книге имеется приложение, в котором собраны различные по содержанию и по форме агитационные документы, вышедшие из-под пера Л. Штейдле во время его активной деятельности в качестве члена правления Национального комитета «Свободная Германия» (НКСГ) и как уполномоченного этого движения сначала на 2-м, а впоследствии на 1-м Украинском фронте.

Все эти документы отражают основные области пропагандистской деятельности НКСГ во время войны и пропагандистскую деятельность самого Л. Штейдле и доверенных лиц НКСГ, которую они проводили на 2-м и 1-м Украинских фронтах, издавая листовки, обращаясь по радио и

громкоговорящие установки через линию фронта.

В этих документах изложены цели Национального комитета «Свободная Германия», уроки Сталинграда и разоблачение губительной политики Гитлера и его клики по отношению ко всей немецкой нации. Хотелось бы обратить внимание советского читателя на яркую, мастерски написанную публицистическую листовку «Ты и Национальный комитет!», посвященную популяризации целей и задач антифашистского движения «Свободная Германия» и пропаганде нового программного документа НКСГ, известного под названием «25 тезисов об окончании войны».

Особый интерес для советского читателя представляет также отчет о деятельности группы НКСГ, действовавшей на 2-м Украинском фронте в период, предшествовавший окружению немецко-фашистских войск в районе Корсунь-Шевченковский и во время самого окружения в феврале 1944 года. Этот краткий отчет содержит не только перечень листовок, изданных уполномоченным Национального комитета Л. Штейдле и его доверенными лицами по 2-му Украинскому фронту, но и обстоятельный анализ изменений в политико-моральном состоянии немецко-фашистской армии, сделанный на основе бесед с солдатами и офицерами, сдавшимися в плен во время ликвидации окруженных 10 дивизий вермахта в районе Корсунь-Шевченковский.

Воспоминания Л. Штейдле отличает правдивое и честное изложение политических и военных событий. В этом основная причина большого успеха книги. Это глубокая, но одновременно искренняя духовная исповедь прогрессивно настроенного католика, который отчитывается за прожитое время, смело отбрасывая ненужный балласт прошлого. Автор книги убедительно показывает, как он преодолел кастовый дух старшего офицерства, многие антикоммунистические предрассудки, внушавшиеся официальной нацистской пропагандой, и встал в первые ряды борцов за подлинно демократическую Германию.

Автор смело рассматривает вопросы правильного понимания патриотизма, отечества, присяги, чести, национального самосознания, отношения к несправедливой войне, обязанностей по защите мира, то есть такие вопросы, которые являются актуальными и в наше время. При этом он не впадает в абстрактное теоретизирование, а развивает свои соображения, исходя из правильной оценки всего происходящего и из анализа личных наблюдений. Большую роль в выяснении этих вопросов играли дискуссии с советскими офицерами-политработниками, с коммунистами-эмигрантами, а также с генералами и офицерами

вермахта, находившимися в плену. Это помогло Л. Штейдле отрешиться от прошлого. Он прошел путь от солдата-фронтовика к борцу за мир, от полковника нацистского вермахта к антифашизму, от бюргера бывшей Германии до гражданина Германской Демократической Республики.

Возвратившись на родину из плена антифашистом, Л. Штейдле сразу же вступает в члены Христианского демократического союза Германии (ХДСГ), вскоре примыкает к основателю этой партии антифашисту Отто Пушке и становится членом Политического комитета ХДСГ. Эта партия одну из главных своих задач усматривает в том, чтобы привлечь граждан из так называемого среднего сословия к активному участию в строительстве социализма на немецкой земле.

В июле 1945 года по инициативе КПГ был образован блок антифашистских демократических партий, куда, кроме КПГ, СДПГ и Либерально-демократической партии, вошла и ХДСГ. Этот блок ставил перед собой следующие задачи: сотрудничество в очищении Германии от остатков гитлеризма и в перестройке страны на антифашистско-демократической основе, борьба против нацистской идеологии, милитаризма и империализма.

Создание антифашистско-демократического блока партий было принципиально новым явлением в истории Германии, где господствовавшим эксплуататорским классам удавалось расколоть народные массы Германии, чтобы их было легче подавлять и эксплуатировать. Таким образом, блок стал идейно-организационным выражением союза рабочего класса с другими трудящимися слоями, со средним сословием и демократическими силами бюргерства. Это означало, что возникла такая сила, которая объединила все классы и слои населения и была поэтому в состоянии устранить основы империализма и милитаризма к тем самым приступить к осуществлению коренных интересов всей немецкой нации.

Насколько дальновидным был этот политический шаг, можно судить по тому, что единодушные решения блока помогали отразить многократные атаки реакционных сил, действовавших из Западной Германии. Большую роль в этой борьбе играл Л. Штейдле, который с 1947 года входил в Политический комитет ХДСГ.

Все это было для Л. Штейдле продолжением той борьбы, которую он начал в движении «Свободная Германия», где плечом к плечу совместно действовали против Гитлера и его режима рабочие и писатели, солдаты и офицеры, профсоюзные деятели и политики, люди разных политических и идеологических воззрений.

В своих воспоминаниях Л. Штейдле неоднократно возвращается к проблеме переоценки идейных ценностей и преодолению прошлого.

Едва ли не самым большим затруднением, препятствием, тормозом (то, что на немецком языке называется Hemmung) в преодолении прошлого был для Л. Штейдле, как и для сотен тысяч других военнослужащих, вопрос о присяге. Его мучил ответ на вопрос, должен ли он оставаться верным присяге, данной им фюреру, а не стране и своему народу.

В поисках ответа на этот вопрос Л. Штейдле вначале проявляет почти полную беспомощность перед кодексом поведения офицеров. «Каким мучительным может быть этот вопрос! И не ответит на него ни командир, сам отец семейства, ни военный священник, который дает отпущение грехов, и ни друзья, с которыми о таких переживаниях уже был разговор после первой мировой войны. Нет на него ответа в книгах. И мы утешаемся тем, что до последней минуты выполняем свой долг по отношению к народу и отечеству – теперь же по отношению к фюреру. Так, как этого требует присяга…»

Совсем иначе рассуждает Л. Штейдле в плену. Он уже не спотыкается на традиционном толковании понятия присяги. «Если же воинская присяга обязывает отдельных лиц или весь народ участвовать в преступных действиях или в осуществлении преступных планов, то обязательство по присяге теряет свою силу, потому что оно лишено нравственной основы, а веление совести и личная ответственность человека выше подобной присяги».

Он находит, правда с большим опозданием, полное подтверждение своего тезиса, с помощью которого он доказывал тогда относительность значения присяги, ее нерасторжимость с моральным содержанием и справедливостью совершаемых дел. Подробное и основательное рассмотрение морального содержания присяги накладывает свой отпечаток на его книгу. До тех пор, пока жупел «красной опасности» не забыт и не похоронен, пока он сохраняется в сейфах бундесвера как «секретные документы командования», пока эта «дистанционная трубка» не устранена, до тех пор, по мысли автора, надо считаться с присягой и границами ее воздействия.

Только правильно решив вопрос о присяге, Л. Штейдле стал безжалостно отбрасывать идейный балласт прошлого, окончательно рассчитался с фашизмом, отмежевался от кастового корпоративного духа старшего офицерства, от эгоистических стенаний многих своих недавних товарищей, самостоятельно и относительно быстро преодолел антикоммунистические

предрассудки, навеянные официальной фашистской пропагандой, и решительно вступил в ряды бойцов за новую, сильную, подлинно демократическую Германию.

Решающую роль при этом сыграли успехи Советской Армии, размышления над тем, что нельзя победить народ, который ведет справедливую войну. Эти размышления и правильная оценка хода и исхода войны помогли Л. Штейдле сравнительно быстро войти в первую шеренгу борцов за новую Германию.

Л. Штейдле понял, что антикоммунизм является, по образному выражению Томаса Манна, самой большой глупостью XX века и что германо-советская дружба может и должна стать смыслом всей его дальнейшей жизни и деятельности. Не случайно, что он приводит высказывание Отто Нушке:

«Под влиянием французской революции американский буржуазный демократ Джефферсон однажды сказал, что у всякого доброго патриота два отечества: его собственное и Франция. Теперь, когда вырос лагерь мира во главе с Советским Союзом мы говорим: у всякого подлинного борца за мир есть два отечества, его собственное и славный, миролюбивый Советский Союз».

Однако одного признания необходимости германо-советской дружбы было уже недостаточно. И Л. Штейдле принимает важное для себя решение – активно участвовать в деятельности Национального комитета «Свободная Германия» и становятся одним из основателей Союза немецких офицеров. При этом немецкие коммунисты и антифашисты из числа военнопленных поняли, что необходим единый национальный антифашистский фронт с широкой социальной базой от рабочего до предпринимателя, от солдата до генерала.

Едва ли не лучшие страницы книги посвящены автором показу многогранной деятельности сторонников антифашистского движения, каким была «Свободная Германия».

Много положительного почерпнул Л. Штейдле во время пребывания в плену. Он решительно и резко выступал против высокомерия и зазнайства немецких офицеров, не сумевших увидеть новое и правильно оценить те коренные изменения в жизни старой России, которые внес Октябрь и последующие годы в развитии политики, экономики, науки и культуры Советского Союза. Он не менее резко выступает против стандартных формул нацистской пропаганды, смело ставит вопрос об ответственности за злодеяния и зверства вермахта на советской территории. Он ссылается на пресловутый приказ верховного командования вермахта от 6 июня 1941 года о физическом истреблении всех комиссаров Красной Армии, приказ генерала Рейхенау от 10 октября 1941 года о том, что война против Советской России

должна вестись «беспощадно и без соблюдения норм международного права». В условиях кампании по реабилитации германского империализма и вермахта правдивое и гневное осуждение этих злодеяний бывшим полковником вермахта было особенно ценным и актуальным. Не случайно, что во время чтений автором отдельных глав книги в городах ГДР возникали дискуссии и слушатели гневно осуждали зверства и злодеяния американских солдат и офицеров в Южном Вьетнаме и сравнивали их преступные действия с тем, что творили во время второй мировой войны эсэсовские и специальные войска в Западной Европе и на территории Советского Союза.

Следует при этом отметить то обстоятельство, что Л. Штейдле не был слушателем ни одной из антифашистских школ. Большую роль в его идейном росте сыграли стремление самому найти правильное решение и та активная разъяснительная работа среди военнопленных, его пропагандистская деятельность через линию фронта при помощи мощных звуко-усилительных станций и листовок.

Следующие идеи, проходившие красной нитью во всех спорах и дискуссиях того времени, были главными: нет противоречия между коренными интересами немецкого народа и военно-политическими целями Советского Союза и Советской Армии. Обе стороны имеют перед собой одного и того же противника – гитлеровский режим, одну и ту же цель – освобождение от нацистского ига насилия и несправедливости, одно и то же желание – как можно скорее победить подлинного врага немецкой нации и всего человечества с наименьшей потерей крови и с наименьшими разрушениями. В несправедливой, захватнической войне, которую развязала фашистская Германия, все прогрессивные силы Германии должны стоять на позиции поражения своего преступного правительства, затягивающего проигранную войну и приносящего в жертву ради корыстных интересов кучки нацистских заправил целое поколение молодых немцев. Поражение своего правительства в несправедливой войне – вот тот главный лозунг, который выдвигался прогрессивными силами Германии. Он выражался движением «Свободная Германия» в лозунге-призыве: «Гитлер должен пасть, чтобы жила Германия!»

Однако многие немцы на фронте, на родине, по справедливой оценке Л. Штейдле, не вняли этим призывам и голосу совести и разума. Они следовали преступным приказам Гитлера «до без пяти минут после двенадцати», пока «все не разлетелось вдребезги». Л. Штейдле пришел в то время к трезвой идее: «Не в наших силах было сделать так, чтобы Германия сама

освободилась от власти фашизма; но мы достигли того, что у многих немцев созрело решение отречься от фашизма и пойти по новому пути».

Воспоминания Л. Штейдле ценны и тем, что они дают бой извращениям и фальсификации антифашистского движения «Свободная Германия». Известно, что реакционная западногерманская историография применяет два тактических приема в освещении немецкого движения Сопротивления фашизму. Она или замалчивает успехи антифашистского движения «Свободная Германия», или прибегает к искажениям и фальсификации его. Так, в книге Б. Шойрига, вышедшей в свет в 1960 году в Мюнхене{3}, делается попытка доказать, что только генеральский заговор 20 июля 1944 года представлял собой немецкое внутреннее сопротивление, а деятельность НКСГ и Союза немецких офицеров была лишь «вредной вражеской пропагандой"{4}, не имевшей никакого влияния на немецкий народ и личный состав вермахта.

А как же обстояло дело на самом деле? Достаточно привести несколько признаний нацистских органов, занимавшихся расследованием антифашистской деятельности сил Сопротивления во время войны. Так, прокуратура города Лейпцига, которую никак нельзя заподозрить в симпатиях к антифашизму, с тревогой доносила в начале 1944 года, что «организации Национального комитета „Свободная Германия“ созданы в настоящее время почти во всех частях рейха"{5}.

В работах историков ГДР убедительно доказано, что уже осенью 1943 года в Берлине было воссоздано общегерманское оперативное руководство КПГ в составе Зефкова, Якоба, Бестлейна, Шумана и Нейбауэра{6}. Это руководство принимало все меры к тому, чтобы не только популяризировать внутри страны патриотическое антифашистское движение, но и сплотить на его основе широкое антифашистское движение, объединяющее коммунистов, социал-демократов, рабочих и мелких предпринимателей, прогрессивную интеллигенцию, военнослужащих и передовых представителей церкви.

Антифашистское движение «Свободная Германия» получило широкое распространение также среди немецкой эмиграции как в странах Западной Европы, так и Америки. Особенно широкую и успешную работу проводил Западный комитет «Свободная Германия», который был создан в ноябре 1943 года во Франции и вскоре объединил немецких антифашистов, солдат и офицеров из оккупационных войск вермахта, а также рабочих из строительных батальонов Тодта{7}.

Несостоятельным является также утверждение Б. Шойрига о

том, что между Национальным комитетом «Свободная Германия» и Союзом немецких офицеров не было единства и что Национальный комитет, где сильное влияние имели коммунисты, «переиграл» Союз немецких офицеров и парализовал деятельность старших и высших офицеров. Это явный вымысел западногерманского автора. НКСГ и СНО выступали единым антифашистским фронтом, как это следует из книги Л. Штейдле, и никаких трений между ними не было. Более того, их сотрудничество крепло и развивалось. Прямым доказательством этого является тот факт, что в августе 1944 года фельдмаршал Ф. Паулюс примкнул к движению «Свободная Германия». Его примеру последовали многие немецкие пленные офицеры и генералы. Впоследствии Ф. Паулюс писал о мотивах своего присоединения к антифашистскому движению следующее: «Я все больше видел в принципах и целях движения „Свободная Германия“ не только критерий для понимания всей войны, но также единственный путеводитель для будущего немецкого народа как в отношении уничтожения национал-социализма и всех его корней, так и в отношении создания нового, демократического государства. В Советском Союзе, который, несмотря на чудовищные бесчинства, творившиеся нами, содействовал движению „Свободная Германия“, я вижу нашего искреннего помощника на будущее. Для нас, немцев, отсюда вытекает требование, исправив прошлые ошибки, всеми силами завоевать доверие Советского Союза и тем самым добиться затем возможности для установления с ним тесных отношений"{8}. Это заявление фельдмаршала Ф. Паулюса звучало и звучит как завещание для всех немцев доброй воли.

Таким образом, все потуги буржуазной западногерманской историографии извратить историю НКСГ и его влияние на судьбы немецкого народа несостоятельны. Книга воспоминаний полковника Л. Штейдле помогает читателю правильно оценить это широкое антифашистское движение и его значение в преодолении прошлого и в создании новой, подлинно демократической Германии.

Третьей причиной большого успеха книги «От Волги до Веймара» является то, что она также живо и искренне рисует события послевоенных преобразований в восточной части Германии и в строительстве социализма в ГДР.

Л. Штейдле после окончания войны снова вернулся на «фронт», но на этот раз на национальный фронт борьбы за мир, за восстановление родины, где необходимо было расчищать почти непреодолимые горы материальных и духовных развалин и завалов. Он вступил в ряды активистов первого часа и стал

последовательным борцом за новую Германию. Позднее он так писал о своих первых впечатлениях: «Для меня скоро стало ясно, что то, ради чего мы решились в Национальном комитете „Свободная Германия“, могло осуществиться тогда только в Советской зоне оккупации».

В первые трудные послевоенные годы Л. Штейдле был вице-президентом немецкого Центрального управления земельного и лесного хозяйства. Принимал активное участие в проведении земельной реформы. Одновременно он являлся заместителем председателя немецкой экономической комиссии, членом Временной народной палаты. Он немало содействовал укреплению антифашистско-демократического строя и борьбе против сил немецкого империализма и милитаризма. Будучи членом Политического комитета партии Христианско-демократического союза (ХДСГ), он являлся одним из лидеров прогрессивных сил и вместе с Отто Нушке способствовал победе левого крыла в ХДСГ над реакционными силами внутри этой партии.

Л. Штейдле стал страстным поборником антифашистского демократического блока, национального фронта под руководством партии рабочего класса.

Десять лет (с 1948 по 1958 г.) Л. Штейдле занимал пост министра здравоохранения, был членом Народной палаты, этого высшего народного представительства ГДР.

В качестве вице-президента муниципальных и общинных советов он своим примером помогал многим верующим гражданам найти правильный путь к активному и творческому сотрудничеству в строительстве социализма.

Более девяти лет (1960-1969 гг.) Л. Штейдле был бессменным обер-бургомистром города Веймара, используя в полной мере духовное и культурное оружие немецкого народа для его обновления.

Л. Штейдле, начавший, по его словам, после Сталинградской катастрофы свою вторую жизнь и проводивший переоценку своих идейных ценностей и расчеты с недавним кошмарным прошлым, постоянно обращался к гуманистическим идеям и традициям как вечным и целительным источникам.

И конечно, символичен тот факт, что Штейдле, порвав с прошлым, встал на путь борьбы за гуманизм и прогресс в Сталинграде и продолжил свою трудовую жизнь в Веймаре, городе, известном всему миру своими гуманистическими традициями.

Для советского читателя воспоминания Л. Штейдле имеют большой интерес еще и потому, что в них он получает ответ на

многие вопросы, которые не потеряли своей актуальности до настоящего времени.

В идеологической подготовке новых военных авантюр империалисты, как известно, отводят важное место фальсификации истории второй мировой войны.

Фальсификация эта проводится в основном по трем главным направлениям. Во-первых, это стремление извратить вопрос о причинах и виновниках второй мировой войны и оправдать фашистскую агрессию против СССР, реабилитировать германский генеральный штаб и фашистских генералов и подтолкнуть реваншистов к термоядерной войне. Во-вторых, путем подтасовки фактов и заведомой клеветы историки капиталистических стран стремятся принизить решающую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и ее союзников по разбою, оклеветать героическую Советскую Армию и ее великую освободительную миссию и вытравить из сознания народов своих стран и всего мира чувства благодарности и уважения к советскому народу и его армии. Замысел фальсификаторов истории второй мировой войны состоит далее в том, чтобы оправдать типично колониальную политику нацизма по отношению к населению временно оккупированных стран и реабилитировать преступные действия своих военачальников, выполнявших, будто там, особую «цивилизаторскую» миссию.

Книга Штейдле «От Волги до Веймара», не являясь формально научным исследованием о ходе второй мировой войны, содержит немало правильных оценок хода и исхода минувшей войны в целом и о битве на Волге в особенности. Советский читатель узнает из воспоминаний, как готовилось вероломное нападение на Советский Союз. В книге разоблачается модная среди западногерманских историков версия о так называемой превентивной войне нацистской Германии против Советского Союза.

Немало страниц посвящает Л. Штейдле показу превосходства военной стратегии, тактики и боевых качеств Советской Армии. При этом он обращает внимание на своеобразный маневр западногерманских историков второй мировой войны, которые предпочитают пространно говорить о своих боевых действиях в первый период войны, когда они имели временные и преходящие успехи, и переходят на маловразумительный лепет, когда речь должна идти о сплошных и непрерывных поражениях вермахта, начиная от поражения под Сталинградом и до битвы за Берлин.

Воспоминания Л.Штейдле – это искренняя исповедь бывшего полковника вермахта. Л.Штейдле – католик, человек, приверженный к религии. Это наложило отпечаток на его

воспоминания, и в этом, разумеется, разберется читатель, понимая, насколько нелегким и сложным был его путь. Но тем значительнее выглядит беспощадный и бескомпромиссный расчет Л.Штейдле с прошлым и переход на позиции класса, который повел народ Германской Демократической Республики по пути мира и социализма.

Н. Берников, полковник, кандидат филологических наук

Воспоминания об отчем доме

Детство в Ульме

Сейчас, когда я пишу эти воспоминания, передо мною снова проходят годы и десятилетия, богатые личными переживаниями и историческими событиями, исполненными динамической силы. Нестройная вереница лет. Они образуют крутую дугу, которая ведет от безмятежной поры юности в Ульме и Мюнхене через ужасы первой мировой войны, через годы тяжелой борьбы за существование, через мое решение вернуться на действительную военную службу в ноябре 1934 года ко второй мировой войне. Высшая точка этого дугообразного пути и поворотный пункт в моей жизни – битва на Волге, Сталинград.

Вновь и вновь встают в этих воспоминаниях образы солдат. И первым по порядку стоит среди них мой отец, военный судья в частях баварской армии. Я, как сейчас, вижу его перед собой в Ульме, в городе, где я 12 марта 1898 года родился; вот он садится в седло и скачет верхом в утреннюю рань по гласису, который тянется вдоль старой крепостной стены.

Мне вспоминается мать, я вижу ее, склоненную над какой-то продолговатой корзинкой; мать обтягивает ее изнутри светло-розовой тканью, потому что у нас, может быть, появится сестричка. Правда, попадет она в дом не через то, с желтыми стеклами, окно, в которое залегает аист, когда приносит маленьких мальчиков, но уж как-нибудь она найдет сюда дорогу, с таинственным видом говорили взрослые.

Вижу, как сверху спускается по лестнице наш денщик Йозеф, неся только что вычищенные ботинки и ботфорты; слышу, как он рассказывает нашей служанке, крестьянской девушке из деревни в долине Иллера, очень страшную, должно быть, историю о драке, которая, говорят, произошла ночью между баварскими канонирами и прусскими саперами в одной из маленьких гостиниц па берегу Блау.

Я точно не знаю, почему отец из Вюрцбурга, где он по окончании юридического факультета получил сначала чин аудитора, перевелся в баварскую Швабию – в Ной-Ульм. Но одно обстоятельство имело, бесспорно, решающее значение: его любовь к родным местам. С ранней юности он ежегодно неделями жил в доме прадеда, в Дисене на Аммерзее, известном в фольклоре под названием Байер-Дисен.

Его пленило альпийское предгорье в Вессобруннер-винкеле, раскинувшееся вокруг Хоэн-Пейсенберга. Он исходил пешком каждое село, знал все болотные кочки, заброшенные монастыри и

придорожные распятия от Хейлигенберг-Андекса до Ландсберга на реке Лех, от Мюнхена до Шонгау и, разумеется, все большие и малые горные вершины вокруг Обераммергау. Во Франконии{9} он так никогда и не освоился, хоть и женился на нашей матери в замке Грауберг, что в Мильтенберге-на-Майне, а мой дед по отцу был обер-бургомистром Вюрцбурга. Дед мой в 1858 году окончил университет в Вюрцбурге, там и поселился, став нотариусом, а затем был популярным и весьма заслуженным муниципальным деятелем.

Нам, мальчишкам, нескоро стало известно, где находится место службы нашего отца. Мы знали только, что, для того чтобы туда попасть, нужно переправиться через Дунай на пароме. У парома была пристань ниже Вильгельмсхее. Нам сверху хорошо были видны фигурки людей в маленьком плоском суденышке; различали мы их и когда они, уже на другом берегу, расходились по пересекающимся дорожкам вокруг домов, между садами у речной дамбы.

Святой Георгий – мой патрон

К лучшим воспоминаниям этих кратких лет относятся частые прогулки и непродолжительные поездки за город с родителями, которые уже очень рано стали брать нас с собой, брата Роберта и меня. Отец всегда разбивал эти экскурсии на небольшие переходы, так что мы в перерывах могли отдохнуть и не слишком уставали. Если наш путь лежал в гору, к крепости, то либо до подъема, либо после делали привал у дяди Шерера, пожилого полкового врача, с которым мы впоследствии встречались в Мюнхене; а иногда мы несколько часов сидели в монастырском саду в Оберельхингене, поглощая молоко и хлеб с маслом. Этот маршрут часто соединялся с заходом к портному, который шил отцу штатское платье, переделывал жилеты и брюки и даже перешивал из них коротенькие штанишки для нас, мальчиков.

В домике этого портного, крохотном и узком, точно клин, накрепко вбитый между широкими фасадами каркасных строений, было только две каморки, одна над другой: тесная спаленка и кухня. Подмастерья, работавшие в верхнем этаже дома, сидели на длинном, похожем на стол помосте, подле которого в полу была просверлена большая круглая дыра. Через эту дыру подмастерья удобнейшим образом могли спускать к мастеру вниз и поднимать наверх большие портняжные ножницы, рукава, штанины, ткань для подкладки. Когда рабочий день подходил к концу, подмастерья сметали в эту дыру все, что накопилось вокруг них за день: лоскутья, клочья ваты, комки конского волоса. Начиналась перепалка: мастер зычно ругался, тыча в дыру железным метром, стараясь остановить поток мусора,

но тщетно.

Почему бы и нам не завести такую дыру в детской над столовой или прямо над обеденным столом? Вопрос естественный для мальчуганов, которым до всего было дело, которые постоянно пытались вмешиваться в разговоры взрослых и в своем радостном стремлении все превращать в игру готовы были подражать чему угодно.

У портного висела на стене картинка с изображением святого Георгия – в латах и с копьем; вот только лошадка у него была непомерно маленькая, будто игрушечный конек-качалка, поднятый на дыбы. Мы были без ума от этой картинки. В один прекрасный день отцу удалось после недолгого торга купить ее за несколько талеров у портного. Случилось это, должно быть, незадолго до моих именин в 1902 или 1903 году. 1 ноября, в праздник всех святых, картинка стояла на моем столе с подарками. Потом она все годы висела над моей кроватью даже тогда, когда я давно вышел из детского возраста, в 1915 году, когда я пошел добровольцем на войну. Мой брат Роберт завидовал мне, и даже очень, но картинку с изображением святого Роберта мы нигде не видели, поэтому он и не получил такого подарка.

Оказывается, как я узнал тогда, на свои именины, мой настоящий патрон – святой Георгий, его именем я и был наречен. Второго имени у меня и не было бы, не родись я случайно в день рождения тогдашнего принца-регента Луитпольда, как нарочно в тот самый час, когда до Вильгельмсхее донесся гром салютов из Ной-Ульма. В этот день мой дед почти всегда бывал в гостях у принца-регента, который ежегодно приезжал из Мюнхена в вюрцбургскую резиденцию праздновать свой день рождения на родине. Говорят, будто дед мой был очень горд, получив возможность сказать принцу-регенту, что его, Штейдле, младшему внуку дали имя Луитпольд. Да и родители мои, несомненно, этим гордились, и мой отец говаривал, что я должен стать «луитпольдским канониром» или «лайбером». «Лайберами» для краткости называли в народе королевско-баварский пехотный лейб-гвардейский полк.

Шалости

Мы с братом в эти ранние годы дополняли друг друга как нельзя лучше. Зачинщиком был то один, то другой в зависимости от обстоятельств или темперамента. Когда дело шло о каких-нибудь дерзких шалостях, задавал тон чаще всего я и получал затем положенную трепку.

Как далеко уходят в глубь прошлого эти воспоминания детства? Что и вправду запечатлелось в сознании? Что из

рассказов родителей или родственников воскресает, преображенное игрой фантазии, и воспринимается нами как нечто непосредственно нами самими пережитое, ибо наши собственные впечатления сливаются с подлинно бывшим, о котором мы знаем только понаслышке? Думаю, что все происходящее в самом раннем детстве только тогда остается в памяти на третьем или четвертом году нашей жизни, если это событие вызывает потрясение или шок в жизни ребенка.

Дом в Ульме, где родились мой старший брат и я, мне знаком только по внешнему виду; внутренность дома я знаю по рассказам родителей, особенно моего отца, который до глубокой старости сохранил свойственную ему черту: умение любовно, вплоть до малейших красочных подробностей описывать увиденное. Случалось ли нам идти с Мюнстерплац или из клуба, отец каждый раз, когда мы за руку с ним проходили по Хиршгассе мимо родного дома, непременно здесь останавливался. Особенно сильное впечатление производила на нас украшавшая дом большая голова оленя с мощными рогами посреди орнамента с множеством завитушек. Нас всегда радовало, что немало прохожих внимательно разглядывали этого оленя. А история об аисте, которая чаще всего вспоминалась именно перед домом, где мы родились, казалась нам здесь тоже наглядно убедительной, раз на высоком шпиле огромной кровли собора сидит воробей – эмблема Ульма, – держа в клюве настоящую балку, будто соломинку.

Так вот шагали мы – молодцевато и почтительно – мимо этого дома, зная, однако, что там у некоего дядюшки Лаумайера продаются печки, а за углом, в кондитерской, – шоколадные пирожные с кремом, которым можно сколько душе угодно мазаться хоть с головы до ног. Прогулки нередко кончались для нас слезами и радикальной чисткой, а родители давали клятву никогда больше не ходить в это искусительное кафе с нами, детьми; правда, клятву свою они никогда не выполняли, ибо мамы тогда, как и ныне, тоже не прочь были полакомиться. А приводило это к таким же последствиям, что и сейчас. Не хочу преувеличивать, но мы, мальчишки, лет с пяти потешались над тем, как отец зашнуровывает в корсет чуть-чуть излишне пышные формы матери; о, этот гигантский корсет – от шеи до места пониже спины, о, эти шнурки длиной в километр. А отец обливается потом под своей повязкой для усов, а мать уговаривает его шнуровать дальше, да потуже.

Жили мы тогда уже на Променаде, 30, в доме, который в обиходе звали попросту «Бюргле"{10} за его эркер, маленькую выступавшую башенку и романтический вид, напоминавший

средневековье. Но прекрасней всего в „Бюргле“ был большой сад на верхней террасе. Ходили в него прямо из столовой со второго этажа. Под этим садом помещалась мастерская дядюшки Хинкеля, который был органным мастером и делал фисгармонии. А мы наверху играли на солнце, чувствовали себя вольготно между небом и землей, поливали последние отцветшие комнатные растения, которые выставляли на свежий воздух, А в жаркие дни мы с разрешения старших даже купались – совсем нагишом – в стиральной лохани. Такие дни были для нас праздником, мы говорили: „Вот мы и на даче“. Наверху у нас всегда гулял ветер; белье здесь быстро просыхало. Развешивая цветные и белые вещи, мать непременно повязывалась платком, и концы его разлетались по ветру. Вот тут-то нам и случилось впервые услышать слово „веснушки“. Это было ужасно смешное слово, мы переиначивали его на все лады, без конца тараторили, как дразнилку, и даже пели:

– Весна, весна, веснушечка, весна, весна, веснушка…

И помирали со смеху. А услышали мы это слово, когда мать однажды вышла без платка и отец предостерегающе крикнул ей вслед:

– Веснушки!

Он, как видно, считал, что ей неприлично иметь веснушки.

А первую в жизни порку задали нам, когда мы накидали песку в мастерскую дядюшки Хинкеля и залили ее водой. Когда же запас воды у нас кончился, мы прибегли к собственным природным ресурсам. Вот тогда и разразилась над нами гроза. Мать сняла с нас штаны и основательно нам всыпала. Дядюшка Хинкель грозил всяческими неприятностями. Отец, вернувшись под вечер со службы, поспешил с нами в мастерскую. Горько сокрушаясь и плача, мы лепетали: «Больше не будем». Пожилой мастер, качая головой, демонстрировал перед отцом всевозможный, якобы нанесенный нами ущерб – для того, наверное, чтобы нас запугать. К счастью, листы ценной фанеры не были «поражены». Затем он велел нам подойти к недоконченной фисгармонии и окинуть взглядом устройство этого маленького чуда мастерства, с изумительными валиками и трубами, штифтами и мехами. Нам открылся новый мир. Теперь мы уже в состоянии были представить себе, что происходит в органе, который мы почти каждое воскресенье ходили слушать – как обычно, за руку с отцом – на концертах в соборе между 11 и 12 часами утра.

Но после этого хождения в мастерскую в нашей детской появилось еще кое-что: чурки и щепа, мучной клейстер, горшок для клея, опилки, проволока и гвозди; там началось увлечение

рукомеслом, которое не кончилось и поныне.

Мы, мальчишки, конечно, часто играли в солдаты. На стенах в прихожей висели крест-накрест сабли, старинные и современные ружья. В углу стояли две корзины для картечи, на наш взгляд изумительно сплетенные. Отец купил их, когда армейская часть получила новое снаряжение. Разумеется, мы жалели, что в корзинах нет пуль и пороха.

Была еще одна вещь, для нас особенно притягательная. В нижнем шкафу лежал револьвер, один из тех очень тяжелых, основательных револьверов с барабаном, которые еще до первой мировой войны были заменены пистолетами с обоймой. Имелись и патроны к этому револьверу, но их от нас, детей, прятали.

Вошло в наш детский обиход и слово «дуэль», которое мы усвоили из разговоров взрослых, хоть мать и бросала на отца строгий взгляд, когда он за столом или в саду со свойственной ему необыкновенной живостью начинал, увлекшись, рассказывать о событиях, случавшихся у него на работе. Разумеется, мы играли в дуэль. С течением времени мы узнали всю шкалу наказуемых в армии проступков и преступлений.

В Мюнхене

Важным событием детства был переезд в 1905 году из Ной-Ульма в Мюнхен. Несмотря на развитую в Ульме промышленность и стоявший там гарнизон, это был тихий, уютный, типично баварский городок. Мюнхен же был большой город искусства, пользовавшийся мировой славой.

Кто только не жил в Мюнхене, постоянно или хотя бы недолго! На рубеже века центром немецкой духовной культуры считали не Берлин, а баварскую столицу: здесь обрели свою родину авашардистские журналы «Югенд» и «Симплициссимус», мужественный книгоиздатель Альберт Ланген, политическое кабаре «Одиннадцать палачей» с известной эстрадной певицей Марией Дельвар. В Мюнхене жили тогда Гальбе, Даутендей. Ведекинд, Тома; позднее – Георге, Вольфскель, Рильке, Рикарда Гух, Томас Манн. В Мюнхене создавали свои произведения Бголов, Лист, Вагнер; за ними следуют Рихард Штраус, Арнольд Шенберг. В Мюнхене нашел себе пристанище «Голубой всадник», объединение экспрессионистских художников, таких, как Кандинский, Габриэла Мюнтер, Франц Марк и Август Макс. Способствовали громкой славе университета и Баварской академии такие ученые, как Макс Петтенкофер, Генрих Вельфлин, Карл Фосслер.

Мюнхен был богатый, интересный, веселый город и красивый. Мы скоро нашли путь в среду художников и ученых; ведь Омштрассе – на той улице находилась наша первая квартира

– граничила непосредственно со Швабингом.

Влияние Мюнхена, города искусства, сказалось сразу же после переезда на нашем быте: отец модернизировал всю домашнюю обстановку. Вооружившись маленькой пилкой, он аккуратно отпилил все шишечки и резные украшения на своем секретере. Колонны с волютами, вычурный стенной орнамент, тяжелые плюшевые портьеры – вся эта угрюмая роскошь периода грюндерства теперь устарела. Требовалось, чтобы все в доме было «стильным».

Нам показали дом на Шеифельдерштрассе, почти что без окон, на фасаде которого было фантастическое лепное панно, на наш взгляд совершенно неудобопонятное. Нам сказали: это стиль модерн, югендстиль{11}. Мы решили, что эта штука имеет какое-то отношение к детям. Только позднее мы стали понимать, что под этим словом подразумевается определенная эпоха в истории искусства, тесно связанная с именами Уильяма Морриса и Анри Ван де Вельде.

Но когда отец снова водворил у себя свой письменный стол, книжный шкаф и этажерку с папками, старые вещи опять, к счастью для нас, оказались на местах. Они пленяли нас сызмальства, и мы тайком – потому что это нам запрещалось – играли ими. Было там бронзовое пресс-папье: баварский мушкетер в военной форме 1866– 1870 годов с примкнутым к ружью штыком. Лежала эта фигурка солдата, будто прицелившись, изумительная игрушка – правда, ружье со штыком мы, играя, не раз сгибали то в одну, то в другую сторону. А еще были там миниатюрные бюсты Гете и Шиллера, деревянная шкатулка для писчей бумаги и самурайский кинжал для харакири, в ножнах, с чудесной резьбой, залитой японской эмалью; внутри ножен лежали еще палочки для риса и маленький ножичек. Кинжал подарил отцу «дядя» Ониши, судья японской армии, который когда-то приезжал на несколько недель в Ной-Ульм, чтобы под руководством отца изучить основы германского военного права.

Отец всегда считал, что его профессия является делом большого научного значения. До первой мировой войны он работал в сотрудничестве с одним из своих ближайших друзей, военным судьей в Раштадте Дитцем, над реформой Военно-уголовного кодекса. За эти получившие признание научные заслуги отец был переведен в Верховный военный суд в Лейпциге, но грянула первая мировая война и ему так никогда и не пришлось занять этот пост. Его бескомпромиссная позиция, безоговорочно осуждавшая военные преступления Германии, навлекла на него травлю и всяческие нападки. Зато он мог на

закате дней с чувством глубокого морального удовлетворения сказать, что ни разу в жизни не вынес смертный приговор.

Швабинг

Перед нами открылся мир новых впечатлений, когда в 1910 году мы переехали в приобретенную родителями маленькую виллу у Бидерштайнерского парка. Жизнь в наемных квартирах миновала. Стали редкостью обязательные семейные прогулки по субботам и воскресеньям. Кончился постоянный надзор над нами отца, дяди, тети, гувернантки или няни.

Теперь мы гоняли, где только вздумается: в сонном, заглохшем парке Бидерштайнер с его маленьким озером, заросшим камышом, и в Айсбахе, а оттуда забирались наверх, к «Аумайстеру», через проломы в стене или в ограде, окружавшей сад замка, где жил один из «спятивших» герцогов.

Швабинг представлял собой особый мир. Хотя он еще не стал в той мере, как сейчас, местом промысла для заведений, обслуживающих иностранных туристов, от Швабинга уже тогда, в наше время, отдавало немного «haut-gout"{12}; от него веяло разнузданностью страстей, богемой, своеобразием артистического быта и любовных отношений (а это было самое главное!).

«Непутевые люди», – говорил о них не без легкой злости обыватель-мюнхенец, разумея под этим все, что нельзя было втиснуть без околичностей в рамки бюргерского уклада, будь то уклад жизни трудолюбивого ремесленника, обеспеченная жизнь рантье (каковым он стал: с помощью ловких спекуляций по продаже и купле домов, а теперь и малость взвинтил квартирную плату), будь то, наконец, мир «вышедших в люди», мир богачей, которые «сделали» такую уйму денег.

Однако Швабинг был не только пристанищем богемы, «непутевого люда». Встречались там закоулки и люди, словно написанные кистью Шпитцвега: будто грезящие наяву, чуть старомодные, чудные, разумеется, но милые.

Напротив нас жил старый бондарь Бригль. Он еще сам делал клепки, связывал обручами бочки и стиральные кадки, к тому же имел такой набор соблазнительных инструментов, о каком ребята могли только мечтать. Его старшего сына, бледного, узкогрудого, мы редко видели днем – он в это время спал. Работал он на Зендлингер-штрассе печатником в «Мюнхнерпост», которую бюргеры в насмешку прозвали «развесистой липой», ибо это была газета социал-демократической партии.

Рядом с бондарем жило семейство Хашер. Особенно интриговала нас табличка на двери: «Акушерка». Что бы это могло значить?

Оба домика так и просились на полотно. Один – с

остроконечной, крытой дранкой крышей, другой – с плоской, итальянской; один, выкрашенный в бирюзовый, другой – в розовый цвет, и оба – снизу доверху – увитые диким виноградом. Прямо напротив них, в старинном крестьянском доме, жила на свою ренту тихой и замкнутой жизнью фрау Руланд с сестрой и ее дочерью; девушка эта была писаная красавица, и ей дозволялось только по воскресеньям выходить из своего всегда наглухо запертого одноэтажного дома, когда она шла в церковь под бдительным надзором матери. А на углу Хаймхаузер и Бидерштайнерштрассе стоял большой старинный дом стекольного мастера Ратгебера с ярким гербом цеха стекольщиков.

За домами улица, разветвляясь, выводила на пригорок, к старинной швабингской церковке.

Все это уже ушло или уходит в прошлое. Стоит тишина на старом швабингском кладбище, где тогда был даже склеп с черепами.

Олаф Гульбрансон

Из наших окон виднелся дом с садом Олафа Гульбрансона. Ходил он у себя месяцами голый до пояса, в коротких штанах и сандалиях, что, по нашим нынешним понятиям, разумеется, вполне допустимо на отдыхе, но тогда считалось рискованным и воспринималось как вызов общепринятым нормам. Изо дня в день до поздней осени появлялась в саду фигура Гульбрансона – широко известная по его собственным карикатурным автопортретам, – необыкновенно тучная, с круглой как шар лысой головой, багрово-коричневой от загара. Приманкой для нас были его павлины, сидевшие на ступеньках или балюстраде террасы; крик этих павлинов разносился по всему кварталу. Поэтому они и стали нашей излюбленной мишенью для стрельбы из луков и рогаток.

Но еще большее любопытство вызывал в нас сам Олаф Гульбрансон, известный своей язвительной иронией, своими обличительными выступлениями против трона и алтаря, против всего, что имело какое-либо касательство к правящему классу. Мой отец, часто воспринимавший это как прямое оскорбление его глубоко религиозного чувства, знал, однако, во всех тонкостях «Симплициссимус» и работы Гульбрансона. Он способен был искренне волноваться из-за безнравственного, как он выражался, характера и разлагающего содержания отдельных статей.

На нас, мальчишек, это производило некоторое впечатление. Правда, мы давно уже читали от корки до корки, когда это удавалось, каждый новый номер «Симплпциссимуса», в нашем классе он передавался под партами из рук в руки; кроме того, мы

отлично знали, на каких стендах вывешивается «Симплициссимус» полностью и, пробравшись сквозь толпу любопытных, находили время как следует в него вчитаться. И все же в том, что автор этих «пасквильных» рисунков – наш сосед и мы с ним, так сказать, через забор чуть ли не на «ты», было для нас нечто необыкновенное.

Однажды отец принес домой пущенное кем-то в оборот выражение «симплициссимусская культура». Над смыслом его стоило задуматься: это было не просто красное словцо, а нечто такое, что вызывало у нас острое любопытство, особенно когда мы услышали его из уст отца во время горячего спора о настроениях среди молодых офицеров.

В вопросах, как больших, так и малых, связанных с его жизнепониманием, отец был крайне педантичен и консервативен; в силу своей прямолинейной последовательности и бескомпромиссности он представлял собой, вероятно, единичное явление даже среди военных юристов, которым не мешало бы придерживаться таких же принципов. Согласно убеждениям отца, основой Баварии была монархия и король есть божьей милостью король. Ведь даже кайзеру пришлось однажды посетить Мюнхен! В этот день мы, школяры, стояли на улицах; самое любопытное, с нашей точки зрения, было то, что у кайзера одна рука короче другой, но вся эта помпа произвела на нас известное1 впечатление еще и потому, что почести оказывались кайзеру, который молится какому-то другому богу, во всяком случае не католическому.

Разумеется, отец и дома строго придерживался общепринятого порядка и правил морали; он чувствовал себя неловко, когда мы, провоцируя его своими любопытными вопросами, пытались проникнуть в тайну кое-каких «щекотливых» проблем; обсуждать их он считал возможным только «с глазу на глаз». Легкомыслие здесь неуместно, мы ведь не богема – к этому примерно сводился его ответ.

«Симплициссимус» был в глазах отца просто носителем легкомыслия. Не только из-за сатиры, направленной против трона и алтаря, – против основ старой Баварии, Но представлению отца. Еще больше возмущала отца фривольность, с какой изображалась жизнь светских людей, например, в скабрезных рисунках Эдуарда 1ени, посвященных полусвету.

Но особенный гнев отца вызывало отношение к этому офицерского корпуса. «Симплициссимус» был излюбленным чтением в офицерских клубах. Остроты «Симпля» пересказывались при каждом удобном случае; собеседники наслаждались смелыми остротами, их забавляло, когда ловко

пущенная в оборот придворная сплетня бросала свет на любовные интриги в сановных и театральных кругах, когда дерзко высмеивались все эти закостенелые генералы и князья церкви. Но самое постыдное, с точки зрения отца, было другое: люди смеялись над собой, сами этого не сознавая. Тогда вообще не понимали, что здесь речь идет о более чем справедливой критике общественных отношений того времени, что «Симплициссимус» ратовал за коренные социальные перемены. Но общество хотело забавляться, вот его и забавляли.

Выражение «симплициссимусская культура» было для моего отца символом беспутства и легкомыслия касты, к которой принадлежал и он; она отвечала смехом на критику одряхлевшего режима, не находя в себе больше моральной силы для того, чтобы изменить себя самое и общественные условия.

Диссен-на-Аммерзее

К лучшим воспоминаниям моего детства принадлежат каникулы, проведенные мною в доме прадеда в Диссене-на-Аммерзее. До недавних лет он стоял еще не тронутый, в своей простой и гармоничной целостности, на Банхоф-штрассе, между участком рыбника Шварца и владением семьи Гребель, всем своим видом свидетельствовавший о богатстве и бюргерской гордыне. Георг Гребель был профессиональный и потомственный – в четвертом поколении – кожевник, член муниципалитета, церковный староста, которого мой отец называл запросто кум Жорж.

Дом Гребелей. с горделивым щипцом на фасаде, был построен лет двести назад; на высоком его чердаке помещалось четыре склада, о чем говорило наличие окон и слуховых окошек, а на втором этаже находились жилые комнаты огромных размеров, все подряд отделанные лакированными панелями. На первом этаже расположены были мастерские дубильщиков, против широкого поперечного коридора, который шел через весь дом до примыкавших к зданию коровников. Мастерские дубильщиков были темные, с запотелыми стенами, из года в год покрывавшимися испарениями, с застоялыми лужами на шероховатых плитах каменного пола. Здесь кожевники солили шкуры, мездрили и на особых козлах сгоняли с них волос; здесь под строгим надзором дубильщика-подмастерья, весьма рьяного, и под надзором самого мастера эти парни проходили школу по старинным канонам ремесла. Все это было нам ново и интересно: ведь ни в одном городе такое не увидишь.

Дом отстоял далеко от улицы, а перед ним были круглые дубильные чаны, которые в зависимости от стадии брожения то испускали смрад, то переливались, выплескивая пену, то тут же

опорожнялись рабочими: сначала выбрасывался слой дубильных веществ, потом слой шкур, а затем все начиналось сызнова, и так беспрерывно. Все это происходило под нашим окном, ибо дом красильщика, как прозвали в округе жилище нашего прадеда, стоял перпендикулярно к улице и наши слуховые окошки выходили прямо во двор дубильни.

Впоследствии отец рассказывал мне, что он испытывал несколько сложное чувство, когда впервые ввел свою молодую жену в родной дом ее свекра здесь, в Диссене: очень уж велико было различие между жизненным укладом и происхождением его и ее семей.

Моя мать родилась в замке Грауберг; была она дочерью офицера, служившего в штабе турецкой армии. Султан возвел его в звание дворянина; моя мать выросла в такой среде, где почти повседневно соблюдался этикет, хоть и не очень строгий: так, само собой разумелось, что кушанья за столом разносит слуга в ливрее. Гостиные были роскошно обставленные, с горками для фарфора, хрустальными люстрами, зеркалами и портьерами, в полном соответствии со вкусами эпохи грюндерства – словом, с нашей сегодняшней точки зрения, донельзя загроможденные вещами и чванные. При доме имелись конюшни с лошадьми для собственного экипажа и собственный кучер, а в приходской церкви были именные кресла на хорах, где по воскресеньям сидели обитатели замка, сбоку от главного алтаря; в самом же замке не прекращалась суета – непрерывно приезжали или уезжали друзья, гости.

Разительный контраст этой жизни представлял собой быт в «доме красильщика», с его крестьянской невзыскательностью и простотой, где комната в лучшем случае освещалась одной керосиновой лампой, если не восковыми свечами под стеклянным колпаком, домашним способом изготовленными; а тут еще этот приторный, нередко всепроникающий запах квасцов от соседей справа и запах рыбы от соседей слева, молодого и старого, кумовьев Шварцев. В ненастные ветреные дни они выходили с вершей или неводом на озеро ловить рыбу у холма между Сент-Альбаном и Вартавейлем или в излучине за Шведенинзелем, неподалеку от впадения в озеро реки Аммер.

Напротив нашего дома устроена была плотина, с верха которой сбегал мельничный ручей. Там находилось машинное отделение с большим колесом, приводившим в движение механизмы в дубильне. По тем временам такое устройство было техническим прогрессом, так как к этим машинам впервые были подключены даже электромоторы. Таким образом, нам довелось увидеть угольные лампочки накаливания, светившие слабым,

желтоватым, то затухающим, то разгорающимся светом.

Все это было для нас ново и чудесно. Мы обрыскали весь дом, при этом за спиной наших старых тетушек, не укрылись от нас ни их собственные, бдительно охраняемые, заповедные и затхлые горенки, ни заброшенные помещения красильни, имевшие такой вид, будто в них накануне выходного дня наскоро навели порядок и снова расставили в ряд красильные чаны. Вероятно, три почтенные старые девы – Марэй, Бабетта и Мехтгильда, – потрясенные горем, оставили все, как было, когда их отца – тогда ему перевалило за восемьдесят – застигла смерть во время работы.

А пошарить по этим комнатам, право же, стоило! Если же нас заставали врасплох там, где нам быть запрещалось, мы всегда находили подходящую отговорку, чтобы оправдаться. Я нашел письма, написанные в те времена, когда на конвертах можно было еще увидеть почтовый штемпель Турн-и-Таксис{13}, подозревал всюду «Шварце Айпзер», пытался разобрать нескладные, по нашему детскому разумению, почерки, нашел диафонические картины времен моего прадедушки, а однажды – даже серебряные швейцарские часы; позднее их подарила мне тетя Марэй – я был ее любимцем. Часы эти благополучно пережили обе войны и поныне так же точны, как и шестьдесят лет назад.

Пяти лет от роду тетя Марэй упала с гумна, и сначала ей не была оказана настоящая медицинская помощь, а потом ее неправильно лечили. Поэтому она всю жизнь ходила на костылях. Женщина блестящего ума, она интересовалась всем, что делалось на свете, никакая книга не могла укрыться от ее внимания. Большую часть своей жизни она проводила в кресле, которое летом, если позволяла погода, ставилось перед входом в дом. Она читала, вязала часами, отчего некоторые пальцы у нее были совершенно деформированы. Рядом с нею всегда сидел маленький шпиц – должно быть, на протяжении десятилетий сменилось много этих собачек, – но шпиц, знакомый вам в детстве, чрезвычайно нас забавлял, особенно когда танцевал на задних лапках.

Тетя Марэй была всеведущей, она была живым календарем политики, истории церкви и городов. Католический писатель-демократ Кристоф фон Шмид хорошо ее знал, как и пастор Кнейп. Было в ней какое-то особенное, тонкое обаяние; ее все уважали, она всем умела дать полезный совет, для каждого находила ласковое слово, исполненное юмора и доброты. Каждый день взбиралась она, хромая, в гору по крутой, узкой тропинке к расположенной в северной части городка монастырской церкви. А если в этот день в лепной диссенской церкви не было

богослужения, тетя Марэй сворачивала на юг, по дорожкам между садами и домиками, к св. Иоанну, близ кладбища; это то кладбище, где хоронят уже века обитателей Диссена, поколение за поколением, где есть и наш семейный склеп Штейдле и где нас, мальчишек, всегда тянуло взглянуть на черепа с надписанными на них именами покойников, которые из рода в род погребались в склепе.

На расписанных яркими красками древних стенах «домика усопших» изображены были рай, ад и чистилище – в манере, типичной для баварского лубочного барокко; живопись эта была обворожительно наивна и поэтому для нас, детей, особенно понятна; она и поныне осталась для нас выражением чувств бесхитростно верующего, прямодушного человека, который благочестиво стремится сохранить гармоническое равновесие между своим внутренним и своим внешним маленьким миром.

Школьные товарищи

Когда мы кончили начальную школу, родители определили нас обоих в старшие классы реального училища на Зигфридштрассе. Они считали, что в отличие от нашего деда и отца мы не должны учиться только в гимназии, дававшей чисто гуманитарное образование. Значение, которое приобрели естественные науки – девятисотые годы были периодом важных открытий в этой области, – развитие техники, повлекшее за собой появление новых профессий, – все это побуждало наших родителей выбрать для своих сыновей такую школу, которая обеспечивала бы им получение основательных знаний в естественных науках. Впрочем, так рассуждали во многих буржуазных семьях: родители наших школьных товарищей были офицеры, юристы, чиновники, ученые, а также, разумеется, и купцы, и фабриканты.

Школьные товарищи… Сколько воспоминаний, связанных с ними, всплывает в памяти! Сидя вместе – в тесном ли, в просторном ли классе, – мы спорили обо всем на свете: о книгах, технике, учителях, будущем призвании и, конечно, о любви (каждый из нас хоть раз был по уши влюблен в какую-нибудь сестру какого-нибудь своего товарища). Бывая в семьях товарищей, мы знакомились с самой различной средой: такой, где царила атмосфера, будившая мысль, или где преобладала бюргерская деловитость, а иногда встречалось и чванство.

Школьные товарищи… Какое множество имен, к которым я мысленно добавляю: «Погиб в первую мировую войну…», «Погиб во вторую мировую войну…» Какое множество имен, за которыми следуют слова: исчез бесследно после 1938 года, после «Хрустальной ночи"{14}, после 1941 года – начала „массовых

депортаций“…

Незабываема последняя встреча с Гансом Пикардтом, другом по бойскаутским временам. Я направлялся к моему бывшему командиру, подполковнику барону фон Ридгейму; он тоже вернулся на действительную военную службу и был адъютантом генерала фон Эппа, гитлеровского рейхсштатгальтера в Баварии. Пикардт встретился со мной на Максимилианштрассе, сразу же остановил свою машину и подошел ко мне:

– Ты здесь, Польд? Как хорошо, что я еще могу с тобой поговорить. В последний раз, наверное. Мы должны уходить. Мы и другие: Вальтер Гислинг, Гейнеман, Гейльброннер и оба Валлаха. Никто не знает, что будет. Последний срок расплаты истекает…

Разве он не смотрел пристальным взглядом на мой мундир, мундир офицера, принесшего присягу Гитлеру? Я через силу произносил какие-то прощальные пожелания. Но что толку в пожеланиях, когда он вынужден был покинуть родину, жить обездоленным.

С тех пор я ничего не слышал о Гансе Пикардте, ничего о Гейнемане и Гейльброннере. Только с одним своим школьным товарищем я возобновил контакт: это Вальтер Гислинг; сейчас он профессор, живет в Цюрихе. Ему удалось эмигрировать в Швейцарию; там он оказывал помощь эмигрантам из фашистской Германии, так же как Гертруда Курц и Карл Барт. Он боролся за смягчение суровых законов об иммиграции применительно к евреям, бежавшим от гитлеризма; кроме того, он с Вольфгангом Лангхофом создал там комитет организации «Свободная Германия». Таким образом, мы, ничего друг о друге не зная, оба были в рядах борцов против фашизма.

Как я уже сказал, между знакомыми нашего круга существовало весьма значительное расхождение в образе жизни, поведении. Отец Эугена Клепфера был богатый лесопромышленник. Но весь домашний уклад отличался простотой. Это нам импонировало, чего отнюдь нельзя сказать о доме семьи Хоэ с ее претенциозной чопорностью. В последний раз я был там на детском празднике в 1913 году. Взрослые да и кое-кто из молодежи явились в бальных туалетах. Подавали на стол слуги в ливреях. Маленький оркестр исполнял модную танцевальную музыку, вдобавок все комнаты были окутаны полумраком. Ни конфетти, ни серпантин, ни тем более хлопушки нам пускать в ход не дозволялось. Мой соученик Густав, облаченный в костюм с длинными синими брюками, молча сидел подле своей сестренки, которая гордо носила первые в ее жизни длинные – по локоть – лайковые перчатки. Нам полагалось

отвешивать низкие поклоны и целовать дамам ручки. Все это было не про нас: даже шоколад и мороженое не могли настроить нас более миролюбиво. Из протеста против окружающей обстановки мы нарочно шумели, вели себя неприлично, воистину «по-мужицки», пока наконец вся эта комедия не прекратилась; вот тогда-то мы и устроили знатное побоище на улице подле Английского сада, швыряя друг в друга снежками, благо в Мюнхене, как бывает в это время, задул фен и принес оттепель. Мы вообще увлекались спортом, как зимним, так и летним. Долгие годы я был членом Мюнхенского ферейна водного спорта на Луизенштрассе (основан в 1899 году), в котором состоял и Иоганнес Р. Бехер. Позднее мы плавали попеременно то в ферейне, то в Мюллерше фольксбад на Изаре или – в летние месяцы – в Унгербад на Вюрмканале. Место это находится неподалеку от Бисмарк-штрассе, где жил другой мой школьный товарищ; его отец был председатель мюнхенского отделения Пангерманского союза{15}, профессор доктор Рихард, граф дю Мулен-Эккарт. Правду сказать, домой я оттуда нарочно возвращался с опозданием. Приятелю моему Мулену, длинноволосому, как девчонка, разрешалось держать у себя в комнате двух обезьянок. Но какой вид имела эта комната, лучше не спрашивать! Достаточно сказать, что весь дом пропах обезьянами. Джекки – так, кажется, звали моего школьного товарища – был ленив до того, что его, как говорится, хорошо бы по смерть посылать, к тому же долговяз и весьма неуклюж, хотя мог бы помериться силой с медведем, а вдобавок был тираном всей семьи.

Как и мы, был бойскаутом сын генерального секретаря Пангерманского союза, адвоката Фердинанда Путца, но, к сожалению, у него совершенно отсутствовало чувство юмора. Кроме того, он всегда был первым учеником и его вечно ставили нам в пример. Это было ужасно!

Своеобычную группу в кругу наших друзей составляли юноши, ставшие позднее художниками: Макс Метцгер, Ганс Зонтаг и Гюнтер Грасман, который после 1945 года был директором Художественного института во Франкфурте-на-Майне. Нашего профессора Эзекбека они много раз ставили в тупик, ибо, нарушая все общепринятые каноны рисунка и акварельной живописи, лихо экспериментировали с помощью кисти и камышового пера, мела и угля, а затем заняли первые места на экзаменах по рисованию в обоих параллельных классах. Каждое воскресенье их можно было увидеть в художественных галереях, даже если им пришлось накануне участвовать в очень утомительных бойскаутских тренировках. То было время, когда

Марк Шагал и Кандинский эпатировали консервативную буржуазию своими причудливыми творениями. И также независимо и самобытно, как развивались мои друзья в сфере искусства, они создавали для себя и свою маленькую богему. В их мастерской на Георгенштрассе было столько воздуха, целый день так чудесно светило солнце, а из окон далеко виднелись сады за зданием Академия художеств.

В буржуазной юношеской организации

Большинство нашей молодежи находилось в полном неведении о том, на какой опасный путь политического развития вступила в описываемые годы Германия. Однако брожение умов и недовольство существовали и среди нас. Молодое поколение искало выход из тисков школьной муштры, из пут догматических представлений о морали, из неправды окружающего мира, который основывался на «житейской лжи». Подтверждение своего подчас еще неясного протеста эта молодежь находила в творчестве тех художников, которые мужественно порывали с устарелыми формами и выступали против буржуазного мира. Правда, буржуазия по этому поводу била тревогу, устраивала скандалы на театральных спектаклях и обструкции в картинных галереях. Но молодежь с восторгом присоединялась к протесту людей искусства против традиций, против закоснелых форм образа жизни и образа мыслей.

Мы с братом избрали путь бойскаутского движения, которое было очень близко по духу английским бойскаутам. А те получили боевое крещение во время англо-бурской войны. Создание этой полувоенной организации тогда сознательно поощрялось, так как она служила подкреплением ударной силы регулярных английских войск, которые зверски расправлялись с местным населением, боровшимся против своих угнетателей-европейцев.

Мы тогда ничего не знали об этом. Примкнули мы к бойскаутскому движению потому, что оно – как и другие союзы молодежи – поощряло независимость действия и взглядов, воспитание мужества и самоотверженности; оно стремилось в силу самой структуры этой организации уважать волю молодежи к личной ответственности за свои поступки, ее желание свободно принимать решения. «Молодежь вольна собой распоряжаться!» «Молодежь сама создает свои законы!» С этими требованиями выступали даже в университетских аудиториях, их поддерживал Немецкий академический вольный союз, который, впрочем, был решительным противником студенческих дуэлей.

В то время буржуазное юношеское движение раскололось на несколько крупных и мелких групп. Правда, в связи с

празднованием годовщины Битвы народов 12 октября 1913 года{16} часть этих групп и группок присоединилась на Хоэр-Мейспер к так называемой «Свободной немецкой молодежи», однако это не снимало внутренних противоречий в юношеском движении. Даже у нас, бойскаутов, вполне можно было столкнуться с высокомерием и сознанием своей исключительности; так, например, бойскауты свысока относились к «ветеранам» юношеского движения – «юным туристам». Но решающим для моей жизни явилось то, что я рос здесь в коллективе, где не было никаких узких религиозных рамок, где как будто никакой роли не играли догматическая косность и некоторые предрассудки. Здесь, у бойскаутов, неизменно стояли плечом к плечу католики и лютеране, и они хотели участвовать в одном общем деле с еврейскими друзьями и с теми юношами, которые не были воспитаны родителями в религиозном духе.

Помню и сейчас, с каким воодушевлением я, пятнадцатилетний подросток, будучи бойскаутом, воспринял столетнюю годовщину, юбилей 1813-1913.

Ощущение своей слитности с тысячами других юношей, стоявших вокруг Бефрайунгсхалле у Келъгейма, вызывало во мне прилив патриотической гордости. Помню, как сейчас, чувство это пробудилось во мне именно потому, что здесь – в чем участвовали и мы – отдавалась дань духу того времени, когда немецкие воины в союзе с другими народами шли на подвиг во имя всеобщего спасения, сражались на поле битвы под Лейпцигом, страдали и (во что я тогда твердо верил) победили. Только дожив до зрелых лет, я понял, что народ обманули и в 1813 году, не ему достались плоды его героизма и самоотверженности.

Не обошлось и без ура-патриотизма, на грани этого было многое из того, что происходило во время столетней годовщины Битвы народов. Мне это ясно не только сейчас, когда я оглядываюсь на прошлое; кое-что я и тогда смутно понимал. Так, например, нас возмущало щеголянье лихой выправкой, какое было свойственно Баварскому боевому союзу. Не вызвали в нас большого восторга и проведенные накануне учения на местности. Это были уже не наши бойскаутские игры, как называли мы наши рекогносцировочные задания, а военные учения, которые, в сущности, представляли собой скромное подражание военным маневрам.

Мы хотели воплотить в действительность идеи, воспринятые нами у Фридриха Вильгельма Ферстера, у Густава Винекена, хотели сделать мир лучше… И все же великое испытание мы не выдержали. В 1914 году немецкая молодежь, несмотря на

скептицизм, проявленный ею несколько лет назад, поддалась ложному патриотическому пафосу кайзеровской Германии. Она не отдавала себе отчета ни в целях, ни в агрессивном характере своего государства; она верила, что служит отечеству, когда со словами «Германия превыше всего!» истекала кровью в воронках от снарядов, на минных полях и проволочных заграждениях.

Перед тем, кто вернулся живым после «войны техники», после первой мировой войны, встали вопросы, на которые нужно было ответить только совершенно реалистически и трезво, если он не хотел прятаться от действительности, бежать от нее в некий им созданный мир иллюзий.

Присущая Веймарской республике двойственность отражалась на юном поколении буржуазии и ее союзах молодежи. А кончилось тем, что туда получил свободный доступ даже гибельный яд реакции и чрезмерное возвеличивание «народнической идеологии», а тем самым и фашизм. Однако, к слову сказать, немало участников буржуазного юношеского движения пали как герои на «фронте обреченных», на плахе. Таковы Адольф Райхвайн и Теодор Нойбауэр: называю их как олицетворение подвига многих.

О целях, путях развития и перспективах юношеского движения мы горячо спорили и в годы пребывания в Советском Союзе. Особенно интересовало это наших советских товарищей, для которых вообще было важно узнать возможно больше обо всем, что могло бы иллюстрировать идейный и душевный мир немецкой молодежи и позволило бы найти объяснение ее приверженности – подчас фанатической – фашизму. Материал для таких бесед давал мой опыт пребывания в бойскаутской организации, а позднее, после первой войны, в католическом союзе молодежи «Квикборн» («Кипучий родник»).

Во время первой мировой войны и после нее мы, участники буржуазного юношеского движения, еще не уяснили себе, что одних лишь благородных намерений и обязательств выполнить общепринятые требования морали недостаточно для того, чтобы изменить условия существования. Мы не понимали, что традиции, которых придерживалось буржуазное юношеское движение, могут вовсе сбить нас с пути. И нас, в сущности, почти ничего не связывало с рабочим классом. Нам были чужды его теоретический базис, его взгляды на общество, политические и социальные идеи, самые пути к осмысленной жизни, которые он мог открыть перед молодежью. Напротив, в буржуазных юношеских организациях существовало сильное предубеждение против коммунизма, а «Интернационал проповедников всеобщего мира» рассматривался как акт измены отечеству.

Поэтому я с особенным волнением узнал, что даже мой сотоварищ по католическому юношескому союзу, Лео Вайзмантель, служивший тогда для меня образцом, преодолел после горестных уроков второй мировой войны эти предубеждения и открыто выступил против поджигателей новой войны, против милитаризма и неонацизма. Подобно тому, как в двадцатых годах, выступая в замке Ротенфельс, в самом популярном месте конгрессов католических юношеских союзов. Лео Вайзмантель говорил с молодежью о самых насущных тогда вопросах, так и в 1945 году он говорил с молодежью о насущных вопросах сегодняшнего дня: об обеспечении мира во всем мире, об очаге опасности в самом сердце Европы – западногерманском государстве – и о дружбе между немецким народом и народами Советского Союза.

Дядя Краус

Сколько раз в годы 1909-1914, до начала первой мировой войны, ездил я на велосипеде между Швабингом и Нимфенбургом по казавшейся мне нескончаемо длинной улице к дядюшке Краусу, на Тицианштрассе, за Нимфенбургским каналом. Туда и обратно… Дядя Краус был старым другом моих родителей еще по Вюрцбургу, военным судьей в отставке, так что с моим отцом его связывали общие интересы.

Когда его жена – мы звали ее тетей Кэти, и носила она всегда кружевную наколку на волосах, порой черную, порой белую, а иной раз и черно-белую и всегда темное платье с каким-нибудь на редкость красивым драгоценным украшением у ворота, отделанного рюшем, – так вот, когда тетя Кэти ставила передо мной чашку с шоколадом или с горячим молоком и медом, а дядя рассказывал, как бывало, о каком-нибудь из своих бесчисленных путешествий по Италии, тогда мне чудилось, будто я попал в совсем другой мир. Мне позволялось сидеть рядом с дядей Краусом в глубоком кресле, так что я мог без помехи спокойно его разглядывать.

Он был мне настоящим дядей, который вникал во все мои дела. У него всегда находилось для меня время. Никакой заданный мною вопрос не казался ему излишним или непозволительно любопытным. Напротив, его интересовало все, и отвечал он всегда очень продуманно, подчас шепотом и медленно выговаривая слова, с юмором, а иной раз чуть иронически, но доброжелательно и так захватывающе интересно и подробно, что мне все становилось понятно.

Но самое приятное было рыться с разрешения дяди Крауса в его сокровищах, которые он накопил во время своих несчетных путешествий. Нередко я раскладывал перед собой на столе или

диване целые серии фотографий: снимки Корфу и Сицилии, раскопок, давнишних и современных. И все тогда представало передо мной как живое: рыбаки с их суденышками, жизнь и быт в портах побережья пролива, отделяющего Сицилию от Италии, архитектура, гигантские акведуки, термы, Помпея и Геркуланум.

А однажды я разыскал открытки с видами городов па Ближнем Востоке, где обитали многие мои родственники; жили они из рода в род в Константинополе, в Пальмире, на Кипре, в Смирне. В Палермо умер от тифа отец моей матери по дороге из Каира в Мильтенберг-на-Май-не. С Востока были вывезены все интересные вещи в нашем доме: ковры на стенах, висячие медные лампы времен Оттоманской империи, оружие и ножи, диковинные трубки для курения табака через воду – они называются наргиле – и большая икона с массивным золотым окладом.

Письменный стол дяди Крауса стоял неподалеку от моего рабочего места, для которого я приспособил диван и стоявший перед ним низенький столик. И когда у меня вырывался глубокий вздох и лицо заливалось краской, оттого ли, что я видел и узнал, от страха ли при мысли, что время летит так быстро и мне вот-вот надо уходить, – тогда дядя Краус вскидывал на меня глаза, словно хотел о чем-то спросить.

Дядя Краус редко мешал мне сидеть вот так, углубившись в себя. Но гораздо чудеснее было то, что он обращался со мной как с взрослым.

– По-твоему, эта девушка хороша собой? Так же хороша, как эта маленькая копия греческой Береники? Ах так, ты не знаешь, что это слово значит? Несущая победу!

И он тут же протягивал мне стоявшую на его письменном столе изящную копию.

– А может, тебе нравится эта хрупкая фигурка этрусской девушки вон там, на книжном шкафу?

И если он при этом поглядывал на жену и тетя Кэти понимающе кивала, мне начинало казаться, что он одобряет мое увлечение – одно из увлечений моей юности, – влюбленность в сестру школьного товарища.

Дядю Крауса у нас в семье считали «безбожником», зато жену его – «глубоко религиозной». Отец говорил об этом откровенно, при всех, озабоченно хмуря лоб. Сестра моя слышала, как родители обсуждали между собой, хорошо ли, что я так часто бываю в Герне. Встречи эти и правда могли, вероятно, пробудить во мне такие представления о действительности, которые были чужды моим родителям, придерживавшимся иных принципов в воспитании своих детей. От дяди Крауса я впервые узнал кое-что

о масонах: он сам был членом масонской ложи. Как мне впоследствии стало известно, для отца этот шаг его друга был еще одним доказательством того, что и в офицерском корпусе, в самой сердцевине армии, и даже в баварском королевском доме гнездятся эти разлагающие элементы, как называл отец масонов; вот почему и нет на них управы.

Дядя и тетя Краус нередко бывали у моих родителей в Видерштейне, сидели с ними в саду или гостиной. Мужчины вели нескончаемые споры о различных проблемах, «вентилировали», как выражался отец, политические вопросы; при этом нам часто приходилось слышать имена и названия, упоминавшиеся в этих беседах: Каприви, Бисмарк, Агадир, Гельголанд. Бурные дебаты кончались лишь тогда, когда беседа касалась той сферы, где оба спорщика оказывались на общих позициях: искусство и его восприятие. Впрочем, оба – и каждый на свой лад – отстаивали то, к чему питали особое пристрастие: отец восторгался Тицианом, Майолем или Лембруком, а дядя Краус – Боттичелли, Донателло и своими любимыми голландцами. Дамы покамест шепотом разговаривали о чем-то своем, мы сидели подле них, что нам разрешалось при условии, если мы будем сидеть смирно.

В моей памяти вновь оживает обстановка нашей небольшой гостиной: посреди – стейнвейновский рояль, на стенах – картины, написанные маслом, Гальберга-Крауса, дюссельдорфского профессора Гутштейнера и «Вознесение богородицы», вышиною почти в два метра; онокак бы господствовало над всей комнатой и, несомненно, было боковой створкой алтарного триптиха в стиле барокко, украшавшей прежде дом моего прадеда на Аммерзее.

Дядя Краус умел рассказывать увлекательно, выразительно, пылко. До сих пор помню, какое сильное впечатление произвел на меня один разговор с ним, когда он объяснил мне, кто такой Данте, бюст которого, почти в натуральную величину, стоял в углу его кабинета, на колонне из черного эбенового дерева. На дядю Крауса нахлынули старые воспоминания о Флоренции, он так и сыпал именами и терминами, уснащая речь итальянскими, французскими и даже греческими словами и оборотами. А у меня наперекор всему образ Данте ассоциировался с миниатюрой, изображавшей Лафатера, которая висела подле отцовского письменного стола.

С портретами у меня вообще происходила какая-то путаница. Прошли годы, пока я понял, что человек в золотом шлеме вовсе не князь Бисмарк, человек, о котором мой отец у нас дома не раз говорил с такой резкостью, упоминая о его вызывающей позиции по отношению к католицизму, о культуркампфе, о высокомерном

характере его политики, о его стремлении играть руководящую роль всюду, в том числе и в Баварии.

Первая из войн

Август 1914-го

Дядя Краус пришел в ужас, когда после убийства в Сараево возникла угроза военного столкновения. И он, и мой отец называли Тройственный союз истуканом на глиняных ногах. Они смотрели на него как на неустойчивое предприятие, в котором действовало слишком много центробежных сил. Окончательно впали оба они в пессимизм, хоть прежде он не был им свойствен, когда объявленная в начале августа мобилизация парализовала все расчеты на летний отдых и спокойную осень с богатым урожаем, полными амбарами, изобилием фруктов и винограда. Как десятки тысяч мужчин, отец упаковал свой серый походный сундучок, дня два разнашивал новые, еще не надеванные ботфорты и 4 августа уже стоял в ожидании отправки перед воинским эшелоном на товарной платформе в Обервизенфельде, чтобы затем под звуки торжественного баварского марша отправиться на фронт.

Когда поезд медленно тронулся, мы побежали за ним, махая и крича вдогонку, вместе с толпой ребятишек, больших и маленьких. За офицерскими вагонами следовали солдатские – товарные вагоны с раскрытыми настежь дверьми. Здесь и там махали платками и пивными кружками. Дикий гул голосов сливался со стуком колес. Народ уже успел хлебнуть порядком пива из бочек, которые выкатили на перрон.

Мать плакала, как все женщины вокруг, всхлипывали мои сестры. Я мчался, не обращая ни на кого внимания, с буйной оравой мальчишек за последними вагонами. Потом потянулись платформы, груженные обозными фурами, и вдруг замелькали первые стрелки и семафоры. И тогда все остановилось. Мы еще раз покричали и помахали вслед поезду. Но тут наше внимание привлек состав на соседних путях, поданный для воинской части, которая как раз грузила своих лошадей, мешки с фуражом и прессованное сено.

Только вечером, когда все собрались дома, мы почувствовали серьезность минуты. Вот и отец уехал, а вести от брата, который уже три дня находился в казарме, мы получили лишь один раз. Он готовился стать телеграфистом в запасном батальоне связи. Туда же попал и наш Пфифф, как мы прозвали преподавателя естественной истории Виммера, который был фельцмейстером нашего 1-го мюнхенского бойскаутского отряда.

В феврале или марте 1915 года отец приехал на побывку в Мюнхен, где провел несколько дней. Одним из первых навестил

его в нашем доме дядя Краус, друг отца. Довольно скоро между ними разгорелся ожесточенный спор, что для нас, детей, было ужасно. Нам чрезвычайно редко приходилось видеть отца таким разгневанным. Разговор шел о военных преступлениях немцев в Бельгии.

Очевидно, отцу хотелось высказать своему старшему другу все, что наболело, «излить душу», как он со свойственной ему горячностью говаривал в таких случаях. Слушать их разговор нам запретили, но отдельные фразы мы, навострив уши, все-таки успели уловить.

Мать постоянно обращалась за советом к почтенному другу нашей семьи; обратилась она к нему и в октябре 1915 года, когда внезапно узнала о нашем решении – весьма скоропалительном – пойти добровольцами на фронт, вступить в конноегерский полк. Но этот старый военный юрист в каждом из молодых солдат видел сына, облаченного в военный мундир, и при судебном разбирательстве, как и мой отец, был их неизменным заступником. Услышав о нашем решении, он проявил себя как старый друг, встревоженный, но сдержанный, явно сознавая свою беспомощность перед ходом событий, в который были вовлечены и мы – мой брат и я. Но каковы бы ни были обуревавшие его чувства, до нас дошло только, что он уважительно относится к формированию нашей личности с собственным, твердо сложившимся мнением. Ему это импонировало.

Тихо и уединенно прожил он последние дни своей жизни; она угасла вскоре после первой мировой войны, эта жизнь, отданная служению праву, поискам красоты и апулийского покоя. В последние годы он был одинок – смерть слишком рано разлучила его с женой. Когда он в предсмертном забытьи лежал в Нимфейбургской больнице, друзья его жены и моя мать смиренно молили за него небо. Дядя Краус, масон по убеждению, должен был в свой последний час быть спасен для бога и церкви. Мы с братом испытывали тягостное чувство неловкости и глубокие сомнения из-за всех этих попыток. Дядя Краус, атеист и масон, был для нас образцом настоящего человека. Какая цена такому насильственному обращению на путь истины в последний, предсмертный час?

Я был случайно дома, когда раздался телефонный звонок с Тицианштрассе. Престарелая домоправительница Краусов, которая была намного старше даже самой тети Кэти, свидетельствовала, что, находясь у постели больного, она якобы слышала, как уста его произнесли имя божие и он тихо отошел.

Мать вздохнула с облегчением. Теперь священник мог совершить обряд благословения над усопшим. Потом отслужили

панихиду, и все это было так чуждо радостному мироощущению старого дядюшки.

– Как жаль, что отец ничего не мог здесь решать, – говорили мы, дети. – Он бы велел спеть в его честь какой-нибудь просветляющий душу барочный реквием и сыграть Моцарта или Гайдна!

Les crirnes aliemands{17}

Годы между 1914-м и 1945-м не раз называли новым вариантом эпохи Тридцатилетней войны. Быть может, сравнение это и неверно. Однако параллели возникают сами собой, если вникнуть в то, какой всеобъемлющий характер приняло падение морали в это тридцатилетие.

Уже в начале войны германская армия позволяла себе противозаконные действия и бесчинства над гражданским населением в Бельгии, а затем и во Франции, ужаснув этим цивилизованный мир и заставив его насторожиться. Из зарубежных нейтральных стран доносились голоса, в которых звучало осуждение, – предостерегающие голоса. Уже во время первой мировой войны был опубликован ряд материалов, прежде всего в самой Германии, затем в пострадавших от войны странах – Бельгии и Франции, а также в Швейцарии. На арену выступили германские военные эксперты, дабы защитить «немецкую честь» и представить все происшедшее как совершенно закономерную необходимость, вытекавшую якобы из требований ведения войны. Контроверза возникла потому, что уже в первые недели августа 1914 года без суда и следствия расстреливали и бельгийцев-штатских, а немецкие войска изображали это как вынужденную меру самозащиты против партизан.

Только спустя много лет я узнал об этом подробней; только тогда я понял, почему мой отец был так удручен и встревожен, когда приехал в первый раз на побывку домой, и почему он часами разговаривал об этом со своим старым другом, нашим дядей Краусом. Оба юриста говорили до изнеможения, пытаясь понять, как могло дело дойти до таких эксцессов и почему это не пресекли на месте, в самой армии, хотя бы в интересах сохранения международного престижа Германии.

Католических священников расстреливали десятками, и отец удостоверился, что прусским войскам доставляло особенное удовольствие расправляться таким образом с бельгийскими католиками. К тому же утверждение, будто пономари звонили в колокола, чтобы разжечь фанатизм прихожан и подстрекать к «партизанской войне всеми средствами», просто чепуха. Зато действительно были такие немецкие части, которые расстреливали без счета и без разбора священников и

причетников, да еще осмеливались при этом загонять в церкви мирных жителей – французов и бельгийцев, – чтобы «преподать им наглядный урок».

Особенно показательный пример представляют собой события в Лувене. В этом городе дело дошло до тяжелых вооруженных инцидентов, причем в сотнях случаев гражданское население не давало для этого никакого повода.

Описываемые мною события происходили свыше пятидесяти лет назад. Уже существует обширная литература по этому вопросу. Правда, после первой мировой войны не раз делались попытки отрицать, что эти эксцессы имели место, замолчать их, утверждая, будто разоблачения – плод вражеской пропаганды о немецких зверствах» . Факты оказались сильнее.

Сегодня я знаю, что повинна в детализации актов произвола правовая система кайзеровского государства, и прежде всего потому, что она подменила понятие «военное право» понятием «военная целесообразность». Если уже тогда, согласно так называемой военной целесообразности, совершенно произвольные расстрелы военнопленных и заложников, грабежи и мародерство в любой форме мотивировались «правом», если целое поколение училось мыслить и чувствовать исходя из такого ложного понятия «права», то удивительно ли, что следующее поколение разработало технику уничтожения всего живого, массовых убийств и выжженной земли.

«Товарищеский ужин» во Фландрии

Примеры этой растлевающей душу ландскнехтовской морали можно привести из моих собственных, казалось бы, незначительных личных впечатлений.

Второго ноября 1915 года я был зачислен в запасный лыжный батальон Имыенштадт-Альгау (горнострелковой части). Затем целый год, с февраля 1917 года, я провел уже в звании унтер-офицера на фронте, в составе королевского баварского лейб-гвардейского полка. Там в октябре 1917 года я был произведен в лейтенанты, а в апреле 1918-го назначен командиром 1-й пулеметной роты.

Было это в 1917 году в маленьком замке под Анзегемом, во Фландрии. Командир нашего лейб-гвардейского полка во время так называемого товарищеского ужина, когда все уже порядком были на взводе, заорал:

– Бесподобно! Прямо-таки великолепно! В сущности, каждый солдат в душе ландскнехт!

И тогда пирушка превратилась в дикую оргию с омерзительными эксцессами.

Мы с Войтом фон Войтенбергом – самые молодые лейтенанты

в этом обществе – хотели было улизнуть еще до полуночи, но на этот счет существовал железный приказ. Наш ротный возражений не терпел. Мы были вынуждены остаться и присутствовать при том, как в третьем часу ночи все участники банкета вдруг встали с мест, затем освободили от людей одну из этих изысканных «рояльных» гостиных, решив превратить ее в большую мишень для стрельбы из пистолетов. Из соседней комнаты стали палить по дорогим фарфоровым тарелкам, развешанным на стенах гостиной, расстреливали лепные орнаменты, грациозных амурчиков в стиле рококо. Занавеси разорвали. Потом вышли в парк, когда уже светало, и продолжали палить, на сей раз по каменным вазам, по статуям, украшавшим парк, по деревьям и куртинам; при этом разлетались вдребезги стекла в окнах, падали наземь как подкошенные деревья – все это было одним из самых разнузданных и гнусных актов осквернения культуры, какие мне тогда довелось видеть.

Особенно тяжело нам было от того, в каком виде предстал перед нами наш ротный командир. Застыв в недоумении, мы смотрели, как этот полковой товарищ, всегда отличавшийся такими безукоризненными манерами, умением вести себя и даже образцовым покроем мундира, сейчас, совершенно пьяный, шатался, помахивая своей элегантной тросточкой с серебряным набалдашником.

Как «очистили» виллу

В ноябре 1917 года, продвигаясь вперед по Фриульской равнине после битвы на прорыв у Изонцо, мы подошли к Порденоне. Здесь мы расположились на ночлег. Штаб дивизии вздумали поместить в старинном поместье, расположенном несколько в стороне от военной дороги. Когда мы туда явились, замок с примыкающими к нему флигелями был почти в полной сохранности. Квартирьеры распределили комнаты и, как это повелось, благо на реквизицию и грабеж давно уже было принято смотреть сквозь пальцы, кое-что разведали: установили, где и за какими воротами, окованными широким листовым железом, спрятаны вина и копчености. А все, что потом творилось, можно назвать примерно так: «Ландскнехты ни в чем себе не отказывают!»

На втором этаже этого невысокого здания находилась маленькая зала с узкими, непомерно высокими окнами, которые выходили в парк. Среднее окно служило одновременно дверью на маленький балкон. Владельцы дома собирали здесь, из рода в род, все, что было дорого и мило их сердцу и с чем они не могли расстаться, даже если эти вещи давно уже не соответствовали современным представлениям о хорошем вкусе. Словом, зала эта,

скорей всего, напоминала мебельный магазин, хоть в ней были и угловые диваны, и рояль, и нотные пюпитры, и пульты для музыкальных инструментов. Помещение это отвели командиру. Соседние комнаты решили превратить в спальни для него же и для штабного начальства. Никто не знал, сколько времени мы здесь проведем: все зависело от того, как будет развиваться наступление. Следовательно, незачем было очень уж заботиться о своих удобствах. Но случилось как раз обратное. Господам офицерам не хватало воздуха; комнаты, видите ли, были слишком тесны и загромождены вещами. Стало быть, балконные двери – настежь, окна – настежь, а затем – очистить помещение! Иными словами, все, что не считалось совершенно необходимым, выбрасывали вон. Когда мы, охваченные ужасом, попытались этому помешать, было уже поздно. Из окон летели книги и ноты, даже картины, сорванные со стен, фарфоровые безделушки из горок – драгоценные вещи и менее ценные, произведения искусства и рыночные поделки, все это вперемешку, навалом.

Из парка было видно, как под балконом медленно росла пирамида из мебели и книг, гобеленов и скатертей, хрусталя и фарфора. В результате, разумеется, завалили вход на лестницу в первом этаже, по которой спускались в сад. Из чего опять следовал вывод: очистить! И вот пришел кто-то, взял под мышку охапку книг, расколол в щепы скамеечки и креслица из гостиной, отнес все это метров на пятьдесят от дома в парк и зажег подле зарослей кустарника. И тогда прочие стали безмятежно жарить на этом костре только что ощипанных кур.

Спустился вечер. Огней в парке становилось все больше. А ночь такая чудесная, итальянская ночь! Наверху, в замке, кто-то бодро бренчал на рояле: жалкая попытка сыграть, наверное, одним пальцем гаммы. Затем ландскнехты легли спать.

Дом, отведенный нашей пулеметной роте, отстоял примерно на километр от замка. Тут распевали патриотические песни: «Отчизна милая, ты можешь быть спокойна», «Господь, который сотворил железо».

Вино лилось рекой, ведь винный погреб был под боком, пристроен к дому. Бесконечно растерянные и запуганные итальянцы – преимущественно женщины с уймой детей да несколько стариков – сидели, тесно прижавшись друг к другу, на ступеньках перед домами и разглядывали бесцеремонных пришельцев, которые, хоть у каждого под мышкой было припрятано «реквизированное» добро, старались «договориться» со своими новыми квартирными хозяевами.

А со всех сторон, вблизи и вдалеке, не умолкал жалобный хрип, доносилось отчаянное разноголосое кукареканье петухов,

ибо всюду, притом десятками, что ни попало под нож, резали живность.

Мюнхен в дни революции

Демагогическая фальсификация

Сейчас, когда я пытаюсь воссоздать в памяти, как воспринял Ноябрьскую революцию молодой немец из буржуазной среды, выросший в офицерской семье, передо мной лежат груды газет, выходивших в те годы. Я читаю эти сообщения и газетные заголовки, обогащенный опытом своей долгой, семидесятилетней жизни, с совершенно другим объемом исторических знаний и другим кругозором. Сегодня я вижу насквозь эту демагогию, с помощью которой подтасовывали факты, пробуждали низменные инстинкты и гипнотизировали буржуазию ужасным призраком коммунизма. Сегодня для меня очевидно все коварство тех, кому удалось даже нашу жажду мира преобразить в ненависть, в готовность сражаться против революции. 14 апреля 1919 года газеты утверждали, будто Клемансо не заключит мир, пока не будет подавлено коммунистическое восстание. Затем начинают множиться сообщения о боях между мюнхенской Красной Армией – спартаковцами, «Коммуной» и белыми: Национальной гвардией, «разумными силами"; множатся сообщения об арестах при конфискации оружия, обысках в домах, трудностях снабжения, и засим следует такое: „После вступления в город добровольческого корпуса Герлица – это был один из отрядов реакции, пользовавшихся самой дурной славой, – восстановлены спокойствие и порядок. Что касается продовольствия, то положение стабилизируется“.

Еще в первые недели революции искусно было положено начало легенде об «ударе кинжалом в спину": „в бою не побежден, но родиною предан“ – и в качестве главного свидетеля хитроумно выставили английского, а не германского генерала.

«Берн, 19 декабря (собственная информация). Английский генерал Морис пишет в „Дейли ньюс": «До войны германская армия была самой мощной в Европе. Во время перемирия соотношение вооруженных сил союзников и противника на Западном фронте было 5:3,5. Германская армия получила удар в спину от собственного гражданского населения. Можно только осудить поведение матросов немецкого флота. Поединку со смертью они предпочли бунт, предпочли сдать свои корабли неприятелю. Им обязан Париж своим спасением“.

На рождество выступил Гинденбург. В своем воззвании он указывал на мощные военные достижения германской армии, которая не потерпела поражения «лицом к лицу с враждебным ей миром», а «до самого конца внушала страх и уважение своим

противникам». Затем после славословия духу немецкого офицерского корпуса Гинденбург пытался возложить ответственность за распад армии на некие «нигилистические и разлагающие силы», ясно намекая на революцию.

А где же в тогдашней печати писалось о том, что этот же самый Гинденбург, который нес сейчас всякий вздор о «священных заветах прошлого», заявил коротко и ясно вместе с начальником своего генерального штаба Людендорфом, что война проиграна, и сказал он это 8 августа 1918 года, стало быть, за три месяца до революции? «Военные действия, – заявили Гинденбург и Людендорф, – приняли характер безответственной азартной игры. Судьба немецкого народа слишком дорога, чтобы делать ее ставкой в азартной игре. Войну необходимо кончать».

Кто знал об этом тогда? Во всяком случае, не двадцатилетний, только что уволенный в отставку офицер королевского баварского лейб-гвардейского полка. А что за человек был этот юный Луитпольд Штейдле, который в 17 лет сбежал из школы на войну? Тот, кто в Обергатау-фене, находясь в запасном батальоне, сказал, будто ничто отныне не связывает его с этими людьми, а позже вступил все-таки в традиционный союз «лейбгардов». Тот, кто накануне революции в Берлине думал: «Только бы меня не впутали во что-нибудь, как бы увильнуть, не то, чего доброго, дадут еще команду разгонять демонстрантов"; а потом этот же человек разрешил все-таки фельдфебелю своей роты Эгельхоферу подсунуть ему вынесенные из мюнхенской „турецкой“ казармы два пистолета и патроны. „Поймут ли дома, что к ним возвращается совсем другой человек, не тот, кто ушел на войну в тысяча девятьсот пятнадцатом?“ – спрашивал он себя по дороге в Мюнхен. А теперь „мальчики Штейдле“ бегали по городу, собирали слухи, целыми днями пропадали в „турецкой“ казарме у Эгельхофера Иозефа, которого так огорчала неприятная история с его братом: Рудольф Эгельхофер, матрос, в 1917 году приговоренный к смертной казни, теперь был командиром Красной Армии в Мюнхене.

У нас было оружие, мы поддерживали связь со студентами и студенческими организациями, с офицерами и солдатами, сохранившими «старинную верность» режиму. Вели мы и кое-какую подпольную работу, пока однажды к нам домой не нагрянули с обыском, конфисковали оружие и увели отца как заложника, ответственного за поведение сыновей (через четыре дня он вернулся). В стихийном порыве мы предложили патрулю молодых рабочих, производивших эту операцию, отвести в тюрьму нас вместо отца. Они наотрез отказались, эти товарищи наших детских игр, явившиеся к нам, обвешанные оружием,

повернутым дулом вниз, с патронными сумками поверх рабочих халатов, в шапках набекрень и с красными повязками на рукавах. А, отказывая нам в нашей просьбе, они ссылались на письменный приказ за подписью Рудольфа Эгельхофера.

Куда идти?

Чего же мы хотели? Возврата к старому? Действительно хотели? Ведь отец открыл, наконец, сыновьям, что его мучило и возмущало целых четыре года и с чем, нужно надеяться, раз навсегда теперь покончено: бесчисленные преступления, совершенные немецкими солдатами и офицерами над мирными жителями, – издевательство над правом и законом, одна из мрачнейших страниц в истории германской военной юстиции, а еще более – в истории нашего народа, как неизменно добавлял отец.

И мы хотим вернуть этот старый порядок? Нет, но и не хотим нового, принесшего с собой Советы рабочих и солдатских депутатов, Красную Армию, Советскую республику, как в России. Все это внушало панический страх. Сколько молодых немцев задавались тогда вопросом: «Чего же ты хочешь? Что делать?» Я смутно понимал, когда узнал впоследствии о братании в окопах в 1917 году между немецкими и русскими солдатами, что в них говорило элементарно человеческое побуждение, оно выражало то, что чувствуешь, когда спас после боя всего четырех человек из своего отряда: «Убийство – безумие, бросай оружие!"– а в ушах звучат обрывки аккордов из Девятой бетховенской.

Но все это оставалось лишь неопределенным настроением, на которое наслаивалось другое, которое затем потонуло в гуще повседневных дел. Немногие из людей моего поколения и моего круга нашли в те времена путь туда, «где жизнь». Впрочем, через десятки лет, в плену, они стали – непосредственно или заочно – моими любимыми собеседниками. Мир их идей, решающее «почему» в их судьбе будили мое любопытство и… помогали мне идти вперед.

Но как много было моих сверстников, которые уже тогда шли нарочито другим путем: в добровольческие корпуса, в крайне правые военные союзы, потом – в штурмовые отряды нацистов. К числу их принадлежал мой друг Ганс Циммерман, когда-то, как и я, бойскаут, глубоко привязанный к моим родителям, – мой отец был даже восприемником Ганса при его первом причастии. Часто случалось, что он жил в нашей семье больше, чем дома. Затем в его жизни произошел коренной поворот: увлечение «народными идеями». Через несколько лет он всецело подпал под влияние нацистов и стал фанатическим апологетом их идеологии, одним из самых опасных подстрекателей фашизма. Начало этой

эволюции было положено, вероятно, тогда, когда Ганс уже принадлежал к числу крайних среди нас, противников революции, «Против „Спартака“ и Коммуны» – таков был его девиз, и он не брезгал никакими средствами в этой борьбе – и тогда и потом.

Но разве это все, что можно сказать о двадцатилетнем лейтенанте запаса Штейдле, который три года убивал по приказу, получил за свои деяния Железный крест 1-го класса и теперь снова ввязался в войну, на сей раз в гражданскую? Только ли это? Не следует ли упомянуть и о том, что крушение империи, старого уклада подорвало и семейный уклад? И здесь, куда я вернулся, был уже не тот благополучный мир. Тут я застал голод – матери претило выменивать вещи на продукты, а если сестрам и удавалось что-нибудь раздобыть для дома, то в лучшем случае несколько картофелин и капусту, полученные у добрых знакомых, крестьян, в Графинге или Унтерферинге. Я застал дом запущенным: штукатурка осыпалась, на лестничной клетке – плесень, ведь несколько лет нельзя было достать мастеровых; материал для ремонта отсутствовал или был не по средствам. Отапливали только одну комнату, гостиная заперта, вся мебель – в чехлах. Войну-то проиграли, надо было радоваться, что все хотя бы живы.

Тут был отец, военный юрист старой школы, который не мог забыть les crimes allemands. «Это были преступления – слышишь? – преступления немецких солдат, совершенные над безоружными мирными жителями, притом безнаказанно». Теперь он участвовал в переговорах о возвращении на родину военнопленных и раненых из Швейцарии, не задаваясь вопросом, кем были в республиканском правительстве его партнеры по этим переговорам.

И, наконец, был тут же, правда, еще и двадцатилетний лейтенант, имеющий орден, но что в нем проку? Семнадцати лет он бросил, не кончив, школу; он был офицер – но служить как офицеру уже негде; кем же ему быть? У него не было аттестата зрелости. И вот однажды я отправился – нарочно в военной форме – в реальное училище на Зигфридштрассе. Да! И вот тут-то я в первый раз обнаружил некий неизменившийся мир. Тут по-прежнему заправляла все та же разновидность закоснелых педантов, старозаветных магистров, которые умели читать мораль и угрожать, но никогда не понимали смутного пылкого стремления молодежи к независимости. Тут все шло как заведено, по старинке, словно и не было четырех лет войны (что это такое, профессора знали по Гомеру, а мы – по окопам), словно и не было верховного главнокомандующего, которому мы

присягнули в верности и который тайно скрылся в Голландии, где ему, наверное, подыскали надежное, тепленькое местечко. А тут все по-прежнему, словно не было умерших от истощения женщин и детей, революции со «Спартаком», Советами солдатских депутатов, Красной Армией и добровольческими корпусами; наконец, революция продолжалась, и нужно было определить свою позицию в ней, но, как ее определить, мы не знали. А тут был совершенно не изменившийся мир, не изменившийся ни на йоту, и я захлопнул за собой дверь и сказал:

– Нет. Никогда.

Но что же тогда остается? Сельское хозяйство. Их было множество, таких, как я, которые тогда ответили себе: «Сельское хозяйство». В биографии многих известных людей под рубрикой «После войны» значится: «Сельское хозяйство». Это такие люди, как Мартин Инмеллер, Рейнольд Шнейдер, Фридрих Вольф. А сколько было неизвестных, поступивших точно так же! Почему же тогда была такая тяга к сельскому хозяйству? Потому ли, что профессия специалиста по сельскому хозяйству позволяла как можно скорее оказать помощь голодному народу? Потому ли, что это было честное, ясное дело, занимаясь которым каждый мог увидеть плоды своих рук, видеть, как растет и созревает что-то живое?

Итак, я тщательно проштудировал программу преподавания в Вейхенстефанском сельскохозяйственном институте во Фрейзинге и программу сельскохозяйственного отделения в Мюнхенском высшем техническом училище. Однажды утром я поехал на велосипеде во Фрейзинг, справился сначала, как обстоит с революцией в егерской казарме, а затем остановился подле пивной у Шлоссборга, перед корпусами Сельскохозяйственного института. Там еще ничего не было известно о дополнительном приеме между семестрами. Следовательно, я вернулся обратно в Мюнхен и, недолго думая, отправился в Высшее техническое училище, где мне повезло: меня зачислили в студенты. Там, да и в Ветеринарно-медицинском институте (как раз у Английского сада) мне довелось узнать немало высокоодаренных педагогов и ученых, которые восхищали нас своим удивительным умением сообщать молодежи новейшие знания в своей области.

Убийство Эйснера

Что же, собственно, произошло в Мюнхене? 7 ноября здесь была свергнута монархия, провозглашена республика, премьер-министром которой стал независимый социал-демократ Курт Эйснер. Правительство Эйснера опиралось на социал-демократов, на независимых социал-демократов, на либеральную буржуазию, но отчасти и на леворадикальные группировки в Баварском

крестьянском союзе. Разногласия между ними обнаружились сразу: одни из них способствовали сепаратистским стремлениям, иными словами, стремлениям к «полному суверенитету» Баварии как государства; центр поддерживал всяческие попытки восстановить монархию.

В одном пункте сходились все, как социал-демократы, так и либералы, республиканцы и монархисты: никакой революции наподобие русской, поэтому все силы нужно направить против «Спартака» и коммунистов, против Советов, однако меры против Советов долгое время принимались негласно, втайне, так как заводские Советы – Центральный совет рабочих и солдатских советов – официально были высшей инстанцией; кроме того, они частично находились под мелкобуржуазным влиянием, а, следовательно, вполне годились в союзники против революции.

Группа «Спартака», возглавляемая в Баварии Евгением Левине, в то время боролась, как и всюду, за революцию, против ее клеветников и контрреволюции.

Двадцать первого февраля, через пять недель после убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, был убит выстрелом на виду у всех Курт Эйснер. Это злодейское убийство произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Оно вызвало волну возмущения. Свыше 100 тысяч мюнхенцев провожали гроб Эйснера. По радио было передано обращение Баварского рабочего и солдатского совета к пролетариям всех стран. Оно призывало баварский пролетариат сплотиться для защиты революции. Перед зданием ландтага на месте убийства Эйснера лежали цветы. Рядом стоял почетный караул. Я тоже ходил туда, подавленный, потрясенный случившимся. Граф Арко-Валлей, убийца Эйснера, был мой однополчанин.

Дней за десять до этого мы расходились из Немецкого музея после учредительного собрания нашего традиционного офицерского союза; рядом со мною шли полковник барон фон Ридгейм – мой командир по лейб-гвардейскому полку, ротмистр барон фон Шпис и еще несколько человек; тогда лейтенант граф Арко совершенно неожиданно сказал – это сначала шокировало всех нас, как бравада, – что он в скором времени застрелит коммуниста Эйснера! На фронте нам не раз приходилось наблюдать его залихватские манеры, поэтому нам было не совсем ясно, бросил ли он эти слова по свойственной ему наглости и из бахвальства или за ними действительно скрывались серьезные намерения. Мы стали его увещевать:

– Да ты спятил! Ведь это безумие! И вообще, как ты до него доберешься? Да, наконец, разве этим чего-нибудь можно добиться?

Дойдя до Цвейбрюкенштрассе, мы разошлись в разные стороны. А 21 февраля раздались выстрелы.

Эйснер выступал не раз, публично и бесстрашно. Так, я помню массовую демонстрацию на Терезиенвизе в середине февраля, когда Эйснер призывал демонстрантов содействовать достижению цели и замыслов правительства. Он призывал сохранять спокойствие и порядок и просил оказать доверие его правительству «ввиду попыток крайне правых повернуть колесо истории». Я знал, наверное, что он имел в виду образование традиционных воинских союзов, а также старания организовать крайне правые союзы, в первую очередь среди студенчества и молодых офицеров; все это были попытки создать фронт, который опирался бы на силы баварской народной партии, социал-демократов большинства, а главное – на военных, по-прежнему сохранявших верность королевскому дому.

Повернуть колесо?..

После убийства Эйснера начались ожесточенные бои за власть. Наконец в середине марта было образовано социал-демократическое правительство во главе с Гоффманом. Впрочем, в буржуазных кругах плохо различали революционные направления. Чего теперь хотели «соци» или спартаковцы находится ли Рабочий и солдатский совет под влиянием социал-демократов большинства или коммунистов – все это было мюнхенскому буржуа безразлично и в конечном счете так и осталось для него тайной. Главная цель, которой он задавался, – это помешать окончательному провозглашению Советской республики, будь то в самой Баварии или в Берлине.

После убийства Эйснера в правительстве появились новые люди, новые имена: Россгауптер, Яффе, занимавший пост министра финансов, которого я знал, так как его сын до войны был моим товарищем по 1-му мюнхенскому бойскаутскому отряду; к числу этих новых деятелей принадлежал и Унтерлейтнер; будучи министром социального обеспечения, он постоянно находился под перекрестным огнем самой резкой критики. Пытаясь дискредитировать его работу, противники столь же страстно, сколь и необъективно, противопоставляли ей все прежние достижения и успехи в этой области вероисповедных благотворительных организаций.

Все чаще слышали мы тогда и имя Эрнста Толлера. В Мюнхене он был отнюдь небезызвестен. Ведь он считался наряду с Эрихом Мюзамом одним из инициаторов забастовки рабочих военного завода в 1918 году, эффект которой мы ощутили даже на самом фронте. Это было на Сомме, и мы направлялись на передовые позиции, когда солдаты крикнули нам, что мы

штрейкбрехеры. Как сейчас, вижу перед собой своего ротного командира и командира батальона: оба сначала пропустили мимо ушей эти слова, сделав вид, что они вырвались в порыве отчаяния у совершенно измотанных и замученных солдат. Но когда раздались выкрики: «Уж матросы-то вам покажут, ежели вы будете как сумасшедшие драться по-прежнему!» – пехотному взводу пришлось оттеснить взбунтовавшиеся части в сторону от пути продвижения войск. Тогда никто еще не вникал в суть происходившего, да и вообще, не в состоянии был вообразить, что в армии может произойти мятеж. Правда, еще более убедительным, дошедшим, наконец, до нашего сознания доказательством целеустремленной работы революционных сил было следующее: целые пулеметные ленты оказались сплошь непригодными, так как гильзы были наполнены песком вместо пороха либо в них плотно сидели пули, загнанные внутрь, иногда только на миллиметр глубже чем следует.

Своеобразие революции в Мюнхене заключалось в том, что нигде в городе полностью не прекращалась повседневная жизнь. Напротив, были кварталы, которые казались совершенно неизменившимися, совсем мирными. И была еще одна типичная для того времени черта: всюду образовывались группы, их составляли студенты и профессора, ремесленники, лавочники, полицейские и учителя. Разумеется, существовало брожение и среди мюнхенской богемы, которая в принципе была анти-буржуазной и рукоплескала всему революционному, но и всему псевдореволюционному.

В этой атмосфере мы встречались с нашими католическими товарищами: так, встретились мы с Луизой Иориссен, которая, вернувшись, кажется, из Вестфалии или из Рейнской области, произвела фурор даже в Католическом женском союзе, чем она обязана живости своего характера и умению быстро приспособляться к новой обстановке. Несчетные часы проводили мы наверху в ее студенческой каморке на Гизелаштрассе, составляя планы боев и при этом ведя ожесточенные споры с нашей старшей приятельницей, Евой Горецки; она родилась где-то в Западной Пруссии и считалась страстной последовательницей Каутского. Она пыталась – на наш взгляд, это была смелая попытка – перекинуть мост между своим социализмом и строго католическим миросозерцанием. Но какую цену имело тогда в наших глазах любое слово или сообщение, исходившее из уст господина Каутского или хотя бы даже Маркса и Энгельса?

В знаменитой книжной лавке Штейнера на Адальбертштрассе произошло одно из первых моих столкновений с молодыми

социалистами, во главе которых стоял Альфред Курелла. Мой брат – а у него за плечами были целых два семестра медицинского факультета – гордился тем, что знает: известное лекарство «Грудной эликсир доктора Кураллы» составил отец этого худого, долговязого молодого социалиста, который чаще всего действовал под влиянием импульса и обладал даром увлекать других. В другой раз мы столкнулись лицом к лицу с Кураллой в пивной «Швабингерброй». Схватка была упорная, и дело дошло бы до рукопашной драки, если бы нас, азартных спорщиков, не развели в стороны старшие товарищи.

Бавария становится Советской республикой

Положение отнюдь не стабилизировалось после образования социал-демократического правительства Гоффмана, впрочем, до этого в качестве кандидата на пост премьер-министра был назван профессор Фридрих Вильгельм Ферстер. Все настойчивее становился призыв «восстановить порядок в общественной жизни» (под этим подразумевалась реставрация прежнего соотношения сил); все громче раздавалось требование – на другой стороне – создать Советскую республику. Руководитель коммунистов Евгений Левине старался избегать всяких необдуманных действий. Только таким образом можно было уберечь Мюнхен, не допустить, чтобы лилась кровь рабочих, как это случилось в других крупных городах. Левине предостерегал против Советской республики, «провозглашенной сверху"; кроме того, благоприятный момент для этого миновал после продвижения контрреволюции в других; землях Германии.

Несмотря на это, Эрнст Толлер, Эрнст Никиш, Густав Ландауэр и Эрих Мюзам 7 апреля объявили о создании Советской республики. Это вызвало противодействие всех сил в правом лагере. Правительство Гоффмана перебралось в Северную Баварию и попросило у Берлина помощи. И то и другое – бегство и обращение к Берлину – буржуазия решительно осудила. Не потому, что социал-демократ Гоффман хотел бросить добровольческие корпуса социал-демократа Носке против баварских рабочих, а потому, что закоренелые консерваторы баварцы не допускали даже мысли о зависимости Баварии от пруссаков, прусской армии, прусских социал-демократов, прусского центра.

Теперь всюду почти каждый вечер до глубокой ночи проводились собрания. На менее многолюдных выступали специально сколоченные группы, имевшие задание сорвать эти мероприятия. Участвовали в этом и мы, Штейдле-младшие, вместе с друзьями из христианских профсоюзов и созданного тогда католического Нового студенческого союза Хохланд.

Примкнули к нам «ново-германцы» и члены союза «Квикборн"; все они были представителями христианского молодежного движения.

Даже эти мелкие выступления были частью мощного удара, который готовили против революции, а не только против Советской республики. В результате искусно организованного заговора при участии реакционных сил в отдельных войсковых соединениях II Баварский армейский корпус заявил, что он против правительства Советской республики. Таким образом, эти гарнизоны снова оказались в подчинении у министерства Гоффмана. Их примеру вскоре последовали гарнизоны в Пассау, Гюнцбурге, Диллингене и Ингольштадте. В ночь на 13 апреля часть гарнизона во главе со Шнеппенхорстом, военным министром правительства Гоффмана, подняла мятеж. Однако рабочие и солдаты разбили эту контрреволюционную группировку, захватив в упорных боях под командованием Рудольфа Эгельхофера Центральный вокзал и городскую комендатуру. В ночь на 15 апреля они заняли не только центр – весь город был уже под властью революционных рабочих и солдат.

В Виттельсбахском дворце теперь помещался Комитет действия, образованный Коммунистической партией Германии, независимыми социал-демократами и социал-демократической партией, с Исполнительным комитетом в составе четырех человек. Возглавлял его Евгений Левине. Теперь были наверстаны все упущенные возможности, сделано все, что до сих пор не делалось и что благоприятствовало сплочению контрреволюционных сил: Национальная гвардия была разоружена (почему и произвели у нас дома обыск), банк и крупные предприятия были национализированы, важные административные центры заняты, и город и окрестности Мюнхена охраняла заново сформированная Красная Армия под командованием Эгельхофера. Отряд из 800 белых, которые в надежде на поддержку мятежных студенческих отрядов подошли к городу, был разбит под Карлсфельдом. Призыв к всеобщей забастовке явился еще одним предостережением тем слоям общества, которые продолжали считать, что могут опереться на силу контрреволюции в Мюнхене.

Контрреволюция готовится к походу

Берлин между тем откликнулся на призыв о помощи правительства Гоффмана из Бамберга. В Тюрингии формировались добровольческие корпуса Носке, По всей стране велась шумная агитация, целью которой было пополнить самые различные воинские части или заново их создать.

Газеты печатали такие, например, вербовочные объявления:

«Вперед, старослужащие кавалеристы!

Драгунский 5-й полк кадровых войск формирует в Хофгейсмаре два добровольческих конных эскадрона с приданным к ним пулеметным эскадроном, чтобы быть готовым к действиям в составе гессенск. – тюринг. – вальд. добровольческого корпуса Обост.

Прием производится на общеизвестных условиях (жалованье мобил., ежедневная добавка – 5 марок, полевой продовольственный рацион, материальная поддержка семьи).

Предпосылкой для вступления в строй должно быть желание состоять в воинской части, соблюдая строжайшую дисциплину, а также готовность оказывать полное доверие начальникам, опирающимся на доверенных людей. Приниматься будут только лица, годные к строевой службе, безупречные в отношении морали, с полугодичным сроком фронтовой службы в кавалерийском полку или пулеметной команде.

Стоимость принесенного с собой обмундирования оплачивается. За проездными билетами до Хофгейсмара надлежит обращаться в ближайший обслуживающий пункт.

Особенно желательны военнослужащие драг. 5 гус. 14.

Подпись: фон Битлер, ротмистр и командир полка».

Подобные объявления расклеивались и на уличных стендах. Итак, перед авантюризмом всех разновидностей открывался широкий путь. В первую очередь примкнули к добровольческим корпусам субъекты с психологией ландскнехта, всякий сброд.

Точно установить численность сформированных войсковых частей под командованием генералов фон Овена и Меля не удалось, не удается это и поныне. Достоверно только, что, кроме так называемой Национальной гвардии, в эти войсковые части входил еще и пресловутый добровольческий корпус Герлица, затем гвардейская кавалерийская стрелковая дивизия, которая виновна в убийстве Розы Люксембург и Карла Либкнехта, и баварский добровольческий корпус Эппа. Войска располагали сильной артиллерией, а также несколькими бронепоездами. В общем, на борьбу против баварского Советского правительства было мобилизовано несколько десятков тысяч солдат. Больше всего надеялась мюнхенская буржуазия на помощь добровольческого корпуса Эппа.

Но сначала события развивались иначе. Первая фаза закрепления Баварской Советской республики завершилась большой манифестацией мюнхенского пролетариата 22 апреля. Хозяином положения было Советское правительство в Виттельсбахском дворце, который на своем долгом веку видел

множество событий крупнейшего политического значения – свершившихся и миновавших.

Не желая подвергать отца новым неприятностям после его недолговременного ареста и произведенного у нас дома обыска, мы с братом вели себя осторожно, зато использовали каждый час, чтобы ориентироваться в меняющейся обстановке, царившей тогда в высшей школе. Правда, при желании здесь можно было, кроме того, получить весьма обстоятельные сведения обо всех политических событиях дня.

Тем временем отряды Носке наступали. В занятых: ими местностях были введены законы военного времени, всякое сопротивление жестоко подавлялось. В конце апреля под впечатлением того, что к городу подступали добровольческие корпуса, было решено образовать новый Комитет действия и новый Исполнительный комитет, при этом оба – без участия Коммунистической партии Германии и под руководством независимых социал-демократов. В северных и западных районах Мюнхена снова начались уличные бои, бои за каждый дом. 1 мая в предместья Мюнхена вступили тяжеловооруженные подразделения добровольческого корпуса. Разгорелись бои, ожесточенные, с большими потерями для обеих сторон. Центральный вокзал держался двое суток под натиском превосходящих сил добровольческих корпусов и регулярных войск. В конце концов, белым удалось разъединить части Красной Армии и вынудить их отступить через Изар в районы Гизинг и Хайдхаузен, пока и там не было сломлено последнее сопротивление.

Мюнхен на военном положении

Итак, Мюнхен был «освобожден» и объявлен на военном положении. Никто из нас и не мыслил себе возможности такого «освобождения». Негодование и ярость жителей вызывали не «красные власти», чего вполне можно было ожидать, а «освободители» – солдаты Носке; именно этот отряд ворвался в клуб Католического союза подмастерьев на собрание молодых ремесленников и тут же расстрелял 22 человека, не справившись даже о том, что представляет собой эта организация. Событие это вызвало протест, гневное осуждение и ненависть против всего того сброда, который сейчас так варварски бесчинствовал в Мюнхене, грабил, бессмысленно уничтожал, издевался и убивал.

Негодование против «освободителей» усилилось, когда появились сведения о потерях. Уже через несколько дней после вступления добровольческих корпусов печать опубликовала официальные данные: свыше 550 убитых, среди них много женщин, детей и стариков. А если учесть, что в переполненных

больницах лежали многочисленные жертвы расправы, то обнаружится, что количество пострадавших превышало официальные данные в 3-4 раза. Затем прокатилась волна самовольных арестов, расстрелов по приговору военно-полевого суда на основании приказов военщины и инструкций баварского министерства внутренних дел. Количество этих репрессий во много раз превосходило число арестов, произведенных во время Советской власти в Баварии.

Эгельхофер был расстрелян во дворе резиденции правительства, Густав Ландауэр убит, как и многие другие поборники Советского правительства в Мюнхене, а также непричастные к борьбе люди, подобно двадцати двум подмастерьям-католикам. Возмущение бесчинствами солдатни было всеобщим. Свидетельствовали об этом разговоры в семейном кругу, с бывшими офицерами, с университетскими преподавателями и студентами, с простыми людьми, повстречавшимися на улице, с мясником или мелким лавочником. Но мюнхенский буржуа – о чем следует все же сказать – видел в этом кровавом разгуле не террор крайне правых сил, контрреволюционеров, охваченных слепой, яростной ненавистью к революции; его ничуть не трогало, что натравил добровольческий корпус на рабочих социал-демократов; постыдность происходившего, на взгляд мюнхенского буржуа, заключалась в том, что творила все это «прусская свинья», с которой ему, как порядочному человеку и мюнхенцу, отнюдь не подобало связываться.

Итак, о ликовании Мюнхена по поводу победы не могло быть и речи вопреки тенденциозным публикациям буржуазной печати. Пролитая кровь, зверства добровольческих корпусов, военно-полевые суды – все это не позволяло чувствовать себя победителями; кроме того, в городе и пригородах то и дело вспыхивала перестрелка, и прошло еще несколько дней, пока стало уже возможно говорить о якобы водворенном спокойствии и порядке, которые, правда, еще только мерещились «освободителям». Мюнхен обрел свой прежний облик лишь постепенно, после ухода прусских войск.

Тринадцатого мая газеты поместили под крупными заголовками сообщение об аресте Евгения Левине; суд над ним состоялся позднее, в начале июня. Покоряя своим спокойствием, превосходством и продуманностью своей позиции, он бросил в лицо обвинителям свои ответ:

«Выносите ваш приговор, если вы считаете себя вправе это сделать. Я защищался только ради того, чтобы моя политическая деятельность, чтобы имя Советской республики, с которой я

чувствую себя тесно связанным, доброе имя мюнхенских рабочих не было запятнано… Что бы то ни было, я жду вашего приговора, сохраняя самообладание и душевную ясность… И все же я знаю, что рано или поздно в этом зале будут заседать другие судьи, и тогда кара за государственную измену постигнет того, кто выступил против диктатуры пролетариата…»

Диктатура пролетариата – вот опять прозвучало это зловещее слово, которое внушало ужас нам, сыновьям буржуа. Понадобилось еще много времени, еще много горьких, смертоносных испытаний, пока не забылся этот страх, пока мне не открылось подлинное содержание этого понятия.

Но было в коммунистах нечто такое, что уже тогда заставляло нас уважать их: мужество, с каким они и сейчас, после поражения, отстаивали свою идею, мужество, не покидавшее их под дулами винтовок расстреливавшего их взвода.

Житейские заботы

Практикант в крестьянском хозяйстве в Польдинге

Когда в 1918 году я сказал матери, что хочу стать агрономом, я, в сущности, выразил – только другими словами – намерение следовать призванию, к которому меня тянуло с детства. Нас с малых лет приучали садовничать. Да и жизнь в доме прадеда на Аммерзее будила в нас, маленьких горожанах, интерес ко всему новому и разному, что мы видели на полях, конюшнях и садах близ этого дома. Когда я – тогда еще школьник – постоянно твердил, что хочу стать крестьянином, это говорилось не под влиянием минутной прихоти, как нередко случается с детьми, выражающими желание избрать ту или иную профессию, – нет! – таково было мое твердое намерение. В 1918 году я получил возможность его осуществить.

В ту пору было много пустовавших земельных угодий, невозделанных или таких, которые годами были не ухожены: одно из последствий смертоносной войны. Еще в высшей школе мы с увлечением строили планы борьбы с этим злом. Мы слышали об аграрном движении поселенцев и живо обсуждали идеи Дамашке, его проекты земельной реформы. С воодушевлением относились мы к плану разделить крупные поместья на небольшие крестьянские усадьбы, полагая, что таким путем было бы обеспечено сносное существование множества людей. Мы хотели помочь осуществить этот план. Мы тогда не понимали, что даже такая буржуазно-демократическая земельная реформа, какую предлагал Дамашке, была неосуществима в условиях капиталистического общественного строя; не задумывались мы и над тем, почему она оказалась неосуществимой. Многих моих сверстников тянуло уехать тогда в дальние страны, покинув оскудевшую родную землю. Тот, кто изъявлял готовность работать в сельском хозяйстве, мог сравнительно легко улучшить свое материальное положение где-нибудь за границей: в Латинской Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии. Труд в сельском хозяйстве плохо оплачивался всюду, поэтому не хватало рабочих рук; недостаток их и должны были восполнить немецкие переселенцы.

Эмиграции содействовали различные учреждения, в том число и колониальная школа в Винценхаузене, близ Касселя; здесь, как и прежде, преобладали колонизаторские тенденции. Нас это не смущало; нас привлекали приключения, которые сулили притом и выгоду. Многие мои товарищи по средней и высшей школе оказались на чужбине.

И мечты о «манящей дали», и задачи, не решенные здесь, на родине, – все это находило свое отражение в многочисленных планах, которые мы строили в послевоенные годы на первом курсе сельскохозяйственного отделения Высшего технического училища в Мюнхене.

Для успешной работы в сельском хозяйстве требуются два качества: обладать основательными теоретическими знаниями и быть крепким, опытным человеком. Я это понимал и вскоре занялся практической работой. В Нижней Баварии, в Хоэнпольдинге, близ Тауфкирхена, я нашел крестьянина, который согласился нанять практиканта.

Уклад жизни был такой: рано утром, в полдень и вечером мы садились за большой четырехугольный стол в широких сенях на первом этаже крестьянского дома в Польдинге; садились мы, соблюдая старшинство: сперва старший рабочий, за ним второй батрак и третий, после них старшая служанка, вторая и третья работницы, за ними два волопаса и, наконец, практикант. Перед каждой трапезой из кухоньки выходил хозяин со стулом в руках и, поставив его на пол, опускался перед ним на колени. Этим он нам подавал знак, чтобы мы тоже стали на колени перед нашими скамейками. Сперва мы читали «Отче наш», затем уписывали за обе щеки. После трапезы хозяин уходил на кухню, а мы принимались за дело. Тяжкий труд начинался в четыре утра, на поле или в хлеву. Я старался не показать, как я устаю, как ломит тело, и совладал с собой. Вскоре я научился запрягать и погонять волов, печь хлеб, молотить цепом, доить коров, пахать, сеять, отбивать косу и косить. Это был тяжелый труд, но нельзя было отставать от других.

По воскресеньям и праздничным дням мы ходили в соседние деревни; мы не раз отправлялись в паломничество с хоругвями вышиною с метр к тамошней святыне в Нойфрауенхофене, где местный патер, капуцин, читал проповедь, стращая нас преисподней и взывая к нашей совести. Это было паломничеством мужчин и средством очистить их от грехов.

Я усердно пел в церковном хоре. Мои прогнозы погоды и наблюдения над полетом птиц снискали уважение мне – да и науке. Но когда я изредка приезжал в Мюнхен, окружающие отворачивались. Оказывается, несмотря на все мои старания, от моей одежды пахло хлевом, что явно диссонировало с обстановкой родительского дома.

Собственное хозяйство в Лойберсдорфе

Потом мне пришлось поработать в Грассельфинге, близ Ольхинга, неподалеку от Дахау. Я уже был настолько закален, что, не простуживаясь, бегал босиком по снегу. Но самое важное

для меня было то, что я приобрел практический опыт и сноровку, помогая даже иной раз при трудных родах в коровнике или конюшне.

И вот тогда-то я и задумал обзавестись собственным хозяйством! Я объезжал – сначала только по воскресеньям – всю Верхнюю и Нижнюю Баварию в поисках подходящей усадьбы. В те годы выбор был большой. Крестьяне уходили из деревни в город. Невозделанные или запущенные участки были совсем заброшены и приходили в упадок, если случайно не находился покупатель, который умел обработать землю и поднять ее урожайность.

Ознакомившись с различными формами ведения сельского хозяйства, я понял, что для меня существуют только две возможности найти себе применение: либо работая в маленькой усадьбе, принадлежащей одной семье, либо будучи управляющим крупного поместья, где при наличии соответствующих машин можно обрабатывать несколько сот гектаров земли.

В сентябре 1920 года в Лойберсдорфе, в округе Розенгейм, я выбрал крестьянский двор Хохланд (Взгорье); под таким названием он и занесен в кадастр. С возвышенности открывался вид далеко на запад: грандиозная панорама хребта Веттерштейна и Карвэндельскпх гор, а на востоке – горы южнее Химзее до Зальцкамергут. В ясную погоду была отчетливо видна даже вершина Гросвенедиг. К хутору примыкали пашни, луга и лесок, еще совсем молодой и недоходный. В общей сложности имелось девять гектаров земли, кроме того, пять коров, два быка; потом появились жеребята. В этой глуши жили еще три крестьянина; каждый хозяин должен был одну неделю в месяц рано утром возить молоко на центральный приемный пункт.

На широком скате крыши виднелась дата постройки дома: 1784 год. Под крышей находился длинный балкон. Для перил я использовал доски, выпиленные из ствола «свадебной ели». Соблюдая старинный обычай, сложившийся в деревнях на плоскогорье, крестьяне в сентябре 1922 года водрузили перед моим домом ель вышиною в 15 метров, украшенную венками, с задорной вершинкой. Такая ель должна стоять перед домом, пока не явится на свет первый ребенок. Моя первая жена родом из Вестфалии. Мы познакомились в молодежной организации.

За балконом были жилые комнаты и спальни, а на первом этаже – старинная горница, где как нельзя лучше поместилась икона, доставшаяся нам от родителей.

Четыре года я руководил церковным хором в Лаузе, в древности носившем название Лавизиум. Расположен он на одной из римских военных дорог, которые вели из Зальцбурга в Аугсбург и дальше на север, где они тянулись по баварским и

швабским возвышенностям. Поэтому немало поселков и угодий как вблизи, так и вдали от этих римских дорог носят названия явно латинского происхождения. Так, из Взгорья был виден хутор Пупсе р (от латинского слова «puppis"), виднелись и крыши хутора Капсер (от латинского «Capul"), Когда мы были детьми, родители не раз говорили нам, что между различными эпохами существует преемственная связь; на нас производили большое впечатление рассказы о том, какие разнообразные последствия имеют исторические события и какое значение придается археологии, архитектуре и искусству.

Однажды в 1924 году друзья привезли из Мюнхена ружья, револьверы, ручные гранаты и патроны. Все это мы спрятали в своей усадьбе. Делалось это тогда и в других крестьянских дворах, даже в монастырях. В сущности, таким способом – более или менее сознательно – создавались убежища для черного рейхсвера, боевой организации, которая действовала против революционного рабочего класса. В то время уже во многих общинах идеология была проникнута националистическим духом. Дошло до того, что на некоторых уединенных хуторах прятали авиамоторы с запасными частями. Однако крестьяне говорили на эти темы с глазу на глаз, в плавнях, когда резали камыш, или в лесной глуши, убирая опавшую листву. Они боялись расправы тайных фашистских судилищ.

После 1918 года большая часть сельского населения, кроме членов Крестьянского союза, еще твердо придерживалась монархических традиций и ни одно собрание не обходилось без заверений в преданности баварскому королевскому дому. Однажды я видел, как у дворца Хо-энбург, под Ленгрисом, собралась толпа, потому что сам папский нунций Пачелли крестил в этом дворце одного из детей бывшего баварского кронпринца Рупрехта. Толпа демонстрировала «любовь и верность исконной королевской династии». Участники демонстрации, очевидно, ни в грош не ставили Веймарскую конституцию. Монархические взгляды так глубоко укоренились среди сельских жителей Баварии, что в их сердце нашлось место даже для пруссака Гинденбурга; в замке барона фон Шильхера в Диттрамцелле, под Хольцкирхеном, был устроен торжественный прием Гинденбургу; его чествовали как «великого представителя гогенцоллернских традиций».

В эти годы на хуторе Взгорье часто встречались товарищи по молодежному движению, знакомые до первой мировой войны: бойскауты, «перелетные птицы», юноши и девушки из католического союза «Квикборн». Иногда эти встречи сопровождались сбором у костра и концертами, причем пели и

танцевали все присутствующие; бывали, кроме того, доклады и горячие дискуссии. Я старался глубже понять цели и задачи движения поселенцев и, кроме произведений Дамашке, изучал проекты католических организаций, главным образом католического союза «Каритас». Я сделал доклад по вопросам сельского хозяйства на съезде Баварского земельного объединения Католического женского союза; происходило это в мюнхенском Выставочном зале.

У меня дома на столе рядом с учебниками по агрономии лежали журналы, отвечающие запросам молодого поколения: «Дер блауэ рейтер"{18}, „Хохланд“ и „Ди Шильдгеноссен“. Я брал их иногда с собой в поле и читал их во время полдника. Незабываем тот день, когда завтрак в маленькой корзинке принес мне в поле Романо Гвардини, уже тогда пользовавшийся известностью католический теолог и философ, занимавшийся проблемами религии, с которым я был хорошо знаком по работе в „Квикборне“. (Гвардини скончался в 1968 году.)

Мы уселись рядом на земле у межи и полдничали, наблюдая, как волы, тащившие плуг, щиплют траву. Высоко над долиной кружил ястреб. Гвардини был совершенно счастлив, что может так близко и безмятежно наблюдать природу.

Он не решался нарушить утреннюю тишь. II все же ему очень хотелось высказать что-то, что, видимо, его волновало. Сначала он говорил шепотом какие-то слова, будто собираясь с мыслями. Он не сводил глаз с ястреба, неустанно кружившего в небе. Потом, взглянув на меня, заговорил о смысле жизни, о смысле бытия, о силе и милосердии и о безмятежном, смиренном существовании этих двух волов: день за днем влачат они тяжкое бремя или должны пахать твердую землю, безропотно подчиняясь понукающему хозяину и вожжам в его руке; когда же наступает минута отдыха, они инстинктивно стараются найти среди трав и листьев то, что пойдет им впрок. И ведут они себя так не потому, что это внушили им люди, а потому, что эта потребность заложена в них мирной, заботливой и благостной природой.

Я стал снова пахать. Некоторое время Гвардини наблюдал, как я вожу плуг – взад и вперед, вдоль и поперек, бороздя поле, потом сказал:

– А ведь это, должно быть, прекрасно уметь проложить прямую, ровную борозду!

На этом мы простились. Я, как сейчас, вижу Гвардини, идущего по полю домой. В каком-то из своих философских сочинений он упоминает об этом полднике. Мне доставил большую радость этот обмен мыслями между нами и его глубокое сочувствие простой, практической работе, которая иным людям

представляется чем-то низменным, тогда как она имеет такую же ценность, что и всякое хорошо сделанное дело.

Многое еще можно было бы написать о годах, проведенных в Лойберсдорфе. Кто поймет мои чувства, когда в 1946 году, в рождественские дни, незадолго до Нового года, я снова стоял перед Взгорьем; я стоял перед домом, а рядом валялись заржавленные, красно-бурые обломки жести и стали, останки американского джипа. Я узнал о судьбе соседских детей; сыновья и дочери крестьян Шнейдера, Майера и Файхтнера со своими семьями кое-как перемогаются. Хорошо еще, что сосед Шнейдер – его я уже не застал в живых – купил в свое время наше Взгорье и его большой семье досталось хотя бы удобное и просторное жилище.

Неудавшийся социальный эксперимент

В 1926 году я получил место инспектора в имении Кампель, под Нойштадтом на реке Доссе. Владелица имения, княгиня Блюхер фон Вальштадт, принадлежала к той породе аристократов, которая беззастенчиво злоупотребляла своими привилегиями, ибо Веймарская республика все еще не отняла их у «старинных благородных семейств».

Не желая отказываться от своего крайне расточительного образа жизни, княгиня злоупотребляла предоставляемым ей кредитом; из-за ее нечистоплотных манипуляций не раз попадали в тяжелое положение строительные предприятия, торговцы зерном и картофелем, поставщики сельскохозяйственного инвентаря. Однако, сколь ни мало правдоподобно это звучит, предприниматели дорожили деловыми отношениями с княгиней, ибо она была урожденная княжна Радзивилл, а по мужу находилась в родстве с великим князем Блюхером, о заслугах которого, как известно, может рассказать каждый школьник.

Такую же игру вела она и с властями, начиная с местной общины в административном центре Нойруппине и кончая Берлином. При этом она весьма ловко использовала неясность в вопросе о своем подданстве, каждый раз извлекая из этого для себя выгоду. Она родилась на одном из островов в Ла-Манше. Поэтому она иногда говорила, что не имеет определенного подданства: то объявляла себя француженкой, то англичанкой, немкой или полькой. Превосходно умела она извлекать пользу из своих связей в высшем свете, знакомств с польской и немецкой родовитой знатью, с берлинскими правительственными инстанциями, а также с высшими церковными кругами.

На моем веку мне пришлось познакомиться с различными дворянскими семьями, но нигде я не видел такой обстановки, как в доме этой женщины. Она заводила любимчиков, насаждала

бесстыдное доносительство, поощряла собачью преданность.

Я согласился занять должность в ее имении, так как это посоветовала мне сделать небольшая католическая организация аграрного поселенческого движения, «Крейцфарер ландбунд». Я давно занимался проблемами поселенческого движения, опубликовал много статей по этим вопросам в журнале «Шильдгеноссен». Когда мои друзья из «Крейцфарер ландбунд» искали руководителя для задуманного ими начинания – переквалифицировать безработных вестфальских горняков в земледельцев, – они предложили мне этот пост; меня привлекала такая деятельность, я продал свою маленькую усадьбу и переселился в Кампель.

Правда, это была попытка обеспечить трудом только маленькую группу из армии безработных. Но я не придавал никакого значения малочисленности участников; я видел в этом опыте переквалификации безработных социальный эксперимент; если бы он удался, нашли бы выход из тяжелого положения многие: открылась бы возможность приобрести новую профессию, новые средства к существованию, обеспечить семью, иметь маленькую земельную собственность. Однако княгиня смотрела на это иначе. Она хотела под маской благотворительницы и социального реформаторства эксплуатировать безработных шахтеров, чтобы оказать давление на занятых в ее имении сезонных рабочих-поляков.

Убедившись, что шахтеры не того сорта люди, которых можно подкупить и донимать придирками, она потеряла всякий интерес к этому эксперименту и не выполнила ни одного из своих обязательств перед «Крейцфарер ландбунд». Дополнительные трудности возникли для нас оттого, что в своей борьбе против нас княгиня имела тыловое прикрытие в лице высшего католического духовенства. Некоторые представители католической церкви были не столько заинтересованы в успехе социального эксперимента, сколько в возможности найти точку опоры в местности, где преобладающую роль играет евангелическая церковь. Таким путем католическая иерархия расширила бы сферу своего влияния во всем берлинском районе.

Кончилось тем, что я подал в суд на княгиню. Но судебное разбирательство превратилось в фарс. Все, чего я достиг – это возможности публично заклеймить действия княгини, направленные против рабочих.

Больше всего, конечно, княгиня была разгневана тем, что вопреки ее ожиданиям и расчетам ей не удалось посеять рознь между польскими сельскохозяйственными рабочими и нашими немецкими рабочими. Напротив, между поляками и немцами

завязались подлинно товарищеские отношения. Они просто, по-человечески поняли друг друга. Немцы и поляки проводили вместе вечера и праздничные дни, разумеется, вместе ходили молиться в церковь. Поляки все чаще захаживали к нам в кучерскую. Рабочая казарма, куда поселили жнецов и косарей, была безотрадным местом: холодный, влажный кирпичный пол, мало воды, примитивно оборудованные кухни, где на плите варили все разом: картофель, корм для свиней – и тут же кипятили белье.

Наши рабочие задумали собрать деньги, чтобы хоть немного помочь нуждающимся полякам. Но ставленник княгини, нарядчик, распоряжавшийся жнецами, сорвал это мероприятие. Раатц – так звали этого мерзкого субъекта – имел неограниченную власть над польскими сезонниками. Он каждую зиму вербовал в Польше рабочих на летний сезон в Кампель. Он решал, кто туда поедет, решал, сколько будут платить за работу, решал, кому дозволено болеть, а кому, несмотря на болезнь и слабость, надлежит идти в поле. Он распределял оклад натурой и присваивал львиную часть продуктов, которые хранил под замком в своей кладовой возле конюшен. Он по своему усмотрению разрешал одним ходить в церковь, а другим – нет. Да уж чего больше: он приставал к девушке или молодой женщине, пока та не уступала его желаниям, иначе ей грозили побои, если не худшее.

Конечно, не только княгиня Блюхер эксплуатировала польских сезонных рабочих.

Каждый год в прусском ландтаге происходили горячие дебаты, когда определялась допустимая численность контингента жнецов в косарей из Польши. Хотя в Германии было большое количество безработных, крупные аграрии не ограничивались требованием предоставить им миллионные субсидии, но и добивались разрешения вербовать от 120 до 140 тысяч временных рабочих из Польши. Это была дешевая рабочая сила, и людей этих позволяли эксплуатировать, ни с чем не считаясь, без всякого удержу; ведь в применении к ним оставались мертвой буквой основы трудового законодательства, касавшиеся длительности рабочего времени и тарифных ставок.

Уволен как «неблагонадежный» с национальной точки зрения

Я еще был в имении Кампель, когда вступил в переговоры с дирекцией конного завода Фридриха-Вильгельма в Нойштадте. Казалось бы, самое естественное – именно там искать себе место после неудачного эксперимента у княгини. В это самое время я представил одному депутату партии Центра в прусском ландтаге – хоть я и не принадлежал к этой партии – памятную записку об

устройстве на земле военных старослужащих после выхода в отставку. Я предлагал создать специальные организации, которые готовили бы «двенадцатплетников», сверхсрочнослужащих для практической работы в качестве агрономов. Предполагалось организовать такие предприятия, в частности, в Верхней Силезии. Я должен был участвовать в их подготовке, а потом занять руководящий пост. Но проект этот не удалось осуществить за отсутствием средств, как и многое другое, что пытались сделать, чтобы преодолеть трудности в сельском хозяйстве. Деньги предоставлялись только «Остхильфе» для государственных субсидий восточно-прусским юнкерам.

Планы моего устройства в Нойштадте тоже потерпели крушение, но через несколько недель я стал работать в качестве ассистента на главном конном заводе «Бебербек» под Касселем. Конный завод занимал несколько тысяч гектаров, в поголовье насчитывалось 120 племенных маток и много сотен молодняка лучшей породы знаменитых бебербековских коней. Всем в замке заправлял директор конного завода ландшталмейстер барон фон Нагель.

Автомашина тогда еще не вытеснила из обихода верховых и вьючных лошадей. Было немало крестьян, которые гордились своим «Бебербекером», да и кавалерия рейхсвера ценила этого выносливого, сильного коня, к тому же обладавшего качествами скакуна лучшей арабской породы.

Уже в те годы поговаривали, что в ближайшем к нам окружном центре, в городке Хофгейсмар, формируются отряды штурмовиков и эсэсовцев. В то же время к нам на стол частенько попадала литература, проникнутая совсем иным духом, ярко отражавшая идейные течения, возникшие в Германии после первой мировой войны. Так, мы всегда с большим интересом читали «Хохланд», католический ежемесячник, издававшийся под руководством Карла Мута; этот журнал дал толчок первым дискуссиям среди верующих мирян об отношении церкви к государству и обществу, о контактах между представителями различных христианских вероисповеданий и о возможных реформах.

Тогда же, в Липпольдсберге, расположенном неподалеку от этих мест, по другую сторону Рейнгардтсвальда, в долине Везера, Ганс Гримм написал свой роман «Народ без жизненного пространства», снискавший шумный и опасный успех. Когда я впервые читал его, я находил в образах главных героев особенно живые для меня черты; мне казалось, будто я и впрямь встречал среди крестьян тот же тип людей, что и на страницах книги Гримма, Мельзену и Корнелиуса Фриботта в оторванной от мира

лесной деревушке Готсбюрен. Но тогда еще никто не понимал, какая опасная тенденция кроется в этом «народе без жизненного пространства», идею которого присвоил Гитлер, чтобы обосновать перед другими народами и странами свои абсурдные требования и колониальные притязания.

К этому же примерно времени мы стали получать каждую субботу по почте приложение к «Франкфуртер цайтунг», печатавшей «На Западе без перемен» Ремарка. Чаще всего читали мы Ремарка в бричке по дороге в Хофгейсмар, где находилась наша церковь. Читая, мы забывали о дорожных ухабах, переставали замечать многоликую красоту лесов, с уходящими ввысь макушками деревьев, озаренных утренним солнцем; мы не замечали игры нежных красок и переливов света на пастбищах, которые мерцали, точно светло-серая гладь озера, когда застилавший их туман начинал медленно рассеиваться, вздымаясь над землей. Но пока мы, уткнувшись в газетную полосу, напряженно следили за развитием новой главы этой захватывающей книги, мы ничего вокруг не видели. Строчка за строчкой, фраза за фразой врезались в мозг. В каждом слове, казалось, слышится голос того, кто пережил все это точно так же, как переживал это ты сам. Его терзали те же заботы, та же тоска, что и тебя в долгие ночи и дни. Это говорил человек, говорил, изрыгая проклятия, – такие же вырывались и у тебя, как ты ни стискивал зубы. Человек восставал против того, от чего у каждого человека подчас подкатывал ком к горлу и сжималось сердце.

В памяти моей вновь ожили воспоминания. Я вновь видел, как моя правая рука автоматически тянется к ложу ружья, сжимает его как раз там, где находится спуск курка. «Так, – думал я, – а теперь что? Теперь пускай только выглянет тот, кто сидит по другую сторону окопов, – враг! Что-то он мне подставит: плечо, спину или лицо?» Мне снова вспомнились те доли секунды, которые прошли до выстрела. Но я больше не мог, не хотел вспоминать. Меня охватил ужас. Ведь после войны прошло уже почти десять лет. А может, мое представление о войне и о мире было слишком упрощенным?

Кто наделил Ремарка даром слова, да еще и мужеством и нравственной свободой? Какие силы пробудили в нем жгучую ненависть ко всему, что несет война? Кто вложил в его сердце горячую любовь к жизни и бесстрашие, ибо он не побоялся пригвоздить к позорному столбу губителей жизни?

Должен признаться, после чтения этой книги мысли мои во время святой мессы витали совсем в другом мире.

Даже обряд возношения даров оставлял меня холодным, и священник на кафедре не находил отклика в моей душе. В музыке

органа и песнопениях мне слышались скрежещущие диссонансы неистового грохота боев. А часы и дни этой долгой войны, во время которых накопилось столько зла и мерзостей – мы так несказанно страдали от них, и каждый из нас хоть когда-то, хоть раз говорил: «Хватит!», – эти часы и дни слились в моем сознании в единый огромный сгусток гнева, бунта против войны, против безумного изничтожения народов, – слились сейчас здесь, в храме божьем, как раз в ту минуту, когда там, на алтаре, затянули «Te Deum» – «Тебе бога хвалим». Сейчас здесь, в храме божьем, я понял, почему пацифисты не перестают взывать: «Никогда – войне!» и «Положить конец всем видам вооружения!"; я понял, почему они взывают к памяти матерей, напоминая о разбомбленных школах, о задохшихся там их детях, к памяти мужчин, напоминая о разрушенных предприятиях, об убитых или искалеченных сыновьях.

Я чувствовал свою совиновность, когда эти противники войны воссоздавали перед нашими крестьянами ее страшные картины: пылающие пшеничные поля, тлеющие амбары, вздутые туши убитых животных, а в то же самое время епископы, священники, монахи, монашенки, партии и организации, именовавшие себя христианскими, по-прежнему утверждали, что в войне со всеми ее последствиями нужно видеть предопределение божье, а так как пути господни неисповедимы, то им нужно смиренно следовать.

Но с алтаря уже раздалось: «Ite, missa est"{19}, и хор верующих с чистым сердцем ответствовал: „Deo gratias!“ – Тебе бога славим!»

В разладе с самим собой, с глазу на глаз с такими противоречиями ехал я обратно домой к жене и ребенку в этот воскресный день, омраченный тяготившим меня сомнением: чье слово имеет больший вес для будущего моих детей, слово ли церкви или слово мужественного писателя?

Однажды – кажется, поздним летом 1929 года – к нам приехал тогдашний министр сельского хозяйства Пруссии Штейгер со своими сотрудниками и совершенно неожиданно для нас заявил, что конный завод ликвидируется, поголовье племенных лошадей передается Польше в счет репараций. Весной 1931 года это и было сделано, хотя выдающийся специалист по ветеринарии, ганноверский профессор доктор Опперман, заявил в 1930 году, что все поголовье заражено токсическим малокровием и речь может идти только о полном отказе от использования этих лошадей в целях воспроизведения породы.

Пост директора конного завода занял в замке направленный из Берлина министерством сельского хозяйства крупный чиновник, некий господин Ферш. Преследовал он только одну

цель – получить возможно больший доход от полей и конюшен. Решающей в его глазах была современная техника. Он относился с полным безразличием к судьбе человека, к проблемам, возникавшим в отдельных семьях вследствие перестройки предприятия. Всякий, кто пытался защитить других работников, навлекал на себя его подозрения. Доступ к нему имели только некоторые служащие, его же ставленники. За короткое время этот человек, представлявший собой тип беспощадного начальника, управляющего земельными владениями, и сделавший карьеру в графских поместьях, ввел свой режим на предприятии. Не прошло и нескольких недель, как обнаружилось, что Ферш вдобавок еще и нацист и получил задание помочь организоваться штурмовикам и эсэсовцам в таком глухом месте, как Рейнгардсвальд. А свои собственные малоуспешные попытки завербовать сторонников нацистской партии он замаскировал в 1933 году, пустив в ход характерный для него прием: в апреле он повелел быть местной нацистской организации (в Бебербеке это еще не удалось), объявив штурмовым отрядом резерва и нас, пожарных; дело в том, что за несколько лет до этого я сформировал пожарную команду.

Относился он ко мне как к подозрительной личности с первых же дней. Повод для этого дала ему моя профсоюзная работа в качестве доверенного лица Центрального объединения немецких служащих сельскохозяйственных и лесоводческих предприятий; но пользовался я его доверием еще и потому – и это главное, – что я официально находился в контакте с профсоюзом сельскохозяйственных рабочих, а также был одним из деятелей католического движения. Вскоре после того, как он вступил в должность, между нами произошли бурные столкновения: я требовал довести до конца частично уже проводившиеся меры, целью которых было улучшить социальное положение сельскохозяйственных рабочих; но я и потом продолжал отстаивать интересы сельскохозяйственных рабочих и жнецов, что тоже приводило к стычкам с Фершем. Когда же нацисты захватили власть, он решил, что приспело время расплатиться со мной и мне подобными. Летом 1933 года я получил расчет как «неблагонадежный с национальной точки зрения».

Это означало, что нужно как можно быстрее скрыться подальше от Бебербека и его окрестностей. Пришлось ликвидировать хозяйство, а мебель сдать на хранение. Моя жена с ребенком уехала на первое время в Вестфалию к дедушке и бабушке. Там и появился на свет мой второй сын.

Возвращение на действительную военную службу

И вот я опять ходил отмечаться на биржу труда в Мюнхене,

на Талькирхенштрассе, стоял в длинной очереди с теми, кто только сейчас лишился работы либо еще несколько лет назад, в «черную пятницу» 1929 года. Были там и «аристократы"{20}, которые из последних сил старались сохранить благопристойный вид, но и деклассированные, и завсегдатаи ночлежек – поистине наглядный урок по социальным проблемам, который я никогда не мог забыть! Наконец мне удалось стать на ноги, вступив на путь так называемой независимой свободной профессии. У меня нашлись связи с одним мюнхенским издательством, выпускавшим иллюстрированные путеводители по церквам. Теперь я колесил по всей стране, ездил вдоль и поперек между домами священников, школами, книжными магазинами, секретариатами религиозных организаций и конторами по распространению журналов, стараясь получить заказ. Эта работа вполне сочеталась с профессией страхового агента. Обнаружилось, что директор мюнхенского районного отделения страховой компании „Конкордия“ – капитан в отставке; он-то и согласился взять меня на работу с испытательным сроком.

Странно было мне сперва ходить к пономарям, акушеркам, в семейные дома и задавать всяческие вопросы насчет прибавления семейства. Но только таким образом могла постепенно составиться картотека адресов, нужная страховой компании. Барыш от этого был невелик. В те времена дверь за страховыми агентами просто не закрывалась, они ходили подряд, один за другим. Страховка не соблазняла ни владельцев мастерских, ни коммерсантов, ни тем более крестьян.

Одновременно, чтобы пополнить свой бюджет, я стал писать небольшие заметки для местной печати, совершенно аполитичные, ибо только такие можно было там публиковать. В общем и целом это не был верный хлеб, к тому же от него мало что оставалось в кармане. Большая часть заработка уходила на бензин и еду. Ужин в ресторане никогда не обходился дешево.

И все-таки я не хотел бы вычеркнуть это время из своей жизни. Не было дня, когда бы я не осмотрел досконально какой-нибудь исторический архитектурный памятник, не посетил музея или не встретился с фронтовым товарищем.

Один преподавал в сельской школе и явно был рад, что может, оставаясь в стороне от политических событий, играть роль пусть маленького, но почитаемого вседержителя. Другой засел в маленьком крестьянском хуторе и полностью механизировал свое хозяйство. Один стал нацистом, и самое разумное было не попадаться ему на пути. Другому по милости «коричневых» пришлось испытать то же самое, что и мне, и теперь он с величайшим трудом пытался выбиться, найти новые источники

существования. Многие слышали о том, что возобновился прием на действительную военную службу: рейхсвер нуждается в офицерах, ищет людей с фронтовым опытом. Правда, мы все знали со времен Веймарской республики, что рейхсвер, применяя хитроумную и засекреченную систему подготовки, всегда имел большее количество обученных офицеров, чем полагалось по закону. Но теперь, по-видимому, значительно усилилась эта тенденция использовать рейхсвер в качестве нелегальной кузницы кадров. Иначе нельзя было себе объяснить, почему такое множество офицеров приглашают более или менее открыто вернуться па действительную военную службу. Таким образом, заранее были созданы условия, облегчавшие введение всеобщей воинской повинности в марте 1935 года, которое ознаменовало начало открытой подготовки фашистов к войне.

Все чаще поговаривали о возвращении на действительную военную службу в традиционном союзе лейб-гвардейского полка; он, как и другие традиционные союзы, был объявлен штурмовым отрядом второго запаса. Впрочем, здесь произошел процесс размежевания – такой же приходилось мне наблюдать во время поездок по стране. Бывшие мои однополчане, от которых никто ничего подобного не мог ожидать, стали вдруг ярыми сторонниками Гитлера; он-де и есть тот сильный человек, какой нужен Германии, чтобы выбраться из «трясины Веймарской системы» и снова стать «мировой державой». То один, то другой демонстративно появлялись в форме штурмовиков или эсэсовцев, а потом кое-кто и в форме рейхсверовского офицера. После этого немало членов союза перестали бывать па собраниях. Другие заявляли, что именно сейчас нужно идти в рейхсвер, чтобы там было побольше «безупречных людей"; кто же еще способен поддержать там старый дух? Спрашивали и меня, не собираюсь ли я тоже возвратиться на действительную военную службу. Уговаривал меня и мой бывший командир, барон фон Ридгейм. Куда же это годится – ездить в качестве мелкого агента фирмы по стране, когда снова нужны офицеры! Как раз теперь нам предстоит выполнить в армии задачу особой важности.

Позиция Ридгейма была типична и для офицеров рейхсвера. При Веймарской республике они беспощадно подавляли революционные восстания, а против путчей правых действовали нерешительно или относились к ним терпимо и даже способствовали им. Те цели, которые преследовал Гитлер в своей внутренней и внешней политике, не вызывали в рейхсвере принципиальных возражений. Самое большее, на что они отваживались, – это осуждение фашистских методов, но главное, они были против зависимости армии от штурмовиков и эсэсовцев.

Однако из этого вовсе не следует, что в рейхсвере с самого начала существовали очаги политического сопротивления фашизму. Правда, рейхсвер вначале, как позднее и вермахт, казался «автократичным» и принимал на службу даже таких людей, которые по той или иной причине были у нацистов на подозрении. Немало этих людей, считавших свое возвращение на действительную военную службу некой формой протеста против нацистов, были впоследствии, во время второй мировой войны, вынуждены признать, что стали жертвой рокового самообмана.

И у нас в семье вызвало тревогу мое решение вернуться в армию, и отец никогда не переставал сомневаться в правильности этого решения.

Первого ноября 1934 года я поехал в Графенвер на курсы переподготовки для бывших офицеров. И тут началось сызнова то же самое, что было в 1915 году. Командовали нами капитаны и майоры, среди которых были типичные солдафоны, ограниченные и при этом честолюбивые, самодовольные и разнузданные, что столь свойственно было людям, шедшим в добровольческие корпуса. Эти офицеры грубо вмешивались в строевую подготовку. Пуще всего хотелось мне с первых же дней занятий дать по физиономии майору Хюттнеру, истовому «дрессировщику"; это он хотел нас убедить, что для нас теперь снова пришло время выбросить из головы какие бы то ни было собственные мысли независимо от того, какое у кого образование. Ему доставляло наслаждение шпынять нас, как, наверное, шпынял он новобранцев во время первой мировой войны. Если начальника курсов не было поблизости, Хюттнер и ему подобные отвечали злобным окриком и непристойностями на все попытки напомнить о новых методах воспитания рядового состава, которые были предметом наших нескончаемых разговоров.

В конце февраля 1935 года были сформированы запасные батальоны. Мне присвоили звание капитана запаса. В нашей части мы имели дело с людьми в возрасте от 25 до 35 лет. И все же мы могли сейчас попытаться избавить наших солдат от гнусных унижений, которые приходилось терпеть подчиненным от начальников.

Осенью 1935 года были вновь сформированы кадровые части армии, в том числе и 61-й пехотный полк в Мюнхене, к которому я был прикомандирован в качестве командира роты – 1-й пулеметной роты 61-го пехотного полка.

Три года спустя я был откомандирован в Мюнхенское военное училище в качестве преподавателя тактики. До этого в Северной Баварии и Гессене для будущих преподавателей военных училищ было проведено недельное командирское

занятие на местности под руководством тогдашнего полковника Фриснера; упоминаю об этом только потому, что мне довелось там быть во время всеимперской «Хрустальной ночи», оставившей по себе мрачную память.

На 10 ноября была назначена теоретическая подготовка учения воинских частей. Отправка в Кобург была неожиданно перенесена на раннее утро. По плану предполагался заезд на короткое время в Мейнинген, Вартбург и Кассель. Однако мы обошли, не останавливаясь, эти пункты. Очевидно, мы должны были как можно меньше знать о том, что произошло ночью. Но мы достаточно видели и в небольших селениях, даже в деревнях: разграбленные лавки, вдребезги разбитые витрины, замаранные погромными лозунгами и свастиками фасады домов.

Вместо намеченных по программе учений состоялось командирское занятие на местности близ Винтерберга, южнее Флото-на-Везере; учение продолжалось до вечера. Только ночью на квартирах под Минденом мы узнали в подробностях о «стихийном гневе народа», который вызвало покушение Гершеля Гриншпана на сотрудника германского посольства в Париже Эрнста фон Рата. «Стихийный? – спрашивали мы себя. – Вспыхнувший разом во всей Германии?» И в ответ мы слышали: «Конечно!», «Разумеется», «Это крайности… это весьма прискорбно.. но каждый должен все-таки понять…»

Я думал о мюнхенских друзьях, о товарищах бойскаутской поры, а между тем слух невольно ловил слова: «Офицерский корпус… всегда хранил свою чистоту… евреев никогда не принимали…» А я напряженно думал обо всем этом, вспоминал последнюю встречу с Гансом Пикардтом на Максимилианштрассе, о том, как мне было стыдно… Но я знал наверняка: никакой «стихийной вспышки гнева», все это было организовано!

И, несмотря на это, я молчал, успокаивал себя мыслью, что сам-то ведь я к этому не причастен, что даже друзья-евреи явно не отвернулись от меня… А потом, в 1944 году, я стоял в Майданеке перед печью для сжигания трупов и спрашивал себя:

– Почему же ты молчал? Как можно было все время молчать! Ведь ты был свидетелем всего этого – в 1933-м, в 1938-м. А спустя несколько лет видел и гетто в Варшаве!

Католики и фашизм

Повиновение Гитлеру?

Одним из самых тягостных испытаний для немцев-католиков Германии была занятая с самого начала – за редкими исключениями – неясная позиция высшего католического духовенства по отношению к фашизму. Тогда как большинство священников в сельских и городских приходах мужественно противостояли фашизму, из-за чего многие духовные пастыри томились в концентрационных лагерях, высшее духовенство не выступало с официальным протестом против фашистских преступлений либо выступило с запоздалыми и слабыми возражениями. Это можно сказать и о протестах против преследования инакомыслящих или «чуждой расы» и подавно – о протесте против гитлеровских планов военной агрессии и массового уничтожения людей.

Эта непонятная для многих католиков пассивность католической церкви объясняется, по-моему, тремя причинами. Во-первых, представители высшей католической иерархии, равно как и вся немецкая буржуазия, плохо представляли себе ход общественного и экономического развития после 1870 года, они имели весьма неясное представление об империализме, о зловещей роли германского милитаризма, о предпосылках и корнях фашизма. С другой стороны, высшее духовенство оказалось неспособным противостоять шовинизму с его лозунгом «национального взлета».

Этим, очевидно, объясняется, например, позиция кардинала Бертрама, который был председателем совещания епископов в Фульде, созванного в связи с аннексией Судетской области в 1938 году; полный текст выступления кардинала Бертрама опубликован в «Баварской католической церковной газете» от 6 ноября 1938 года.

«Могла ли католическая церковь – народная церковь в самом высоком смысле – обойти молчанием этот исторический перелом, имеющий такое огромное значение для всех слоев народа?.. Благодарность богу за сохранение мира между народами неотъемлема в ваших общинах от радостного сознания, что вы вновь воссоединены с Германией! Все мы искренне, от души разделяем вашу радость и молим бога, чтобы эти преобразования были плодотворны и послужили на благо всем общинам как в духовной, так и в мирской жизни…»

В этом приветственном слове кардинал Бертрам выразился совершенно определенно:

«Нет надобности напоминать, что новым властям в Германии надлежит оказывать уважение и послушание. Всем вам известны слова апостола: «Всякая душа да будет покорна высшим властям"{21}.

Все это совершенно в духе заявления от имени совещания епископов в Фульде: это заявление, опубликованное 28 марта 1933 года, несмотря на некоторые оговорки, было нами, католиками, воспринято по меньшей мере как «призыв к лояльности». В нем говорилось:

«В настоящее время христиане-католики, для которых слово церкви свято, не нуждаются в особом напоминании о необходимости соблюдать верность законным властям и добросовестно выполнять все гражданские обязанности, решительно отвергая все противозаконные и подрывные действия».

Такая же позиция изложена в заявлении германских епископов в начале войны: епископы призывали солдат-католиков выполнять свой долг, самоотверженно повинуясь фюреру, и не щадить своих сил. В таком же духе писала «Баварская католическая церковная газета» 25 февраля 1940 года:

«Когда же еще, как не во время войны, приходится народу нести на своих плечах столь великие тяготы, когда, как не во время войны, каждый обязан вносить свой вклад? А поэтому мы должны не только как немцы, но и как христиане в согласии с нашей верой поставить на службу народу все свои физические и душевные силы, должны приносить любые жертвы, какие потребуют обстоятельства, должны терпеливо нести свой крест, который нам предназначен».

Наконец – и это, по моему мнению, третья причина пассивности высшего католического духовенства по отношению к фашизму, – конкордат, заключенный Гитлером с Ватиканом через несколько месяцев после захвата власти, лишил церковь маневренности. Только в 1937 году, при папе Пие XI, была опубликована энциклика «С глубокой тревогой». Энциклика привлекла большое внимание, так как кое-где недвусмысленно и резко осуждала многие проявления нацистского режима; однако из нее отнюдь не вытекало, что дело идет к открытому конфликту с фашизмом.

К числу католических священников, подобно Бернгарду Лихтенбергу, Альфреду Дельпу, Максу Иозефу Метцгеру, Альфонсу Марии Ваксману, открыто выступивших против фашизма и оказывавших ему политическое сопротивление, принадлежал и мюнхенский патер Руперт Майер; мои родители и сестры были в дружбе с ним, а также с патером Дельном. Они

часто вместе размышляли о том, что должны католики предпринять против нацизма. Мой отец с самого начала считал, что церкви необходимо совершить такой шаг, который взбудоражил бы не только Германию, но и всю мировую общественность. По его мнению, самым действенным средством было бы немедленно объявить интердикт (запретить богослужение). Вероятно, такая мера вызвала бы сильное сопротивление и известной части католиков. Ведь интердикт, между прочим, – это запрет звонить в колокола, совершать торжественное богослужение, обряд бракосочетания, похороны по церковному обряду. Тем не менее, эти соображения моего отца весьма знаменательны, они свидетельствуют о том, как ждали и надеялись люди, что католическая церковь все-таки выступит с официальным протестом против злодеяний фашизма.

Встречи с епископами

По мнению многих, представителем антигитлеровской оппозиции внутри церкви был, как и мюнстерский епископ Клеменс Август фон Гален, берлинский епископ граф Прейсинг, впоследствии кардинал.

Я несколько раз встречался с его родственниками. Брат Кардинала, Каспар, граф Прейсинг, во время первой мировой войны служил со мной в одном полку и был убит почти рядом со мной в бою под Эпеи в Северной Франции. Мы очень хорошо относились друг к другу, тем более что его братья-священники бывали в доме моих родителей.

После первой мировой войны я часто встречался с другим братом кардинала, графом Прейсингом, ставшим впоследствии пробстом; мы познакомились в Ландсхуте, где он возглавлял крупное церковное управление. Позднее он сочувственно отнесся к моему желанию издавать и распространять хорошо оформленный путеводитель по церквам, горячо рекомендовав это издание священникам своего округа.

С самым выдающимся представителем этой семьи Прейсинг я познакомился после моего возвращения на действительную военную службу. В апреле 1935 года наш вновь укомплектованный в Графенвере учебный батальон был размещен в Эйхштетте на реке Альтмюль. Во второе же воскресенье после приезда наш маленький офицерский корпус явился с официальным визитом к эйхштеттскому епископу, графу Прейсингу; за этим посещением последовали и другие. С нашей стороны это была своего рода демонстрация против козней гаулейтера Юлиуса Штрайхера, который был врагом и евреев, и церкви. По таким же соображениям я сразу же согласился эскортировать с взводом своей роты святые дары во время

крестного хода в день праздника тела Христова, что вызвало даже некоторую сенсацию. Мы совершенно сознательно поддержали население, воспротивившееся попытке Штрайхера снести древнейший крест покаяния{22}, когда гитлеровцы сооружали на этом месте свой Тингплац{23}. Я испытал большое удовлетворение, наблюдая при «освящении» Тингплаца, как над пылающими кострами, зажженными в Иванов день, по-прежнему высился крест, а у его подножия бесновался гаулейтер.

Епископ Прейсинг относился к нацизму весьма холодно, но, конечно, не обладал качествами борца; у него не было ничего общего с Каспаром Прейсингом, который был живым, увлекающимся человеком. По моему мнению, епископ в глубине души оставался убежденным монархистом и сохранил иллюзии, веря, что час монархии вновь настанет. Тем не менее в октябре 1943 года, вскоре после основания Национального комитета, я написал из Лунева графу Прейсингу такое же письмо, какие я направил папе Пию XII, кардиналу Фаульхаберу, епископам графу Галену и Вильгельму Берингу и многим другим церковным деятелям. В 1945 году граф Прейсинг подтвердил мне, что мое письмо дошло до него.

Моя семья поддерживала знакомство и с другим князем церкви Фаульхабером – впоследствии он стал кардиналом. Будучи войсковым епископом, он снискал в 6-й баварской армии уважение, так как по своей природе обладал всеми качествами, нужными для того, чтобы стать популярным священником в военном мундире. Он охотно проводил время среди «своих» солдат, а в проповедях, ясных и доходчивых для простых людей, не чурался крепкого словца и народных выражений, которые часто входили в поговорку. Он считал особенной честью для себя, что был первым католическим епископом, получившим Железный крест.

Фаульхабер поддерживал тесную связь с ветеранами своего 9-го пехотного полка Вреде; традиционный Союз ветеранов этого полка был, как и другие, создан уже в начале января 1919 года, следовательно, во время революционных событий в Баварии. Фаульхабер был убежденный монархист, придерживался он этих взглядов, будучи патером и епископом, но и позднее, когда троны рушились и короли были свергнуты.

Поэтому не удивительно, что «подрывные элементы», и, прежде всего коммунисты, были, с его точки зрения, самыми заблудшими и самыми опасными людьми и сам бог велел бороться против них.

Иллюстрацией того, как далеко зашли и мюнхенские католические круги в поддержке гитлеровского фашизма, может

служить хотя бы «Мюнхенская католическая газета», которая 19 ноября 1939 года, стало быть, после «попытки покушения па фюрера», опубликовала следующий верноподданнический адрес:

«Торжественная месса в соборе 12 ноября завершилась пением „Te Deuni“, дабы от имени епархии возблагодарить провидение, спасшее фюрера от преступного покушения на его жизнь. Преисполненные признательности, все прихожане общины единодушно спели гимн благодарности и ликования. Мы, христиане католического вероисповедания, вкупе со всем немецким народом горячо желаем лишь одного: да хранит господь фюрера и народ».

Когда в декабре 1946 года я навестил кардинала Фаульхабера в Мюнхене, у меня создалось впечатление, что выпавшее на его долю тяжкое бремя ответственности и пережитый им столь горький опыт не прошли для него бесплодно. Он передал через мою мать, что хотел бы узнать от меня подробно о Национальном комитете «Свободная Германия». Разумеется, я заговорил и о том, как мы относимся к сотрудничеству с коммунистами. Он признал, что оказавшиеся в Советском Союзе немцы, верующие христиане, совершили благое дело в «этой организации», как выразился он о Национальном комитете. До сих пор он считал – и такой взгляд широко распространен, – что коммунисты – это чаще всего анархисты, люди, которые лишены кровной связи с родиной и не питают преданности к отечеству. Очевидно, заметил он, у меня сложилось несколько иное впечатление. Он высказался вполне одобрительно о связях между евангелическими и католическими священниками в Национальном комитете и дал понять, что уже последние два года войны получал информацию о деятельности Национального комитета и знал о моем письме из Лунева.

Я приехал тогда из Советской оккупационной зоны. Вопросы, которые в этой связи мне задал кардинал, со всей очевидностью свидетельствовали, что и на его ближайшее окружение воздействует множество лживых сведений и предрассудков, из которых оно и исходит в оценке избранного нами нового пути. Правда, он пожелал нам успеха и благословил на выполнение тех задач, которые мы перед собой ставили. Однако это следовало, пожалуй, понимать так, что мы как бы миссионеры на опасном, передовом посту, быть может даже обреченные.

О работе Национального комитета я примерно тогда же информировал берлинского викарного епископа, д-ра Винкена; напрашивается сравнение между реакцией Фаульхабера и спокойной, ясной, проникнутой оптимизмом и доверием позицией д-ра Винкена. Он считал, что пост епископа обязывает его первым убедительно показать верующим, как нужно в нашем

обществе строить отношения между христианами и неверующими людьми. Известно, что епископ Винкен долгие годы был священником в Эрмланде; там он имел возможность изучить проблемы человеческих отношений и церковные проблемы в таких районах Германии, где всегда требовалось найти правильный подход к соседу, брату по ту сторону границы, к своему ближнему «на другой стороне».

Епископ Винкен никогда не исходил из того, что между христианами и нехристианами существует непреодолимое противоречие; он не сомневался, как иные люди, в возможности непредубежденного и искреннего сотрудничества между всеми гражданами, участвующими в восстановлении Германии. Намеренно и демонстративно он разрушал барьеры, разделяющие христиан обоих вероисповеданий, принадлежавших к католической и лютеранской церквам. Он говорил со мной об этом в соборе в Баутцене, в той церкви, где католики и лютеране отправляли богослужение под одной крышей, под одним и тем же крестом, где была удалена разделяющая их решетка на алтаре, чтобы сделать наглядный и убедительный шаг к созданию подлинной общины.

Между прочим, епископ Винкен, хотя к нему многократно обращались с назойливыми требованиями переехать на постоянное жительство в один из западных секторов Берлина, пожелал – как он мне не раз говорил – остаться в столице ГДР, в Берлине-Бисдорфе. Как будто бы мелочь? Может быть, а может быть, и нет. Простые люди относятся с особенной чуткостью и пониманием к подобным решениям чисто «личного характера», ибо этот образ действия становится для них стимулом и моральным критерием в их собственном поведении. Они всегда будут благодарны епископу Винкену за то, что он помог другим принять правильные решения.

Скажу еще несколько слов о совсем другом событии, касающемся политики католической церкви в нацистские времена. В 1938 году совершенно неожиданно для католической общественности была создана новая должность священнослужителя в гитлеровском вермахте. Франца Йозефа Рарковски назначили католическим войсковым епископом. Однако этот ход Гитлера имел лишь частичный успех. В подавляющем большинстве верующих католиков не вызвала сочувственного отклика вновь созданная епархия под знаком свастики. Да и вообще в этом мероприятии видели лицемерный маневр, сознательную попытку ввести людей в заблуждение. Однако совещание епископов в Фульде, видимо, считало, что это придаст больший вес католической церкви, облегчит возможность

осуществлять ее пожелания и требования, а также обеспечит выполнение пастырских обязанностей католическими священниками в вермахте.

К сожалению, скоро обнаружилось, что и богослужение в гарнизонах, а затем и пастырская деятельность на фронте стали орудием нацистской идеологии. Нацисты могли лишь радоваться тому, что католические полковые священники распространяли, грубо приукрашивая или без комментариев, пастырские послания войскового епископа Рарковски; таково, например, его заявление в начале войны, где, в частности, говорилось:

«Каждый из нас знает, что в эти бурные дни дело идет о жизни нашего народа; и каждый, кто вносит свой вклад в это дело, видит пред собой блистательный образец подлинного борца, какой являет собой наш фюрер и верховный главнокомандующий, первый и отважнейший солдат велико-германского рейха, ибо он теперь с вами, на передовой линии огня».

После апологии фюрера и восторгов по поводу нападения на Польшу Рарковски летом 1941 года в своем обращении приветствовал войну против Советского Союза, причем говорил почти на нацистском жаргоне:

«Кто же усомнится в том, что отныне немецкий народ „стоит в центре Европы“ и что содержание этого понятия выходит далеко за рамки географических или геополитических представлений? Как это не раз бывало в истории, Германия снова стала спасительницей Европы, ее передовым борцом. Поэтому я сегодня могу, не впадая в преувеличение, сказать, что вы, подобно древним меченосцам, должны выполнить на Востоке единственную в своем роде великую задачу, которая будет иметь для нашего народа, для Европы, да и для всего человечества огромные, сейчас еще необозримые последствия…»

Разговаривая с католическими полковыми священниками, я пытался узнать, какого мнения они об этом вызвавшем столько споров католическом войсковом епископе; но отвечали они почти всегда уклончиво или напоминали мне, что долг послушания пастыря обязывает его уважать это облеченное властью лицо, как и всякую власть.

В первые годы после войны я заговорил на эту тему с епископом Винкеном. Он нахмурился и, покачав головой, заметил, что, очевидно, нацистам удалось и внутри католической церкви, то есть вне сферы их политической власти, найти опору в человеке, который во многом схож с Тисо, словацким клерикалом-фашистом.

Нападение

Начало войны

Первое сентября 1939 года. Окна моего кабинета в Мюнхене широко открыты. Невозможно отгородиться от такого прекрасного дня позднего лета. Нажимаю кнопку радиоприемника – и сразу на полную мощность: а с 5.45 ведется ответный огонь». Объявлена война Польше! Значит, все-таки началось! Уже несколько недель шли споры, высказывались сомнения по поводу рискованной политики на грани войны, которая в 1938 году привела к аннексии Австрии и Судетской области Чехословакии, в 1939 году – к уничтожению чехословацкого государства и занятию Мемельской области, добром это не кончится! В конце концов, наступит развязка! Обсуждали англо-французские «гарантии» Польше и советско-германский договор о ненападении – и вот теперь все-таки! Все-таки снова война! Вспомнились ужасы первой мировой войны: убитые, стоны раненых, выжженная земля, на которой еще и теперь, через двадцать лет, видно, где бушевали бои с массовым применением всех видов тяжелого оружия. Снова война! Во имя чего?

Я бросаю взгляд на свой письменный стол, рабочее место преподавателя тактики в Мюнхенском военном училище. Здесь навалены обширные материалы для работы о наступлении на «укрепленные районы», то есть на оборонительные сооружения «противника». Значит, я заблуждался, надеясь, что когда-нибудь политика провокаций прекратится и мир стабилизуется. Мне были известны планы боевой подготовки вермахта{24}, и я знал, с какой целью идет подготовка офицерских кадров. Когда в марте 1938 года мы вторглись в Австрию, полковник Пюрнхауэр, командир 61-го пехотного полка, сказал мне: «Добром это не кончится, Штейдле!» Так оно я получилось.

Мюнхен сентября 1939 года отражал общее настроение. Не было и следа воодушевления, какое было в первые недели августа 1914 года. На улицах не пели «Германия, Германия превыше всего», или «Держитесь крепче в гуще боя», или «Призыв раздался, подобный грому». На этот раз мы вступали в войну без шума, озадаченными; только горе жен и матерей было таким же, как раньше.

В саперном училище в Дессау-Росслау

Первый год войны – до 31 декабря 1940 года – я в качестве преподавателя тактики был прикомандирован к саперному училищу в Дессау-Росслау, начальником которого был тогда

полковник Медем. Как единственному здесь преподавателю тактики мне пришлось практически сталкиваться со всеми предметами, которым обучались будущие офицеры. Основное внимание уделялось преподаванию теоретических и практических знаний по ведению боевых действий совместно с поддерживаемыми войсками в основном для наступления на «укрепленные районы». При этом особое внимание обращалось на тактическое использование всех родов оружия, поддерживающих наступающую пехоту, особенно на взаимодействие с саперами и на использование современных средств ближнего боя. Это дало мне возможность написать довольно большую работу о подготовке и проведении наступления на один из участков линии Мажино{25}.

Другая работа была посвящена вопросу использования разработанных к тому времени в Дессау-Росслау кумулятивных зарядов, служивших главным образом для подрыва броневых башен танков. В 1940 году, когда блицкриг против Франции был начат воздушно-десантными операциями в Бельгии и Голландии, причем данные Гитлером в 1939 году гарантии нейтралитета Бельгии и Голландии были грубейшим образом нарушены, я получил задание дать тактическую оценку одного из первых боев: внезапного нападения на бельгийский форт Эбеи-Эмаэль.

Опыт, приобретенный во время преподавания в военных училищах, позволил мне позднее, во время боев в Советском Союзе, критически оценивать требования, предъявлявшиеся высшим командованием действующим войскам, а также необходимый для их выполнения уровень тактической подготовки.

Среди слушателей училища в Дессау-Росслау был и китайский капитан Чан Веко, сын Чан Кай-ши, который хотел в Германии совершенствовать свои военно-технические знания. Впервые я встретил его во время учебно-показательной поездки всех училищ в восточные пограничны районы. Я показал ему тогда поле исторической битвы в 1410 году{26}, а также объяснил ему ход боев под Танненбергом в 1914 году. Впрочем, капитан Чан Веко был не единственным китайским офицером, обучавшимся в немецких военных училищах. Мы готовили из них главным образом специалистов по современным родам оружия. Очевидно, это сотрудничество было связано еще с соглашениями, которые в свое время были заключены между рейхсвером и Чан Кай-ши. Как известно, в двадцатых годах многие офицеры рейхсвера служили инструкторами в буржуазной армии китайского маршала и передавали здесь свой опыт «гражданской войны», накопленный в борьбе против немецкого рабочего класса.

Операция «Морской лев» – крупный отвлекающий маневр

В феврале – марте 1941 года – к этому времени меня как подполковника и командира батальона перевели в мюнхенский 61-й пехотный полк – я участвовал в крупных войсковых учениях на побережье Бельгии и Голландии. Все мы предполагали, что это подготовка операций «Морской лев», как называли тогда план высадки в Англии. Позже нам стало известно, что «Морской лев» был; отменен еще в октябре 1940 года и что наши учения должны были служить маскировкой запланированной агрессии против Советского Союза. Тогда, однако, никто не знал характера и степени трудности поставленных задач, требовавших от нас, «сухопутных крыс», огромных усилий. Не оставалось никаких сомнений в том, что идет тренировка к «прыжку через канал"{27}.

Кульминацией было двухдневное учение, во время которого батальоны в полном боевом снаряжении, усиленные легкой артиллерией, тяжелыми минометами, противотанковыми и пехотными орудиями, обучались погрузке на двух и четырехтысячетонные транспортные корабли и выгрузке с них. Кроме того, на берегу канала – с учетом отливов и приливов – мы практиковались в буксировке понтонов с полной нагрузкой, а также в высадке пехоты. Хотя именно в прибрежных городах разведка противника действовала превосходно, мы лишь один раз подверглись налету английской авиации.

Обер-лейтенант Вечурек

Знойное марево плыло над бараками, выстроенными вблизи одного из внешних фортов на северо-востоке Варшавы. Июньское солнце палило весь день. Тень от немногих деревьев не могла помешать тому, что с покрытых толем крыш начала капать смола. Нас угнетало, однако, другое: присутствие эсэсовца, приданного несколько дней назад штабу моего батальона. До сих пор мы не стеснялись и не скрывали в своем кругу наших сомнений по поводу происходящих событий. Теперь надо было держаться иначе. Вечурек – так звали присланного из мюнхенского штаба СС обер-лейтенанта – весьма скоро дал нам это почувствовать. По отношению к нам он держался подчеркнуто предупредительно, но если хотел добиться выполнения своих требований от фельдфебеля из штаба батальона, то становился строг и отдавал приказания резким тоном. Очевидно, ему хотелось подчеркнуть свое особое положение. Это проявлялось и в том, что он сплошь и рядом применял нацистский жаргон, задавал провокационные вопросы. Однако на нас это совершенно не действовало. За последние месяцы, когда наш полк находился между Брюсселем и Антверпеном в резерве главного командования, мы, офицеры, крепко сдружились.

Прошло несколько недель напряженной учебы. В соответствии с приказами она проводилась главным образом ночью и на рассвете и завершалась командно-штабным учением, во время которого средний и младший командный состав знакомился с рельефом местности и дорогами в районе, простиравшемся до Буга. Стали поговаривать, что мы готовимся к наступлению на Советский Союз.

В начале мая умер мой отец. Я получил краткосрочный отпуск. Возвращаясь из Мюнхена, я остановился в Вене. Меня интересовало, как венцы относятся к третьему рейху. Теперь их отношение значительно изменилось. Заметное внутреннее сопротивление привело к тому, что Гитлер основательно прижал «вернувшихся в лоно рейха». Во все войсковые штабы австрийской армии были направлены нацисты, офицеры всех чинов и родов оружия. Военное училище в Вене было превращено в цитадель верных Гитлеру командиров и преподавателей военных дисциплин.

Находясь в Мюнхене, я встретился в штабе VII военного округа со старыми друзьями, сослуживцами времен первой мировой войны, в том числе с одним близким приятелем. Перед моим отъездом он тайком передал мне новейшие карты. Они говорили сами за себя: это были карты Советского Союза до Урала. В полку эти материалы вызвали своего рода сенсацию. Появился Вечурек и начал хвастать своей осведомленностью о намерении Гитлера экономически раздробить «русский колосс» и лишить его духовной самостоятельности. Эта сторона плана «Барбаросса», казалось, была известна ему во всех подробностях.

Варшавское гетто

Нас угнетала, однако, не только мысль о том, что в недалеком будущем предстоит, вероятно, нападение на Советский Союз. Еще больше действовала на нас вся атмосфера в Варшаве. Конечно, мы все, одни больше, другие меньше, слышали кое о чем – об «окончательном решении» еврейского вопроса, об истреблении всех противников фашизма. Кое-что мы даже видели и делали: в первую мировую войну и на Западном фронте во вторую, но Варшава – это было нечто совершенно иное.

Трамвай шел тогда, не останавливаясь, через гетто, ту часть города, куда согнали евреев и куда военнослужащим вермахта входить было строго запрещено. Однако и так можно было увидеть, что там происходит нечто ужасное. Вечурек, впрочем, считал, что это только начало и что не то еще будет потом. Всех евреев загонят в гетто и тогда… При этом он злобно улыбался.

Геббельсовская пропаганда преступным образом раздувала неизбежные осложнения, вытекавшие из катастрофических

условий жизни этих истерзанных и измученных людей, и лживо выдавала их за доказательство «вырождения» и «упадка» людей еврейской национальности. Действительность была иной. По некоторым признакам можно было судить, что обитатели гетто, несмотря на все унижение, старались сохранять порядок, внутреннюю стойкость и твердость духа. Тот, кто видел их глаза, мог понять всю их страстную, грозную ненависть против тех, кто, выполняя волю Гитлера, уничтожал сотни тысяч людей, пытаясь предать забвению даже тот факт, что они существовали. В каждом доме, в каждом помещении от погреба до чердака день за днем разгорался священный огонь ненависти против извергов, возносились мольбы к богу о мести тем, кто в смысле Ветхого завета принадлежал к носящим на себе печать проклятия. Такова была атмосфера, в которой в 1943 году разгорелось героическое восстание Варшавского гетто.

Мой командир полка, полковник Пюркхауэр, относился ко всему этому так же, как и я. До сих пор мы старались не замечать эту сторону фашизма, террор против других народов и против инакомыслящих. Теперь же она все больше затрагивала всю глубину души. От этого нельзя было отделаться ни сидя в одном из многих кафе, где звучала веселая музыка, ни перед знаменитым памятником Шопену, ни даже в церкви, где в любое время дня сотня верующих ставили свечи перед иконами.

Примерно раз в два дня мы маршировали мимо охранявшегося эсэсовцами лагеря арестованных па окраине Радзимина. За трехметровой высоты заборами из колючей проволоки, тянувшимися вдоль улицы, толпились сотни жалких фигур, моливших о хлебе – только о хлебе, хлебе, хлебе. Все мы замолкали, солдаты старались не смотреть по сторонам; когда этот участок оставался позади, большинство вздыхало с облегчением.

В начале июня мне пришлось быть заседателем на одном из процессов в военном трибунале дивизии. Обвиняемым был немецкий солдат – ему было примерно 22 года. Он ограбил польскую женщину, зверски изнасиловал ее, а затем убил поленом.

Это был единственный случай, когда в судебном разбирательстве мне пришлось участвовать в решении вопроса о жизни или смерти. Не скрою, что я еще долго переживал этот процесс: во-первых, из-за смертного приговора и, во-вторых, из-за деталей процесса. Нашлись свидетели, которые, пытаясь облегчить участь обвиняемого, заявляли, что он лишь потому совершил преступление, что не был закален «от многих деморализующих явлений многомесячного периода оккупации».

Как можно было искать оправдания и объяснения такому чудовищному преступлению? И что означали «деморализующие явления многомесячного периода оккупации»? Безделье или все то, что происходило в гетто, в эсэсовских лагерях, в конце концов, в любом польском городе, в любой польской деревне: поляки были бесправными, вне закона; ведь это же были славяне, «унтерменшен» – люди низшей расы, они не имели права на жизненное пространство, да и на то, чтобы жить… Не в этом ли и были корни деморализации? И кого надо было считать подлинными преступниками?

Марш к границе

В середине июня мы получили приказ провести рекогносцировку вблизи границы. В столовой разговор шел вокруг договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, заключенного в августе 1939 года. Мы все еще верили, что Гитлер будет соблюдать этот договор. День за днем в Германию шли из России поезда с зерном. Нарушение договора затронуло бы продовольственное положение Германии.

Восемнадцатого июня моему полку было приказано в течение 24 часов реквизировать в точно обозначенном районе 600 лошадей с телегами. Акция была внезапной и сначала выдавалась за полицейско-ветеринарное мероприятие. Уже в четыре часа утра населенные пункты, были окружены, и, следовательно, угнать лошадей было невозможно. Крестьянам было приказано в течение одного часа доставить лошадей для определения их пригодности к использованию. Затем начался отбор. Годных лошадей забирали, оставлялись только старые клячи. То же происходило с телегами. Теперь каждая рота получила дополнительно гужевой транспорт. Ставилась цель гарантировать наивысшую степень подвижности на открытой местности, в стороне от больших дорог и – если понадобится – по бездорожью. Разыгрывались душераздирающие сцены, Крестьяне были в отчаянии. Предстояла уборка урожая, а что можно сделать без лошадей и повозок?

Следующей ночью оружие, снаряжение, продовольствие, медикаменты и саперное имущество были погружены на эти повозки. Началось движение.

В ночь на 20 и на 21 июня полк в два перехода занял позиции восточнее Буга, севернее Малкини.

Однако почти никто не верил, что положение столь серьезно. И в прошлом не раз случалось, что Гитлер добивался своего путем военных демонстраций. Сомневаться мы стали лишь после того, как нам передали сообщение, что несколько отмобилизованных советских армий вплотную подошли к границе и что вот-вот они начнут наступать. Дошли также слухи о

диверсионных актах. Однако штаб дивизии почти ничего не знал ни о противнике, ни о том, как наше командование оценивает обстановку в целом.

После перехода у Вышкува железнодорожной линии Варшава – Остроленка ночной марш был проведен в условиях полной секретности. Из Брока наш полк уже в развернутом виде, то есть с двумя батальонами в первом эшелоне и с третьим в резерве, после исключительно тяжелого перехода по пересеченной местности вышел на исходные позиции западнее железнодорожной линии Маткиня – Острув. Так как требовалось подтянуть роты как можно ближе к советским пограничным заставам, то уже примерно за пять километров до границы все огни гасились, собаки вылавливались. Населенные пункты и хутора прочесывались.

Вечером 21 июня командирам на последнем оперативном совещании в штабе дивизии у Брока был объявлен приказ Гитлера о наступлении.

Теперь настал «великий час» для Вечурека, выполнявшего обязанности второго офицера для поручений. Он буквально упивался «исторической миссией Германии», в выполнении которой ему предстояло участвовать.

Как я установил из многочисленных бесед с унтер-офицерами и солдатами, в войсках не было никакого представления о «миссии Германии». Настроение было скорее подавленным, чем бодрым, и притом не только у молодых солдат, впервые вступавших в бой, но и у тех, кто уже «нюхал порох». Огромные пространства Советского Союза представлялись им сплошной загадкой. Лишь немногие, в частности старые офицеры – участники первой мировой войны, спокойно ждали развития событий.

На выданных нам полевых картах была обозначена глубокая, хотя и не сплошная, советская оборонительная система. Данные о ней якобы удалось установить в результате последних разведывательных полетов. Однако ничего не было известно о характере отдельных оборонительных сооружений и о том, заняты ли они войсками.

Ночь была ясной. Отчетливо было слышно, как идут поезда по двухколейной дороге Варшава – Белосток – Вильно{28}. Конные обозы выдержали первое испытание, хотя дорога третьей категории до Брока по всей ширине была занята марширующими колоннами, что вело иногда к созданию пробок.

Все приготовления к быстрому преодолению пограничных застав были закончены. Наши батальоны должны были сначала, двигаясь на левом фланге между полотном железной дороги и

низиной Брока, выйти к Зарембам, а Затем по течению реки достигнуть высоты между Шуль-0орже и Андреевом.

Задачи дня для частей, вводимых в бой у местечка Нур, а также для танкового соединения, наносящего удар из района Острува, сообщены нам не были. Мы предполагали, однако, что 2-я и 3-я танковые группы, наступая вместе с 9-й и 2-й армиями, поддержанные 4-й армией, глубоко вклинятся в район оперативного развертывания противника, чтобы отрезать его войска от тыла. Подобная тактика уже была применена во время похода на Польшу. Кроме того, мы рассчитывали на успешные действия подвижных частей в направлении на Белосток. Каждый сознавал серьезность положения. Задача как можно ближе и незаметно подойти к советским пограничным заставам была выполнена.

22 июня 1941 года, 5 часов 30 минут

На следующее утро в 5.30 вдоль всей границы начался артиллерийский огонь небывалой силы. Подавлялся каждый объект, который мог служить обороне. Одновременно немецкая авиация начала массированные налеты. Все это говорило о том, что началось тщательно и заблаговременно подготовленное вторжение.

Через несколько минут после начала артиллерийской подготовки вспыхнули пожары. Находившиеся на советских пограничных заставах передовые части были быстро опрокинуты. На моем участке никакого сопротивления не было. Только со стороны Малкини был слышен шум пехотного боя, и раздавались взрывы. Непрерывно почти на бреющем полете над нами летели на Восток эскадрильи и отдельные бомбардировщики.

Как и капитан медицинской службы доктор Бергманн, я следовал с батальоном верхом на коне. Вскоре мы достигли высоты с пологими склонами и тригонометрическим знаком. Тут, наверху, мы увидели первого и за эти часы единственного мертвеца: пожилого сержанта-пограничника в оливково-зеленом обмундировании.

Через километр наше продвижение было на некоторое время остановлено огнем из пулеметов и винтовок. Вскоре наша головная походная застава наткнулась на недостроенные легкие полевые укрепления. Солдат в них уже не было. По всему было видно, что стройка началась недавно. Вокруг валялись мотки колючей проволоки, деревянные колья, скобы, доски и мешки с цементом. Мы были поражены увиденным. Ничем не подтверждалось, что готовилось нападение, которое мы предупредили. Где же противник, о котором геббельсовская пропаганда твердила, будто он приготовился смять нас

невиданной массой людей и вооружения?

Когда наш полк подошел к Шульборже, первому крупному населенному пункту в нашей полосе наступления, то ожидалось, что там мы встретим организованное сопротивление. Однако ничего не произошло. Штаб дивизии приказал нам как можно быстрее двигаться дальше, мимо населенного пункта.

Однако в последующие дни картина изменилась. Наше продвижение нарушалось и замедлялось упорным сопротивлением советских воинских частей, которые дрались с исключительным умением. Неожиданно и, несмотря на явное превосходство фашистской авиации, советские истребители с необычайной смелостью атаковали с бреющего полета наши пехотные части, с трудом продвигавшиеся через поля, леса и болота. Они носились над безграничными березовыми лесами, чуть не задевая верхушки деревьев, обстреливали проселки и тропы, сея панику в немецких войсках.

Еще до того, как мы достигли окраин Минска, стало ясно, что перед нами серьезный противник.

Предательское нападение на Советский Союз, являвшееся нарушением норм международного права, с первых же часов вызвало страшные разрушения и неописуемые бедствия населения. Повсюду виднелись сгоревшие деревни, скорбно поднимающиеся к небу печные трубы, на развалинах – женщины, дети, старики и старухи, с отчаянием копавшиеся в мусоре в надежде найти ведро, кастрюлю или казанок для варки пищи, – на большее рассчитывать не приходилось. Здесь и там женщины перевязывали своих раненых детей.

Эти картины забыть невозможно. Впервые я пережил первый день войны на фронте, впервые я увидел, что несет вторжение мирному населению, на которое обрушивается огонь артиллерии и жестокая бомбардировка с воздуха.

Первые дни фашистского нападения на Советский Союз позволили мне распознать ложь о превентивной войне, а также опровергли другие лживые утверждения пропаганды. После отражения одной из атак противника я оказался ночью в полуразрушенной деревенской школе. Из груды валявшихся книг я наугад вытащил одну. Здесь раньше была библиотека, которую варварски уничтожили. Это были стихотворения Гейне на немецком языке. И я вспомнил утверждения пропаганды о «бескультурье коммунистической России».

Битва под Москвой

Через Березину

План «Барбаросса» предусматривал молниеносный разгром СССР. Была поставлена задача в течение нескольких недель уничтожить советские армии. Предусматривалось взять Ленинград и Москву, а также занять важный в военно-экономическом отношении Донецкий бассейн. Конечной целью операции был выход на линию Волга – Архангельск.

«Зеленая папка» Геринга дополняла этот план детально разработанными мероприятиями по экономическому ограблению Советского Союза. Такие секретные приказы, как пресловутый приказ о комиссарах от 6 июня 1941 года или приказ Рейхенау от 10 октября 1941 года{29}, служивший образцом и для приказов других командующих, должны были обеспечить, чтобы война против Советского Союза велась «беспощадно и не считаясь с международным правом». Результатом были бессмысленные разрушения, террор против гражданского населения, жестокое обращение с военнопленными. В Милятине мы узнали, что там согнали сотни женщин, детей и стариков в церковь, завалили выходы и несколько дней держали запертых без пищи. После этого завершить уничтожение было нетрудно: предварительная отсортировка была уже проделана. Так комментировал обер-лейтенант Вечурек эту страшную акцию. Вообще он старался преподать нам урок, как надо толковать эти приказы. Когда советских солдат приводили в штаб батальона, он вытаскивал из кобуры пистолет и угрожал пленным расстрелом. Обрушиваясь с площадной бранью на пленных, он в поисках документов рвал на них гимнастерки. Любой обнаруженный клочок бумаги с какой-нибудь печатью он считал «комиссарским пропуском». «Прикончить немедленно!» – орал он, Вечурек отлично понимал, что думают о нем и о его поведении большинство из нас. Быть может, это и удерживало его от того, чтобы такие приказы приводились в исполнение в нашем присутствии.

Несмотря на то, что режим террора действовал быстро и успешно и что экономическое ограбление шло своим чередом, стратегическую цель плана «Барбаросса» выполнить не удалось. Красная Армия не была уничтожена, хотя в приказе по группе армий «Центр» от 8 июля командующий, генерал-фельдмаршал фон Бок, называл двойную битву за Белосток и Минск{30} завершенной и приводил головокружительные цифры пленных и трофеев. Мы прекрасно знали, как определялись потери противника: цифры подправлялись и приукрашивались. И в

нашей дивизии стали вносить в графу «захваченные и уничтоженные танки» любой простой бронетранспортер на гусеничном ходу, предназначенный лишь для перевозки орудийной прислуги. В этом характерном для нацистской пропаганды раздувании сообщений о победах отдельные полки и даже батальоны старались превзойти друг друга. Между тем мы на каждом шагу убеждались, что противник не сломлен.

Три танковые дивизии – 10-я, 17-я и 18-я, – опередив VII армейский корпус и, следовательно, 7-ю дивизию, в которую входил наш 61-й полк, вырвались в начале июля к Березине у Борисова. К этому времени, охватывая Минск, с севера повернули 19-я, 12-я, 20-я и 7-я танковые дивизии. Таким образом, между Белостоком и Минском образовался вытянутый в длину котел протяженностью более двухсот километров, сковывавший крупные немецкие силы. Несмотря на это, под покровом ночи и явно с помощью проводников советским частям удавалось выходить группами из окружения. Наш полк был хорошо осведомлен об успехе этих акций противника, так как мы тоже были втянуты в бои с этими группами.

После того как эффект внезапности исчерпал себя, советские войска, применяя гибкую тактику, оказывали упорное сопротивление. Временами они угрожали нам со всех сторон. Они нападали на наши обозы и усиливали свою огневую мощь за счет захваченных у нас боеприпасов и оружия. Нам приходилось круглосуточно вести тяжелые бои. Даже форсирование небольших рек требовало длительной подготовки и специальных мер обеспечения.

Советское командование быстро распознало, что сравнительно нетрудно наносить урон немецким пехотным полкам, если применять внезапные концентрированные атаки пехоты и танков. Разумеется, оно хорошо знало, какие дороги или участки дорог могли использоваться для более или менее организованного наступления и какие места – при гигантских размерах боевых действий – не могли просматриваться и тем более обороняться нами. Поэтому советские войска в любое время дня и ночи нападали на наши колонны, разбивали наши, в сущности, слабые боевые охранения, разрывали эшелоны походных колонн и замедляли наше наступление. Прежде чем удавалось организовать необходимые контр-мероприятия, хотя бы импровизированные, противник исчезал.

Упорные бои на Днепре и Соже

Десятого июля началась новая наступательная операция. Примерно в 10 километрах южнее Могилева мы вышли на восточный берег Днепра. Ближайшая задача заключалась в том,

чтобы форсировать Сож между Климовичами и Кричевом. Положение пехотных дивизий было в это время особенно тяжелым, так как вырвавшиеся вперед танковые корпуса, взаимодействуя друг с другом, совершали широкие круговые движения по всем, направлениям, чтобы уничтожить ряд мелких котлов. Между танковыми соединениями и нашей дивизией имелись центры сопротивления, сдерживавшие наше наступление, заставлявшие переходить к обороне и снижавшие нашу боеспособность.

Моему батальону – тогда это был 1-й усиленный батальон 61-го пехотного полка – пришлось обороняться на дороге Могилев – Кричев – Рославль буквально на два фронта. Наступавшим советским частям, например, не составило большого труда на 24 часа полностью расчленить головной полк походной колонны, растянувшейся на 20 километров. Из этого тяжелого положения нас выручил случай: неожиданно появился со своим штабом генерал Гейр фон Швеппенбург, командир XXIV танкового корпуса; штабу было придано для охраны большое количество танков, с помощью которых он ликвидировал опасную для нас ситуацию.

Упорные бои развернулись также за Могилев, который в это время находился в 200 километрах позади острия немецкого танкового клина. Чтобы сломить сопротивление трех советских дивизий{31}, пришлось ввести в дело семь немецких, в том числе части нашей, мюнхенской. Эти семь дивизий были задержаны здесь на целую неделю!

Некоторое время спустя мы заняли круговую оборону у Климовичей, из которых незадолго до этого отошла советская войсковая часть. По-видимому, она была хорошо оснащена инженерно-техническим имуществом, так как попытка моего батальона в тот же вечер продвинуться на юг провалилась: менее чем в полутора километрах от города все пути, пригодные для движения, оказались заминированы, и притом деревянными минами обнаружить которые особенно трудно.

Генерал Гейр фон Швеппенбург, попросивший меня дать подробную оценку оперативной обстановки, согласился осмотреть особенно умело замаскированный узел сопротивления противника, захватить который удалось лишь ценой больших потерь. Речь шла об одной столетней роще, занимавшей примерно полтора гектара. В незапамятные времена кто-то натаскал сюда вырытые плугом валуны и булыжники. Здесь можно было сравнительно быстро создать укрытия. Советская часть дралась до последней капли крови, уничтожив почти все немецкое подразделение. Почти все наши солдаты и офицеры,

которые, не ожидая встретить сопротивление, вступили в лес с двух сторон, погибли. И лишь двум другим ротам удалось при помощи тяжелых минометов продвинуться вперед.

Упорное сопротивление останавливает наше наступление

На следующий день моему батальону была поставлена задача выйти на рубеж реки Беседь восточнее Климовичей, а затем свернуть на дорогу Климовичи – Рославль. При разминировании пригодился мой практический опыт, полученный в саперном училище в Дессау-Росслау.

Так, мне с двумя солдатами из приданной саперной роты удалось обезвредить два отлично замаскированных минных заграждения. В тот же день произошло неожиданное и закончившееся большими потерями столкновение с советскими мотострелками. Только после этого дорога на Рославль стала свободной. Там мы восстановили связь с полком.

Город производил впечатление глубокого тыла. На всех углах были прибиты указатели и условные знаки танковых и мотострелковых подразделений. Построенная еще в начале средних веков церковь с мощными стенами и сводами была занята под временный склад горючего. Соседнее здание было взорвано. Очевидно, это был мельничный склад, так как дорога была покрыта просыпавшимся зерном. Рядом жгли горы бумаг и книг и бросали в огонь небольшие папки с репродукциями картин. Пораженный, я смотрел на то, как безжалостно уничтожались художественные ценности. Подобная же картина представилась мне и в одном из районов города, где дома утопали во фруктовых садах и цветах. Теперь в них разместился штаб. Когда я вошел в один из домов, там как раз бросали в огонь два альбома с марками. Прежде чем я успел вмешаться, они сгорели. Жильцы дома – бедные беспомощные люди, старики и подростки, мальчики и девочки, – с отчаянием и ужасом смотрели, как ведут себя немецкие солдаты».

На командирском совещании обстановка наконец несколько прояснилась. Красная Армия весьма прочно закрепилась в верховьях Десны и Угры. Важнейшие узлы дорог по пути на Москву вдоль шоссе Рославль – Москва и железнодорожные станции на линии Смоленск – Москва стали бастионами упорного сопротивления. Только под Ельней удалось продвинуться далеко в расположение противника – образовалась так называемая Ельнинская дуга.

Понимая всю опасность положения, командование Красной Армии стремилось нанести удар по Ельнинской дуге{32}. Наши оборонительные позиции подвергались непрерывному давлению как с севера, так и с юга. Нашей 7-й дивизии был дан строгий

приказ не отступать. Похоже было, что здесь развернется позиционная война с оборудованными огневыми точками, опорными пунктами и системой окопов, как мы еще живо помнили ее по первой мировой войне. Повсюду начали отрывать сапы{33} для постов подслушивания в предполье; тыловые коммуникации обеспечивались земляными насыпями. Тут и там вырастали заграждения из колючей проволоки. Те, кто рассчитывал обойтись импровизированной обороной, жестоко ошиблись. Части Красной Армии наносили удар то в одном, то в другом месте. Советская артиллерия действовала превосходно. Передвижение в дневное время сделалось совершенно невозможным. Советская разведка с воздуха велась непрерывно. И, тем не менее, немецкое командование было явно убеждено, что Москву удастся взять еще этой осенью.

В те дни я посетил могилы павших товарищей. Солдатское кладбище было расположено на склоне холма у небольшого озера. Там был похоронен и сын моего старого друга барона фон Ридхейма, погибший через несколько дней после прибытия на фронт из Мюнхена.

Неожиданно пришел приказ немедленно сровнять с землей все могилы, ибо приходится считаться с возможностью отступления. Через несколько дней мы отступили из района Ельнинской дуги, замаскировав эту операцию отвлекающими действиями на нашем участке. Советские войска, очевидно хорошо осведомленные о наших передвижениях, нанесли нам большой урон.

Бой за перекресток дорог у Шелковки

В конце сентября началось наступление на Москву. Мощные танковые соединения и моторизованные части, развивая наступление из района Брянска, Ельни, Смоленска на Калинин и Тулу, должны были взять Москву в клещи. В ожесточенных боях, ценой больших потерь удалось захватить Калинин и Орел и выйти к Туле.

Внешний вид наступающих немецких войск совершенно изменился. Если в первые недели войны в России еще старались строго соблюдать уставный порядок и дисциплину, то теперь все это выглядело иначе. В наступающих войсках можно было видеть крестьянские телеги с плетеными корзинообразными бортами, часто запряженные одной клячей. На телегах передвигались солдаты, главным образом с больными ногами. Они не хотели отправляться в тыл, уже наступил период дождей, и двигаться в направлении, противоположном наступлению войск, было очень трудно.

Дожди превратили дороги в трясины, в которых тонули

лошади и застревали люди. Иногда было невозможно вырваться из этих тисков. Все завидовали танкистам. Естественно, наступавшие не замечали, что нередко застревали и эти гиганты техники.

После того как в последней декаде октября Красная Армия остановила наши наступательные операции примерно в 100 километрах от Москвы и под Тулой, главное командование сухопутных войск стало концентрировать, на Московском направлении все больше войск. Как известно, Гитлер намеревался вступить в советскую столицу хотя бы поздней осенью. На дорогах образовывались невероятные пробки и скопления людей и транспортных средств. Для немногих, но тщательно подготовленных внезапных налетов советских самолетов это были исключительно выгодные цели.

В это время наиболее важной операцией для 7-й дивизии – наш полк уже потерял более 40 процентов личного состава – был бой за перекресток дорог у Шелковки, которая 24 октября была взята 10-й танковой дивизией XL танкового корпуса. Шелковка была одной из ключевых позиций оборонительного пояса Москвы. Здесь пересекались старая почтовая дорога, по которой когда-то Наполеон вышел к Москве, новая автострада и железнодорожная линия Смоленск – Москва скрещиваются с дорогой, идущей с севера на юг. Как раз после того, как мы сменили танковую дивизию – которой, впрочем, не удалось удержать свои позиции, – части Красной Армии начали контрнаступление и снова заняли укрепленный узел дорог.

Только в начале ноября нам удалось отбить Шелковку. Пришлось ввести в действие три дивизии и сильные танковые части. Бой за этот узел дорог, по которым обеспечивался подвоз грузов и продвижение немецкой армии на Москву, более недели сковывал немецкие войска и снизил их боеспособность.

До Москвы – 35 километров

Группа армий «Центр» сосредоточила для нанесения непосредственного удара на Москву 16 ноября более 50 дивизий, в том числе 20 танковых и моторизованных. Через двадцать дней немецкие войска вышли на линию канал Москва – Волга, Красная Поляна, Крюково, Каширa. В некоторых местах появились указатели: «До Москвы 25 км». Главное командование вооруженных сил полагало, что осуществленный прорыв равнозначен тому, что советская боевая мощь выдохлась. Это был очередной самообман. Таким же самообманом было предположение, что с позиций вдоль автострады Минск – Москва и вокруг Наро-Фоминска можно достигнуть окраин советской столицы.

Предполагалось начать еще одно наступление на Москву через Пару в первые дни декабря. Видимо, слух об этом распространился с быстротой ветра: когда 28 ноября я вернулся с рекогносцировки нового исходного раина восточнее Шелковки, я сначала не поверил своим глазам. Кто только не заявился к нам! Представители самых различных родов оружия, рекогносцировочные группы штабов, представители командования корпуса, которых прежде никогда не было видно так близко к переднему краю, старшие офицеры СС со свитой в виде конвойной команды, представители штабов рейхскомиссаров, зондерфюрер по сельскому хозяйству, управления по вербовке рабочей силы{34}… Каждый явно рассчитывал на то, что здесь, на этом шоссе, ему удастся быть свидетелем события «всемирного значения» – падения Москвы.

Мы, фронтовики, в ободранном обмундировании, производили по сравнению с этими хорошо одетыми тыловиками жалкое впечатление. Но в те дни солдаты раздобыли то, что они видели лишь изредка, – получили бутылку пива, сигареты, колбасу, сыр и шоколад. Кроме того, мы получили возможность слушать передачи с родины в отлично оборудованной подвижной радиостанции. Никто из нас не верил тому, что вещали немецкие станции, утверждавшие, что в Москве тяжелое положение, все давно бежали из Кремля, Сталин где-то на Урале. Вступление в Москву – всего лишь вопрос дней.

В поселке между развалинами снова происходили бои – на этот раз их жертвами были последние куры. Отвратительны были пьяные драки. Эсэсовские офицеры разругались с танкистами из-за избы и колодца – и это было всего в 35 километрах от Москвы.

Офицер связи привез пакет, из которого явствовало, что наша дивизия должна вместе с 292-й дивизией сосредоточиться для наступления южнее шоссе Шелковка – Москва на возвышенности между отметками 211 и 204, левым флангом вдоль шоссе Наро-Фоминск – Москва.

Большая часть подразделений нашего полка должна была смениться в ночь с 28 на 29 ноября и передвинуться в новые исходные районы.

Как перед всякой ответственной операцией, командир полка подполковник фон Шпис собрал нас в ту же ночь. Впервые за последние недели нас подробно проинформировали о положении дел. Наш командир с педантичной точностью обозначил на карте линию фронта, иногда лишь для того, чтобы сопоставить нередко противоречивые сообщения.

Согласно этим сообщениям, еще несколько недель назад крупные советские соединения были окружены и остались в тылу

немецких войск. Образовавшиеся под Вязьмой и Брянском котлы уничтожить не удалось: большей части личного состава окруженных группировок удалось вырваться из окружения. Теперь нам стало ясно, что означали столь опасные для наших рот внезапные атаки противника. 14 октября был взят город Калинин, бывшая Тверь. Красная Армия остановила наступление немецких войск на линии Тула – Волоколамск – Калинин – Селижарово. Теперь линия фронта северо-восточнее нашей части проходила через Звенигород, Дедовск, Красную Поляну до Яхромы на канале Москва – Волга. По земле стлался едкий чад – смесь из осточертевших запахов похлебки, подгоревшего мяса, испарений от требухи и горящей смолы.

«Мы стоим под Москвой как победители, и перед нашим мысленным взором в кроваво-красном отблеске возникают горящие кварталы города, бесчисленные купола соборов и стены Кремля! Скорее бы это стало явью!» Так примерно один из нас рисовал в своем воображении то, что нам предстояло увидеть наяву: картины, представшие перед солдатами Наполеона.

Контрнаступление на тысячекилометровом фронте

Ранним утром 3 декабря ничто не предвещало катастрофы. Был холодный зимний день.

Неожиданно с юга донесся гул сражения. Сильным советским боевым группам удалось при поддержке массированного артиллерийского огня прорвать фронт. Захватив пленных, русские исчезли так же быстро, как и появились.

Казалось, что на нашем участке имеются все предпосылки для успешного наступления. Однако через 24 часа все переменилось. Мой батальон, выполняя ограниченную боевую задачу, попал в гущу подготовки советского наступления, о масштабах которого у нас еще не было никакого представления. Прочесав лес, командиры рот вывели свои взводы для атаки по открытому полю на полтора километра вперед, до окраины крупного населенного пункта, как вдруг внезапно по ним был открыт ураганный огонь. Это последнее наступление моего батальона под Москвой закончилось катастрофой. Почти все офицеры и солдаты погибли. Пехотные и противотанковые орудия, а также саперные взводы, находившиеся на опушке леса в боевой готовности для броска, были полностью уничтожены заградительным огнем.

Пятого декабря начались сильные удары с воздуха по тыловым коммуникациям и исходным районам, где до сих пор можно было чувствовать себя в безопасности.

Красная Армия начала на широком фронте генеральное наступление, в результате которого немецкие войска были

отброшены местами до 400 километров. Несколько десятков самых боеспособных немецких дивизий было разбито. По обе стороны шоссе лежали убитые и замерзшие. Это был пролог к Сталинграду; блицкриг окончательно провалился.

Смертельно усталый и больной, я находился в штабе полка, когда поступили первые роковые вести. К бронхиту, который я уже несколько дней переносил на ногах, прибавился нефрит, сильно поднялась температура. Меня эвакуировали с первыми ранеными, прибывшими с переднего края, и я попал в адскую обстановку бегства. Забитые дороги, бомбардировки с воздуха, панический страх перед уже прорвавшимися танками Т 34, нападения партизан – только за Можайском мы кое-как пришли в себя.

Из полевого лазарета в Борисове эвакуировали раненых. Каждого, кто считался транспортабельным, выдворяли. Санитарных поездов не хватало. Трясясь от лихорадки, я провел два дня в товарном вагоне, сидя на походном чемодане.

После длительной стоянки на запасном пути наш эшелон двинулся дальше. Вагон невероятно трясло, снизу тянуло адским холодом, сверху несло вонью. И днем и ночью было невероятно холодно. В вагоне мне рассказывали о страшных преступлениях. В одном месте эсэсовцы сожгли в церкви мирных жителей вместе с их священником. На одном из крутых берегов Березины они согнали и расстреляли сотни людей, а трупы сбросили в высохшее русло. Гора трупов поднялась над руслом, по ним пустили гусеничные тягачи, чтобы заровнять их. Весенний разлив унесет оставшиеся трупы.

Через Варшаву я добрался до Мюнхена. Там я представился коменданту, прошел медицинскую проверку, и меня сразу же направили в резервный лазарет – Кранкенхейль под Бад-Тельцем.

До лазарета я побывал дома. Знали ли там о катастрофе под Москвой? Дети горели нетерпением узнать побольше интересного «оттуда». Благодаря юношескому любопытству и наивному незнанию того, что происходило на Востоке, у них все еще сохранялось представление о войне как об увлекательном приключении, и они гордились тем, что их отец был на фронте. С ними происходило то же, что и с нами в августе – сентябре 1914 года. Молодежь, видимо, не изменилась. При этом они на все корки ругали «Гитлеровскую молодежь» и «Имперскую трудовую повинность». Я уловил, что среди родственников уже возникли разногласия по вопросу об отношении к нацистам. Однако в каждой семье кто-либо был призван в армию.

О том, что разыгралось под Москвой, в газетах не было ни слова. Сообщения о советском наступлении маскировались

утверждениями о выравнивании фронта, запланированном занятии новых исходных позиций. Населенные пункты почти не назывались. И когда после выздоровления я явился в управление корпусного округа, оказалось, что даже там о недавних событиях под Москвой почти ничего не знали{35}. Генерал Диттмар{36} сопроводил в радиокомментариях серию поражений высокопарным словоизвержением.

Мне поручили читать лекции о боях на Востоке. Представилась возможность изложить все без прикрас. Однако добиться того, чтобы желаемое не принималось за действительное, было трудно. Меня перебивали вопросами о советской тактике. Они свидетельствовали о том, что мои выводы, сделанные на основании опыта, воспринимались скептически. Меня спрашивали: «Ну а Москву вы все же видели?» Я отрицательно качал головой. Но они знали, что от Мюнхена до Фрейзинга 33 километра, а от Кубинки до окраины Москвы{37} всего 28. Но там не было высоты вроде Браухаузберга под Фрейзингом, с которой виден Мюнхен.

Снег еще не стаял. Генерал, замещавший командующего, отдал приказ о проведении учения резервных частей на Фреттманнигской пустоши с целью отработать наступление пехоты и поддерживающих подразделений с использованием новейшего зимнего снаряжения. Тема учения была явно надуманной. В качестве укрытий были использованы выбранные экскаватором груды гравия, что упростило условно принятую обстановку, так как на фронте таких укрытий нет.

Мне было не по себе. Мысленно я видел своих солдат там, на Востоке, как они неоднократно и безуспешно атакуют, а затем атака захлебывается в последней отчаянной схватке. Красная Армия то и дело открывает огонь из всех стволов и бьет по немецкой пехоте. Весь опыт, приобретенный в боях и говоривший о необходиммости всемерно использовать рельеф местности, в эти декабрьские дни оказался совершенно бесполезным для моих солдат.

Во время разбора учений в столовой «турецкой» казармы было чрезвычайно сложно передать фронтовую атмосферу. Речь шла об уставных положениях; нашим фронтовым опытом не интересовались, боялись поколебать слепую веру в превосходство немецкой тактики и немецкого оружия.

В Южной Франции

Департамент Шаранта

В марте 1942 года я был произведен в полковники и назначен командиром 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии. В первой зимней кампании в Советской России эта дивизия понесла большие потери, была снята с Восточного фронта и переброшена в Южную Францию на переформирование. Мой полк был расквартирован в Барбезье, близ старой епископской резиденции Ангулема. Мне хотелось поближе познакомиться с моими офицерами, адъютантом полка обер-лейтенантом Штренгом, сыном пастора из Фюрта, и офицером для поручений обер-лейтенантом Урбаном, из венской купеческой семьи. С этой целью я брал их поочередно с собой в поездки.

Новый командир дивизии генерал Эдлер фон Даниэльс находился со своим штабом в Ангулеме, в небольшом замке. Считали, что его приезд был несколько преждевременным. Он появлялся то здесь, то там, инспектируя вновь сформированные части, подгоняя нас. Любил он часок-другой посидеть за стаканом го-сотерна{38}. Вскоре выяснилось, что это весьма общительный человек, который не прочь посидеть со своими офицерами до поздней ночи, разглагольствуя о предстоящих боях.

Время от времени фон Даниэльс увлекался несбыточными мечтаниями и явно воспламенялся «великими идеями и планами фюрера». Он был одним из тех хорошо знакомых мне командиров, которые любили ссылаться на Гитлера: «Господа, вы же знаете, что фюрер совершенно ясно…» Мы, командиры, не давали увлечь себя в водоворот его мыслей и планов.

Для меня были весьма кстати многочисленные мелкие задания, дававшие возможность часто разъезжать по стране. Однажды мы поехали в Бордо, запланировав окончить поездку в Аркашоне{39}. Мне хотелось посмотреть тот клочок земли, где знаменитые французские художники нашли свои лучшие сюжеты.

Однако пребывание в Бордо было сплошным разочарованием. Портовые сооружения по обе стороны Гаронны потеряли свою привлекательность. Повсюду виднелись следы войны. Бурлившая ранее на причалах деловая жизнь замерла. Десятки судов разного тоннажа стояли на приколе. Лишь в немногих местах шла погрузка и разгрузка – это были баржи, которые в лучшем случае могли курсировать до устья Жиронды. За два года ни одно крупное судно не заходило в порт и не покидало его. Несколько океанских пароходов, застигнутых здесь началом войны, стояли с тех пор на якоре с задраенными люками, покрытые ржавыми

пятнами. Между ними виднелись суда военно-морских сил: сторожевые и противовоздушной обороны.

Такую же мрачную картину являли улицы, ведущие в порт. Предприятия были мертвы, их не удалось поставить на службу военной экономике. Торговые конторы закрыты, некоторые помещения использовались немцами для разных целей. По закопченным эмалированным табличкам и по вывескам торговых фирм было видно, что раньше здесь шла бойкая торговля зерном, сахаром, фосфатами, лесом, машинами, химикатами, солью и, конечно, вином. Вино разных сортов и любого качества было специальностью здешней земли. Однако немецкие танки не только вели пристрелку по виноградникам, но и утюжили их, разыгрывая учебные атаки.

Меня и обер-лейтенанта Штренга, любителя искусства, ничто не могло задержать в этом большом городе. Наши попытки вступить в контакт с местными жителями не увенчались успехом. Нам втайне импонировала спокойная, сдержанная и немногословная манера, которой они, не проявляя при этом невежливости, отталкивали нас. Так поступали все – книготорговец, священник, дорожный рабочий, так же как и учительница, и домохозяйка на скудном воскресном рынке…

Когда мы прибыли в Аркашон, там уже наступил полный отлив. Как гигантская чаша, лежала перед нами почти круглая бухта с накренившимися в иле рыбачьими лодками и бесконечным рядом свай для устричных садков. Зеркало бухты, с ее бесчисленными узкими водяными протоками и илистыми болотцем, мерцало пепельно-серым цветом, а за ней в неясном переходе от земли к небу виднелась синеватая полоса леса; со стороны моря доносился шум волн.

Мы медленно взобрались на высокий гребень песчаных дюн, тянувшихся вдоль берега и уходящих далеко на юг. С вершины перед нами открылась пропасть, а внизу лес, неудержимо заносимый песком. Справа от нас бушевал прибой. Огромные волны яростно набегали друг на друга и, темно-синие, распадались, образовывая у подножия дюн расплывающиеся полосы, которые, пересекаясь, отбрасывали яркие, слепящие блики. Нас захлестнула песчаная буря, ветер подхватывал светло-желтые песчинки, которые оседали на хвойный лес, образуя и там дюны.

Внезапно над лесом поднялся дым, сначала небольшими клубами, и через несколько минут лес ярко запылал, пожар стал медленно распространяться на юг.

В последние недели такие пожары возникали часто. Один из моих батальонов был привлечен к борьбе с лесными и степными

пожарами. Но по приказу свыше батальон отозвали, так как даже сотни солдат не могли бы справиться с пожарами, в которых был повинен вермахт. Лесные пожары продолжались. На этот раз в малонаселенной местности.

Лесная пожарная охрана французов была организована и во время войны насколько можно хорошо. На протяжении жизни поколений, особенно в это жаркое время года, местным жителям приходилось защищать их единственное богатство – смолу, которая уже много лет служила источником основных доходов.

Почему же они не хотели знаться с нами, немцами? Можно только удивляться такому вопросу. Не было ни одного населенного пункта севернее или южнее Жиронды, где не знали бы о немецких преступлениях! Штренг, не имевший представления о настроениях французов, представлял себе первую встречу с ними совершенно иначе.

Атлантический вал

Тем временем наша дивизия уже была экипирована всем необходимым для действий в полевых условиях и полностью укомплектована.

Нам предстояло еще посетить Атлантическое побережье, и надо было спешить. Я взял с собой обер-лейтенанта Урбана. Он был в восторге, ибо никогда не видел океана, и его привлекало все, что имело отношение к истории культуры и к историческим традициям. Он восторгался ландшафтами, средневековыми замками и храмами, парками, виноградниками и цветущими садами. С нами отправился и мой ординарец, солдат лет двадцати, живо напомнивший мне моего первого денщика, когда я служил лейтенантом в 1917 году. Он радовался поездке. «Путешествие в составе вермахта» – таков был распространенный в то время лозунг вербовки в армию.

Меня тянуло в Септ. Там еще сохранилась Триумфальная арка Германика{40}, находящаяся на берегу Шаранты, остатки огромной римской арены и церковь Нотр-Дам, законченная около 1000 года н. э., богатая элементами мавританского стиля. Все это стоило посмотреть!

Однако из-за недостатка времени мы лишь бегло осмотрели Нотр-Дам и Триумфальную арку. До побережья оставалось 60 километров. Через час миновали Маренн и вскоре оказались у изрезанного крутого берега Ла-Трамблад. Сюда доносилось дыхание океана. За горизонтом, по ту сторону бухты, показался маяк – и вот мы на обрывистом берегу. Все покрывал шум прибоя.

Не задерживаясь, мы двинулись через Маренн и Рошфор в Ла-Рошель к старой рыбацкой гавани, с ее знаменитым бастионом – башней Сен-Николя – и отделенной от нее узким фарватером

стоящей напротив башней де-ла-Шэнь.

От застоявшейся воды тянуло затхлым, гнилостным воздухом. Время от времени с моря дул сильный холодный ветер. И здесь мы застали отлив. Множество рыбачьих лодок погрузилось в жидкий ил. Между башнями в открытом море виднелись причудливые силуэты: палубные надстройки, такелаж, свернутые красно-коричневые паруса. Крики чаек смешивались со скрипом лебедок. Казалось, что в тусклом сиянии солнца виднелись контуры Илъ-де-Ре. Когда-то это была последняя остановка на пути к страшной Кайенне{41}; среди старых крепостных сооружений – тюрьма Сен-Мартин-де-Ре, типичное сооружение Вобана, мастера крепостных построек{42}. На протяжении столетий в этих тюремных башнях побывали и пламенные патриоты, и бандиты.

Перед нами была сама история, которая таила в себе многое – порабощение, борьбу за власть, завоевания.

Что происходило потом? Разве я раньше уже не побывал на французской земле как один из завоевателей? Разве я, осматривая тогда произведения искусства во французских соборах, считался с чувствами французов? И что такое STO – «Service du Travail Obligatoire» – «Служба трудовой повинности», чьи плакаты мы видели здесь в гавани, как не повинность гражданского населения завоеванной страны работать в стране завоевателей! Невольно вспомнились беседы с отцом по вопросам международного права – ведь в немецких военных училищах такому не учили. Значит, и здесь во Франции, оккупационный режим не считался с международным правом и законами войны, как это было везде, где появлялись немецкие солдаты. К чему же может привести все это?

На обратном пути мы снова остановились, чтобы немного отдохнуть. Ординарец и водитель ушли побродить вдоль живой изгороди из шиповника около домика, из которого слышались звуки губной гармоники. Как хороши этот покой и солнце, льющее свои лучи.

Я наблюдал за Урбаном. Он притих, видимо, снова пытался разрешить трудную для себя задачу.

А быть может, в нем происходило то же, что и во мне. Немногие часы пребывания на побережье оставили неприятный осадок. «Ну, Урбан, как все это выглядит?» – попытался я завязать разговор. Долго потом ответ обер-лейтенанта не давал мне покоя.

Здесь, на берегу океана, находятся немцы, а с ними и австрийцы. Однако он как житель Вены – «скажем это хоть раз прямо», заметил Урбан, – при всем желании не может мыслить так, как мыслит немец!

Сначала я не мог уловить, что Урбан имеет в виду. Затем он спросил: «Господин полковник, думаете ли вы, что мы навсегда останемся здесь, на берегу океана? Не временно ли, так сказать, мы здесь находимся?»

Такой вопрос нельзя было оставить без внимания и уклониться от ответа. Я ответил не сразу, мне надо было поразмыслить. «Думаю, – ответил я, – что в истории не бывает неизменяемого „навсегда“, особенно если какая-либо цель достигнута войной. Франция не Германия. И всего полгода назад для Москвы уже был составлен поименный список гражданского управления. А сейчас мы находимся от выполнения этой цели дальше, чем когда бы то ни было! Разве не так? И примирится ли Франция с такой системой, какая существует в Италии Муссолини? Трудно себе это представить. И не будет ли это „временно“, так сказать, как это вы, венцы, говорите, длиться очень долго?»

Укреплений на побережье почти не было видно. О них можно было только догадываться. Они либо были хорошо замаскированы, либо в результате беспечности их было очень мало. Казалось, что перед такой непреодолимой преградой, как океан, можно было чувствовать себя в безопасности. До сих пор ход войны подтверждал правоту фюрера. Ведь утверждали, что «союзники обломают себе зубы и об Атлантический вал».

Между тем на берегу, почти как в мирное время, шла курортная жизнь. Нетрудно было видеть, кто нежился под солнцем на песчаном берегу Сабль-де Олонна. Мы, представители «нового порядка в Европе»! Вас же, сыновья Grande Nation{43}, мы научим работать! Разве вы до сих пор не поняли, для какой цели предназначены наши огромные бункеры для подводных лодок, в том числе у Сен-Назера? Атлантический океан у берегов Франции наш и нашим останется. Все, что не удалось в 1918 году, будет теперь наверстано. На нашей стороне право германской нации и арийские требования, а вы, продукты скрещения переселяющихся, кочевых народов, ни рыба ни мясо! Что стало с вашей расой?

Именно такого рода рассуждения мы слышали на пляже, где нежились немецкие офицеры.

Что касается расы – то это факт, болтали офицеры. Французы выродились. Но девочки – просто прелесть! Стройны как тополь! Разумеется, приходится проявлять сдержанность. Эксцессы не должны приводить к ссорам. На командирских совещаниях по этому поводу давались категорические указания. Строгий контроль на пляже! Хорошо еще, что ночью все кошки серы: трудно различить, какой у кого чин. Вот несколько дней назад одного обер-маата{44} схватили в «лучшем доме» – в «Какаду».

Это была сенсация дня. Простофиле пришлось здорово экономить для того, чтобы шикарно кутнуть. Он выдал себя за ординарца. Дело замяли. Там, за дюнами, в бунгало и небольших виллах находятся штабы, а местность не просматривается. Старшину предпочли отпустить. Оказалось, он с минного тральщика, такая команда – это вам не пустяк! Дрейфующие мины нередко приплывают и сюда. Несколько недель назад военные корабли союзников попытались осуществить внезапный налет на мол близ Олерона, вероятно, осуществили пробный маневр. Все военные клубы вдоль курортного побережья были тотчас же закрыты, а штабы отведены подальше в тыл.

На следующее утро мы поехали через Нант в Сен-Назер. Из сине-серой дымки появились сначала, подобно кулисе, контуры островерхих крыш и фабричные трубы. Перед темно-синим силуэтом, как игрушечные, проглядывались мастерские и пакгаузы. Вокруг все представлялось огромной военной стройкой. Гигантская бетонная громада была убежищем для подводных лодок, о котором так много говорили. Нам разрешили осмотреть его. После дневного света мы попали как бы в полутьму. Сначала ориентироваться было трудно: всюду прожекторы, машины, агрегаты, от сварочных аппаратов разлетались снопы искр. Постепенно глаза привыкли. Обозначились гигантские размеры сооружения. По продольному ребру, достаточно широкому для того, чтобы проложить по нему узкоколейку, мы прошли к гидравлическим железным воротам, которые делили бункер на несколько бассейнов. Между тем снова начался отлив. Внизу у наших ног находилась подводная лодка. Перед нами была боевая рубка, а ниже – трубы торпедных аппаратов, сигнальные устройства и палубные надстройки. Видимо, гигантские размеры этого железобетонного резервуара определялись разницей уровней водной поверхности во время отливов и приливов. Единственно уязвимой казалась ходовая полоса, ведущая к океану, однако она была хорошо защищена зенитной артиллерией, стальной сетью от дрейфующих мин, а возможно, и от торпед. Так выглядел, следовательно, Атлантический вал, всячески разрекламированный как непреодолимый! Но ведь не меньшие надежды Франция и Бельгия возлагали на линию Мажино! А как быстро эта линия была преодолена! Ночью мы возвращались к себе в часть. Я сидел рядом с водителем, наблюдая, как уверенно и осторожно ведет он машину по незнакомой местности. И я подумал об ответственности офицера по отношению к солдатам, вестовым, связистам, стрелкам. Я вспомнил о поражении немецкой армии, о битве под Москвой, о замерзших в легких шинелях солдатах… Но разве немецкий

офицер может позволить себе такие размышления?

Котел на Волге

Сталинград – символ победы над фашизмом

Директива № 41 главной квартиры фюрера{45} ставила целью летней кампании 1942 года «окончательно уничтожить» советскую военную силу. Однако после поражения под Москвой и потерь в результате советского зимнего контрнаступления немецкие войска не были в состоянии перейти в наступление по всему фронту. Поэтому предусматривалось провести основную операцию на южном участке фронта. Группа армий «Юг» должна была форсировать Дон, после чего разделиться на группы армий А и Б. Затем группа армий А должна была наступать к нижнему течению Дона, а оттуда захватить нефтяные районы Кавказа и поставить этот важный как в экономическом, так и в военном отношениях район под фашистское господство. Одновременно группа армий Б, в том числе 6-я армия под командованием генерал-лейтенанта Паулюса, должна была выйти к Дону на линию Воронеж – Богучар – Клетская – Калач и из большой излучины Дона развить наступление к Волге, в направлении на Сталинград. Этим было бы блокировано движение по Волге, исключен экономический потенциал Сталинграда, а весь советский фронт оказался бы рассеченным надвое. По окончании этой операции и после уничтожения советских сил на южном участке имелось в виду возобновить наступление на Ленинград и Москву.

Однако этот план провалился. Уже основная операция на южном участке фронта не достигла ни одной из поставленных стратегических целей, и стало ясно, что разрекламированные планы нового наступления на Ленинград и Москву были совершенно иллюзорными.

Немецкое командование планировало операции на окружение и уничтожение, однако советские соединения ускользали и избегали окружения. Планировалось использовать черноморские порты в качестве военно-морских баз, однако этого сделать не удалось даже в Новороссийске. Дело в том, что бухта порта оставалась под советским обстрелом. Планировалось поставить под немецкий контроль месторождения нефти на Северном Кавказе и в Закавказье, но нефтяные промыслы в Майкопе и Малгобеке были заблаговременно разрушены, а само наступление завязло под Грозным. То же случилось под Сталинградом: несмотря на большие потери, в сентябре – ноябре не удалось прорваться к Волге во всех районах города. Наступательные операции на южном участке фронта, сильно подорвавшие

боеспособность немецких дивизий, пришлось прекратить; войска перешли к обороне и занялись сооружением зимних позиций.

В разгар этих приготовлений, 19 ноября 1942 года, началось советское наступление, которое привело к окружению и уничтожению 6-й армии и вызвало отступление групп армий А и Б, сопровождавшееся большими потерями. Со Сталинграда началась непрерывная цепь побед Советской Армии вплоть до взятия Берлина. Фашистский вермахт после Сталинграда отважился лишь один раз на крупную наступательную операцию – операцию «Цитадель» на Курской дуге, но и она быстро провалилась.

Однако сражение под Сталинградом означало и означает нечто большее. Тогда оно было для всего мира символом победы над фашизмом. Как тогда, так и теперь Сталинград является символом того, что в наш век попытки порабощения наций и захватнические войны кончаются поражением агрессора и победой народов.

Во время второй мировой войны и после нее гитлеровские генералы пытались исказить историческую истину. Они говорили и говорят о «потерянных победах», о «генерале Зиме», о «генерале Грязи», о стратегических ошибках «дилетанта-ефрейтора"{46}, которому повезло бы, если бы он предоставил вести дело военным специалистам. Какими бы решающими ни были ошибки военного руководства, не они привели фашистский режим к военному поражению. Невозможно выиграть войну, которая ведется ради порабощения и эксплуатации другого народа. Таков урок Сталинграда. В наше время этому же учат Корея и Вьетнам.

Когда, уже находясь в плену, после пребывания на фронте в качестве уполномоченного Национального комитета «Свободная Германия» я вернулся в Лунево, где находился Национальный комитет, я начал в марте 1945 года обрабатывать свой фронтовой дневник и, главное, свои прежние беседы с генералами и старшими офицерами 6-й армии. Так возник «Сталинградский дневник», написанный на плохой желтой бумаге с помощью гусиного пера, простых и чернильных карандашей. В нем рассказано, как полковник, который в 1934 году добровольно пошел на службу в фашистский вермахт, пережил Сталинград, что он видел и узнал с того дня, когда наступающие советские части перекатились через позиции, которые должен был защищать его полк под Ближней Перекопкой на Дону. Рассказано, что он пережил и узнал в борьбе не на жизнь, а на смерть между Вертячим и Дмитриевкой, между Ново-Алексеевским и Толовой Балкой, а также в самом Сталинграде. Все это как живое возникает у меня перед глазами, как будто я снова командир 767-

го гренадерского полка с его образом мышления. Я точно, ничего не опуская, передаю его взгляды, размышления и действия, его попытки поддерживать «солдатскую дисциплину и порядок», сохранять солдат для новых боев и что он пережил, когда принял решение сохранить своих солдат – их осталось всего 34 – для новой жизни.

Огневой шквал

Еще в ночь с 18 на 19 ноября 1942 года на мой командный пункт не поступает ни малейшего тревожного донесения с переднего края и штабов. Кажется, что 19 ноября будет таким же обычным днем, как и многие другие за эти прошедшие недели. Я хочу проверить связь главным образом с левым соседом – с румынами. С незапамятных времен стыки флангов являются предметом особой заботы любого командира. Значит, тем более важно теперь связать считающуюся готовой систему глубоко эшелонированных рубежей обороны с левым соседом. Кроме того, я все еще надеюсь, что прибудут затребованное инженерное имущество и материалы для оборудования зимних позиций.

Около шести часов утра вся местность молниеносно наполняется быстро нарастающим громом орудий. Вскоре с переднего края поступают донесения, и я со своим адъютантом спешу к находящемуся примерно в двухстах метрах наблюдательному пункту, с которого открывается сравнительно широкий обзор через возвышенности и долины до участка левого соседа.

Еще царит полумрак. Взрывы гремят непрерывно. Наибольшую тревогу внушает усиление артиллерийского огня. Гром орудий раздается вдоль всей поймы реки, с севера на запад, напоминая широкий грозовой фронт. Так возвещает о себе начало операции Советской Армии, которая превзойдет все, что было до сих пор{47}.

Не ожидая указаний из штаба дивизии, я отдаю полку приказ приготовиться к бою. Как выясняется из телефонных переговоров, командиры примыкающих справа 768-го полка и румынской части отдают себе отчет в том, что мы, вероятно, стоим перед тяжелейшим испытанием всей кампании.

Самое важное – сохранять спокойствие и отдавать четкие распоряжения. Надо обратить также особое внимание на пополнение, молодых солдат-новобранцев которые прибыли на фронт всего каких-нибудь две или три недели назад и еще не обстреляны.

Между тем советская артиллерия переносит огонь на наши ближние тылы. Все это говорит о том, что предстоит большое наступление советских войск со всех плацдармов по эту сторону

Дона. Так как артиллерийский огонь по нашему участку носит, скорее, характер огня по площадям, а у соседей слева ясно различимо использование многоствольных реактивных установок, так называемых «сталинских органов"{48}, я заключаю, что опасности непосредственного наступления на мой полк нет.

Северо-западный ветер уже несет через наши позиции первые волны воздуха, густо насыщенного пороховыми газами. По-видимому, в бой введено и большое количество советских самолетов. Затем из штаба дивизии приходит тревожное сообщение, что у румын фронт широко прорван и советские танки из района Серафимовича и Клетской устремились на юго-восток. Вскоре после этого штаб сообщает, что он вынужден перенести свой командный пункт. Дальнейшие подробности последуют.

При поддержании телефонной и радиосвязи ощущается сильнейшая нервозность. Неожиданно прерывается связь с румынской частью. Высланная мною офицерская разведка уже через тридцать минут выясняет, что больше не существует контактов со штабом соседнего полка, а также со штабом румынской дивизии. Поступают первые донесения о бегстве, явлениях разложения, а также о переходе на новые оборонительные позиции менее чем в трех километрах от левого фланга моего полка, фронтом на юг.

Попытки узнать подробности о ходе боев у правого соседа также оканчиваются неудачей. Тогда я направляю резервный батальон в исходный район у Ореховского, чтобы укрепить левый фланг и, если удастся, задержать отступающих румын.

В первой половине дня на фронте моего полка не происходит никаких существенных перемен. Противник держится здесь явно выжидательно. Однако на нашем левом фланге шум боя все более и более передвигается на юго-восток. Между тем к нам прибыли некоторые тыловые службы полка и дивизии, так как их попытки прорваться на юг или юго-запад не удались. Становится ясно, что советские армии намерены осуществить широко задуманный глубокий прорыв, причем они сосредоточивают свои силы главным образом против тех участков фронта, которые заняты менее боеспособными румынскими и итальянскими войсками. Существует опасность оказаться отрезанными.

До вечера положение на нашем участке фронта остается без изменения. В то же время приходится начать подготовку к отводу подразделений из еще не до конца оборудованных зимних позиций, так что теперь мы готовы отойти на юг.

Поздно ночью от командира XI армейского корпуса генерала Штрекера прибывает офицер для поручений с письменным приказом, который он дополняет следующими устными

указаниями: «До получения нового приказа 767-й полк удерживает прежние позиции, приняв меры к надежному обеспечению своего левого фланга, принимает боеспособные части румынской дивизии, а также организует обеспечение вправо до участка 768-го полка. Имеется намерение отвести весь XI корпус на высоты западнее Дона у Вертячего».

Таким образом, наша задача ясна. Что касается оперативной обстановки, то офицер лишь показывает на карте, как далеко уже прорвались русские с наступлением темноты.

Разведка, предпринятая в ту же ночь в направлении на Мело-Клетскую, вступила в соприкосновение с противником менее чем через два километра.

Начинается отход

Утром 20 ноября на хорошо просматривающихся низинах, где лежит снег, а также на высотах по ту сторону долины появились наступающие советские войска. Однако и в этот день они не делают попытки потеснить левый фланг полка. Вероятно, русские рассчитывают, что позднее им удастся отрезать полк. Связь с дивизией и корпусом полностью прервана.

Рано утром 21 ноября резервный батальон близ Ореховского вступает в соприкосновение с противником, но, так как последний не проявляет активности, ему удается оторваться от него и восстановить связь с полком. Подразделение моего полка на высоте 145 отбивает несколько советских атак. Шум боя, который эти два дня слышался с разных сторон, теперь все громче доносится с юга. Мы все еще ждем приказа об отходе полка, поскольку штаб корпуса оставил за собой отдачу такого приказа. В ночь на 21 ноября я продолжаю подготовку к отводу полка с его позиций.

Полковой командный пункт мы переносим в балку, где две недели назад для обоих христианских вероисповеданий{49} было устроено богослужение. Отсюда через командный пункт резервного батальона можно связаться по телефону со штабом корпуса. Здесь же находится в полной боевой готовности рота, которой предназначается роль арьергарда. Я вместе с обер-лейтенантом Урбаном временно остаюсь на старом командном пункте. 22 ноября в 9 часов по всему фронту нашего полка советские пехотинцы, преодолевая овраги, развернутым строем пошли в атаку. Короткими очередями из пулеметов и огнем из противотанковых орудий мы пытаемся задержать противника и одновременно даем ракетой сигнал на отход со всех позиций.

Ясно, что это не проходит гладко. Однако подавляющее большинство солдат обоих батальонов добирается до назначенного района сосредоточения, так как совершать отход по

сильно пересеченной местности сравнительно нетрудно.

Спустя час я сталкиваюсь в Ближней Перекопке с первым ошеломляющим явлением: это происходит в доме, где расположена часть полкового штаба и почтовый сортировочный пункт. Все мешки и посылки полевой почты разграблены. Никто не попытался воспрепятствовать этому. Невозможно установить, кто именно участвовал в грабеже, так как здесь побывали солдаты разных откатывающихся частей. Придя в ярость и под впечатлением всего случившегося за последние дни я теряю самообладание и ору на тех, кого мне удается схватить. Впервые в жизни отталкивая роющихся здесь солдат, я применяю к солдату физическую силу, выбиваю из рук одного из них разорванную посылку, хватаю его за шиворот, наношу несколько сильных ударов. Он летит через почтовые мешки и падает на пол.

Солдат растерянно смотрит на меня, заросший, бледный, усталый, с глубокими тенями под глазами и со следом на лбу от слетевшего головного убора. Очевидно, он боится новых ударов и, подняв руку, закрывает лицо, искоса наблюдая за мной.

Быть может, он голоден, быть может, это один из послушных, абсолютно надежных солдат, один из тех, кто до сих пор выполнял свой долг… Мне стало не по себе, я чувствую, как кровь приливает к голове, и мне кажется, что я бледнею, как это, вероятно, бывает, когда чувствуешь, что у тебя самого совесть не чиста.

Вскоре начинается артиллерийский обстрел. Противник прощупывает высоты и спуски в долины, ведет огонь вдоль дорог и по немногим узким проходам, где можно перебраться через сухие русла ручьев. Возникает всеобщий переполох, взводы и тыловые подразделения разбегаются. Наши молодые солдаты охвачены паническим страхом. Они боятся, что нас могут настигнуть русские танки; опытные фронтовики опасаются мобильных советских гусеничных бронетранспортеров с пехотой. Этот страх легко понять: ведь у меня самого имеется горький опыт – внезапных атак моторизованных советских ударных групп между Могилевом и Кричевом в июле 1941 года.

Вскоре слышатся возгласы: «Санитары! Санитары!» – и общее замешательство усиливается еще больше, когда какой-либо командир изо всех сил старается завладеть дорогой, чтобы пропустить пехотные орудия или походную кухню. Дело доходит до перебранки и даже до первых столкновений.

Красная Армия действует умело и дезорганизует нашу попытку оторваться от противника. В результате непрерывных атак на наши фланги создается впечатление, что противник наседает на нас, исключительно эффективно используя все

средства.

В поисках моста

«Эй, Карл, давай помедленнее! Куда тебя так несет?» «Держи правей!» – слышатся возгласы сзади. По замерзшей колее идти скользко. Один из солдат, судорожно прижав свой автомат, поскользнувшись, падает головой в глубокий снег, теряя при этом явно «организованную» банку мясных консервов. Его товарищи, чтобы не упасть, держатся друг за друга. Снова спуск. Как долго еще будут эти подъемы и спуски через возвышенности, долины и узкие балки, занесенные снежными сугробами? Мы уже много часов на марше. Надо перевалить через Донскую гряду, и притом не задерживаясь. Где-то должен быть мост, к которому мы направляемся. Говорят, что до него еще 60 километров.

Ботинки промерзли и сделались твердыми как камни; ноги распухли. После долгих недель позиционной войны это первый большой марш, и притом марш в неизвестное.

За Ближней Перекопкой прямо в снегу свалено все полковое имущество: продовольствие, обмундирование, кузнечный инструмент, седла, оборудование походной оружейной мастерской, багаж отпускников, ящики канцелярии, полевая почта. Среди всего этого копошатся несколько человек. Во время вынужденной остановки мы слышим обрывки разговоров.

«Господин обер-лейтенант, нельзя же оставить здесь эти гранаты».

«Не рассуждать! Выполняйте приказ!»

«Известно ли вам, где наши лошади?»

«В Мариновке, в 140 километрах отсюда, на зимней стоянке».

«Как на курорте, а?»

«Взять с собой лишь самое необходимое, не больше».

Идет чехарда с погрузкой: взять – не брать, место – нет места. Пытаясь согреться, солдаты машут руками.

«Это просто безобразие, ребята, прямо хоть плачь: мы так прекрасно оснащены и все приходится оставить. О чем только думают командир роты и командир полка?»

«Они всегда действовали как надо. Когда восемь дней назад мы устанавливали финские утепленные палатки, старик произнес замечательную речугу перед новобранцами. Видите, сказал старик, несмотря на гигантские расстояния, для вас будет сделано все, что можно».

«А теперь? При двадцати градусах мороза бежим сломя голову».

«И что за причина? Разве на высоте 145 мы не отбили за один день пять русских атак?»

«Да, но потери! Во втором взводе было убито семеро. В

первой роте осталось только 46 человек».

«А ведь прошло всего четырнадцать дней, как прибыло пополнение».

«Черт побери, смотри как следует! Давай вправо».

Солдат, ругаясь, отталкивает товарища. Фыркая, проносятся взмыленные лошади. На повозке висят солдаты, как утопающие на спасательной лодке. Это из первой роты.

Они предельно устали. На высоте 145 эти солдаты удерживали выдвинутую вперед сапу всего в 50 метрах от советских позиций.

Полусонные, бредут они, скользя и спотыкаясь. Один солдат ранен в голову, у другого левая рука на перевязи, но оба считаются легко раненными, и это означает, что они должны идти пешком. Солдат с обмороженными ногами сидит на козлах. Сегодня вечером его должны были отправить в госпиталь.

С грохотом движется гусеничный тягач с тремя прицепами для транспортировки боеприпасов. Ведет его фельдфебель Беккер. Несмотря на перегрузку, он взял е собой все, что только можно было. Четко, как всегда, он докладывает: «Господин полковник, все будет исполнено».

Однако его тон не столь уверенный. Он говорит: «Я не совсем понимаю, что произошло. Нам пришлось оставить тяжелые пехотные орудия. Но ведь русские здесь и не наступали. Несмотря на это, орудия брошены. Их взорвали! Обещали дать конскую тягу, но не дали».

«Не разговаривать, Беккер, а действовать! Беспрекословно выполнять приказы. За Доном я все объясню».

«Слушаюсь, господин полковник. Но боюсь, что не хватит горючего. В каждой балке, на каждом подъеме задержка, а ведь не известно, удастся ли где-нибудь по дороге еще раз получить „отто"{50}.“

Я не могу ответить на слова Беккера. Команда: «Прицепы! Вперед!» Едем под гору. Обгоняем повозки и плетущихся солдат. Многие из них хромают.

За пригорком возникает огненно-красное небо. Там пожар. «Проклятые поджигатели! С ума они посходили, что ли?»

Кто они, да и что вообще значит «они»?

Как хорошо что небо багровое. Мы погреемся на пожарище. При пылающих пожарищах все преодолевается легче, как и трудный из-за рухнувшего моста участок пути и оледеневший крутой скат на подходе к Голубой. Вперед! Вперед! Не надо никого винить!

Мы идем мимо горящих домов и сараев. Море пламени! От падающих горящих лоскутьев на шинели появляются прожоги.

Гул пожара перекрывает гул моторов. В отсвете пламени видно, как отряд санитаров тащит носилки, до отказа груженные одеялами, ранцами и санитарным имуществом. Впереди на трех санях полковые врачи, а они взяли одеяла, хлеб, перевязочные средства и мешки, набитые консервами. Впереди на санях лежит тяжелораненый, у него раздроблено левое плечо. Солдата хотели втолкнуть в санитарную машину, но она была переполнена.

«Ничего, господин полковник, как-нибудь справимся! – кричит лекарский помощник. – Надо проинструктировать солдат, как избежать обморожения. Несколько человек уже пострадало. Новобранцы как дети, они не слушают нас».

«… Господин полковник, возьмите хлеба».

«Экономить надо!» – кричу я в ответ.

Мы проезжаем еще один пылающий населенный пункт. Едкий дым перехватывает дыхание. Гудят тракторы, скрежещут стальные колеса орудий. Крики: «Стой! Стой! Осторожно! Сбрось газ! Стоп! Выключите же, наконец, ваш проклятый мотор!»

И вдруг я вижу своего адъютанта, обер-лейтенанта Штренга который на перекрестке пытается ликвидировать затор. Я знаю, что Штренг болен.

«Почему вы не отбыли с санитарным транспортом на юго-запад?» – спрашиваю я обер-лейтенанта.

«У меня были только две возможности, – отвечает он мне, – назад в неизвестность или вперед в неизвестность. Никто не знает, как глубоко русские прорвали фронт. Мне оставалось одно: возвратиться в свой полк. Не брошу же я вас на произвол судьбы».

При этих словах Штренг устремляется туда, где скопились солдаты, лошади и машины. Из-под машины вытаскивают мотоциклиста. Он хромает. Сплющенные остатки мотоцикла швыряют на обочину дороги.

Я вижу у солдат водку и кричу:

«Вы с ума сошли? Водка? При двадцати градусах мороза! Прекратить! Немедленно дайте сюда бутылку! Бутылку сюда! Как так выдали? Всем выдали?» – спрашиваю я.

«Не оставлять же русским склады с продовольствием».

Меня пытаются убедить, что это сделано с добрыми намерениями. Изголодавшимся солдатам, да еще новобранцам, дали водку.

«Водка согревает».

«Чепуха. Водка расслабляет, делает усталым, опьяняет, – пытаюсь я убедить солдат. – Ведь вам идти еще целые сутки. Может быть, даже без отдыха. В этих условиях водка – яд. Давайте сюда бутылку! Быстрее!»

Штренг подходит ко мне и, стараясь перекрыть шум, кричит:

«Какой-то хозяйственный чинуша решил, что он сослужит войскам большую службу, если раздаст продукты вместе с водкой!»

У меня нет времени подумать о происходящем, я понимаю, что все смешалось – и представление о долге, и ложное понимание товарищества.

Хаос

Четыре часа утра. Дорога, по которой мы движемся, забита автомашинами и дохлыми лошадьми. Уже много недель их кормили одной полынью, и они пали во время изнурительного марша.

В колхозе «Улей» нас ждет новый приказ. Полк должен свернуть на запад и обеспечить защиту фланга от наседающей русской пехоты и танков. Теперь полк подчиняется непосредственно XI армейскому корпусу. Происходит короткий диалог. На свои вопросы я получаю стереотипные ответы:

«Артиллерия?»

«Не имеется».

«Штурмовые орудия?»

«Не имеются».

«Справа от нас?»

«Никого».

«Слева от нас?»

«Неизвестно».

«Время для самой необходимой подготовки, привал на марше?»

«Не будет».

«Можно ли получить немного горючего, чтобы грузовая машина могла подобрать отставших?»

«Ни капли».

«Связь с…?»

«Не имеется».

«Донесения от…?»

«Не имеется».

«Следовательно, спрашивать вас дальше не имеет смысла?»

«Совершенно верно».

Мы решаем сделать привал. Солдаты смертельно устали и спят. Ни один, буквально ни один не шевелится. Первый батальон расположился прямо на заснеженном поле. В утренних сумерках он похож на замерзшее стадо. Под голыми кронами деревьев фруктового сада второй батальон поставил лошадей – одна к одной. От лошадей идет пар, как от болотной воды в холодное майское утро.

Я направляюсь в арьергард, в третий батальон. То и дело

встречаются отдельные группы солдат, небольшие отряды, потом повозка, в которую впряглись солдаты. Двое тянут за собой на веревках ящики с патронами. Связной мотоциклист толкает мотоцикл, у которого спустили камеры и колеса превратились в снежные диски.

Где же арьергард? Пройдя еще четыре километра, я встречаю лейтенанта Гейдельбергера. Он в отчаянии восклицает: «Не знаю, что и делать? Сколько добра пришлось бросить! Русские уже близко. Там, за горой, застряли в сугробах, по крайней мере, еще шесть машин третьего батальона и две машины тринадцатой роты! » Я приказываю ехать быстрее. Сыплет мелкий снег и с шипением тает на цилиндрах. Через несколько минут мы въезжаем на крутой подъем и попадаем в хаос.

Фельдфебель Беккер взобрался на гору. С трудом, переводя дыхание, он докладывает, что не в состоянии справиться с задачей. Тягач, предназначенный для перевозки боеприпасов, уже два часа втаскивает на гору одну машину за другой, а ведь бензина взять негде. Позади нас уже идет стрельба. Один прицеп сломался. Перегрузить его? Но тогда нужно сбросить другой груз. Какой? Кто решит это? Ведь все нужно и все требуют – и административно-хозяйственная часть, и писарь оперативного отделения, и оружейный мастер. Что же делать? Действовать надо немедленно, и я принимаю решение.

Все за дело, скорее! Водители, писари, офицер для поручений! Первый прицеп: ящики канцелярии снять! Сжечь! Множительный аппарат, снаряжение, ящики с инструментами в огонь!

Второй прицеп: белье долой! Ненужное конское снаряжение долой! Командирскую палатку долой! Ящик с уставами, представления к наградам, срочные донесения – все это сейчас хлам. Долой, сжечь!

Третий прицеп: конина, хлеб, консервы – перегрузить!

Все за работу, быстрее! Быстрее! Чего же вы ждете? Разве не понимаете, что мы в клещах? Мы должны выскочить из них, нельзя осложнять борьбу арьергарда. Все образуется, ребята. Мы справлялись еще и не с этим! Совместными усилиями преодолена, наконец, и эта коварная гора. Двух солдат я сажаю в коляску своего мотоцикла. Один из них стер до крови ноги и не может идти, У другого, совсем молодого, немного подвыпившего, обморожен нос и слепое огнестрельное ранение бедра. Нельзя оставлять его на верную гибель.

Мотор запущен. Появляется фельдфебель Беккер, старается быть бодрым, кричит: «Не так все плохо. Выдержим!»

Кавардак в штабе

23 ноября 1942 года. Рассвет. Восходит огненно-красное солнце. Небо пламенеет. Низко над горизонтом – узкая гряда облаков, оправленных в сверкающее золото. Бескрайние снежные поля похожи на окрашенное кровью море, от которого, как синеющие вдали острова и мысы, поднимается Донская гряда. На юге к небу тянутся огромные коричнево-черные столбы дыма, закрывающие горизонт.

Там, в долинах и ложбинах, все тонет в молочном тумане. Ветер доносит глухой орудийный гул, еле видны бесчисленные колонны, двигающиеся из оврагов и между округлыми вершинами к колхозу «Улей».

В одной из балок я нахожу штаб. Там лихорадочно готовятся к передислокации. В глазах безмолвный страх.

«Русские идут! Скорей отсюда! Пожалуйста, не мешайте. Мне надо решить: брать с собой второй комплект обмундирования, домашние туфли, журнал „Берлинер иллюстрирте“, футляр с пластинками и пианолу? Да еще, какие надеть сапоги и брать ли с собой футляр со столовым прибором. Быть может, лучше прикрепить орденские планки? Если понадобится, можно снять или хотя бы расстегнуть шинель, чтобы показать, что ты не какой-нибудь тыловой офицер, а старый опытный солдат мировой войны…»

Все это написано на лицах офицеров, которые, ругаясь, в сутолоке прощаются с окопной роскошью, этим издевательством над всякой военной традицией. Теперь мне ясно, куда делся строительный лес, предназначенный для оборудования позиции. Вот как выглядят, следовательно, зимние квартиры, о которых генерал Штрекер еще в октябре говорил мне, что в некоторых штабах обустраиваются с такой роскошью, как будто находятся в берлинском Груневальде{51}.

Я пробираюсь между спешащими ординарцами, походными кроватями и битком набитыми чемоданами. Один чемодан раскрыт, из него вывалилась шелковая пижама кремового цвета, огромный кожаный несессер и пачка картинок с голыми женщинами, вырезанных из иллюстрированных журналов. Наконец я у «святая святых» – апартаментов генерала.

Однако генерала нет. Уже 24 часа, как корпус с неизвестной целью переброшен на юг, за Дон. В комнате в желтоватом полумраке свечей сидит офицер генерального штаба, я представляюсь ему, и он радостно отвечает мне, что можно объяснить двумя причинами: либо он трусит перед таинственно неопределенным будущим, что сближает даже совершенно незнакомых людей, как стадных животных во время стихийных бедствий, либо он пьян.

Несмотря на беспорядок, сразу же замечаешь необычную тщательность отделки и ничем не оправданные издержки материалов и рабочей силы, которые понадобились для постройки этой зимней квартиры. Обшитые деревом потолки, встроенные шкафы и ниши, гравюры немецких городов. В камине поленья горят на колосниках из кованого железа.

Добротные стулья окружают стол, ножки которого, скошенные наружу, с соединенными в шип перекладинами, напоминают мебель в тирольской крестьянской комнате.

На стене висит икона, богородица с младенцем, бесспорно «реквизированная» в церкви. Можно было бы подумать, что попал в дом православного священника, а не в штаб генерала гитлеровского вермахта.

Я смотрю на сидящего передо мной генштабиста, его прикрытые глаза, нервно подергивающиеся углы губ, удлиненную голову, угловатый подбородок. Он нервно перебирает пальцами. Такие люди в критические минуты либо впадают в апатию, либо становятся несдержанны и вспыльчивы, или же полностью теряют волю.

Этот генштабист просит пехотный полк прикрыть отступление корпуса и тыловых служб за Дон.

Наш разговор длится недолго. То, что здесь происходит, – это не обычное перемещение и не ограниченная перегруппировка местного значения, а самое настоящее бегство.

А ведь совсем недавно я получал от командира дивизии генерала фон Даниэльса приказы, которые позволяли считать, что командование находится на высоте положения. С тех пор все изменилось. Инициатива боевых действий перешла к Красной Армии.

Раз так, то у нашего полка остается лишь одна возможность избежать охвата советскими войсками{52}. Для этого надо предпринять форсированный марш. Все другие приказы – об отвлекающем маневре, об отрыве от противника под прикрытием темноты, о том, что войска ожидают подготовленные позиции, – все это сплошная ложь, ерунда, вроде тактических занятий по карте на маневрах. Все это не имеет ничего общего с суровой действительностью здесь, в Донской степи.

В обстановке бегства все приказы дивизии стали невразумительными и неконкретными. Как и раньше, в них нет данных о численности противника. Последний приказ гласит: «Последние подразделения 767-го гренадерского полка переходят 23.11 в шесть часов мост через Дон у Вертячего. Офицер для получения приказа высылается в дивизию, является 22.11 в I а{53} в Вертячий».

Таков приказ. Но как выполнить его? Сказать ли своим офицерам правду? Как объяснить движение штабных колони? Как объяснить кавардак, возникший, когда офицеры, с проклятиями, ругаясь друг с другом, пытались завести свои автомашины? Как объяснить простым пехотинцам, которые плетутся со своей ношей, тащат ящики с боеприпасами да еще помогают идти больным товарищам, почему штабы везут в автобусах и на грузовиках ненужные вещи?

Вот вывозят рогатый скот, а в деревянных клетках – кур и гусей. На машинах – матрацы и ящики с французскими винами. На снегу остались 70 обессиленных солдат, потому что из-за отсутствия горючего не было возможности их вывезти.

Не сложится ли у командиров батальонов впечатление, что командование потеряло голову? И как обстоит дело у нас самих? Не является ли и оперативный отдел нашей дивизии как раз подобием того оперативного отдела, который мы наблюдаем? Польстив действиям войск и их командиру, «который, разумеется, справится с положением», штаб уже днем 19 ноября покинул полк на произвол судьбы, увернувшись от ответов на вопросы о том, куда намерен передвинуться штаб дивизии и как штаб корпуса оценивает обстановку.

Можно ли, однако, допустить, чтобы доверие войск к командованию было поколеблено? Ведь ясно, что создалась кризисная ситуация. Нельзя, однако, чтобы об этом знали войска. А что такое поспешное отступление не может быть осуществлено без потерь, каждому ясно. Итак, долой бесплодные, расслабляющие раздумья! И главное, марш из этой балки, где беспомощные, потерявшие голову люди мечутся, как в разворошенном муравейнике, пытаясь спасти свое барахло.

Командиры батальонов стоят вплотную друг к другу, с застывшими на морозе лицами, в оледеневших белых маскировочных халатах и ждут новых приказаний. Но что сказать им?

«Главное, что вам нужно знать, – это что русские осуществили глубокий прорыв южнее Клетской и с танками преследуют наши войска. Рубеж сопротивления западнее „Молочной фермы“ потерял свое значение. Необходимо одним броском отойти за Дон! Пункт назначения: переправа около Вертячего. 2-й батальон выступает немедленно. 3-й – в 6 часов 30 минут. 1-й следует за головной походной заставой. Все транспортные средства приспособить для перевозки людей. Главное же, скажите своим солдатам: до сих пор марш был проведен отлично. Новобранцы достойны всяческой похвалы. И предупреждаю: ни капли алкоголя».

Колонны движутся

Картина движения полка за эту ночь совершенно изменилась. Как и предусмотрено, солдаты образуют команды толкачей для каждой автомашины. Тяговые канаты, сыгравшие столь большую роль летом во время форсированных маршей по бесконечным песчаным дорогам, не выдержали страшного холода и полопались. Еще несколько ящиков, как ненужный теперь балласт, летит в канаву. На освободившееся место садятся солдаты с сильно потертыми ногами. После долгих перебранок, в конце концов, удалось разместить раненых в моторизованных колоннах. Походные кухни выдают по большой порции макаронного супа с мясом. Радует пригревающее солнце. Постепенно все примиряются с тем, что пришлось оставить окопы и траншеи под Ближней Перекопкой.

Правда, много разговаривать в пути не приходится. С трудом идем по накатанному снегу. Как можно заключить по отдельным обрывкам разговоров, все мысли вертятся вокруг создавшегося положения.

По правде говоря, все, что мы видели до сих пор, в том числе здесь, в этой балке, к сожалению, похоже на разгром. Бредут разрозненные группы солдат, еле плетущиеся одиночки с трудом протискиваются между автоколоннами. А вот пестрая смесь из подразделений одной части, которую наш полк должен был принять прошлой ночью и вместе с этим пополнением создать оборонительную линию. Однако из этого ничего не вышло! Все, что солдаты могли узнать за последние 48 часов от офицеров или старослужащих вахмистров, должно было подействовать на них потрясающе.

За несколько часов откатывающиеся назад войсковые части образовали все большие интервалы, подразделения распались на многочисленные мелкие маршевые группы. Все, кто медленно, кто быстрее, стремятся к мосту через Дон. Оставшаяся от роты горстка солдат, человек сорок, с несколькими боевыми машинами, под командованием неунывающего лейтенанта пытается маршировать под песню. Рядом взвод еле плетется: многие солдаты с больными ногами. Рядом тащится до отказа нагруженная телега. Потные, утомленные от бессонной ночи, окоченевшие от мороза и голодные солдаты проходят мимо трех легкораненых, которые как раз свежуют заднюю ногу павшей лошади. Прошлой ночью во время арьергардного боя где-то за Осинками эти трое оторвались от своей части и остались без продовольствия.

Сзади движутся подразделения полковой артиллерии. Они уже прошли 45 километров. Беспорядочно сгрудившись, офицеры

и солдаты, ухватившись за тросы, преодолевают оледеневшую дорогу. Молоденький солдат, сияя, заявляет, что вот это, наконец, настоящее дело. Четырнадцать дней на Дону он только и делал, что рыл окопы ночью – все это была ненастоящая война. Теперь наконец-то придется испытать кое-что.

Он спрашивает меня, что нам предстоит дальше. Я не знаю, что ему ответить.

Колонны наседают друг на друга. Видимо, впереди образовался затор. Мы петляем мимо машин то вправо, то влево. С трудом обгоняем дивизион Вернебурга. Еще несколько сот метров, и мы тоже застряли. Крутой поворот между широкой балкой и руслом реки совершенно закупорен: сорвавшиеся боевые машины уперлись друг в друга, впереди нас – горящий грузовик, который, по-видимому, свалился на полном ходу и раздавил двух лошадей. Всюду слышны крики и ругань. Солдаты пытаются выбраться из этого хаоса и машину за машиной переправить на другой берег.

Впереди нас, в радиусе одного километра, такой же дикий беспорядок. Видны десятки сгоревших грузовых и легковых машин, валяющееся в грязи и снегу имущество, раздавленные лошади. Здесь царствует панический ужас, хаос, куда более страшный, чем тот, который мы сами пережили несколько часов назад.

Как это повлияет на солдат, которым приказано организованно отходить на юг!

«Все это дьявольски похоже на бегство», – говорит фельдфебель Беккер. Он ищет новую переправу для своего тягача с боеприпасами.

«Во всяком случае, это безобразие», – коротко говорю я. Главное в этой ситуации – обеспечить защиту открытых флангов! Советские войска могут появиться в любое мгновение. Арьергард должен находиться в некотором отдалении от этой переправы. При боевом соприкосновении такое опасное место должно непременно оставаться вне сферы огня противника. Ведь хорошо известно, как легко даже опытные фронтовики теряют голову в такой обстановке.

«Это ужасно, но голов не вешать!»

Прежде чем я успел отдать приказ, появился мой связной, а следом за ним – командир армейского корпуса генерал Штрекер.

Всего несколько дней назад я беседовал с ним. Это было на передовых позициях у Ближней Перекопки, он пробирался по тесным ходам сообщения от одной стрелковой ячейки к другой до наблюдательного пункта на высоте 145. В 40 метрах от нас – советский пулемет.

Я вспоминаю о своих жалобах и пожеланиях, которые я изложил генералу: мало колючей проволоки, нет строительного леса, нет людей, пополнение плохо обучено.

И вся эта история с выпрямлением линии фронта – сплошная гнусность. Речь шла о полосе обороны шириной 800 и глубиной 400 метров. И даже это незначительное сокращение линии фронта Штрекер не мог разрешить, так как по приказу Гитлер оставил за собой решение даже таких мелких вопросов. Нам же удержание этой оборонительной позиции стоило ежедневно 20-30 солдат! Это означает, что за несколько недель полк будет обескровлен и истреблен. Неужели там, наверху, не понимают, какие последствия могут иметь такие решения?

Известно ли вам, господин генерал, что нам не хватало 24 тысяч метров колючей проволоки, 340 печей для блиндажей, 8 тысяч деревянных кольев, 3 тысяч противотанковых мин, 32 тысяч человеко-часов и так далее…

Известна ли вам комедия, когда мы с двумя офицерами штаба с помощью мерных реек так безупречно обозначили на местности разграничительную линию с правым соседом, 44-й пехотной дивизией, что для обеспечения стыка не понадобилось ни одного лишнего пулемета, ни одного лишнего человека по сравнению с тем, что полагалось по уставу. Я и сейчас убежден, что мы, среди бела дня занимавшиеся этими бессмысленными промерами, только потому не подверглись обстрелу, что нас всех приняли за сумасшедших.

Теперь, восемь дней спустя, вы снова стоите передо мной, с пепельно-серым лицом, с впалыми щеками. И тот, кто, как я, знает вас давно, может и теперь различить за вашей строгостью заботу о каждом из нас.

Это впечатление усиливается первым заданным мне вопросом: «Когда вы, Штейдле, рассчитываете быть со своим полком за Доном? Прошу извинить, на этот раз при всем желании я ничем не могу вам помочь. Но вы должны переправиться через Дон! Вперед, без остановки! Без остановки! Промедление невозможно! Невозможно! Вы должны быть за Доном, Штейдле, и я знаю, вы сумеете это сделать. Я знаю ваших солдат, они справятся с этим! Известно ли вам, что здесь вы остались одни? Невероятно, невероятно! Больше я ничего не могу вам сказать. Подробности мне неизвестны. Да, да, Штейдле, это ужасно, но голов не вешать…» При этом его худая фигура куталась в офицерскую шинель. «Голову не вешать, и с богом… с богом!» И затем, сдавленным голосом, сквозь зубы: «Все это ужасно, но вы должны выполнить свою задачу: отойти за Дон».

Каждый раз, когда генерал умоляющим тоном повторяет, что

необходимо отойти за Дон, у меня перехватывает дыхание. Ведь именно между «здесь» и «где-то за Доном» нас подстерегают трудности, которые невозможно предугадать заранее и которые, вероятно, доставят нам немало неприятностей. Голова идет кругом, когда я думаю об уцелевших солдатах моего полка, измученных лошадях, нехватке бензина, о многих обморозившихся солдатах, которые держатся из последних сил.

«Итак, мой дорогой Штейдле». С этими словами генерал протягивает мне руку и уже хочет уходить, как вдруг сзади нас раздаются два пистолетных выстрела.

Перед нами на дне балки группа солдат, позади них – полевые жандармы, грубо ругаясь, размахивают пистолетами. В каких-нибудь пятидесяти шагах от нас, между снежной канавой и увядшим ковылем, – советский солдат. Неожиданно он вскидывает руки и что-то кричит. Затем, спотыкаясь, он делает несколько шагов и падает. Столь же неожиданно с середины откоса к нему бросается жандарм, шедший в конце колонны военнопленных. На ходу он выхватывает пистолет, еще раз стреляет в русского и, уже возвращаясь, что-то кричит. Затем он обгоняет пехотную колонну, как раз поднимающуюся из балки, и исчезает. Обер-лейтенант Урбан бросается за ним, Беккер кричит: «Санитары, санитары!» Однако его голос заглушается шумом тягача.

Мы спешим к пострадавшему. Он приподнимается, опираясь на руки, пытается что-то сказать, смотрит широко раскрытыми глазами на небо. Губы его шевелятся, но он не может произнести ни звука. Его глаза раскрываются все шире, как будто хотят выйти из тени широких скул. Вдруг он стонет и плачет. Голова его беспомощно качается между расставленными руками. Этот плотный, коренастый солдат старается не упасть. Кажется, как будто он хочет спросить: «За что, за что же?»

За что? Он падает вперед и переворачивается на бок. Меня охватывает ужас. Одно мгновение мне кажется, что я теряю почву под ногами. Как будто мне нанесли удар по затылку и по вискам. Колени у меня дрожат. Никто из нас не решается сказать что-либо. Все мы глубоко потрясены. «Подлый трус!» – кричу я вслед жандарму.

До сих пор я не могу забыть лицо этого убитого. В нашем присутствии было совершено убийство, и мы не смогли его предотвратить.

Генерал смотрит на взмыленных лошадей, на плетущихся солдат с ногами, обернутыми в тряпье, и с распухшими от мороза носами.

Я пытаюсь утешить себя тем, что русского солдата надо

похоронить, чтобы он мог обрести вечный покой, как будто не было совершено преступления!

Генерал говорит сдавленным, неуверенным, непривычным для меня голосом: «Итак, Штейдле, выполняйте! С богом! За Дон!»

«Все погибли»

Весь день с разных сторон слышны стрельба из противотанковых орудий и разрывы снарядов – стреляют русские.

Поступают донесения из арьергарда: советские войска сильно теснят нас не только с запада, но продвигаются также с севера, от колхоза «Улей». На юго-востоке якобы появилась советская кавалерия. И, наконец, сообщают, что пехотный взвод нашего арьергарда неожиданно подвергся нападению со всех сторон. Несомненно, наше положение резко ухудшилось. Прибывает связной мотоциклист и докладывает, что перед арьергардом как из-под земли появились со всех сторон русские и открыли уничтожающий огонь из минометов, противотанковых орудий, автоматов и танков. Он полагает, что все его товарищи погибли: вряд ли кому-нибудь удалось выбраться пешком по открытому заснеженному полю. Ему самому повезло: по откосу он съехал на наезженную колею, а с нее выскочил на дорогу. Связному трудно сохранять спокойствие. Со слезами на глазах он восклицает: «Все погибли! Все погибли!»

Каждое слово его донесения передается дальше и обсуждается всеми: солдатами, которые благодаря смелой советской тактике не впервые оказались в тяжелом положении и потому могут судить о подлинном значении того, что происходит; солдатами, падкими на любую сенсацию; наконец, такими, которые хотя и не могут полностью осмыслить значение событий, но все же с беспокойством говорят о них со своими товарищами.

В результате это донесение проходит через всю полковую колонну и ускоряет темп ее движения, грозивший замедлиться из-за усталости, распухших ног, кровоточащих суставов или тупого равнодушия.

Излишним было бы говорить, что при зимних маршах трудности неизбежны. Однако все возмущаются масштабами этих «трудностей», хаосом, который мы видим во время этого похода за Дон, а также бессмысленными разрушениями, которые можно объяснить только паникой.

Страшные картины сменяют одна другую. На бледно-чернильном фоне вечернего неба вздымаются столбы дыма. Нас окутывают удушливые облака дыма; воздух наполнен едким запахом тлеющей резины, жженой кожи и сгоревшего лака. По обеим сторонам пути следования то и дело возникают новые

пожары. Затем мы оказываемся перед широкой лощиной, во всех углах которой бурлит, горит и дымит. В отдалении слышны взрывы и знакомый треск рвущихся снарядов. Сквозь пламя и дым виднеются тесно прижавшиеся друг к другу дома поселка: там все горит. Двигающиеся колонны отчетливо, до малейших подробностей, выделяются на фоне снежного ландшафта. Они петляют и извиваются, в одном месте широкой дугой огибают огромный очаг пожара, в другом – протискиваются между домами, обрывами и опрокинувшимися машинами. Хорошо видно, как ползущая в нескольких километрах с востока группа машин и людей пытается вклиниться в быстро идущие ряды другой колонны. Хаотический беспорядок! Что все это значит? Проезжая на мотоцикле мимо солдат полка, я вижу на их лицах вопросы. Но что я могу сказать? Что известно мне самому? Поэтому приходится молчать и уклоняться от ответов на вопросы офицеров.

Единственный, кто, кроме моего водителя, быстро сориентировался в обстановке, – это стрелок 7-й роты. Я подобрал его на дороге, так как из-за потертостей и открытых ран на ногах он не мог идти. Когда мы остановились около первых полыхающих грузовиков, стоявших прямо на обочине дороги, он, сидя сзади водителя, наивно воскликнул: «Боже мой, как жаль эти превосходные автомашины, как жаль!»

Еще если бы речь шла о каком-нибудь десятке машин! Ведь что брошено здесь, гибнет в дыму и пламени или разграблено, стоит миллионы! К тому же всюду валяются документы, журналы боевых действий, совершенно секретные приказы. Одно это могло бы занять контрразведку на целые месяцы. В этой неразберихе все клятвенные обещания и инструкции о сохранении тайны оказались забытыми. Никто и не думает о них.

«Давайте-ка покурим. Сюда, Фордермейер, вы тоже». Хотя у нас эрзац-табачок, но и он доставляет истинное удовольствие. По крайней мере, не нужно ничего говорить, не нужно никому отвечать, можно предаться размышлениям или даже оттеснить мысли в подсознание. Если бы моя жена знала, в каких условиях мы раскуриваем «Равенклау"{54}, которые она прислала мне на Дон по случаю дня рождения нашего старшего сына!

Приходится притворяться, что на кое-кого все эти неприятности не действуют. Однако, быть может, «неприятности» – это неподходящее слово для обозначения поспешного бегства, для характеристики ситуации, в основе которой лежат «хорошо продуманные» мероприятия командования. Быть может, эта паника – результат неспособности или даже трусости отдельных наших нижестоящих командиров? Где же воспитывавшаяся в

немецком офицерском корпусе способность принимать самостоятельные продуманные решения? Разве привычные к исполнению своего долга войска не должны действовать, даже если по какой-либо причине не получат командирского приказа, и переносить неудачи и поражения без потери боеспособности?

Во всяком случае, здесь что-то не сработало. Но нельзя допустить, чтобы паника охватила и мой полк. Я позабочусь об этом. Все солдаты и офицеры полка, несомненно, согласятся со мной. Вот полк проходит мимо меня – в пропотевшем обмундировании, от которого идет пар. Командиры рот сами тащат сани с больными и то и дело подсобляют отстающим повозкам.

Тогда мне казалось, что в такой обстановке добиться чего-либо можно только абсолютной твердостью. Ни тыловые жеребцы{55}, ни дезертиры не могли роковым образом подействовать на моих солдат. Ведь это были солдаты, привычные к тяжелым маршам, закаленные в боях, верившие командованию.

Немногие из нас понимали тогда, как бессмысленны были эти переходы и эти бои, какой сумасбродной была эта вера, каким гибельным было это все для нашего народа.

В походе

Между тем окончательно стемнело. Солдаты тащатся медленно. Они держатся друг за друга – за ранцевые ремни, за шанцевый инструмент или, держа друг друга за руки, попарно, толкаясь и спотыкаясь, бредут по замерзшей, разъезженной колее. Забыты наставления о соблюдении полной тишины во время ночного марша. Уже издалека можно обнаружить марширующие колонны по неясным возгласам, проклятиям и ругани.

То и дело в темноте раздается сердитое: «Реже шаг!» Команда эта передается дальше, в стороны или назад независимо от того, как это может повлиять на темп марша. Каждый рад, услышав: «Реже шаг!» Иногда разрешается несколько минут передышки. Даже небольшая остановка помогает: можно опуститься на землю в надежде обрести покой.

К разговорам, ведущимся вполголоса, примешиваются сальности и непристойности, как это бывает в таких ситуациях. При этом солдатам безразлично, последует ли за этим смех или возмущение. Чем неприличнее, тем лучше.

Было бы бессмысленно ехать дальше на мотоцикле с коляской в такой темноте и подвергаться опасности свалиться под откос. Фельдфебель Беккер принимает мотоцикл, а я шагаю в хвосте колонны вместе со своими солдатами.

Обер-лейтенант Урбан, неунывающий венец, берет меня под

руку и идет вместе со мной. Мы откровенно говорим друг с другом о том, сможет ли дивизия преодолеть кризис. Полусонные, мы идем, невзирая ни на что. Потом большой привал. Мгновенно все валятся и, чтобы хоть немного согреться, тесно прижимаются друг к другу. Вскоре почти все погружаются в мертвый сон. Разбудить спящих так людей можно лишь стрельбой, пинками и встряхиванием.

Чего только мы не наслышались во время марша, каких крепких слов, каких суровых оценок!

«Неужели штаб дивизии тащит с собой своих коров? – Эта обожравшаяся банда! – Пропади они пропадом, эти… – Чтобы они бросили дойных коров? Исключено! Скорее на дороге подохнет пара солдат, чем эти дадут грузовик для тех, кто не может идти. – Давно удрали. Было бы новостью, если бы они стали дожидаться, пока появится Иван. – Фураж? Не беспокойся. Чтобы подвезти его, у них всегда найдется горючее. – Если им понадобится, они свезут сено со всей округи. – По какому праву они держат в дивизии целый зоопарк? Новый начальник оперативного отдела, тот, с раздутой рожей, – обожравшийся тюфяк. Надо бы угнать у него коров. – А если кто-нибудь заметит? – Никто не обратит внимания. В штабе тоже много таких, которые охотно помогли бы сделать это. Им достается так же мало сливок, как и нам. – Начальник оперативного отдела! На командном пункте полка он побывал только в последнюю неделю и при первом же выстреле наклал в штаны. А потом смылся. – А Железный крест I класса он получить не прочь!»

В этом же стиле разговор идет дальше. Урбан и я слышим все это от слова до слова. Время от времени кто-то, очевидно тяжелобольной и нуждающийся в медицинской помощи, надрывно кашляет и вполголоса причитает: «Лучше прикончите меня! Не могу больше!»

«Что значит смотаться? Куда смотаться? Разве Дон уже виден?»

«Урбан, мы ведь понимаем друг друга. Разве не позор, что у наших солдат есть повод думать об этом?» Однако кто знает, что в действительности произошло позади нас. Ведь и казначей штаба, несколько дней назад побывавший в Миллерове, высказывал подозрения…

«Об обстановке сказать не могу ничего»

Навстречу кто-то идет по дороге, размахивая карманным фонариком. Обращаясь попеременно то вправо, то влево, он кричит что-то в толпу спящих людей. Сначала слов разобрать нельзя. Потом слышно: «Где командир?»

Приближаясь, он повторяет: «Где командир? Да отвечайте же

наконец!»

Вот он уже около нас. И снова мы слышим: «Господи, да где же командир?»

Урбан вскакивает, окликает его, и прибывший докладывает: «Господин лейтенант, впереди в 200 метрах майор из штаба дивизии хочет говорить с командиром полка. Срочно».

«Почему же он не пришел сюда?»

«Майор хромает, он не может выйти из своего вездехода».

Итак, к машине через массу забывшихся тяжким сном людей. Из полуоткрытой двери походной радиостанции падает свет. Из машины медленно выползает офицер и представляется. Я впервые слышу его имя. Потом спрашиваю:

«Кто вы и что вам угодно? Вы ранены? Известно ли вам что-либо об обстановке? »

«Об обстановке сказать не могу ничего. Я ранен. У меня сильно разбито колено. Сегодня утром мы потерпели аварию».

Мое внимание привлекает карта, освещенная лампочкой приборной доски. Между тем майор снова заползает в машину и раскладывает карту на коленях. На ней от руки нанесена обстановка. Неужели наконец это информация из дивизии?

«Я ищу ваш полк со вчерашнего дня. Сумасшедшая поездка. Никто ничего не знает. А плыть против течения – это, как вы знаете сами, безумие. Не знаю, сколько пришлось проехать километров, чтобы найти вас. Наконец-то мы здесь. Мне поручено генералом фон Даниэльсом устно объяснить вам обстановку и передать боевой приказ».

Майор вытаскивает карманный фонарик и шарит лучом по карте.

«Боюсь, однако, что все это уже устарело. Но, во всяком случае, вчера утром было так. Здесь генерал сам нанес обстановку и здесь тоже. Это последние пометки. Штаб дивизии находится теперь в Вертячем».

«Теперь или вчера?»

«Вчера. Здесь 384-я пехотная дивизия, а там – дорога по Донской гряде. Я думаю, она проходит недалеко отсюда в поперечном направлении. 384-я дивизия подбирает всех, кто движется с севера и с запада. Ваш полк тоже переподчинен ей. Во всяком случае, русские были здесь и под Голубинской даже с кавалерией. На севере – с танками, а здесь, на юге, – продвигаясь от Калача».

Майор наклоняется ко мне и говорит полушепотом: «Такое хамство! Русские танки движутся с севера и с юга. Они должны где-то соединиться. Об этом я узнал сегодня в службе тыла, кажется, 16-й танковой дивизии, которая ведет бои там, внизу.

Вчера еще она была здесь. А это, наверное, рубеж плацдарма севернее моста через Дон, который удерживается 384-й пехотной дивизией. Или она где-то в другом районе?"{56}

Я с удивлением смотрю на него.

«Извините, господин полковник, разрешите доложить. Обстановка на карте нанесена начальником оперативного отдела. Карта передана мне в таком виде. На ней уже была целая уйма обозначений. Мне кажется, в штабе дивизии сами не имели ясного представления относительно обстановки, и я вляпался, как девица, родившая ребенка.

Прошу извинить, но еще четыре дня назад я был в Чире, я работаю там на базе снабжения корпуса. В штаб дивизии был направлен только для того, чтобы доложить о подготовке к зиме. И вдруг приказ об оставлении позиций. Назад к себе попасть не удалось. Теперь я исполняю обязанности офицера для поручений. Разумеется, как офицер технической службы я не имею никакого понятия об управлении войсками».

«Почему же послали именно вас, ведь там, в штабе дивизии, немало более молодых офицеров?»

«Не знаю. Начальник оперативного отдела разослал своих людей в населенные пункты по всем направлениям, чтобы, как он выразился, найти приличные дома».

«А я уже несколько дней не могу установить радиосвязь! Известно ли вам, что я вовсе не подчинен дивизии?»

«Как так?»

«Да, имеется приказ по корпусу, который пока что не отменен: „767-й пехотный полк действует самостоятельно, обеспечивает отход корпуса и получает приказы непосредственно от него“. И если в дивизии вчера думали иначе, то, быть может, сегодня они уже знают, что на меня рассчитывать не приходится. Впрочем, взаимоотношения внутри нашего командования вам не известны. Не буду затруднять вас. В сущности говоря, вы напрасно прибыли сюда, увы, к сожалению, напрасно!»

Майор недовольно трясет головой, нервничая, спрашивает: «Нельзя ли мне хотя бы на ночь остаться с вами?»

Обер-лейтенант Урбан, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, говорит хриплым голосом несколько раздраженно: «Но это же само собой разумеется!»

Мост через Дон – 12 километров

Неожиданно перед нами возникает дорожный указатель: «Мост через Дон – 30 т – 12 км».

Об этом с быстротой молнии становится известно солдатам. «До моста через Дон 12 километров!» Всего 12 километров! Каждый подсчитывает. Если идти дальше таким же темпом, то

через три часа, а может быть, через два с половиной мы будем там. Имеют значение каждые четверть часа. Нытики более осторожны: «Самое меньшее – четыре часа. И в последний момент могут отдать приказ повернуть и двигаться назад!»

За Дон! Как много возникает надежд! Ведь там, за Доном, все будет иначе. Не исключено, что оттуда мы будем направлены на отдых. Некоторые утверждают, что за Доном еще имеются отличные деревни. Оптимисты фантазируют о резервах, которые окончательно сменят нас – для давно ожидаемой отправки на Запад, во Францию.

Слух об этом, по существу, не так уж нелеп. Во время первой мировой войны наш альпийский корпус более восьми раз перебрасывался туда и сюда между Западным фронтом, Италией, Румынией, Венгрией и Доломитами{57}. И каждый раз этим перемещениям предшествовали «окопные слухи» – необоснованные надежды, мечтания. Во-первых, благодаря частому перебрасыванию мы на некоторое время оказывались вне непосредственной опасности. Во-вторых, перемещения отвечали склонности к авантюризму, старой тяге ландскнехтов к чужим странам, к другим женщинам. Разумеется, все было на современный лад, в соответствии с эпохой, «культурно": с собой брали фотоаппараты, путеводители Бедекера{58}; каждый чувствовал себя „туристом“.

Кроме того, разве в этой тяжелой обстановке мы не заслужили, чтобы нас перебросили во Францию? «Эх, ребята, вот будет здорово! За Доном – погрузка, и поездом в Бордо или в Марсель, ничего не видеть и не слышать о войне на Востоке».

Все оживляются, кажется, будто прибавились силы. Даже если какая-либо колонна пересекает путь и на каких-то участках образуются заторы, движение продолжается вдвое быстрее, чем раньше. Никто уже не обращает внимания на рукав, изодранный в клочья, на все прочее. Люди падают, поднимаются и снова идут. Лишь бы не отставать – дальше, дальше. Лошади дико бьются в постромках. Солдаты подталкивают повозки, помогают измученным лошадям.

12 километров, 10 километров… «Дойдем без них! Без этих проклятых кляч! Так или иначе, мы выйдем, выйдем на Дон!»

«Сколько километров осталось теперь?»

И вдруг: стоп! Снова один из этих оледеневших поворотов, на котором смешалось в кучу все, что только можно себе представить: две обозные повозки дышлами поперек дороги, тягачи, опрокинувшиеся грузовики со сплющенными кузовами и перевернувшийся прицеп, а вокруг – сотни людей, жестикулирующих, обозленных, пытающихся распутать этот хаос.

Каждый хочет пройти первым. Каждый стремится только к одному: выбраться на ту сторону, попасть туда, где широко наезженная дорога снова круто идет вверх и, очевидно, открывает путь к Дону.

В эту копошащуюся массу людей со страшным ревом и грохотом врезывается грузовик, у которого отказали тормоза. Он скатился с горы по инерции. Водитель спрыгнул в последний момент. У одного солдата, однако, сломаны ключицы и ребра. Как пораженный молнией, он валится набок. Затем приподнимается, тяжело дыша, по его лицу текут слезы. Его кладут в сани, запряженные солдатами.

Только вперед, к Дону!

Солдаты бросают транспорт и обессилевших людей, колонна из последних сил преодолевает подъемы.

С одной из куполообразных возвышенностей в стороне от дороги я смотрю на происходящее. Над равниной низко стелется дымка. Все сливается, как на морском ландшафте. На коричневой поверхности степи на юге и на западе выделяются бесчисленные покрытые снегом холмы. Насколько хватает глаз, повсюду столбы дыма. Реки не видно. Моста тоже: он скрыт меловыми обрывами. Все очень напоминает район Монастырщины на Среднем Дону. Там, однако, леса тянулись вдоль реки, а здесь лишь несколько перелесков. Бесконечные дорожные трассы, вернее, огромные грязно-серые полосы с бесчисленными двигающимися по ним точками. Это наши солдаты, автомашины и повозки. Наверное, их тысячи. Во многих местах движение происходит в противоположных направлениях. С юго-запада слышен непрерывный гул боя. Над нами время от времени пролетают советские снаряды: очевидно, русские ведут беспокоящий огонь по переправе через мост.

Я намереваюсь сделать зарисовку в блокноте, но обер-лейтенант говорит: «Только не теперь, господин полковник. Надо как можно скорее перебраться через мост».

Паника на реке

Перед единственным мостом через реку сгрудилось все, что идет в излучину Дона с севера и откатывается с запада. Всюду хаос. Верх одерживает тот, кто громче кричит, смелее нажимает на акселератор, рискует защитным крылом машины или в решающий момент обманывает других ссылкой на задание высшего командования. Охрана моста совершенно потеряла голову. Регулирование движения поручено пожилым офицерам, призванным из запаса, – одному майору и капитану инженерных войск, которые явно не справляются с задачей. С одного берега на другой по телефону переругиваются, пытаясь договориться о

взрыве моста и о расчете допустимой нагрузки на лед. На некоторых участках река уже замерзла. Говорят, будто советские дозоры уже переправились через Дон.

Недалеко от въезда на мост – песчаный участок дороги. Проехать по нему удается лишь в том случае, если на полном газу разогнать машину, а затем рывками преодолеть развалившийся настил из толстых досок. Здесь уже застряло немало автомашин, въезд берется приступом. Кто-то включает фары, и ему за это угрожают расстрелом. В это время над нами начинают кружить «швейные машины"{59}. Они сбрасывают мелкие осколочные бомбы, и все совершенно теряют голову.

Зенитная артиллерия накануне ушла с северного берега, а орудия на южном берегу упорно молчат, чтобы не обнаружить свои позиции. В результате советские летчики, которые до сих пор, к нашему счастью, не появлялись из-за плохой погоды, теперь господствуют в воздухе. Советская артиллерия ведет обстрел из 120-миллиметровых орудий через весь плацдарм 384-й пехотной дивизии вплоть до переправы. Попадания педантично точны. Это нас еще больше толкает к поспешным и непродуманным действиям. Оно и понятно. Никто не хочет погибнуть незадолго до достижения спасительного берега.

Панике способствует и другое обстоятельство: здесь столпились всевозможные штабные работники – интенданты, железнодорожники, представители ремонтной службы, авиации и полевой полиции – с вездеходами, грузовиками, некоторые даже с шикарными легковыми машинами. Они бесцеремонно пренебрегают всеми мероприятиями по наведению порядка, лишь бы спасти то, что принадлежит им. Они везут с собой мясной скот, запасы муки, упряжь, горючее, кровати, матрацы. Автомашины сталкиваются друг с другом так, что их невозможно развести, переворачиваются или становятся поперек дороги, создавая заторы. Солдаты с трудом пробираются между ними. Если человек или животное падает на землю, то больше ему не подняться. Крики, ругань, стоны. Дантовский ад. И этим адом подтверждается то, о чем мы не решаемся думать и тем более говорить: мы полностью окружены, вся армия в гигантском кольце.

Теперь нужно беречь каждую мелочь. Никакого снабжения больше нет. Приходится «раздевать» автомашины, так как нельзя рассчитывать на получение запасных частей. На вес золота ценится все: рессорные листы, карданные валы, аккумуляторы. Нужно попытаться как-то преодолеть возникающие трудности и выиграть время: ведь прорыв окружения – это же только вопрос времени.

В полночь прибыли передовые части полка. Подъезды к мосту были так забиты застрявшими машинами, что группе из 30 солдат было приказано расчистить пути. От личного состава на плацдарме не осталось никого, кроме саперного отряда, который жарил лошадиную печенку. Никто, однако, не позаботился о том, чтобы заделать в настиле моста дыры от артиллерийского обстрела.

Наконец мы перешли уже на другую сторону Дона. Все, кто только подходит, партиями по 50-100 человек направляются в Вертячий. При этом обнаруживается, что среди нас находится много отставших от других войсковых частей. Они присоединились к нам в надежде, что их возьмут на довольствие. На окраине Вертячего выдают продовольствие. Затем части движутся в обход населенного пункта с юго-востока. Это продолжается в последние часы ночи и утром. И снова беспорядок и хаос. Каждый действует, как может. Солдаты набрасываются на застрявшие автомашины, рассчитывая найти в них что-либо съедобное или годную шинель. Они не обращают никакого внимания ни на водителя, ни на сопровождающих солдат, которые прилагают все силы, чтобы спасти свои колымаги. Рушатся постройки, и все, что может гореть, летит в костер. Растаскивается даже заготовленный фураж, скот забивают. Опасность угрожает всему живому. То здесь, то там разделывают свинью или корову. Зловоние, смешанное с дымом пожарищ, отравляет воздух.

Повсюду бессмысленно и жадно обжираются. Каждый действует по принципу: «Пусть брюхо лопнет, чем добру пропадать». В набитых солдатами домах для приготовления пищи разводят такой сильный огонь, что нередко балки начинают тлеть, и вот уже горит весь дом. И еще двадцать-тридцать солдат лишились крыши над головой и, как многие другие, вынуждены теперь, стуча зубами, расположиться под открытым небом. Неподвижно сидят они на корточках, прижавшись друг к другу, и тупо смотрят, как летят искры и кружится в воздухе горящая солома. Другие пекут на тлеющих углях выкопанный из мерзлой земли картофель или стараются разогреть банку консервов. Сигарет нет, и все учатся делать самокрутки из газетной бумаги. Грязные, обмороженные пальцы не слушаются, и драгоценный табак сыплется на землю.

Саперы спиливают мотопилами столбы электропроводки и телефонной сети. Столбы используют для строительства блиндажей. Целые пучки проволоки валяются на дороге, но это никого не волнует. Пусть отступающие колонны сами справляются с этим. Столбы падают один за другим, с треском

рушатся на огороды и грядки картофеля, на ветви молодых плодовых деревьев.

Я выдохся

Я расположился на отдых в автобусе полевой почты в надежде, что, наконец, после четырех бессонных ночей мне удастся выспаться. Я не в состоянии отстегнуть полевую сумку и пистолет и даже не думаю о том, не будет ли мешать битком набитая сумка. Мне безразлично и то, что на подоле моей очень длинной шинели образовалась толстая и широкая корка из льда и спрессовавшейся грязи. Я лежу между мешками с почтой и полками с разложенными в поразительном порядке открытками и конвертами. В углу горит крошечная железная печурка. Становится невыносимо жарко, и я просыпаюсь.

Начальник полевой почты, по-видимому, не понимает, что происходит. Он услужливо и вежливо прощается со мной, чтобы отправиться за получением приказа в штаб, который находится теперь в нескольких десятках километров по направлению к Сталинграду! Однако очень скоро он возвращается. Из большого пузатого глиняного горшка, спрятанного за полками для писем, он достает и предлагает мне соленые огурцы и зеленые помидоры.

Неожиданно меня охватывает щемящее чувство. Собственно говоря, я выдохся. Я расстегиваю китель и рубашку, ощупываю как налитые свинцом ноги, потягиваюсь, с трудом стаскиваю лыжные ботинки и рассматриваю распухшие ноги, в мокрых носках и почти красного цвета от проникшего талого снега и отсыревшей кожи. Рубашку как будто кто-то полоскал в грязной луже. На брюках огромное пятно от колесной мази. Один погон на шинели оторвался. К тому же отросшая борода и усталые глаза совершенно изменили мое лицо. Так вот каков ты, командир 767-го гренадерского полка! Что подумают о тебе солдаты? Чтобы показать, что дела не так уж плохи, надо как можно скорее привести себя в порядок. Ведь если ты чист, побрит – это кое-что да значит. Солдаты сразу заметят. Они и сами должны не только почистить оружие, но и получить возможность умыться, обтереть больные ноги и, если найдутся, надеть сухие носки. Но, прежде всего они должны сытно поесть. Надо удалить из района полка приставшие чужие колонны и мародеров.

И еще одна мысль приходит мне в голову – как снова поднять дух солдат. Надо раздать награды! Уже пять дней офицер для поручений таскает в полевой сумке около 30 штук, в том числе три Железных креста I класса. Итак, надо собрать всех, кого только можно, и устроить это как можно торжественнее. Это особенно важно для молодых новобранцев, прибывших к нам

незадолго до форсированного марша. Ими нужно заняться прежде всего, этими подростками из «Гитлерюгенд"{60}. Один из них простосердечно рассказал мне, что они ставили палатки, производили земляные работы и всего четырнадцать дней обучались ближнему бою и стрельбе боевыми патронами. Видимо, единственное, что импонировало им, – это то, что здесь можно стрелять без оцепления, без флажков на линии огня и прочей ерунды, какая бывает на стрельбище. Патронов было сколько угодно. Из-за какой-нибудь пулеметной ленты не было никаких разговоров. У командира батальона, старого регирунгсбаурата{61}, был свой взгляд на вещи: лучше истратить 30 выстрелов при обучении, но в бою попасть в цель, чем всего 3 раза выстрелить в тире, а в бою 30 раз промахнуться.

Для наших молодых солдат это было внове. Но когда началась «настоящая» – по крайней мере, по их представлениям – война, одно разочарование, одна катастрофа следовала за другой, и так продолжалось все время, до переправы через Дон. Они видели усталых, потерявших всякую надежду солдат, охваченных страхом. И если сейчас не произойдет перелома, если не окажется офицеров, о которых можно говорить с уважением, тогда они как солдаты кончены. Так думал я в эти часы.

Я снова пришел к тому, что моя вера в военное руководство поколебалась. Значит, я сам обманывал себя? Нет, не обманывал. Ведь сам я не держусь такой точки зрения, которая была бы обманом. Вообще, есть ли у меня теперь собственная точка зрения на Гитлера? Я многое знаю, многое стало мне известно, сам я перенес немало.

Однако зачем задумываться сейчас об этом? Ведь у меня не было полной ясности относительно происходящего все предшествующие годы. Как же я могу прийти к правильным выводам теперь? Ведь я даже не знаю, что же, собственно, произошло, отчего началась эта паника, это бегство от своего долга и ответственности. Как снова подтянуть своих солдат, этому я, кадровый офицер, научился. И это надо сделать. Пожалуй, это единственное, что может быть сделано.

На железной печурке громко поет закипающий чайник. На полке для писем лежит кусок мыла, который я беру, не спрашивая начальника почты. Постепенно и до него доходит, что хаос господствует повсюду, а автомашина полевой почты годна лишь для того, чтобы взорвать ее или разобрать на запасные части.

В автобус то и дело стучат или трясут дверцу, за этим следует площадная брань и угрозы сломать ее. «Эй ты, стерва, черт тебя побери, открывай!» Или: «Вы что, чокнутые, что ли, ведь мы видим, что печка дымит. Думаете, для вас одних? Давай

открывай!» И снова сильно трясут дверцу. Я открываю: «Спокойнее, спокойнее, ребята. Здесь командный пункт полка. Свободных мест нет».

Поток отставших

Наконец докладывают, что походная радиостанция прибыла и что полковые писаря на месте. Офицер для поручений разместил их в непосредственной близости, в комендатуре населенного пункта, применив при этом силу. Комендант, пожилой капитан, оберегает, как храм, свою резиденцию: колхозный домик и несколько комнат в школьном здании. И, как ни странно, его телефон еще действует!

Какой-то фельдфебель, узнав, что здесь хочет расположиться штаб полка, встречает меня чрезвычайно сухо, почти враждебно. Растерянно смотрит он на меня, когда я советую ему складывать вещи и затем направляюсь в комнату его начальника. Комендант встречает меня весьма официально. Он спал на старом кожаном диване, укрывшись овчиной и пестрым крестьянским вязаным одеялом.

Как лучше описать человека, который, кряхтя, поднимается с дивана? Военное обмундирование не подходит этому человеку, тем более здесь, в Донской степи. Передо мной один из многих, кто более не пригоден к военной службе, но ввиду катастрофической нехватки офицеров отправлен в прифронтовой район. Он встает, фыркая, застегивает китель, под которым исчезает безупречная в пеструю полоску рубашка из полотна, поправляет мягкие манжеты и старательно застегивает их на руке с помощью запонок с оправленными в золото темно-красными камнями, натягивает на свои бумажные носки в узкую цветную полоску еще вторую пару, разгладив каждую складочку, и затем невероятно педантично влезает в сапоги. Повернувшись спиной, он пристегивает подтяжки, а затем представляется мне.

Мне кажется, что я имею дело с владельцем магазина и вот-вот услышу: «Попрошу вас, господин, чем могу служить? Прошу вас сюда дальше, в конец, быть может, разрешите пригласить вас в отдел мужского нижнего белья?» Я представляю себе этого коменданта среди множества продавщиц и учеников в патриархальном мануфактурном магазине, в фирме, которая приобрела свою репутацию задолго до 1870 года. Конечно, он был членом «Стального шлема», союза «Кпфхойзер"{62}; когда было выгодно, проявлял патриотизм и, несомненно, также по коммерческим соображениям был членом по крайней мере «Трудового фронта"{63}.

Так он спокойно дожил до 59 лет, а затем его как офицера артиллерии запаса доставили на Дон. Ведь, несмотря на все

желание, ему не смогли написать в характеристике ничего иного, кроме излюбленной в таких случаях стереотипной оценки: «Прямой, открытый характер, абсолютно надежен. Ничего порочащего относительно его национальных взглядов не отмечается. Семейные отношения нормальные».

Сначала он явно возмущен тем, что я сомневаюсь, работает ли его телефонная линия. Я говорю, что ему здорово повезло, ибо он находится под защитой пехотного полка, он еще больше возмущается.

До мозга костей – воплощенная добросовестность, а попросту комическая фигура.

Дощатые заборы вокруг школы и колхозного домика повалены, клумбы вытоптаны. Комендант растерянно молчит. Меня не интересует «империя», которую он создал вокруг себя. Мне не очень много известно о деятельности и правах комендатуры населенного пункта. Как-то в армейской газете был помещен материал по этому вопросу, но я так ничего и не понял. Мой взгляд пытливо скользит по плакатам на русском языке с призывами против большевиков, по кипам бумаг: здесь правила обработки полей и, конечно, пресловутый приказ Рейхенау об обращении с «вражеским» населением.

Я пытаюсь разъяснить капитану, что нам нужен весь его дом, так как наши солдаты находятся под открытым небом, на морозе, изнуренные после форсированного марша в 80 километров без отдыха, и что для него самое лучшее – смыться куда-либо подальше отсюда, пока вся его комендатура не оказалась в районе огневых позиций артиллерии. Вдруг дверь с треском распахивается и в комнату вваливается группа солдат. С ними высокий обер-лейтенант войск связи. Он отдает честь и просит разрешения ему и его людям обогреться. Его сменяет ветеринар моего полка, доктор Ренерт, и докладывает, что хлынул целый поток солдат, отставших от своих частей. Необходимо что-то предпринять.

Комендант, потирая руки, стоит у стола, заваленного всякими бумагами. Начинается страшный кавардак. Ранцы летят в угол, солдаты стряхивают снег с шинелей и промерзших сапог и помогают друг другу разуться. В комнату втаскивают телефонное имущество, в том числе тяжелые катушки с кабелем и раздвоенные вилки для забрасывания провода. Выгнать этих людей невозможно. Обер-лейтенант Штренг старается найти нам место в другой комнате, еще не занятой телефонной и радиосвязью.

Перед зданием школы стоит обер-лейтенант Урбан. Он громко выкликает номера частей и подразделений. Так заново

начинается формирование дивизии. «Я повторяю, внимание, солдаты, номера полков дивизии Даниэльса: 767-й, 672-й, 673-й, батальон связи Б, батальон семь-А, семъ-Б. Внимание, солдаты 44-й пехотной дивизии…» Выявляется все больше офицеров с остатками своих подразделений или без них. Через несколько часов все размещены по квартирам, в конюшнях, садах и на машинно-тракторной станции.

Неожиданно среди этой суматохи передо мной появляется капитан фон Камменке, офицер для поручений штаба дивизии. Он передает мне первый за последние дни приказ корпуса. Мой полк должен немедленно начать разведку для выполнения новой боевой задачи на одном из участков восточнее Вертячего. Два других полка первоначально имелось в виду использовать под Песковаткой, Но приказ отменен. Теперь им ставится задача занять позиции юго-восточнее Вертячего. Уже три дня без перерыва советские войска ведут яростные атаки, препятствуя образованию сплошной линии фронта восточнее Дона. Оттуда немецкие части шлют умоляющие призывы о помощи. Потери там якобы уже так велики, что ежечасно можно ожидать прорыва еще только создаваемого фронта.

Агония между Дмитриевкой и Алексеевкой

Отчаянное положение

Мы отправляемся на вездеходе разведать местность восточнее Вертячего в направлении на Дмитриевку, где находится командный пункт дивизии. Нас сопровождает подполковник Вернебург, командир приданного нашему полку артиллерийского дивизиона. Необходимо, чтобы он на нашем новом боевом участке определил огневые позиции для оставшихся у нас шести орудий.

Только мы покинули Вертячий, как советские штурмовики пронеслись над населенным пунктом. Бомбы попадают в скопления солдат и обозного транспорта, нанося нам большие потери. Солдаты снова ищут спасения в открытом поле.

Наша оборона должна теперь строиться иначе, чем на южном берегу Дона, между Клетской и Ближней Перекопкой. Хотя здесь, на подступах к Казачьему Кургану, еще летом при первой попытке взять Сталинград разыгрались тяжелые бои, и местность усеяна стрелковыми ячейками, небольшими блиндажами, огневыми позициями и бункерами для складирования боеприпасов, но все это из-за непрерывного движения войск приведено почти в полную негодность.

Между тем установилась морозная погода. Резкий западный ветер гонит по земле снежную крупу и вихрем кружит хлопья снега. Лишь немногие бугорки выделяются на местности. Солдаты вынуждены будут занять здесь оборону на местности, не имеющей естественных укрытий. Это значит, что для пулеметчиков, выдвинутых вперед наблюдателей, стрелков и минометчиков единственным укрытием будут служить снеговые окопы. Для телефонистов и санитаров, быть может, удастся привести в порядок один-другой старый блиндаж. Снабжение полка, а также эвакуация раненых будут возможны только ночью – и это при многокилометровом пути.

То и дело советские штурмовики налетают на колонны, отходящие из Вертячего и Песковатки. Даже малейшие скопления людей уничтожаются. Нашей зенитной артиллерии не слышно, не появляется и авиация. Так проявляется наша беспомощность и превосходство противника.

Дальнейший путь лежит по пересеченной местности через песчаные дюны и заснеженные поля к виднеющимся на горизонте двум курганам, где должен находиться командный пункт

дивизии. Воздух ясен и чист, можно простым глазом различить танки, которые, будто точки, движутся навстречу друг другу, останавливаются, ведут огонь и отходят обратно. Такое впечатление, как будто находишься в кукольном театре. Постепенно огромное пустое пространство начинает казаться зловещим. Невозможно установить, откуда ведут огонь наши батареи, откуда выходят танки и куда они исчезают. Только столбы дыма иногда указывают направление боя.

Дорога, ведущая к Дмитриевке, вся в воронках, нам преграждают путь клубки спутанной проволоки. Это все, что осталось от главной телефонной линии в город на Волге. Из-за воронок и проволоки мы вынуждены свернуть с дороги и отправиться в объезд по полю. Всюду валяются дохлые лошади – признак панического отступления.

Неожиданно мы натыкаемся на пункт сбора раненых. Они ждут отправки. Нас окликают, требуют, чтобы мы остановились, ибо обнаружим себя.

Весьма энергичный офицер с жандармской бляхой на груди объясняет нам, что дальше двигаться нельзя и в случае непослушания он имеет приказ применять оружие. Потом он говорит вполголоса, но очень настойчиво: «Прошу вас понять, что здесь можно удержаться только в том случае, если нас не обнаружат. Русские подвергают обстрелу все, они ведут огонь даже по отдельным солдатам. У них исключительно хороший обзор. Мы же их совершенно не видим».

Уже через несколько минут рвутся первые снаряды, так что и нам приходится надолго спрятаться в укрытие.

Наконец мы можем двинуться дальше. Через несколько километров мы обнаруживаем дивизионный командный пункт, вырытый в песчаном холме. В заброшенном убежище коптит свеча. На нас не обращают внимания. То и дело звонит телефон. Передаются боевые донесения. Поступают мольбы о помощи. Я слышу, как из трубки доносится: «Невозможно… Мы потеряли уже двадцать человек. Русские прорвались. Немедленно откройте огонь по лощине Х. Южнее Песковатки свежие русские войска оттесняют нас с Донской гряды к реке».

Тревога нарастает. Особенно когда слышишь, что советские войска, умело, используя местность, стремятся занять исходные позиции, откуда они могли бы ночью ворваться в предполагаемую систему наших опорных пунктов. Впрочем, это тактика, которую мы уже достаточно испытали на себе, сначала на Ельнинской дуге, а шесть недель назад у Логовского, когда русская разведка заставила поспешно отойти не только нас, по и дивизионный командный пункт.

В конце концов, я слышу обрывки разговора, который вертится вокруг вопроса о смене. Понятно, что каждая воинская часть, которая находится здесь, на позициях восточнее Дона – после тяжелых боев и маршей внутрь котла, – хотела бы, чтобы ее сменили. Разговор идет о том, чтобы смена частей была обеспечена артиллерийским заградительным огнем. Полковник Кур, командир артиллерийского полка дивизии, нервно барабанит пальцами по столу. Ведь известно, что мы окружены и теперь надо экономить каждый снаряд.

Дивизионный командный пункт находится в окопах, почти под открытым небом. Здесь сплошная толкотня. Приходят и раненые, требуют помощи. Можно услышать, как они горячо рассказывают о боевых действиях, еще находясь во власти пережитого. До меня доносится фраза: «Так долго продолжаться не может».

В разгар этой кутерьмы появились и мы с намерением провести личную разведку местности, где предстоит ввести в бой наш полк. Когда я говорю, что хотел бы лично побывать в штабах, размещенных на угрожаемых позициях, это встречается выражением сомнения. Мы снова слышим слово «невозможно». Днем здесь нельзя сделать ни шагу. С наступлением темноты можно будет действовать.

Мы изучаем карту, наносим обстановку, уточняем численный и боевой состав полка, прикидываем, как использовать батареи Вернебурга. Дивизия осталась без артиллерии из-за прямого попадания крупной авиабомбы. Пять орудий совершенно выбыло из строя. Вот почему офицеры штаба дивизии относятся к нам как к спасителям. Штаб корпуса обещал, что прибудут отдохнувшие части, которые займут участок обороны. Командованию дивизии хотелось бы вывести сильно потрепанные войска.

Некоторое время я слушаю молча. Начальник оперативного отдела штаба дивизии проявляет понимание, особенно что касается фактора времени. Затем, как ни тяжело мне лишить его надежды, я докладываю о состоянии моего полка, о последних боях на Дону и о быстром марше. Я подчеркиваю, что все солдаты оборваны и изнурены до последней степени, так что, по сути дела, они способны только на то, чтобы собраться в Вертячем или в соседнем районе. Поэтому в самом крайнем случае я могу выставить только батальон в составе примерно 250 человек.

«А когда вы можете быть здесь?»

«Самое раннее – завтра в два часа пополуночи, и ни на час раньше».

«Это значит, что вы еле успеете до рассвета занять позиции».

Затем начальник оперативного отдела, перекрывая голоса

офицеров, бледных от бессонной ночи, говорит: «Господа! Необходимо при всех обстоятельствах продержаться до завтрашнего утра. Вы слышали, что смена не может прибыть раньше. Дело в том, что ближайшие двенадцать часов будут действительно решающими. Помните, что мы выходили и из более трудных положений. Через два часа стемнеет. Осталось ждать два часа – и задача будет выполнена». Обращаясь ко мне, он с некоторым облегчением добавляет: «У нас уже четыре дня идет эта кутерьма».

Когда мы вечером возвратились в Вертячий, там нас ожидал новый письменный приказ дивизии, оставленный адъютантом. Сам адъютант уже отбыл вместе с командирами батарей для разведки нового участка обороны между Песковаткой и Дмитриевкой. Теперь уже нет и речи о том, чтобы сменить подразделения на участке, который был тщательно разведан днем.

«Командование сошло с ума!» – вырывается у Вернебурга. Он теряет свою обычную сдержанность и корректность. Что можно возразить ему? Собственно говоря, я придерживаюсь этого же мнения. Лучше всего промолчать о проделанной рекогносцировке. Незачем говорить, что в высших штабах все идет через пень-колоду.

Во всяком случае, теперь нам известно, как обстоит дело на наших позициях: русские непрерывно атакуют наши оборонительные линии, крупные силы Красной Армии наносят удар из района Качалинской.

Правду ли говорит листовка?

Вертячий опустел, как и Песковатка, в которой за последние дни разыгралось то же, что в Вертячем и в других населенных пунктах по обе стороны Дона. Районы отступления превратились в районы оборонительных боев против замыкающегося кольца. Налеты советской авиации сделали свое дело. Все, кто мог, удрали и теперь здесь появляются ночью для того, чтобы пополнить запасы, раздобыть дрова, что-нибудь «организовать» – растяжимое понятие, охватывающее все – от дозволенного до недозволенного. Все сильнее дает себя знать инстинкт самосохранения.

Перед вечером на наши позиции сбрасывают советские листовки. «Фронтиллюстрирте"{64} с карикатурами на генералов – носителей рыцарских крестов и вооруженных моноклями офицеров прусского типа я отбрасываю в сторону. Это меня не трогает. Но есть тут и другая листовка. Не слишком броская по оформлению, но тем значительнее по содержанию. На ней дана схематическая карта: грубо заштрихованный Сталинград и две

толстые черные клешни – советский фронт, – широкой дугой охватывающие Сталинград и соединяющиеся у Калача. Кроме того, на карте показаны мощные стрелы, которые южнее Дона направлены на Чир и южнее Сталинграда из солончаковой степи – на реку Аксай Курмоярский. Показано, что наш фронт прорван. Подо всем этим короткий текст: „Вы окружены, сопротивление бессмысленно, складывайте оружие!“

Правду ли говорят русские? Действительно ли так велики размеры катастрофы? Правда это или пропагандистский трюк, грубое надувательство с целью вызвать замешательство? И как, наконец, эта листовка согласуется со сводкой главного командования вермахта, которую мы совсем недавно приняли через нашу походную радиостанцию?

Последующие дни научили нас не торопиться отвергать схематические карты на советских листовках как пропагандистский трюк. Советские ударные группы продвинулись из Голубинской и Качалинской, оттеснили нас от Дона и отбросили на 15-20 километров на позиции около Казачьего Кургана. Площадь котла значительно сократилась.

Сдать Сталинград?

Еще до того, как мы оборудовали предназначенные для круговой обороны позиции около цепи холмов под Дмитриевкой, поступают, хотя и малообоснованные, сообщения о предполагаемом наступлении немецких войск с целью деблокирования. Именно из этих сообщений многие наши солдаты и офицеры вообще впервые узнали о серьезности положения и о полном окружении 6-й армии.

К этому времени даже мы, командиры полков, тоже не были достаточно осведомлены о размерах катастрофы. Как ни печально в этом признаться, но офицеры и солдаты, которые прибывали «из тыла», что теперь означало «из Сталинграда», знали больше всех. Никто, однако, не может проверить, все ли верно, что они рассказывают. Вскоре всякое сомнение исчезает: выясняется, что с севера и северо-запада все наши войска отрезаны от своих тыловых служб. Следовательно, на снабжение больше рассчитывать не приходится.

И без того было рискованно осуществлять снабжение целой армии по одноколейной железнодорожной ветке, которая к тому же имела весьма уязвимое место: 24-тонный мост через Дон у Верхне-Чирской. Однако теперь с этим кончено. Откуда получать запасные части, боеприпасы, оружие, инженерное имущество, если главная база снабжения и ее филиалы находятся в районе Харькова и в самом городе, а между нами и этим районом – Красная Армия? Большое значение придается теперь

ограничениям и импровизации.

Тем охотнее воспринимаются неожиданно распространившиеся слухи о предстоящей попытке прорыва извне. И уже в ночь с 24 на 25 ноября находятся командиры рот, которые утверждают, будто бы с нескольких особенно выгодно расположенных наблюдательных пунктов им удалось увидать признаки появления наших войск. Основанием для таких утверждений явились далекие взрывы и переменные вспышки света от пожаров – все это с западной стороны Донской гряды, у Песковатки и Вертячего.

Примерно в двух километрах юго-западнее Дмитриевки можно особенно хорошо вести наблюдение на юго-запад, в направлении на Голубинский, и притом далеко перед оборонительным районом левого соседа, 3-й моторизованной дивизии. Якобы и там были замечены такие же признаки.

Поэтому мысль о прорыве, о том, чтобы вырваться из кольца окружения, начинает все более овладевать умами. Среди офицеров, а также на передовой в снеговых окопах и стрелковых ячейках начинают строить расчеты и обсуждать возможности. Настроение поднимается. Снова появляется уверенность, доверие командованию, забыты ужасные впечатления от начинавшейся дезорганизации.

На произвол судьбы нас не бросят! И, кроме того, позади нас Сталинград, огромный город, где, несмотря на большие разрушения, находятся соответствующие штабы. Да, все будет так, как положено. А если действительно верно, что окружена армия, то ведь она обладает такой огневой мощью, что русские будут обескровлены…

Так или иначе, но вопрос об окружении будет как-либо решен. Ведь никого же не бросили на произвол судьбы под Демянском. Во всяком случае, снова обретена почва под ногами, все поспали или поспят ночью, в котелке порядочная порция макарон с мясом, есть сухие сигареты и хлеб, даже добавка рома в чай!

Откуда штаб все это организовал? Говорят, интендант штаба имеет связи повсюду от Дона до Сталинграда – вот и вся премудрость!..

По сути дела, печально, что при таких разговорах и спорах не вспоминают ни единым словом, что один убит, другой – без ноги, а третий остался где-то лежать с раздробленным плечом и что лейтенант на мосту раздавлен танком.

Сразу же после того, как мы заняли позиции, к нам приходит генерал фон Даниэльс. Он подтверждает, что слухи об операции по выходу из окружения имеют реальное основание. Еще в первый

день, когда русские прорвались, Паулюс запросил у Верховного командования сухопутных сил разрешение отвести армию за Дон и наметил прорыв из окружения на 24 ноября. Однако радиограмма Гитлера помешала осуществлению этого плана. Гитлер заверил, что снабжение армии будет обеспечиваться по воздуху, а операция по деблокировке будет предпринята в подходящее время. Командиры корпусов одобрили решение Паулюса в этих условиях отказаться от прорыва. В конце концов, находясь в кольце, нельзя не считаться с тем, что происходит на всем Восточном фронте: 6-я армия не в состоянии судить, как сдача Сталинграда отразилась бы на группе армий А, на Центральном и даже на Северном фронтах. Только один человек, сообщил фон Даниэльс строго по секрету, не присоединился к общему решению: фон Зейдлиц{65}. Ссылаясь на свой опыт в Демянском котле, он высказался за то, чтобы начать действовать немедленно, даже не останавливаясь перед невыполнением приказа. Как будто это возможно для немецких военных! Впрочем, войска деблокирующей группы уже сосредоточены. Операция может начаться через несколько дней. В определенный момент 6-я армия должна будет нанести сильный удар навстречу танковому клину деблокирующей группы. Соответствующие приказы в общих чертах уже сообщены командирам.

Что это значит – снабжение целой армии по воздуху? Ведь это же… Но, с другой стороны, мысль о прорыве кольца одновременно снаружи и изнутри привлекательна. Это представляется реальной возможностью вырваться из кольца, которое с каждым часом все более сжимается, так как Красная Армия не оставляет нас в покое, особенно ночью.

Мы чувствуем это на своем участке южнее высоты 137, которая, очевидно, сделалась осью поворота фронта на восток, к Волге у Рынка. По обе стороны возвышенности, вокруг высоты 137, находится 376-я пехотная дивизия, затем следует наш правый сосед – 44-я пехотная дивизия. Левый сосед, 3-я моторизованная дивизия, подготовлена, по-видимому, к ведению весьма активной обороны, обычной для механизированных войск. Ее тактика состоит в том, чтобы, ведя огонь, выдвинуться на каком-либо направлении, энергичными боевыми действиями очистить позиции противника еще до их стабилизации, а затем снова занять удобную исходную позицию, защищая ее с помощью минометов, противотанковых орудий или даже, как в нашем случае, 88-миллиметровых зениток. Именно «восемь-восемь», самое действенное оружие против Т-34, сделались подлинной опорой нашей обороны. Ведь без достаточных противотанковых средств невозможно отражать атаки, которые предпринимаются

главным образом на рассвете или ночью из долины Дона через заснеженные поля. Первый же горький опыт заставил нас приспособить каждый выдвинутый вперед наблюдательный пункт для круговой обороны.

К тому же наши подразделения, отступая с боями от Ближней Перекопки на Дмитриевку, понесли тяжелые потери и должны получить пополнение, состоящее из остатков разбитых воинских частей, собранных после бегства с запада в район Сталинграда. Навести среди них порядок удастся не сразу. Солдаты тыловых служб вообще не подготовлены для боев на открытых позициях. Кроме того, вряд ли они будут довольны подобным их использованием. Но и для мотострелков направление к нам означает совершенно новую ситуацию: впервые им придется подвергнуться тяжелому испытанию без защитного перекрытия над головой и без теплого убежища.

Из-за этого в подразделениях много волнений, и я знаю, что, по правде говоря, наша оборона держится только на старых унтер-офицерах, а также на офицерах среднего звена.

В эти дни мы, командиры, не знаем отдыха ни днем, ни ночью. Ведение оборонительных боев требует основательного знания рельефа местности, которое невозможно получить, только изучая карту. Наша оборона находится на краю бывшего учебного поля, на котором расположены искусно сооруженные системы окопов, огневых позиций и других учебных объектов. Хотя эти системы укреплений большей частью покрыты глубоким снегом, противник пытается использовать их. Частично ему удается ночью подойти вплотную к нашим только еще оборудуемым позициям.

И все же, несмотря ни на что, мы должны перейти к активной обороне, чтобы показать, что наши дивизии и полки вовсе не вынуждены отказаться от проявления всякой инициативы.

Беспочвенные попытки

Примерно 26 ноября пришел приказ о переподчинении нашей 376-й пехотной дивизии XIV танковому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Хубе. То же относится к нашему левому соседу, 3-й моторизованной дивизии, которой командует генерал-лейтенант Шлемер. Генерал-лейтенанта Хубе я знаю. До войны он, будучи начальником военного училища в Дрездене, приобрел известность публикацией значительного количества работ по вопросам тактики. Во время учений для командиров и преподавателей военных училищ мы неоднократно имели случай убедиться, что это живой и весьма подвижный человек.

Поэтому можно было предположить, что наш участок очень

скоро отличится хорошо продуманной, образцовой организацией обороны. Правда, мы по-прежнему почти ничего не знали о положении на юге котла, зато узнали, как идут дела на северо-западном и северном участках фронта, где нашим правым соседом оказалась 44-я пехотная дивизия VIII армейского корпуса.

Наш прежний, XI корпус под командованием генерала Штрекера теперь был подчинен корпусной группе под командованием генерала фон Зейдлица. В ее состав передаются 24-я, 16-я танковые и 60-я моторизованная дивизии, которые обороняют северный участок.

Примерно в это же время создается новая группа армий «Дон» под командованием фельдмаршала Манштейна, до этого командовавшего 11-й армией и пользовавшегося у офицеров и солдат большим авторитетом. Этой группе армий будет подчинена и окруженная 6-я армия. Все считают, что теперь, когда во главе поставлен такой человек, можно быть уверенным, что кольцо окружения будет разорвано. Одно имя Манштейна служит порукой тому, что кризисная ситуация превратится в победу. К чему каркать о второй Москве? Москва не повторится. Разве перегруппировки у нас и, по-видимому, повсюду в котле не служат всякому разбирающемуся в военном деле доказательством того, что подготавливается перемена?

Манштейну действительно была поставлена задача вызволить нас. Однако ноябрьское наступление Красной Армии имело такие серьезные последствия для всего южного участка фронта, что операцию по деблокированию удалось начать на 14 дней позднее, чем первоначально было запланировано, и, несмотря на первоначальные успехи, она провалилась. Манштейн не может возместить большие ноябрьские потери за счет своих собственных резервов; ему приходится ждать, пока на Восточный фронт прибудет из Бретани 6-я танковая дивизия. Ввиду действий советских партизан на железнодорожных линиях ее прибытие задерживается до первой недели декабря. Поэтому Манштейн вынужден отложить деблокирующий удар до середины декабря. Для этой операции под командованием генерал-полковника Гота, командующего 4-й танковой армией, предназначены LVII танковый корпус с 23-й и 6-й танковыми дивизиями, а также 15-я авиаполевая дивизия. Им приданы четыре румынские пехотные дивизии и остатки двух румынских кавалерийских дивизий. Но лишь перебрасываемая из Франции 6-я танковая дивизия обладает почти полной боевой мощью! {66}

Манштейн намеревался образовать две ударные группировки: первую в районе Котельникова с задачей овладеть высотами в 50

километрах юго-западнее Сталинграда и оттуда установить связь с южным участком фронта котла и вторую в районе Тормосина с задачей, используя еще имеющийся немецкий плацдарм у Нижне-Чирской, взломать кольцо окружения на его юго-западном фасе у Мариновки и Карповки. Примерно к этому же времени приурочивается наше отвлекающее наступление в направлении от Вертячего на Миллерово. Все еще делается ставка именно на немецкие соединения между Доном и Чиром, которые якобы не только в состоянии оказать сопротивление прорвавшемуся в глубину противнику, но и перейти в контрнаступление в восточном направлении, хотя никаких конкретных и определенных данных для такого предположения нет. Слух об этом питается тем, что все мы знаем о наличии плацдарма у Нижне-Чирской. Второй плацдарм, у Немковского, Ложек и Рычковского, еще оставляет открытым путь на восточный берег Дона. И наш левый сосед, 3-я моторизованная дивизия, под Мариновкой находится всего в 40 километрах от этого плацдарма!

Приказ о наступлении ожидается 12 декабря.

Операция «Зимняя гроза»{67}

В то время как ударной группировке в районе Тормосина{68} не только не удается перейти в наступление, но приходится вести тяжелые оборонительные бои под Нижне-Чирской, LVII танковому корпусу армейской группы «Гот», имея в авангарде 6-ю танковую дивизию, удается 12 декабря продвинуться вдоль железнодорожной линии Тихорецкая-Сталинград и в течение последующих трех дней достигнуть рубежа реки Аксай Есауловский. За боевыми группами якобы следуют автоколонны с несколькими тысячами тонн боеприпасов, горючего и продовольствия для окруженных войск.

Одновременно начальник штаба 6-й армии генерал-майор Шмидт должен сосредоточить в районе Карповка – Ракотино, за юго-западным фронтом котла, соединения с задачей наступать навстречу Готу и образовать коридор между деблокирующей армией и котлом. Этому ударному клину приданы еще боеспособные танки 6-й армии (примерно 40-50), а также части 3-й и 29-й моторизованных и 295-й пехотной дивизий, которые должны обеспечивать коридор и справа и слева. Автомашины общей грузоподъемностью 700 тонн имеют задачу из Карповки следовать за танками и принять на себя снабжение группы Гота. VIII авиационный корпус должен сбрасывать в коридор горючее и боеприпасы для танков.

Со дня на день ждем мы приказа о прорыве – операция получила кодовое наименование «Удар грома». Положение в

котле все ухудшается и внушает серьезные опасения. Боеспособность войск снижается также в результате голода, обморожений, болезней – степень истощения личного состава с каждым днем становится все более угрожающей, тем более что предстоит форсированный марш в 30-40 километров. Разрыв между грузоподъемностью транспорта и растущим числом раненых и больных достигает такой величины, что вынуждает отказаться от первоначального плана взять с собой всех, кто не способен идти.

Но приказ начать операцию «Удар грома» все не поступает даже после 19 декабря, когда Манштейн отдал Паулюсу приказ привести в готовность силы, предназначенные для прорыва{69}. К этому времени не только было остановлено наступление Гота у Верхне-Кумского и Круг-лякова, но армии советских Воронежского и Юго-Западного фронтов форсировали Средний Дон между Вешенской и Новой Калитвой, разгромили немецкие позиции и оборону 8-й итальянской армии и устремились на юг{70}.

Нам становится ясно, что рассчитывать на деблокирование с запада больше не приходится. Представляется сомнительным, чтобы 17-я и 6-я танковые дивизии группы Гота в новой попытке сумели пробиться с боем. Да и у нас в котле в результате усилившейся усталости людей и потерь материальной части и до того неблагоприятные для успешного прорыва условия еще более ухудшились. Все сомневаются, что можно пробиться из котла без одновременного дальнейшего продвижения Гота.

Правда, LVII танковому корпусу удается с упорными боями несколько продвинуться на северо-восток и к 23 декабря закрепиться на рубеже реки Мышковой под Васильевкой. Идут воздушные и танковые бои, в которых обе стороны борются с предельным напряжением и несут тяжелейшие потери. Затем контрнаступление советских войск под командованием генерала Еременко за несколько дней отбрасывает войска Гота далеко на юго-запад. Операция «Зимняя гроза» провалилась, судьба 6-й армии решена.

Немецкие солдаты, участники Сталинградской битвы, оставшиеся в живых, всегда будут помнить радиограммы Манштейна: «Держитесь, я пробьюсь к вам! Держитесь, мы наступаем!» Неспособный сделать правильные выводы из всего хода восточной кампании, прежде всего из поражения под Москвой, и правильно оценить силы противника, его стратегические и тактические возможности, Манштейн ради своего преступного тщеславия пожертвовал не только 6-й армией, но и жизнью десятков тысяч немецких, итальянских и румынских

солдат, которые в эти декабрьские дни 1942 года погибли в донских и волжских степях, под Кантемировкой, в районе Алексеево-Лозовское, под Верхне-Чирской, Тормосином, Котельниковом.

Паулюс понимал, что самостоятельный прорыв из окружения был возможен только в первые дни. Но такой прорыв, равно как и операцию «Удар грома», он не хотел предпринимать без прямого приказа главного командования сухопутных сил. Ему дважды отказали в этом, и он со своей армией остался в «крепости Сталинград». Даже потом, в лагере военнопленных и по возвращении в Дрезден, Паулюс подтверждал свое глубокое убеждение в том, что 6-я армия упорным сопротивлением сковывала значительные силы Красной Армии, и что поэтому очень важно было продержаться хотя бы один лишний день. Поэтому он не мог ни взять на себя ответственность за выход из окружения, ни – позднее – капитулировать «на свой страх и риск».

Впрочем, командир нашего XIV танкового корпуса генерал Хубе в начале января поддержал мнение Паулюса о том, будто бы, находясь в Сталинграде, невозможно оценить развитие боевых действий на других фронтах. После личного доклада в ставке фюрера Хубе сообщил 7 января, что Гитлер подтвердил приказ 6-й армии оборонять Сталинград до последнего, даже если речь будет идти, в конце концов, только об удержании самого города. При всех обстоятельствах, заявил он, необходимо выиграть время, чтобы стабилизовать положение на Южном фронте; с участием соединений группы армий А запланировано новое наступление с целью деблокировать окруженную армию»

Хубе сообщил это 7 января, за день до советского предложения о капитуляции, за три дня до начала решающего наступления Красной Армии!

Встреча с мертвецами

На возвышенном западном участке фронта окружения идут упорные бои за так называемый Казачий Курган, считающийся ключом кольца обороны. С него можно контролировать переправы через Дон. Борьба за эти высоты, за высоту 102, у которой погибли три немецкие дивизии, или за высоту 129, вокруг которой окопался мой полк, требует больших жертв.

Как часто я пробирался от командного пункта полка в расположение моих рот! Днем и ночью, во время буранов, а также в тумане, когда ничего нельзя было различить уже за десять шагов.

Если ехать на мотоцикле от Дмитриевки по пологому подъему, где все покрыто гладким льдом и путь преграждают похожие на дюны снежные сугробы, приходится включать малую

скорость. Дорога разбита тысячами солдат, шагавших неуверенно, ощупью. Каждый, кто с трудом пробирается вперед, проходит мимо трупов, которые раньше лежали примерно в ста шагах южнее дороги, С каждым днем они оказываются ближе. Мертвые придвигаются к живым. Страшная картина. Снег, который сегодня, как саван, прикрывает трупы, на следующий день сметается леденящим ураганом, и трупы тянутся к небесам в позах, в которых их оставила жизнь. Поле, усеянное мертвыми телами, неописуемо страшно. С ужасом смотришь на обнаженные конечности, разорванные грудные клетки, сведенные судорогой руки. И каждый раз я не могу оторвать глаз от этого страшного зрелища – от мертвых лиц, совсем недавно беспечно юных или солдат старших возрастов, вчера еще полных энергии. Теперь лица их застыли в скорбной гримасе и под густыми бровями остекленевшие выплаканные глаза. Во имя чего они приняли смерть, во имя чего бесцельно погибли?

Никто не должен отворачиваться от этого зрелища. Никто не должен пройти мимо, и пусть гнетущие вопросы никому не дают покоя. Вот небесно-голубые мертвые глаза. Темной ночью линейный связной посветит фонариком, и они вдруг засверкают, напомнив о жизни.

Однако не только ветер и погода меняют облик этого поля. Сами солдаты посягают на мертвых – друзей или недругов. Если идешь по полю смерти после наступления темноты, то видишь зловещую картину ограбления мертвых. Они, эти солдаты, еще стыдятся друг друга, и они грабят мертвых ночью.

Вот мелькнули тени, пинающие мертвые тела сапогами или тянущие их за руки или ноги. То и дело загорается спичка, когда мародер закуривает сигарету. Вот двое или трое солдат пытаются стащить с мертвого сапоги. Это удается не сразу. Сапог ведь нужен целый, и они действуют ножом или топором, и нога вместе с сапогом отделяется от мертвого тела. Они не отвечают на окрики, крадучись, они поворачиваются спиной и под покровом темноты бесшумно исчезают, ступая по трупам.

Как-то я схватил одного из таких и забрал его с собой. Это солдат средних лет, по профессии приказчик, отец двоих детей. Он стоит передо мной, узкогрудый, худой, В кармане шинели кусок хлеба, пара смятых грязных сигарет, пропитанных талой водой, и сломанный гребешок. Все это он взял у мертвецов! Я отпускаю его…

Через несколько дней и у моего связного появилась пара новых сапог. Бойкий юнец, не стесняясь, рассказывает, что эти сапоги стоили нескольких часов работы на поте мертвых. Затем у другого солдата появляется толстый серый шерстяной шарф с

бахромой в узелках.

Правда, в одном месте шарф разорван. И хотя он с поля мертвых, но зато теплый, очень теплый. На третьем – толстый ватник с коричнево-красными пятнами крови на спине. Но он защищает от ветра, и, в конце концов, это именно та вещь, которую он уже давно искал – на поле мертвых.

На поле мертвых остались обнаженные трупы, и оно выглядит еще более страшным. Среди мертвецов стоит во весь рост оледеневший труп, у которого рука и нога закинуты, как у деревянного паяца. Ветер колышет конец перевязки на бедре, которую раненый намотал в надежде на спасение. Издали кажется, что среди мертвых стоит живой.. Да, так оно и есть: трупы живут, напоминают. Гляди на нас, мертвецов, на мертвецов Казачьего Кургана, высоты 129, кладбища танков, оврагов у «Платины» и «Золота», Дона, Клетской. Каждому из нас они напоминают, и каждый, кто идет мимо поля мертвых, наклоняет голову и невольно думает о самом себе. Значит, большего мы не стоим… Значит, большего мы не заслужили. Вот так ограбят тебя, так же осквернят и твой заледенелый труп.

Неверно, будто бы все солдаты становятся бесчувственными и равнодушными к таким переживаниям. Они становятся более замкнутыми, молчаливыми, а вовсе не равнодушными. Просто у них не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. Часами молча сидят они у костров, наблюдая, как разгорается и ярко пылает всепожирающий огонь, но никак не выражают своих чувств. И нет разницы между солдатами и офицерами перед лицом смерти.

Теперь она всегда рядом с нами. Вскоре у нас установятся с ней нормальные отношения, по крайней мере, мы так думаем. Думаем, но не говорим, потому что каждый из нас избегает проявлять эмоции по отношению к другому, если слышит, что кто-то убит. Мы обманываем себя. Собственно говоря, все мы дрожим при мысли о том, что нас неотвратимо ждет точно такая же судьба, что и обитателей поля мертвых.

Когда в приказе по дивизии или в телефонограмме упоминается, как превосходно держатся солдаты в своих снеговых окопах, меня охватывает негодование. Все это легко говорить, когда сидишь в бункере, по крайней мере, имея крышу над головой, в тепле, когда можешь есть чистыми руками и, главное, можешь обойти стороной поле мертвых. Но пехотинец на Казачьем Кургане уже несколько недель живет среди трупов. Трупы справа, трупы слева, трупы рядом с ним, трупы под ним или под его винтовкой.

Все попытки похоронить погибших не удаются, хотя у нас уже имеется опыт могильщиков. В середине сентября в северной

излучине Дона между Кременской и Ближней Перекопкой, у высоты 199, мы похоронили мертвых прямо в окопах, в которых мы сами сидели пригнувшись. И пока связисты шифровали донесения и стучали ключами, посыльные притаскивали с покинутых позиций тела наших погибших товарищей, втискивали их между радиоаппаратурой в неглубокие стрелковые ячейки и присыпали землей. Уже через несколько часов на нашем командном пункте путали могилы с окопами, а то и садились на тонкий земляной слой, который пружинил, так как под ним лежало еще даже не успевшее остыть тело. А потом горячо спорили, можно ли с чистой совестью сообщать родственникам погибших, что их родные погребены на кладбищах.

Здесь, в котле, все выглядит иначе. Тот, кто не падает сам в свой снеговой окоп, не умирает там и его не заносит снегом, тот остается на поле. Могилы копали только в первые дни, и появилось кладбище с деревянными крестами, надписями и высоким четырехметровым дубовым крестом. Но это длилось лишь несколько дней. Но уже не хватало живых, чтобы копать могилы мертвым и сколачивать кресты, а земля промерзала все глубже и глубже.

То, что на въезде в Дмитриевку устроено кладбище, служит темой разговоров, но кто же в нашем отчаянном положении станет спрашивать, что целесообразно и что нет? На небольших санках, сколоченных из грубых досок, по вечерам в снеговые окопы, которые называются «позициями», привозят продовольствие, а в обратный путь грузят на них окоченевшие трупы.

На огневые позиции минометов и противотанковых орудий на санках доставляют ночью боеприпасы, а увозят тяжелораненых на передовой перевязочный пункт. Проезжая мимо кладбища, смотрят, подает ли еще раненый признаки жизни. В таком случае его волокут до санитарного бункера. Если нет, то без всяких формальностей увозят вместе с мертвецами на кладбище. Так из лежащих рядами мертвецов образуется поле мертвых. Сотни и сотни трупов лежат рядом друг с другом или друг на друге.

И эти штабеля трупов грабят, раздевают, как находящиеся на свалке автомобили, забирая то моторный блок, то шасси, демонтируют то, что нужно. Различия почти никакого. Здесь все бесплатно. Необходимо лишь примириться с пронизывающим холодом и замерзшей человеческой кровью.

Сердце и разум должны молчать, и солдаты в отчаянии ищут объяснений происходящему. На их глазах растут горы трупов. Это ввергает их в еще большее отчаяние. И перед мысленным взором возникают разорванные облака, какие можно видеть в бурную

ночь, восходит луна, потом она прячется за темными причудливыми облаками, наконец исчезает совсем, и в бесконечной дали открывается темная, черно-синяя бездна. А на безграничной заснеженной степи неожиданно возникают то светлые, то мрачные очертания фантастических фигур.

Так в снежной пустыне под Дмитриевкой всплыли в памяти картины прошлого, и перед глазами чередой проносятся мертвецы и кладбища. Все время кладбища, кресты и могилы – нескончаемыми рядами. И никуда от этого не уйти, ибо, как только выходишь из жалкого блиндажа на морозный воздух, сразу оказываешься на гигантском кладбище.

И разве эти покрытые снегом высоты и долины, пропитанные кровью, не превратились уже давно в бесконечное кладбище? Меня пробирает дрожь. Сегодня я с Вернебургом, Фрезе, Штренгом и Урбаном подсчитал численный и боевой состав полка. Дальше так продолжаться не может! Потери полка, артиллерии, подразделений связи и противовоздушной обороны не поддаются учету. Солдатский рацион – это два куска хлеба в день, порция жидкого супа, две-три кружки кофе или чаю. Кто сможет выдержать это долго?

И в таком состоянии мы встречаем рождество! О чем же думают все они – солдаты, сидящие в снежных окопах, юные лейтенанты, артиллеристы, живущие между лафетами зенитных орудий и ящиками с боеприпасами?

Богослужение на выжженной земле

До рождества осталось всего два дня. И мы снова будем желать друг другу счастья и удачи, хорошо зная, что все это пустые слова. Я уже несколько раз встречал рождество на фронте и знаю, что и в праздничные дни поднимаются осветительные ракеты, идет стрельба, слышны разрывы ручных гранат и гибнут люди. И в то же самое время в церквах молятся богу, просят, чтобы, наконец, наступил мир на земле, разумеется, после того, как будет одержана победа. И это богослужение происходит во время войны, когда в невиданных размерах происходит преднамеренное убийство, земля превращается в выжженную пустыню и матери теряют детей. Кощунством звучит слово «богослужение» в устах тех, кто повинен во всех этих злодеяниях. При чем же здесь вера, взывающая к сердцу, к совести?

Вероятно, по этой причине богослужения в вермахте, как и в первую мировую войну, посещаются многими солдатами и офицерами. Внутренняя необходимость заставляет подумать о себе. Они пытаются хоть на мгновение уйти в себя, даже если и в эти часы гремит орудийная канонада.

Невольно мои губы шепчут молитву, которую я в раннем

детстве слышал от бабушки: «Помилуй, боже!»

Я вспоминаю о богослужении после крестного хода от церкви Крещения господня в Тауфкирхене на Вильсо в Алътфрауэнхофен, маленький нижнебаварский городок паломников. Рядом со мной – погонщики быков, первый и второй батраки, крестьяне, а в рядах идущих – сотни крепких парней с высокими флагами и крестами, все как на подбор, а вместе с ними глубокие старики, которым не так-то легко выдержать длинный путь.

Я вспоминаю простые и помпезные походные алтари, перед которыми я когда-либо молился как солдат. Вот рядом с разрушенными крестьянскими домами Бэио – шатающийся, ветхий, стертый стол, покрытый полотнищем палатки. На нем – переносный алтарь: маленькая каменная плитка с пятью высеченными на ней крестами, на которых в пору раннего христианства совершались первые богослужения, под ними вставлены мощи святых, символизирующие погребения мучеников.

Во время первой мировой войны в нашем альпийском корпусе военные священники имели своих вьючных лошадей. На одной стороне седла помещался хорошо сделанный ящик с предметами для богослужения, на другой стороне – офицерский чемодан, а сверху были пристегнуты полотнища палаток и одеяла или мешок с кормом. Эти ящики служили алтарями – у подножия Монте-Матажур, Мопте-Томба или в одной из высокогорных долин Доломитов.

В одном из французских загородных дворцов алтарем служил великолепный столик эпохи Ренессанса. На Сомме близ Эпеи это был поставленный боком старый шкаф. В Амьене во время первой мировой войны это был главный алтарь в соборе. Однако во всех алтарях реликва-рии{71} были взломаны с помощью зубил или мотыг. Воры подозревали, и не напрасно, что их оправы золотые, чего доброго, с драгоценными камнями. Стоявшая перед удивительной работы церковной кафедрой фисгармония была разбита, ризница взломана. Мы снова задвинули железную решетку между клиросом и нефом. На ней также были видны следы упорной работы грабителей. О богослужении нечего было и думать. Тем более что пастор Эбен Эмаэля с негодованием говорил о вероломном нарушении нейтралитета 10 и 11 мая 1940 года, когда этот бельгийский форт был захвачен в первой воздушно-десантной операции с помощью тяжелых планеров.

Эти воспоминания нахлынули на меня под Сталинградом. Всюду, где ступал немецкий солдатский сапог, это было святотатством и кощунством. Такова одна из многих мрачных глав нашей «славной германской истории», и никакое

богослужение не может скрыть это из памяти.

Дело наших рук…

С середины декабря активность противника чрезвычайно возросла. Однажды незадолго до рассвета прямо перед нашим командным пунктом из тумана внезапно появился советский танк с десантом пехоты. Солдаты в снежных окопах были раздавлены. Советская штурмовая группа попыталась ворваться в дома и руины южной части Дмитриевки. Ее внезапное появление вызвало у нас невероятный переполох.

Почти всегда такие атаки предваряются сильным огневым налетом батарей многоствольных реактивных установок, так называемых «сталинских органов», что вынуждает всех прижиматься к земле. По опыту мы знаем, что эта огневая поддержка будет длиться до последнего мгновения, то есть до тех пор, пока советские солдаты не бросятся в еще дымящиеся воронки и на покрываемые осколками участки, чтобы захватить наши позиции или участки обороны.

В таких операциях в зависимости от погоды и направления ветра используется искусственный туман. Для маскировки дымовые снаряды выстреливают и туда, где в действительности наступление не планируется. Этим противник достигает исключительно сильного распыления наших сил и находит достаточно слабых мест, чтобы наносить нам тяжелые потери в людях и в материальной части.

Между рождеством и Новым годом мы сидим в нашем низком бункере из небольших искривленных стволов деревьев, от сырости подгнивших и покрывшихся плесенью. Щели между стволами, чтобы не сыпалась земля, заткнуты травой. Однако то, что мы гордо называем бункером, в лучшем случае погреб для хранения картофеля, капусты и лука. В одну из изматывающих ночей, когда мы разговорились с Вернебургом, я заметил, что он смотрит на меня вопросительно, испытующе, почти недоверчиво. По выражению его лица, которое в свете масляной мигалки казалось бледно-желтым, я понял, что его мучает совесть.

Наконец он прерывает гнетущую тишину, задавая вопрос медленно и таким тоном, который уже предрешает ответ: «Значит, я совершенно сознательно убивал людей, уничтожал людей?»

Разговор не клеился. Очевидно, нас тяготит одно и то же. Он, наверное, увидел на моем лице и отражение своих мыслей.

Вернебург – коммерсант. В первую мировую войну он также служил артиллеристом. Если батарея противника замолкает, загорается танк, рушатся дома и взлетают мосты, то это его успех. Разумеется, он нередко видел в бинокль или через стереотрубу,

как его снаряды убивают людей. Не раз он имел возможность убедиться в губительности действий его орудий. Он видел трупы людей и лошадей, горящие автомашины и изрытую землю, пахнувшую порохом. Однако лично он не стрелял в людей.

Только здесь, в котле, ему пришлось применить пистолеты. Противник прорвался и со всех сторон бросился на одну из его батарей. Вернебург неожиданно оказался в воронке над одним советским солдатом, которому он выстрелил в грудь. Красноармеец пробормотал что-то непонятное и умер у него на глазах. Это потрясло Вернебурга, глубоко взволновало его. Он, вероятно, знал, что, для того чтобы победить в войне, приходится убивать. Но раньше он никогда непосредственно не участвовал в этом.

«Да, Вернебург. Вы правы. Чем дальше от фронта, тем меньше думаешь о том, к каким беспощадным, жестоким действиям готовят всех нас. Но каждому из нас когда-либо приходится поразмыслить об этом. И как только это случается, в нас закрадывается страх, овладевает чувство вины. И это давит, преследует неделями, месяцами, годами. А в этой войне вина лежит на нас. Быть может, то, что происходит здесь, в котле, – это заслуженная кара за несправедливости, которые мы допустили или которые совершили сами.

Знаете, Вернебург, я до сих пор не забыл о первых боях в марте – апреле 1917 года. Это было под Армантьером-Бэйо! Наш королевско-баварский пехотный лейбполк в тяжелых, подбитых крупными гвоздями сапогах и обшитых кожей брюках, с нагруженными до отказа вьючными лошадьми и легкими пулеметными повозками прошел через город. Мы прибыли из Вогез, чтобы захватить бельгийско-фландрскую землю, наступать на Монт-Руж и Монт-Нуар. Цель нашей операции состояла в том, чтобы выйти к морю. Наступление началось в семь утра. Прежде чем рассеялся туман, на позиции противника обрушился сосредоточенный огонь из минометов и гранатометов, пулеметов и горных орудий. Пять минут спустя пехота должна была начать атаку, чтобы сломить последнее сопротивление. Я был в пулеметном расчете и видел, как пулеметные очереди били точно в цель.

Каждая десятая пуля была трассирующей. Канадцы стремглав бросились бежать, падали, и лишь немногие снова поднимались. Я выстреливал ленту за лентой. После огневого налета наши стрелки бросились на вражеские позиции. И через несколько минут мы увидели мертвых канадцев, с изуродованными лицами, искромсанными телами и простреленными касками. Некоторые еще были живы. Один, тяжело раненный в плечо, прислонился к

березе. Вдруг я начал дрожать всем телом, как сумасшедший, как пораженный параличом.

Так вот какая у нас работа. Вот для чего нас воспитывали, для этого нами командуют, это мы считаем правильным! Дорога к Каналу проходила по трупам и по раненым. Картины, развернувшиеся передо мной, не оставляли меня весь день, целые недели и месяцы. Я видел их даже во сне».

Я прерываю беседу. Что пользы рыться в воспоминаниях, которые в молодости так угнетающе подействовали на меня? Беспокойство, овладевшее мной при этих воспоминаниях, заставляет меня выйти из бункера. Нужно вернуться к действительности, привести в порядок свои мысли. И все же картины прошлого бередят мое сознание.

Неожиданно вспоминается широкоплечий обер-ефрейтор из взвода связи полка. Его лицо искажено от боли, он громко кричит. Я вижу, как он растопыренными руками прижимает к себе выпадающие из его тела внутренности, ловит ртом воздух и пронзительно вопит о помощи, шатаясь, делает несколько шагов вперед. «Господин полковник, господин полковник, помогите. Я хочу домой, помогите, помогите! Я хочу домой. О мама, мама…»

Но помочь ему невозможно. Вокруг идет ожесточенный бой, под Логовским, вдоль проселочной дороги на Мело-Логовский. Снова вопреки нашей оценке противника советские войска неожиданно вклинились южнее Дона, нанося удар с фланга. И все время в похожем на удары бича щелканье пулеметных и автоматных очередей мне слышится пронзительный крик: «О мама, мама!» Когда мы оставляем высотку, я еще раз прохожу мимо того места, где погиб солдат. Никогда не забыть мне, что за этим отчаянным призывом к матери стоял безжалостный вопрос, обращенный к тем, кто командует: «Во имя чего?»

Каким мучительным может быть этот вопрос! И не ответит на него ни командир, сам отец семейства, ни военный священник, который дает отпущение грехов, и ни друзья, с которыми о таких переживаниях уже был разговор после первой мировой войны. Нет на него ответа в книгах. И мы утешаемся тем, что до последней минуты выполняем свой долг по отношению к народу и отечеству – теперь же по отношению к фюреру. Так, как этого требует присяга…

Раненые в овощехранилище

На западной окраине Дмитриевки между обгоревшими зданиями колхоза находится большое, наполовину врытое в землю овощехранилище с перегородками, по-видимому, для хранения корнеплодов, запасов корма и всего того, что в большом хозяйстве должно храниться долгую зиму. Там пришлось

разместить сотни тяжелораненых, они лежат вплотную друг к другу двумя или тремя тесными рядами. Передние доски перегородок оторваны, чтобы удобнее было ухаживать за ранеными.

Все строение, которое прилегает к западному склону, за исключением плоской крыши, засыпано снегом. Это несколько защищает от артиллерийского огня и шальных пуль. Снег перед входом утоптан, но перемешан с мусором, окровавленными обрывками бинтов, пустыми консервными банками и лоскутьями одежды. Все это смешалось в отвратительно пахнущую грязную массу. Такое впечатление, как будто стоишь не около лазарета, а у помойной ямы.

Врачи и санитары вместе с санитарами-носильщиками прилагают большие усилия, чтобы навести хоть какой-нибудь порядок. Но это им не удается.

Сразу же за входом, справа и слева, находятся комнаты для врачей и санитаров. Это совершенно необорудованные подсобные помещения. Они годятся только для того, чтобы, присев в углу, немного поспать. Если кто захотел бы лечь, ему пришлось бы искать место рядом с ранеными. Выдолбленные в стене отверстия, заменяющие окна, скудно освещают строение метров пятьдесят длиной, так что в разных местах повесили керосиновые лампы. В самом конце прохода работает бензоагрегат, обеспечивающий электрическим светом «операционную линию».

Когда я протиснулся сюда, мне показалось, что я попал в подземную шахту, в место, где произошла катастрофа. К моему удивлению, здесь есть и несколько медицинских сестер. Если бы они не стояли как раз на свету, то было бы невозможно узнать, кто здесь работает: мужчины или женщины. У них бледные, усталые, печальные и суровые лица. Сначала я не поверил, что между ними есть и русские. Сейчас не время спрашивать, откуда они, почему они остались или кто задержал их. Они помогают усердно, старательно, неутомимо. Среди них бросается в глаза одна пожилая женщина, широкая в плечах и несколько согнувшаяся, вероятно, под тяжестью лет.

В это время шла обработка солдата, тяжело раненного в грудь и ноги. Из-за перегородок слышны причитания и стоны. Несмотря на это, здесь делается все, что положено, и притом с железным спокойствием. Удушливый воздух становится просто нестерпимым, когда с солдата сдирают последние лохмотья.

Полчаса мы можем провести у раненых. Разговор не клеится. Вместе с нами молча сидят русские женщины. Каждый пытается хоть на несколько мгновений отвлечься от жалоб и стонов раненых.

Я не могу оторвать взгляд от старой русской женщины. Выражение ее лица, ее отсутствующий взор показывают, что она переживает такие человеческие чувства, которые, вероятно, только мать проявляет по отношению к беспомощному ребенку. За ее чисто механическими движениями угадываются ее чувства, страдания, немой плач, заглушенный крик по поводу тысячекратных страданий, которые причинены ей и всем русским людям.

Она как будто не реагирует на то, что происходит вокруг. Рассеянно смотрит она то туда, то сюда – то на стол, то на раненых, которые нуждаются в уходе и которых она хотела бы успокоить, как когда-то утешала своих сыновей.

Еще светло, и я жду, пока стемнеет, чтобы отправиться на командный пункт роты, расположенный на Казачьем Кургане. Дорога туда идет через извилистые впадины и доходит до окопа – неглубокой выемки, укрепленной мешками с песком и досками. Забраться в окоп можно только ползком, а сидеть приходится на корточках. Командиру роты я принес новогодний подарок – буханку хлеба и банку мясных консервов, которые накануне мне подарил генерал фон Даниэльс.

Мы не знаем, о чем говорить друг с другом. Впереди полная неизвестность, а о прошлом не отваживаешься и думать.

Я понимаю состояние молодого лейтенанта. Он тоскует по родине, свидание с которой – несбыточная мечта.

Там теперь зажигают рождественские свечи, короткие огарки, так как в эту военную зиму свечи очень дороги. Каждый думает о своей семье, о родине, о друге.

Утром следующего дня меня снова навещает командир дивизии. Пасмурная погода позволяет незаметно пробраться по дороге от Дмитриевки к передовым позициям. Даниэльс непременно хочет еще раз взглянуть на Вертячий и говорит, что еще не поздно прорваться. А что касается обещания деблокировать нас, то оно не выполнено, и это, говорит он, большое свинство.

Мы слышим немецкую речь

Вскоре после Нового года лейтенант и унтер-офицер с передового наблюдательного пункта южнее дороги между Дмитриевкой и Песковаткой решились доверительно сообщить мне кое-что очень важное. Накануне вечером, примерно между 21 и 22 часами, они слышали с советской стороны немецкую речь. По-видимому, использовался мегафон. Несмотря на сильный западный ветер, отдельные слова были слышны хорошо. Говоривший назвал себя немцем, который хочет обратиться к немецким солдатам, к немецким братьям. Он утверждал, что

положение окруженных безнадежно. Попытки Манштейна пробиться провалились. На выручку извне рассчитывать не приходится. Гитлер предал солдат в котле. Дальнейшее сопротивление бессмысленно. Единственное спасение – прекратить его. Фразы примерно такого содержания были повторены по нескольку раз. «Что я думаю по этому поводу, могут ли там быть немцы?» – спросил лейтенант.

Лейтенант и унтер-офицер высказали предположение, что передачу мог вести немец, хотя я тут же сказал им, что вполне мог быть и русский. Разве среди военнопленных не было знающих немецкий язык? Может быть, это просто попытка застращать нас или ввести в заблуждение. Так или иначе, нужно следить за тем, что будет дальше. Не исключено, что передача повторится, а может быть, удастся заглушить ее. Это вполне возможно, так как направление установить нетрудно, а расстояние придется определить приближенно. Я спросил у лейтенанта, не знает ли он, известно ли об этих передачах пехоте, находящейся в непосредственной близости от нас. На это последовал отрицательный ответ. Но лейтенант тут же добавил, что он ни с кем по этому поводу не говорил.

Я заметил, что человек, ведущий передачу, действует, конечно, не в одиночку. Не исключено, что он говорит из снегового окопа, впереди советского переднего края. Все это возможно, сказал лейтенант, но таким путем удалось узнать кое-что о нашем положении. Кое у кого это может вызвать интерес к передачам с русской стороны, а это позволит прояснить наше положение. Лейтенант вопросительно и несколько неуверенно смотрит на меня: он явно испуган своей смелостью.

Что делать? Я говорю, что наведу соответствующие справки у командиров рот и что, видимо, надо издать приказ об обстреле местности, откуда слышен голос. Если передача повторится, то надо открыть огонь из тяжелого пехотного оружия. Это заглушит передачу.

Удивительное дело! Неужели оттуда к нам обратился немец?

Разговор кончается тем, что я отдаю распоряжение немедленно и в любое время сообщать мне по любому виду связи, если передача повторится.

Затем я добираюсь до пехотного взвода, которым командует лейтенант Гейдельбергер. Там были слышны только отрывки передачи. По-видимому, помешал сильный ветер. Возможно, взвод расположен в стороне от передатчика. Выясняется, однако, что все слышали передачу в одно и то же время. Первым обратил внимание на передачу пулеметный расчет, который подумал сначала, что это кричат наши товарищи. Возможно, что, выполняя

разведывательное задание, они отклонились от намеченного маршрута и теперь нуждаются в помощи.

Я отдаю приказание: «В каждом случае доносить непосредственно мне. Нужно выяснить, в чем дело».

После моего возвращения поздней ночью в Дмитриевку в штаб полка мы обсуждаем случившееся. Вспоминаем, что еще в октябре солдат нашей дивизии несколько дней находился в советском плену, а затем неожиданно ночью вернулся в наши позиции. Солдат этот из пехотного взвода, который проводил ночную разведку под Мело-Клетской. Там он и был взят в плен. Ранен он не был. Командир роты, на участке которого около трех часов утра появился этот солдат, доставил его ко мне, поскольку высказывания солдата показались ему сомнительными. Солдат утверждал, что в плену с ним обращались хорошо. Обстоятельному допросу он не подвергался. Он встретил там несколько немецких солдат, которым тоже было неплохо, но затем их разлучили. Ясно, что он увидел кое-что такое, чего раньше не знал. Его самого спросили, не хочет ли он вернуться в свою роту. У Красной Армии уже столько немецких пленных, что в нем но нуждаются. Его вполне могут отослать назад. Вернувшись к себе, он должен будет рассказать о том, что видел и слышал. Ясно, что Гитлер просчитался, погнав стольких немецких солдат на Дон, за тысячи километров от Германии. Это может принести Германии огромное несчастье. Не лучше ли и не умнее ли покончить с этим? Во всяком случае, в Донской степи немцу делать нечего.

Таково примерно было сообщение солдата. Это совпадало с тем, что он рассказывал по возвращении на передний край. Там его засыпали вопросами: «Хорошо ли вооружены русские? Чем тебя кормили? Оказывали ли на тебя давление? Угрожали ли тебе? Как ты перебрался через Дон туда и обратно? Как глубоко ты был в тылу? »

Солдат отвечал, что он около часа ехал ночью в тыл на джипе с советским офицером. Назад он был доставлен также ночью.

Я хотел, однако, узнать от него больше. Этому помог счастливый случай. Солдат говорил на швабском диалекте, примерно так, как говорят жители Альгау{72}. Все, что он говорил о своей родине и что он отвечал на мои вопросы, требовавшие подробных ответов, я мог подтвердить исходя из своего жизненного опыта. Он не лгал. И я спрашивал себя: чего же хотят добиться русские, в чем заключаются их намерения?

Несколько дней спустя мне сообщили по телефону, что снова слышны немецкие голоса. Я тотчас же отправился на мотоцикле на наблюдательный пункт. Однако КП переменил позицию, так

как прежняя была совершенно разбита артиллерией. Мне удалось услышать последние фразы. С русской стороны напоминали, предупреждали, требовали. То же самое слышали в пехотных подразделениях.

Сперва я хотел было промолчать об этих происшествиях. Но уже на следующее утро поступили однотипные донесения из соседних полков. Следовательно, что-то надо было предпринять. В ту же ночь я вместе с командиром артиллерийского дивизиона подполковником Вернебургом и командиром стрелковой роты обсудил создавшееся положение. На карте я отмечаю три сектора обстрела.

Расстояния между передатчиками и нашим передним краем равно, вероятно, 200-600 метров. Можно, однако, предположить, что говорящий работает не с мегафоном, а использует выносной динамик, который ночью устанавливается где-либо в стороне. Представляется, что это именно так, поскольку стрельба из пулемета в ту сторону, откуда слышался голос, была безрезультатной. Мы попытаемся прервать передачу беспокоящим огнем. Из штаба дивизии сразу же запросили, почему мы открыли огонь из стрелкового оружия и артиллерийских орудий. Чтобы ответить на запросы штаба дивизии, я до 7 января еще дважды побывал на передовой, последний раз – в снеговом окопе, на высоте южного склона отрога Казачьего Кургана. Оттуда снова донесся голос, настойчиво призывавший нас одуматься и прекратить сопротивление. Продолжение сопротивления – чистое самоубийство. Красная Армия наступает все дальше на запад и тем самым уничтожает последние надежды на деблокировку.

Мы не знаем, кто ведет передачу. Первые фразы, с которыми он обращается к нам, плохо слышны. А нам, конечно, хочется узнать что-нибудь новое о положении в котле и на всех фронтах. Позднее, в Красногорском лагере для военнопленных, я узнал кто пытался тогда в снежной пустыне вокруг Сталинградского котла положить конец бессмысленным жертвам и спасти жизнь немецких солдат и офицеров. Это были Вальтер Ульбрихт, Эрих Вайнерт, Вилли Бредель и с ними капитан д-р Хадерманн, обер-лейтенант Харизиус и обер-лейтенант Рейер.

Никакой капитуляций. По парламентерам открывать огонь!

На одном из командирских совещаний, это было, кажется, 5 января, генерал фон Даниэльс охарактеризовал все сообщения о выступлениях немцев со стороны противника пустой болтовней или жульничеством. Даниэльс любит употреблять такие выражения. Очевидно, считает он, русские не рассчитывали на наше упорное сопротивление и теперь прибегают к таким средствам, чтобы поколебать моральное состояние наших войск.

То же они пытаются делать с помощью листовок.

8 января мне доставляют одну из таких листовок. В ней содержится предложение о капитуляции на почетных условиях. «Положение ваших окруженных войск, – говорится в ней, – тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается. Сильные морозы, холодные ветры и метели еще впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях,

Вы как командующий и все офицеры окруженных войск отлично понимаете, что у вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежно, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла"{73}. Все это верно.

В тот же день генерал фон Даниэльс приходит ко мне с листовкой в руках: «Прочитайте, пожалуйста, Штейдле. Какая наглость! Никто не примет парламентеров. Штаб армии дал указание применять против них оружие. А если кто-либо из нас попробует вступить в переговоры с русскими, то будет немедленно расстрелян. Приказ об этом уже готов. До чего мы дойдем, Штейдле, если каждому вздумается вести переговоры с русскими по своему усмотрению».

В тот же вечер приходит такой приказ по дивизии. Я решаю не объявлять его в своем полку. Как и офицеры моего штаба, я возмущен его содержанием. Оно явно нарушает международные конвенции. Кроме того, как листовка, так и человек, ведший передачу из русских окопов, совершенно правы: наше положение отчаянное, состояние наших войск катастрофическое. В боях за Дмитриевку личный состав моего полка сокращался до 15-20 процентов. Пополнение за счет солдат и младших командиров из уже расформированных воинских частей мало чего стоит, так как они еще не оправились от пережитого. Но даже если это не учитывать, то они не подготовлены и не снаряжены должным образом для ведения боя. Шесть недель без смены непрерывных тяжелых оборонительных боев лишают любую воинскую часть боеспособности.

Генерал фон Даниэльс, кажется, понимает наше положение: «Я сделаю все, чтобы добиться смены полка», – сказал он мне при последней встрече. И действительно, в ночь с 8 на 9 января появляется генерал-лейтенант Лейзер, командир 29-й моторизованной дивизии, которому приказано взять на себя руководство боем. Он думает, что для этого достаточно на командном пункте полка ознакомиться с оперативной обстановкой. Но этим здесь ограничиться нельзя: ведь участок,

который мы, неся большие потери, обороняем уже шесть недель, надо удерживать. Здесь важна каждая мелочь, любой даже небольшой опыт. Здесь нет непрерывной линии укреплений. Есть лишь снеговые окопы, небольшие балки и ложбины. Снабжение, эвакуация раненых возможны только ночью. И каждый раз надо давать точные ориентиры – бураны меняют облик ландшафта, – иначе люди не доберутся к окопам, попадут под вражеский огонь или, потеряв силы, замерзнут. Наблюдательные пункты? Да есть, но хороших только несколько, использовать их очень трудно, так как русские держат нас под огнем. Наша линия обороны – это ряд опорных пунктов стрелковых отделений южнее Казачьего Кургана до шоссе Дмитриевка – Песковатка и непосредственно на стыке с 3-й моторизованной дивизией. И еще, разумеется, три 88-миллиметровых орудия, уже шесть недель как врытые в землю и приспособленные для круговой обороны! Они могут поражать танки прямой наводкой. Все время приходится считаться с внезапными атаками, главным образом ночью и даже в туман и снегопад, не исключены атаки и на Дмитриевку.

Что могу я еще сказать старшему по званию командиру? Что необходимо ночью патрулировать снеговые окопы, тормошить солдат, чтобы они не заснули, не замерзли или не были застигнуты противником врасплох. И что все же то здесь, то там через какой-нибудь час советские пулеметчики открывают огонь.

9 января, как только стемнело, мы отходим с позиций с задачей соорудить тыловую оборонительную линию на восточном берегу Россошки у Ново-Алексеевского. Предстоит новое крупное советское наступление. После отклонения предложения о капитуляции это неизбежно.

Последний бой за Сталинград

10 января в 8 часов 5 минут русские начинают артиллерийский обстрел еще более сильный, чем 19 ноября: 55 минут воют «сталинские органы», гремят тяжелые орудия – без перерыва залп за залпом. Ураганный огонь перепахивает всю землю. Начался последний штурм котла.

Потом орудийный гром смолкает, приближаются выкрашенные в белое танки, за ними – автоматчики в маскировочных халатах. Мы оставляем Мариновку, затем Дмитриевку. Все живое драпает в долину Россошки. Мы окапываемся у Дубинина, а через два дня оказываемся в районе станции Питомник в Толовой, балке. Котел постепенно сжимается с запада на восток: 15-го до Россошки, 18-го до линии Воропоново – Питомник – хутор Гончара, 22-го до Верхне-Елшашш – Гумрака. Затем мы сдаем Гумрак. Исчезает последняя возможность самолетами вывозить раненых и получать боеприпасы и

продовольствие.

16 января наша дивизия перестает существовать. Я назначаюсь командиром боевой группы, в которую сведены остатки моей дивизии и других разбитых частей. Ее задача – обеспечивать выход из окружения штаба армии, план, который 22 января обсуждался в одной из балок Толовой балки. Ходят слухи, что остатки окруженной 6-й армии должны попытаться прорваться либо в направлении на Калач, либо на Верхне-Царицынский. Обсуждается даже абсурдный план направить обороняющиеся на севере котла части походным порядком вниз по замерзшей Волге. «Все свихнулись… » – так комментирует полковник Болье этот план, который так и не был осуществлен.

Разложение усиливается. Иные офицеры, как, например, начальник оперативного отдела штаба нашей дивизии майор Вилуцки, удирают на самолете. После потери Питомника самолеты приземляются в Гумраке, который русские непрерывно обстреливают. Иные офицеры после расформирования их подразделений тайком бегут в Сталинград. Все больше офицеров хотят в одиночку пробиться к откатывающемуся назад немецкому фронту. Такие есть и в моей боевой группе. Случайно мне становится известно, что казначей моего полка сговаривается с двумя товарищами. Местность до Дона им известна, они знают несколько слов по-русски и поэтому рассчитывают, переодевшись в советскую военную форму, пробиться к своим. Напрасно я уговариваю их оставить этот безумный замысел: ведь это же самоубийство – надеяться русской зимой втроем пробиться за сотни километров через территорию противника к своему фронту. Они еще больше настаивают на своем давно задуманном плане, просят, чтобы я их не выдал.

Их дальнейшая судьба мне не известна.

Нас охватывает все большая растерянность, я говорю Штренгу и Урбану, что надо приготовиться к новому отступлению.

Мой походный чемодан не удастся сохранить. Да он теперь и не нужен: самое необходимое носишь на себе – вторую рубашку и две пары кальсон, последние чистые носки я запихнул в карманы шинели; на шее – толстый шерстяной шарф. Неожиданно я вспоминаю бой в горах между Монте-Томба и Монте-Граппа в Италии в 1917 году. Это произошло бурной ночью. Нам удалось с огромными предосторожностями, чтобы нас не заметил невероятно умелый противник, подобрать труп моего школьного товарища и одногодка графа Монтгеласа. Воспитанник пажеского корпуса в Мюнхене, учебного заведения для сыновей королевского дома и дворян, лейтенант Монтгелас, не имевший никакого боевого опыта, был прислан к нам за два дня до боя.

Итальянцы ночью забросали ручными гранатами подразделение этого неопытного лейтенанта. У Монтгеласа был такой же мягкий, теплый шарф ручной вязки… Когда мы нашли убитого, шарф, пропитанный кровью, уже примерз к его груди и шее.

Это тягостное воспоминание мучает меня. Не постигнет ли и меня такая же судьба? Моя уверенность, мой оптимизм, кажется, начинают сдавать. Чувствую, как меня буквально обволакивает глубокая депрессия. Я нервно роюсь в чемодане. К чему все это? Зачем мне нужен этот ящичек с акварельными красками и сверхсильная лупа? К чему теперь матерчатый мешочек с орденами и знаками отличия? Ведь орденские планки нашиты на кителе. Не нужны теперь и уставы, с которыми я не расставался еще с военного училища.

Я бросаю в огонь письма, а вот на дне чемодана я нащупываю две книги, среди них «Майн кампф» Гитлера и маленькую икону, которую я купил за два рубля в Богучаре.

Я уже хотел бросить «Майн кампф» в огонь, но что это мне даст? Пусть русские посмотрят, чего только нет в чемодане немецкого полковника.

23 января приходит приказ: «На рассвете оставшиеся части 376-й пехотной дивизии под командованием командира 767-го гренадерского полка по возможности за один переход отвести в район непосредственно западнее комендатуры Сталинград-Запад. Дальнейшие приказы поступят на месте».

Мы чувствуем облегчение. Кажется, будто теперь наступит порядок. Одно только слово «Сталинград» успокаивает. Там дома, там кров и, конечно, продовольствие. Оружие и боеприпасы – это менее важно.

Когда солдаты проходят мимо нас, мне становится легче. Мы присоединяемся к арьергарду. Теперь отступление похоже не на бегство от противника, а на планомерный, упорядоченный отход с линии фронта. Вероятно, в Сталинграде мы отдохнем и нас сменят. Да, мы направляемся в Сталинград! До сих пор никто из нас не видел этого города.

Темп движения не особенно быстрый. Но с каждым часом фронт отдаляется. Я сижу в коляске мотоцикла, который ведет Штренг, и вдруг чувствую, что дошел до точки, нервы больше не выдерживают. Изнуренный и измотанный, я дрожу всем телом. У меня даже нет сил, чтобы попросить помощи. Штренг, видимо, заметил это. Он сворачивает в сторону и останавливается. Я чувствую, что он кладет правую руку на мое плечо и сильно встряхивает меня: «Придите в себя, господин полковник. Все хорошо. Теперь нам удастся отдохнуть. Последние дни были слишком тяжелыми, зато теперь мы будем в Сталинграде».

Он включает мотор, и я чувствую, как холодный ветер превращает в ледышку мой высоко повязанный и сделавшийся влажным у подбородка шарф. На перекрестке я пересаживаюсь в вездеход. Я уже переборол себя. Штренг и Урбан остаются в мотоцикле. Ко мне садятся Вернебург и мой старый фронтовой товарищ полковник Вебер. И от его полка 100-й егерской дивизии почти ничего не осталось.

Конец в Сталинграде

Гарнизонная комендатура – II этаж

После долгих блужданий в поисках гарнизонной комендатуры мы останавливаемся у сгоревшего поезда. Железные скелеты вагонов преграждают нам путь. В бледном свете луны, которая то и дело проглядывает сквозь несущиеся по ночному небу тучи, можно определить, что дальше пришлось бы ехать по рельсам, подпрыгивая на шпалах. Быть может, потеряно много времени и нам это удалось бы с трудом, но кто знает, что ждет нас в темноте. А свернуть с рельсов в сторону невозможно.

Поэтому мы оставляем вездеход и идем пешком. Теперь мы попали в бесконечную толпу солдат. Почти все они движутся в одном направлении и, видимо, желая подбодрить себя, то и дело окликают друг друга на различнейших диалектах… «Это дорога к гарнизонной комендатуре?» – «Так точно, к комендатуре. Прямо по рельсам, а потом направо». Одни считают так, другие иначе, а третьи вообще не имеют никакого представления и просто несутся в общем потоке.

Медленно пробираемся и проталкиваемся вперед. Солдаты, как репейники, цепляются друг за друга. Время от времени появляются автомашины, реже – лошади. Полная дезорганизация. Стоит тревожный гул, какой иногда можно услышать в большом вокзальном зале ожидания, который не может больше вместить поток людей. Все сильнее слышны возгласы, крики и свист.

И вот мы у очень высокого дома. Бесконечное число этажей с бесчисленными черными нишами окон. Это здание набито людьми до самой крыши. Где вход, сразу определить не удается. Мы безрезультатно пытаемся это выяснить. Мы – это Штренг, Урбан и я. Вернебурга и Вебера мы потеряли в толпе.

Кому вообще пришло в голову всех отсылать в комендатуру? Быть может, это связано с тем, что в этой войне комендатура учреждалась в каждом населенном пункте. Не потому ли все, кто стремится в Сталинград, пунктом назначения считают комендатуру?

Входа нет. Не находим мы и узел связи. В вестибюле огромное количество раненых. В углу полыхает огонь, там что-то варят. Они подвергаются опасности, что их столкнут в огонь или что они со всем своим варевом будут просто растоптаны. Я охотно присоединился бы к ним на несколько минут. Мои ноги стали как колоды. Сильно распухшие веки подергиваются. Руки бессильно опущены отчасти из-за тяжести моей пропитавшейся влагой шинели. Меня непрерывно знобит.

Сначала, однако, надо найти комендатуру. Ведь там должны указать нам место, где могли бы найти прибежище остатки полка.

Быть может, нам больше повезет в доме на противоположной стороне. Здесь тоже есть подъезд с колоннами и арками. Можно предположить, что здание принадлежало какому-то большому учреждению. Мы отваживаемся расстаться на тридцать минут, чтобы найти какую-либо возможность разместить людей.

События разворачиваются быстро. Я нахожусь в центре толпы солдат, от которой пахнет потом, лизоформом{74}, гниющими коровьими кишками, по которым мы, очевидно, скользим. То и дело наступаешь на ноги или на ранец, спотыкаешься о ящики или перекладины носилок. Наконец над распахнутой дверью видим крупную надпись; «Гарнизонная комендатура – II этаж».

Но как попасть внутрь? Вход буквально берется приступом. Невозможно передать проклятия и площадную брань, с помощью которых эти измученные люди дают волю своим чувствам! Многие прокладывают себе путь прикладами винтовок, которыми толкают идущих впереди в мягкие места или давят им между лопаток. Никто не протестует. Толкают все и всех. Время от времени слышны возгласы: «Держи язык за зубами! Прикуси язык!

Нечего корчить из себя фельдфебеля, ты не на казарменном дворе!»

Я пытаюсь сохранять спокойствие. Когда я вытаскиваю из кармана огарок свечи и хочу зажечь его, это вызывает бурное возмущение. «Сумасшедший! Какая наглость! Никто не имеет права распоряжаться здесь, никто! Все чепуха и бессмыслица! Командиры исчезли! Эти трусливые птицы давно улетели! Какой там порядок – скорее бы это кончилось! Пора, наконец, послать все это к чертям!»

Дверная филенка с треском вылетает и, как нож, врезается в человеческое месиво.

Стремление уйти от действительности

Я втискиваюсь в комнату, чтобы увидеть собственными глазами, что здесь происходит. Это первое здание в Сталинграде, в которое я вхожу или, лучше сказать, в которое меня вталкивают – как строптивую скотину, которую загоняют на бойню. Под мышкой я зажал мешок с драгоценными сухарями и горсткой кофейных зерен. Протискиваясь через дверь, какой-то солдат уцепился за мои поясные ремни, и его приходится просто тащить за собой. Его левая рука – на пропитанной кровью перевязи. Он испуганно таращит глаза, когда при мерцающем свете карманного фонаря вдруг узнает во мне старшего офицера. Сначала он не может выговорить ни слова, но его лицо молит о понимании и помощи.

Так мы в давке пробиваемся вверх по лестнице. На всех ступеньках сидят солдаты. На первой лестничной площадке стонут раненые. Оттуда тянет ледяной воздух. Куда ни сунься, всюду одна и та же картина.

По боковой лестнице нам удается пробиться выше. Там уборные и кладовые. Огромное здание «освоено» вплоть до последнего угла. Лишь горстка солдат стремится вырваться снова из этой безрадостной атмосферы. Большинство толчется из одного коридора, из одного помещения в другое до тех пор, пока им покажется, что они нашли мало-мальски теплый угол, и они валятся на пол. Все так утомлены, что ни у кого нет сил принять другое решение. В некоторых местах в нос ударяет такая отвратительная вонь от застарелых и гниющих перевязок и гноящихся ран, что едва можно выдержать. Все помещения превращены в огромную уборную. Это омерзительно до невозможности. Помочь никто не может. Возможно только одно: покончить с этим. Меня пробирает дрожь при мысли о том, что сюда могут попасть снаряды.

Сводка командования вермахта по-прежнему утверждает: «Несмотря ни на что, обороняющиеся все еще не сломлены и, являя яркий пример лучших германских солдатских традиций, продолжают удерживать все более сужающееся кольцо вокруг города».

Яркий пример лучших германских солдатских традиций! Как можно так издевательски лгать, когда тысячи гибнут здесь, не будучи в состоянии бороться. Что это, как не стремление хоть как-нибудь уйти от действительности? Ведь большинство тех, кто пробрался сюда, уже отмечены печатью смерти. В массе солдаты похожи на живые скелеты. Это жалкие фигуры, которые желают лишь одного: спать, спать, ничего не знать, ничего не слышать, ничего не видеть! У них высокая температура, они ранены, у них недержание кала, уже несколько недель они страдают от недоедания и теперь полумертвы от голода.

И это называется гарнизонной комендатурой? Здесь должны отдаваться приказы и распределяться помещения, как это было обещано мне штабом корпуса? Разве в высших штабах не знают, что здесь происходит? Разве у них нет никакого представления о том, что делается в Сталинграде? Разве они так слепы, так тупы или настолько потеряли совесть, что составляют приказы, как будто еще существует работоспособная комендатура?

И все же хорошо, что мы познакомились и с этим домом. Здесь становятся ясными все размеры невероятного преступления. То, что мы продолжали воевать хоть один час после предложения русских о капитуляции, было бессмысленно.

После 23 ноября, когда нам запретили прорыв из котла, вся наша борьба стала бесполезной. Генералам, начальникам оперативных отделов надо было бы побывать здесь, чтобы увидеть, как солдаты сходят с ума, как недавно сильные солдаты падают от изнеможения, как люди превращаются в скотов. Здесь надо побывать для того, чтобы с презрением и ненавистью отнестись ко всему тому, что вызвало этот крах, а вовсе не для того, чтобы получить убежище. Где его здесь взять?

Обещание нормальных условий в Сталинграде оказывается беспримерным обманом. Здесь агонизирует целая армия, здесь повторяется то, что было на поле мертвых у Дмитриевки, у Россошки, у Царицы. «Дальнейшие приказы последуют там…» Как будто в этом доме мертвых еще может быть порядок, организованность или, еще лучше, принятые в офицерских клубах церемонии:

«Простите, лейтенант Мейер, нет ли здесь еще местечка, где я мог бы умереть спокойно?»

«Пожалуйста, очень рад, прошу вас, если бы коллега немного подвинулся, то это было бы можно. Надеюсь, вас не беспокоит моя зловонная перевязка. Впрочем, кажется, у меня еще есть немного одеколона».

«Вы очень любезны. Только, пожалуйста, говорите немного тише. Слева от вас умирают два унтер-офицера. Они очень тактичны: делают это почти бесшумно».

Пока все это проносится у меня в голове, я, наконец, добираюсь до выхода. Солдата с кровоточащей рукой я давно потерял. Быть может, он свалился в каком-либо углу. Под бетонными колоннами перед входом стоит Вебер. Он встретил обер-лейтенанта из дивизиона Вернебурга и узнал от него, что остаткам 3-й моторизованной дивизии и 376-й назначен сбор в здании городской тюрьмы. Наконец мы знаем, куда идти.

Место сбора: городская тюрьма

Снова мы идем по шпалам. Как и все, ни с чем не считаясь, мы вынуждены идти против течения. Наступает серый рассвет. Теперь видны разбитые улицы, руины зданий, поднимающиеся среди разрушенных кварталов и предприятий. Итак, это Сталинград – первый город, в который мы попали со времени пребывания 21 июля в разбомбленном Белгороде.

С Волги тянутся клочья тумана, сверху падает снежная крупа, сырость пронизывает до мозга костей, меня знобит. Слышна артиллерийская стрельба, взрывы и пулеметные очереди.

Шум боя доносится из развалин на территории, которую мы пересекли ночью. Повсюду бесцельно слоняются оборванные и измотанные в боях солдаты. Район боев похож на огромный

рынок, который только что закрылся и с которого расходится народ. Только вместо пустых ящиков для поросят и корзин здесь повсюду стоят повозки и автомашины.

Мы сворачиваем с улицы вправо, проходим через ворота и оказываемся во дворе огромной тюрьмы. Судя по фасаду, это здание построено в середине прошлого века и с тех пор неоднократно расширялось. Окна, как и в любой другой тюрьме, зарешечены.

Первый, кто меня встречает здесь, – подполковник Вернебург. Его вид пугает меня: запавшие щеки, резко выступили скулы, лицо красное, как от мороза. Вокруг шеи – толстый шерстяной шарф. Шинель не по росту и волочится по земле. Он выглядит одичавшим. Волнуясь, он докладывает хриплым голосом, что его люди размещены вместе с ранеными. О раненых никто не заботится. Здесь же лежат умершие. Выносить их некому. Непрерывно слышатся стоны. Не могли бы, по крайней мере, помочь наши врачи? Никто не знает, где они.

Мы входим в большое помещение. Впечатление такое, что находишься в плохо обставленной гостиной. Сначала надо сориентироваться, узнать, кто размещается в здании тюрьмы. Рядом в комнате, засунув руки в карманы теплой тужурки, стоит полковник фон Вебер. Он встречает нас несколько аффектированно, но с искренней радостью. Рядом с ним обер-лейтенант медицинской службы д-р Кайзер, знакомый мне по совещанию в Дмитриевке. Он приветлив и готов помочь, но обеспокоен, не знает, что же будет дальше.

В следующем помещении нас встречают недружелюбно. Здесь как раз собираются расставить две походные кровати, помещение забронировано для штаба. Офицер для поручений оперативного отдела задает нам несколько вопросов, из которых предельно ясно, что он хочет поскорее отделаться от нас. Внешне – церемонная вежливость, готовность выполнить свои обязанности и оказать услуги, а за всем этим явно различимый грубый эгоизм: боязнь, что придется поделиться своими запасами с другими.

На улицах бродят тысячи солдат. Они переходят из одной развалины в другую, из одного переполненного подвала в другой, из одного оледеневшего снегового окопа в другой. А здесь пытаются делать вид, будто штаб еще существует.

Я твердо решил больше не посылать в бой ни одного человека. Если командование само не хочет воевать, при этом ловко ссылаясь на ответственность, то никто другой не должен больше умирать ради них. Можно принудить командование и к капитуляции. Тем более что по своей натуре это слишком трусливые люди, чтобы самим взяться за оружие.

Вернебург полностью разделяет мое мнение, мои офицеры тоже. Полковник Вебер присоединяется к нам. Надо тщательно проверять тех, кто вокруг нас. Никому нельзя доверять. Моего ординарца, ефрейтора Шредера, который тоже добрался сюда, мы сажаем в передней, поскольку он настолько толстокож, что терпеливо перенесет все, что угодно, но не уйдет с указанного ему места. Ему поручается также охранять наши одеяла и подогревать хлеб.

Меня снова тянет наружу. Мне не удается зашнуровать горные сапоги, так как ноги отекли до самых колен, которые сделались мягкими на ощупь и болят. Лицо распухло, как от укуса пчелы. Полученный в походе нефрит все еще не вылечен. Но я не могу сидеть, ничего не делая, и хочу знать, что происходит в этом здании.

По коридору, пол которого покрыт утоптанным снегом и льдом, бредут, поддерживая друг друга, солдаты. Напротив наших помещений – две смежные комнаты; часовой получил строгий приказ никого не пускать. Однако перед командиром он устоять не может. В комнате немного мебели, полки, длинный стол, на неровной доске которого выцарапаны русские буквы, в углу горит высокая железная печка.

Это – убежище генерала и нескольких старших офицеров. В отличие от тех, кто разделяет наши взгляды по поводу оперативной обстановки, они проявляют крайнюю сдержанность. Отвечать на мои вопросы избегают или отвечают ничего не значащими словами. Как долго может продолжаться все это? Почему не прекращается сопротивление?

Я все более убеждаюсь в том, что в котле царит сплошной обман и самообман.

Мне было до предела отвратительно это притворство, это бегство от действительности. Оно пронизывает всех – от ефрейтора до генерала. Печать двуличия лежит на всех. Впрочем, слова «взаимный обман» не точно выражают суть дела. Грань между ложью и правдой давно уже стерлась. Еще есть немало таких, которые выполняют свои обязанности с полным знанием дела и служебным рвением. Они не могли бы это сделать лучше в мирное время на инспекторской поверке, чтобы блеснуть перед своими начальниками.

Вот входит фельдфебель, щелкает каблуками и докладывает о сформировании штурмовой группы. При этом он проявляет чрезмерное рвение, описывая, как он отбирал каждого солдата, лично проверил снаряжение и для выполнения особых заданий выделил двух солдат. Это замечательные парни, неоднократно получавшие поощрения и за храбрость досрочно повышенные в

звании. Разведку он проведет по точно разработанному плану. У того, кто слушает это, может сложиться впечатление, что он уже разведал на назначенном участке каждую развалину, каждую цель, каждую разбитую автомашину. Вкратце повторив свою задачу, фельдфебель так же молодцевато поворачивается кругом и уходит.

Появляются связисты. Они уже не раз пытались установить связь с соседями, бормочут что-то вполголоса, чтобы не беспокоить генерала, но в то же время стараются обратить на себя внимание, чтобы все видели, как они стараются.

Затем появляется обер-лейтенант хозяйственной службы и излагает длиннейшую программу распределения продовольствия. Он указывает, что запасы сложены в одном из гаражей, он поставил там часовых. Обер-лейтенант обещает добавку к пайку. Они организовали несколько бесхозных автомашин, груженных ящиками с консервами: все уже подсчитано и поделено, причем не забыт и неприкосновенный запас. Речь идет даже об увеличении хлебного пайка на несколько десятков граммов. Все это излагается как нечто чрезвычайно важное. Доклад подкрепляется табличкой с точными выкладками. Не нужно обладать фантазией, чтобы представить себе, как солдаты получат свои пайки и даже нажрутся до отвала. Командир энергично хвалит обер-лейтенанта. Подумать только: такая обстановка – и такая хорошая организация. Разве это не замечательный офицер хозяйственной службы?

Но вот появляется врач. Внешне он уже копченый человек: бледный, грязный, небритый, замерзший, однако и он излагает свои планы и предложения, проникнутые такой заботой о раненых, что это просто умиляет.

Все хотят обмануть друг друга

Как ни невероятно это звучит, но штабы, как обычно, еще руководят своими дивизиями, хотя в них осталось всего по горстке солдат. Если послушать, о чем здесь говорят, то можно подумать, что все идет нормально и ничего за последние недели не произошло.

Поступают оперативные сводки, штабы продолжают слать донесения. Никто не признает, что войска разбиты. Уставных предписаний о том, как действовать в случае гибели войск, потери боеспособности целого корпуса, нет и не было. Поэтому и нельзя признать, что такова реальная действительность. Притворный оптимизм на всех лицах потрясает. Все обманывают друг друга.

По улице перед зарешеченными окнами движется несчетное число солдат. Уже много дней они переходят из одного окопа в

другой, роются в брошенных автомашинах. Многие из них прибыли из укрепленных подвалов на окраинах Сталинграда; их выбили оттуда советские штурмовые группы; здесь они ищут, где бы укрыться. То тут, то там появляется офицер. В этой сутолоке он пытается собрать боеспособных солдат. Однако многие из них предпочитают присоединиться к какому-либо подразделению в качестве отставших. Советские войска наступают и безостановочно продвигаются из одного квартала, сада, заводской территории к другой, захватывая позицию за позицией. Все еще идет ожесточенная и упорная борьба. Но на одной стороне она поддерживается высокой моралью справедливой обороны, защиты от агрессора, который к тому же установил небывалый террористический режим, а на другой стороне – только отчаянием и страхом, иногда еще духом товарищества да изредка фанатичной верой в «железные законы национал-социализма». Многие предельно устали, чтобы самостоятельно покончить с этим и покинуть этот разваливающийся фронт. Такие продолжают сражаться, так как рядом с ними стоят другие, намеревающиеся защищать свою жизнь до последнего патрона, те, кто все еще видит в советском солдате настоящего врага или же боится возмездия.

Вокруг нас – руины и дымящиеся развалины огромного города, а за ними течет Волга. Нас обстреливают со всех сторон. Где появляется танк, там одновременно видна и советская пехота, следующая непосредственно за «Т-34». Отчетливо слышны выстрелы и страшная музыка «сталинских органов», которые через короткие промежутки ведут заградительный огонь. Уже давно известно, что против них нет защиты. Апатия так велика, что это уже не причиняет беспокойства. Важнее вытащить из карманов или сухарных мешков убитых и раненых что-либо съедобное. Если кто-либо находит мясные консервы, он медленно съедает их, а коробку вычищает распухшими пальцами так, как будто именно от этих последних остатков зависит, выживет он или нет. А вот еще одно ужасное зрелище: три или четыре солдата, скорчившись, сидят вокруг дохлой лошади, отрывают куски мяса и едят его сырым.

Таково положение «на фронте», на переднем крае. Генералам оно известно так же хорошо, как и нам. Им «доносят» обо всем этом, и они обдумывают новые оборонительные мероприятия.

Невыносимо слышать, когда приходят с новым предложением, как укрепить оборону. Но почему же я не выступаю открыто против этого, не возмущаюсь, не стучу кулаком по столу? Почему я не высмеиваю генерала, его начальника артиллерии и начальника штаба? Почему я не бросаю им в лицо,

что они унизились до того, что стали безвольными и слепыми исполнителями указаний ставки фюрера? Я не способен на это. Сначала у меня не хватает мужества. Да и просто возмущение не поможет: надо также знать, как выйти из этого положения.

Почему продолжается сопротивление?

Здесь, в здании городской тюрьмы, в этом смятении впечатлений и чувств, мировоззрений и вероисповеданий, слабости и экзальтированности, безнадежных поисков истины идет борьба за то, что целые поколения в Германии понимали под «отечеством», «родиной» и «нацией».

Для одного отечество и присяга, в том числе присяга фюреру, являются непреложным жизненным содержанием. Другой просто был попутчиком, и Гитлер для него никогда и ничего не значил. Третий полагает, что надо воспользоваться развитием военных событий, чтобы устранить Гитлера.

Один из генералов высказал мнение, что Гитлер – это последняя гарантия того, что никакой коммунист никогда не водрузит красный флаг на поместьях его многочисленного дворянского рода.

Закоренелые эсэсовцы считают, что, даже если останешься в живых, отсюда все равно не выберешься. Поэтому надо как можно дороже продать свою жизнь. Эту точку зрения разделяют и некоторые старшие офицеры, которые утверждают, что раз Советы в 1917 году поставили своих офицеров к стенке, то нет оснований ожидать, что с немецкими они поступят иначе.

Обсуждаются самые невероятные способы выхода из котла, создаются крошечные группки, чтобы с пистолетами-автоматами, ручными гранатами и несколькими банками консервов пробраться через линию советского фронта к своим. Некоторые кончают жизнь самоубийством. Есть оригиналы, которые прощупывают возможности, которые, быть может, еще оставляет присяга Гитлеру, чтобы, не теряя чести и не совершая проступка, порвать с ним.

Разумеется, есть и такие, которые борются с психозом страха, напоминают о советских листовках и о предложении капитулировать, и открыто заявляют, что им не в чем упрекать себя и потому нет оснований страшиться плена. Наконец, некоторые ссылаются на Освальда Шпен-глера{75}: закат Европы неотвратим. В этом свете надо рассматривать и события в котле. Еще годы и даже десятилетия назад надо было куда серьезнее отнестись к мыслям Шпеиглера. В конце концов, для него становление личности, упоение властью, которое в наше время переходит все границы, были высшим достижимым выражением динамичного космополитизма. И именно Шпенглер восхвалял

сознание превосходства, исключительность пруссачества!

Я вспоминаю речь Шпенглера на 80-летии со дня рождения Ницше в октябре 1924 года, в которой он прославлял его как человека, который определил, что воля к власти сильнее, чем все другое, что она с давних времен определяет ход истории и будет определять его и в будущем.

Сталинград, так заявляют последователи Шпенглера, как раз и является закатом Запада, в котором одиночка спастись не может.

Впрочем, офицеры штаба дивизии говорят, что надо приложить все силы, чтобы предотвратить развал котла, и что это можно сделать, пока в середине февраля или в начале весны подоспеет помощь.

И в то же время очень многие командиры и офицеры штабов покидают котел на самолетах. Гнусную роль играет начальник штаба армии генерал Шмидт, который категорически отвергает всякую мысль о переговорах с русскими и любую попытку начать капитуляцию, угрожая военным трибуналом, тогда как сам он при помощи нескольких своих подчиненных и за спиной Паулюса исподволь готовится к сдаче в плен.

Выжидание ослабляет и будоражит

Кто-то в разгар споров бросил слово «выжидать». Оно было подхвачено, и его варьировали на все лады. Выжидание как спасительный выход? Но разве это не глумление над любой солдатской традицией – выжидание в обстановке, когда необходимо как можно быстрее действовать?

Выжидать – это значит полагаться на нечто непредвиденное, на ближайшие часы, на товарищей, которые, может быть, установят связь с другой стороной, и, наконец, на Красную Армию, которая, быть может, не так быстро нанесет последний удар.

Выжидание ослабляет и одновременно будоражит. Оно также успокаивает, ибо надежда на какой-нибудь выход, который не является ни капитуляцией, ни пленом, сохраняется до тех пор, пока ничего не происходит. И все же этому выжиданию противится разум, ибо всякое выжидание бессмысленно, безответственно. В нашем положении необходимо действовать.

По сути дела, мы обречены на это проклятое выжидание с 23 ноября, когда нам запретили осуществить прорыв из окружения. Мы приняли этот приговор. Гитлеру нетрудно было отдать приказ. Знает ли он, какие последствия имеет для нас этот приказ? Разве у него хватит храбрости прилететь сюда, в этот ад, и пробыть несколько дней с солдатами, «героическое сопротивление» и «образцовую самоотверженность» которых он

так восхваляет? Почти ежедневно в сводках командования вермахта мы находим слова о немецких знаменах, овеянных в Сталинграде «бессмертной славой». Никто из нас не хочет больше и слышать об этом. Неужели Гитлер полагает, что, запретив прорыв, он запретит тем самым и думать?

Это верно, что на некоторых участках немецкие войска оказывают упорное сопротивление. Но во имя чего? Это борьба из отчаяния, борьба за личное спасение. Теперь среди сотни солдат не найдешь и десятка таких, которые хотели бы отдать свою жизнь за Гитлера. Именно поэтому офицеры рыскают повсюду в надежде найти пополнение. Но это бесполезно. Никто не откликнулся на призыв организовать подразделения из офицеров. Ведь это было бы как раз то, чего требует Гитлер: готовность каждого умереть и пожертвовать собой. А разве во вчерашней сводке вермахта не говорилось, что нашими героическими действиями мы сковываем крупные силы противника? Если это так, то разве мы не должны быть готовы умереть ради этого? И если бы здесь, в Сталинграде, войска самолично решали вопрос о капитуляции, то что произошло бы на других участках фронта и что стало бы здесь, в районе Сталинграда, с нашим соседом, чей фланг неожиданно оказался бы открытым?

Значит, нельзя прекратить сопротивление только ради самих себя и ради своей сильно поредевшей части, а надо попытаться добиться капитуляции всей армии. Но командование армии не идет на это и, ссылаясь на приказ Гитлера держаться, угрожает полевым судом… Теперь, ночью, после двухдневного наблюдения за тем, что происходит в здании городской тюрьмы, я еще раз представляю себе, как генералы, встречаясь друг с другом, обсуждают «за» и «против» капитуляции: вопрос о риске здесь и о риске там, у русских. Фон Даниэльс, мой непосредственный начальник, тоже торчит тут… Первые десять дней после расформирования дивизии он как сквозь землю провалился. Теперь он снова здесь. Он не изменился… включая манеру, с которой он вручил мне рыцарский крест: «… награждаетесь за героическую борьбу под Дмитриевкой…» Рыцарский крест… крест, кресты – мне вспоминается при этом мертвый при выезде из Дмитриевки, который с широко растопыренными руками возвышался на усеянном трупами поле. Невольно я вздрагиваю при этих воспоминаниях. Эти генеральские совещания за закрытыми дверями невыносимы… О них ничего не узнаешь. «Конечно, осведомлен только узкий круг пользующихся доверием…» Только ли это осторожность по отношению к тем ненадежным, которые могут проболтаться? А может, это только боязнь, что не хватит небольших запасов чая и алкоголя.

«Вебер, – хочется спросить мне, – как долго, по вашему мнению, будет тянуться все это?»

Он лежит рядом со мной, на походной кровати, в шинели, с полузакрытыми глазами. Свеча, горящая около меня на табурете, бросает на стену большую тень от его лица, расплывшуюся и похожую на силуэт мертвеца. Что за наваждение! Я вижу его мертвым! Не предзнаменование ли это? А его жена, его дети? В шумной толчее мне кажется, что я сижу около мертвеца, для которого все кончено.

В ветхом плетеном кресле сидит, съежившись, полковник Кур. Голова его склонилась на грудь. Нет сомнения, что этот человек изнурен до предела. Предыдущие дни доконали его, тяжело больного печенью. В последние «часы он крайне редко говорил что-нибудь лающее и на восточно-прусский манер. Он ждал, ждал и заснул в кресле.

Рядом с ним сидит подполковник Грауэ. В своем по-прежнему хорошо сидящем на нем обмундировании он резко выделяется среди нас. Так же нерешительно и тихо, как он вошел в помещение, пробираясь сторонкой вдоль стены, он сидит все время в своем углу на груде сырых одеял и терпеливо ждет. Тихо и молча он ждет и ждет.

На печке стоит котелок. Через помещение протянута веревка, на которой висят и сушатся носки, рукавицы и сапоги. Шредер, устроившись на сиденье от легковой машины, пытается разжечь огонь. Для этого он использует морскую траву, которую выдрал из спинки сиденья автомашины. Она тлеет и наполняет помещение едким дымом. Все же Шредеру удается таким способом снова растопить печку.

Физически совершенно истощен и потерял всякую надежду на спасение майор медицинской службы д-р Мейер – врач по призванию, все что хотите, но не солдат. Он не в состоянии выдержать все то, что ему пришлось пережить в котле, где он видел столько раненых, голодающих, умирающих. Душевно он потрясен, его обычно столь уверенная манера поведения парализована, его единственная надежда – найти совет и утешение у старого товарища по полку, генерала фон Даниэльса. Его счеты с жизнью покончены. Он ничего больше не ждет. Он не верит ни в гуманность русских, ни в самого себя, ни в свое командование. Иногда он раздумывает, не принять ли яд. Он все время ищет объяснения тому, что происходит вокруг него – гибель целой армии. Нет, нет и его мысли переносятся в Билефельд, и он припоминает старые факты, которые уже много лет назад свидетельствовали о подлости и наглости нацистов. То и дело он бросается, рыдая, на койку, горюет по своей жене и

охвачен тоской по родине. Он все время возвращается к мысли, которая, по-видимому, не дает ему покоя: «Такое унижение, и это должно произойти с нашей армией».

Последняя встреча с Паулюсом в Сталинграде

26 января я встречаю Паулюса, когда он вместе с несколькими офицерами покидает двор городской тюрьмы. Он обращается ко мне и дает понять, что он слышал будто кое-кто подумывает о прекращении сопротивления. Для него важно одно: строгое исполнение категорических приказов главного командования сухопутных сил. Несомненно, они отдаются с основанием. Отсюда, из котла, при всем желании нельзя судить, какие последствия окажет ослабление сопротивления на весь ход войны, даже если бы речь шла только об одном дне.

Таким удрученным и духовно переутомленным я никогда Паулюса раньше не видел. Его жесты и мимика выдают сильную нервозность. Я настойчиво прошу его детально ознакомиться с действительным положением дел. Что касается нас, то мы уже несколько недель почти не получаем точных данных ни о противнике, ни о том, что происходит на флангах. Импровизация уже давно стала правилом, Только мучительная безысходность, а у большинства, несомненно, и страх перед русскими еще удерживают солдат и офицеров на фронте. По моему мнению, следовало бы немедленно прекратить боевые действия. Если противник снова перейдет в наступление, нам угрожает катастрофа невиданного размера. Мне известно, что многие подвалы и подземные сооружения забиты сотнями раненых. Что будет с ними? Генералы в свою очередь тоже ждут решения сверху. По-видимому, они ничего не хотят предпринимать через голову командующего.

Паулюс спокойно выслушивает все это. Однако остается при своем мнении. «Полковник Штейдле, мы не можем действовать вопреки широким замыслам главного командования сухопутных сил». И мы расходимся, не подозревая, что это наша последняя беседа до того дня в марте, когда мы встретимся в Суздале уже как военнопленные.

Вскоре после этой встречи я узнаю в здании тюрьмы, что Паулюс, встревоженный капитуляцией генерала фон Дреббера, командира 297-й пехотной дивизии, и расчленением котла на две части: северную и южную – действительно снова предостерег всех генералов от сепаратной капитуляции. Шлемер и Даниэльс, которых, по общему мнению, можно было привлечь на нашу сторону, снова заколебались. Шмидт еще раз пригрозил военным судом. Теперь, пожалуй, все останется по-старому. Теперь, по-видимому, мы будем выжидать и дальше. Я резко возражаю.

Снова впасть в летаргию ожидания – это безумие, это безответственно. Мы должны действовать, в крайнем случае, поставить генералов перед свершившимся фактом. С Даниэльсом я сам поговорю еще раз. Важно без промедления установить связь с русскими. Полковник Бойе, командир также полностью уничтоженного Венского пехотного полка, заявляет о готовности следующей ночью отыскать такое место на передовой, где он может перейти линию фронта, не опасаясь обстрела со своей же стороны.

Затем я направляюсь к остаткам моего полка, которые размещены в двух помещениях первого этажа тюремного блока. Солдаты лежат и стоят в тесноте и с напряженным вниманием слушают мои доводы. Не следует падать духом, так примерно говорю я им, и нельзя позволить увлечь себя и действовать непродуманно. Не может быть и речи о том, чтобы, потеряв надежду, наложить на себя руки. Нам, последним солдатам полка, совершенно необходимо держаться вместе. Мы действительно представляем собой остаток полка. Во всяком случае, мне не известно, чтобы где-либо еще находились отбившиеся от нашего полка солдаты. Он может положиться на меня, я сделаю все, чтобы добиться организованной капитуляции. Я убежден, что русские уважают международное право. Поэтому надо подготовить себя к этому и в надлежащий момент вывесить из окна какое-либо белое полотнище или даже чехол от тюфяка. Главное же – сохранять спокойствие.

Эти же вопросы в присутствии солдат я еще раз обсуждаю с офицерами и врачами. В это время мой полк состоял из 11 офицеров, 2 врачей, 1 ветеринара и 34 солдат.

Несмотря на то, что у многих на лицах написано явное недоумение, по помещению проносится вздох облегчения. На некоторое время мы перестаем обращать внимание на характерный свист проносящихся снарядов, на их разрывы и на звон лопающихся стекол. С этого момента каждый старается «организовать» что-нибудь вне здания, найти что-либо в разбитом багажном вагоне или на мертвых.

Ночью я еще раз иду на верхние этажи к связным, санитарам и товарищам из других частей. Тем временем все больше солдат ищут укрытия в здании. Повсюду обсуждается возможность капитуляции. Рано утром наше положение становится критическим. Полковник Бойе успешно осуществил свою миссию: когда стемнеет; к нам должны прийти советские офицеры для переговоров о прекращении огня. Но почти в то же время, когда возвращается Бойе, появляется один майор, который по заданию штаба армии должен не только получить «ориентировку в

оперативной обстановке», но, по-видимому, и разведать, не происходит ли здесь что-нибудь такое, что нарушает приказ командования армии, категорически запрещающий капитулировать. Мы пытаемся втянуть его в разговоры, не имеющие никакого отношения к его заданию, но он уклоняется от этого. Майор Добберкау из Ширке, видимо, замечает, что ему не так-то легко выполнить столь деликатное поручение. Мое заявление о серьезности положения он встречает без возражений. Однако ни с чем он, по-видимому, тоже не хочет возвращаться в штаб армии. Поэтому он избегает новых вопросов и еще несколько часов тихо и спокойно сидит в своем углу.

Внутреннее беспокойство заставляет меня на следующее утро посетить командующего Паулюса в сталинградском универмаге, где находится командный пункт армии. Так как вездеход больше не пригоден для использования, я вместе с водителем отправляюсь пешком. Под сильным обстрелом приходится, используя как прикрытие стены домов, перебегать от одной развалины к другой, укрываясь в подвалах. Наконец мы оказываемся перед зданием, высокий и разбитый фасад которого является как бы символом нашей гибели. У широкого входа собралось множество солдат, которые ищут укрытия. Это напоминает столпотворение у ворот шахты после катастрофы под землей.

И здесь помещается штаб армии? Ведь именно во время похода в Советский Союз стало правилом размещать наши штабы, пусть даже мелкие – батальонные и полковые, – если только возможно, в стороне, подальше от заметных ориентиров! Впрочем, здесь мы находимся в центре большого города, который растянулся вдоль Волги на 40 километров. Вокруг нас – сплошные руины и развалины, как в 1917-1918 годах на Сомме, у Амьена и в промышленных районах Северной Франции и Бельгии. Впрочем, руины можно было увидеть там даже через 22 года после первой мировой войны.

Как много времени пройдет, пока здесь, на Волге, расцветет новая жизнь?

Ссора с генералом Шмидтом

Мы обращаемся к солдатам с вопросами, но либо не получаем никаких ответов, либо получаем ничего не значащие. Только в дальнем конце коридора, кажется, немного больше порядка. Там я попадаю в помещение начальника штаба 6-й армии генерала Шмидта. Я прошу его доложить о моем приходе Паулюсу и напоминаю, что командующий неоднократно бывал в районе обороны моего полка и что мы знаем друг друга со времени первой мировой войны. Мне необходимо еще раз

поговорить с ним лично.

Генерал Шмидт выслушивает меня, но категорически отказывается доложить Паулюсу. Это, мол, не принято, чтобы войсковые командиры попросту допускались к командующему. Но я могу доложить свои просьбы и ему, Шмидту.

Я продолжаю настаивать на своей просьбе, но опять получаю отказ. Генерал Шмидт, раскрывать которому мои намерения у меня нет никакого желания, требует, чтобы я немедленно возвратился к своим солдатам.

Внутренне весь дрожа, но стараясь оставаться спокойным, я возражаю ему: «Господин генерал, мне кажется, что вы либо недостаточно ясно представляете, как изменилась обстановка, либо не желаете знать этого! Разве вы не видите, что даже здесь, прямо у вашей двери, происходит с нашими солдатами? Вы не учитываете, что, может, пройдет совсем немного времени – и здесь мне кажется, что это только вопрос времени, – и вам придется считаться с тем, что скоро и здесь, да, именно здесь, на дворе и в этих коридорах подвала, немецкие солдаты начнут стрелять в немецких солдат, а может быть, и офицеры – в офицеров. Быть может, будут пущены в ход даже ручные гранаты. Такое может случиться весьма неожиданно».

Генерал, ошеломленный сказанным мною, сначала даже не пытается прервать меня.

«Разве вы, господин генерал, – продолжаю я, – хотите отвечать за то, что битва за Сталинград закончится таким образом? Вы, в самом деле, хотите отвечать за то, что немцы здесь будут стрелять в немцев? Надо скорее кончать! Надо капитулировать до таких событий! Нельзя допустить этого!»

Шмидт меняется в лице. Оно становится багрово-красным. В гневе он начинает грубо кричать на меня, затем сдерживается, меняет тон, но не менее твердо и определенно, стуча кулаком по столу, и медленно, подчеркивая каждое слово, говорит мне: «Господин полковник Штейдле, с командующим говорить нельзя. Я требую еще раз, чтобы вы сейчас же возвратились в свою часть! Приказ вам известен: продолжать борьбу! Да! Да! Продолжать борьбу! Вы знаете, что у нас есть и другие средства заставить выполнять приказ! Не делайте глупостей!» И он указал мне на дверь.

Праздник по случаю присвоения звания

Здесь, следовательно, ничего добиться не удалось. Я покидаю помещение, не пытаясь пробраться к Паулюсу иным способом.

Возвращаясь назад по длинному коридору, через несколько дверей слышу громкие голоса. Мне интересно, что здесь происходит. Распахиваю дверь, не постучавшись и не прочитав

надписи на ней. Я оказываюсь в освещенном множеством свечей большом помещении, среди десятка офицеров. Они навеселе, одни сидят за двумя столами, другие стоят, облокотившись о комод. Перед ними стаканы, бутылки вина, кофейники, тарелки с хлебом, печеньем и кусочками шоколада. Один из них как раз собирается бренчать на пианино, освещенном несколькими свечами.

Я настолько озадачен и удивлен, что мне трудно сразу переключиться. Однако нужно как можно быстрее выяснить обстановку. Я задаю вопрос нарочито громко, и это заставляет некоторых насторожиться: «Ага, наверное, здесь кого-то чествуют? Разрешите представиться: полковник Штейдле».

«Прошу, чествуют генерала Роске». Генерал Роске? Ах, вот оно что: наверное, только что получил генеральское звание.

«Как идут у всех вас дела? Неужели всем вам разрешили покинуть фронт?» – спрашиваю я.

«О да, конечно: наши участки находятся непосредственно у Волги, понимаете ли, широкое течение реки служит надежной преградой. Обычно все начинается ночью или в тумане. Но до сих пор было сравнительно спокойно. Пока держать оборону удается, беспокойство доставляют главным образом толпы наших солдат, хлынувших с запада в город и блуждающих в руинах по нескольку дней. Такая недисциплинированность недопустима. Скоро некуда будет девать раненых. К тому же все требуют продовольствия».

«Кстати, как у вас обстоят дела с продовольствием?

«Нам очень повезло. На Волге вмерзла в лед баржа с мукой и зерном. Кроме того, нас предусмотрительно снабдили всем необходимым раньше. У нас даже есть хлеб. Но давайте поговорим о чем-нибудь другом, – продолжает генерал Роске. – Я думаю, следовало бы пригласить к нам командующего. Это было бы для него полезно. Он теперь часто расстраивается. Надо бы его подбодрить хоть немного».

Один из молодых офицеров вскакивает и хочет сразу пойти, чтобы передать приглашение. Мне предлагают кофе, коньяк, вино и приглашают остаться. Вопрос о том, Как у нас, на западном участке кольца окружения, оценивают оперативную обстановку, видимо, никого вообще не интересует. Меня это раздражает.

«Не знаю, – обращаюсь я к Роске, – испытали ли вы на собственном опыте здесь, как мы за вокзалом, у городской тюрьмы, выше по реке Царице, как изменилась боевая обстановка? Ясно ли вам, что мы сидим на бочке с порохом? Как вы полагаете, что думают солдаты здесь, в коридоре за вашей дверью?»

Ответа я не получаю. Все отмалчиваются, чокаются друг с

другом, поют, кто-то бренчит на пианино марш, а в перерывах импровизирует такты вальса. Мои вопросы, очевидно, считают здесь совершенно неуместными. Я ухожу.

Мой водитель, сопровождавший меня, стоял в коридоре, как на посту, и, конечно, понимал, что здесь развлекаются. Но он не проронил ни слова. Я не скрываю от него, что осуждаю эту фривольную беспечность, с помощью которой пытаются игнорировать исключительно критическую ситуацию. Кроме того, долго разговаривать нельзя. Чтобы целым и невредимым быстро добраться до здания тюрьмы, придется приложить немало усилий. Ясно, однако, от штаба нашей армии ждать больше нечего, совсем нечего.

Теперь дело за тем, чтобы окончательно склонить на свою сторону генерала фон Даниэльса.

«Господин генерал, вам надо действовать!»

Напрасно я ломал себе голову над тем, как бы скорее наедине поговорить с генералом фон Даниэльсом. «Надо посмотреть, Штейдле, что делается на улице», – говорит он. Мы выходим из здания и бродим от одного квартала к другому.

Сразу же за тюрьмой валяются разбитые автомашины, в которых копаются десятки солдат, не обращающих на нас никакого внимания. Сейчас им совершенно безразлично, что мимо проходит генерал или полковник. Поиски барахла продолжаются. Разве только тебя встречают недоброжелательным взглядом, который означает, если кто-либо еще заинтересуется этим же объектом, то против него применят силу.

«Штейдле, начинает генерал, как вы думаете: увижу ли я жену и детей? Русские, конечно, прикончат любого генерала. Солдат – тех они оставят в живых, это ясно. А вот генералов? Правда, у русских тоже есть генералы. И все же во время русской революции генералы были в основном ликвидированы… следует ли нам капитулировать?.. Один из фон Даниэльсов – и вдруг нарушает присягу! Штейдле, вы можете себе это представить? Правда, давно пора порвать с этим негодяем, этим ефрейтором. От вас мне скрывать нечего. Я всегда говорил, что Гитлер – негодяй, он всех нас посадил на мель. Больше я, Штейдле, в этом не участвую! Какое мне дело до штаба армии и других генералов! Начальник штаба сошел с ума. Он врет и врет, обманывает командующего и держит его, таким образом, в своих руках. Что нам теперь до Гитлера! Посмотрите на раненых и на эти жалкие фигуры. Вот что надо было бы показать Гитлеру. Остается одно: кончать, скорее кончать!

Или вы думаете, что надо продолжать ждать? И капитулировать всем вместе? В конце концов, и наверху

образумятся. Как вы думаете?»

Вот как расшумелся мой командир дивизии. Видимо, он преодолел боязнь, охватившую его после того, как Паулюс неожиданно посетил нас. Очевидно, он хочет узнать настроение каждого в отдельности и проверить, не подведет ли его кто-нибудь в последнюю минуту. Вероятно, поэтому он и вышел со мной из здания тюрьмы, где царит гнетущая атмосфера, где один доводит другого до безумия, где сталкиваются мнения и где никто ничего не в состоянии понять.

Мы находимся у разбитой стены и пытаемся обнаружить пулеметные гнезда, которые будто бы заново соорудил здесь полковник Мюллер. Мы хотим обнаружить офицеров и солдат, которых полковник Мюллер только еще в полдень с помощью угроз и хватаясь за пистолет согнал сюда. Мы ищем стык с боевой группой дивизии генерала Дебуа. Мы ищем, ищем и ничего не находим. На позициях нет ни одного человека, у пулеметов и минометов – ни одного офицера.

Через проломы в стене, если смотреть по направлению к главной улице, виден советский танк Т-34. Это дает мне новую возможность воздействовать на генерала, заставить его придерживаться своих собственных планов, которые он, смотря по настроению вокруг него, то подтверждает, то отбрасывает.

Генерал тычет палкой в запор канцелярского ящика, который лежит перед нами. Не потому, что надеется найти там что-нибудь полезное, а чтобы дать выход своей нервозности. Мы, нагибаясь, пробираемся вдоль разрушенной стены. Перед нами два солдата, которые, по-видимому, не обращают внимания ни на стрельбу вокруг нас, ни на нас самих. Они тоже выжидают… Воет пронизывающий ветер.

Я обращаюсь к генералу: «Впереди нас солдат больше нет. И я не могу выделить для усиления ни одного солдата. От всего моего полка осталось 34 солдата, 3 врача и 11 офицеров. Все они изнурены. Посмотрите сами, в каком ужасном состоянии они лежат наверху, там, в городской тюрьме. Чего мы ждем? Командование армии и впредь в принципе будет запрещать самовольную капитуляцию, поэтому надо поставить его перед свершившимся фактом. У нас больше нет солдат. Я больше не способен воевать. Или, быть может, у вас есть солдаты? А русские? Они-то с определенным умыслом не наступают сейчас здесь. Но как долго такое положение будет сохраняться? Для нас было бы важно прекратить сопротивление еще до того, как они возобновят наступление. Вы можете поручиться за то, что такое состояние продлится еще долго? Ведь вы уже давно распознали все это свинство. Господин генерал, вам надо действовать, вы

должны прекратить сопротивление даже в одиночку.

Разве есть смысл советоваться с другими командирами дивизий? Какая бестолковщина царит в здании городской тюрьмы. Чего только там ни говорят, какие решения ни принимают, снова отменяют и снова принимают».

Генерал фон Даниэльс все больше задумывается. Сгорбившись, стоит он рядом со мной. Ворошит палкой груду рваного белья. Одним ударом он далеко отшвыривает валявшуюся там пилотку и продолжает ворошить белье, нетерпеливо переступая при этом с ноги на ногу.

«Что же мне делать! – восклицает он. – Подумайте только, что станет с моим именем, с моей семьей. Все станет известно дома, все. Правда, присяга больше никого не связывает. Никого, так как Гитлер сам давно нарушил ее. Он обещал помочь нам и не сдержал обещания».

Генерал поворачивается ко мне своим морщинистым лицом, с распухшими от мороза губами. Гневно и с презрением он восклицает: «Ах, этот ефрейтор, что же можно было еще ждать от него!»

Между тем снова начинает падать снежная крупа. Все сильнее метет ветер. Мы стоим на углу, откуда видна узкая долина реки Царицы. Неожиданно начинается сильнейший минометный обстрел высоты, на которой находится городская тюрьма. – Затем огонь переносится в нашу сторону, туда, где поток отбившихся от своих частей солдат волнами катится по главной улице. Нам приходится спасаться в укрытии.

В разрушенном цехе мы пригибаемся за лопнувшими бочками из-под смолы. Из снежного сугроба торчат тряпки. Я нагибаюсь, разгребаю снег, и у меня в руках оказывается нижняя рубашка. Новая рубашка! Прилично ли просто так взять эту рубашку? Я стесняюсь фон Да-ниэльса, но говорю ему: «Это всегда может пригодиться – впрочем, господин генерал, никто не видит нас, и было бы глупо дать пропасть такой рубашке». И рубашка исчезает в левом кармане моей шинели. Генерал Даниэльс считает, что я поступил правильно. Прилично или неприлично – это сейчас никого не интересует.

Из снежного сугроба мы вытаскиваем ремень от ранца. Генерал говорит, что ремень может пригодиться, чтобы перетянуть им свои манатки, когда будем собираться в плен.

Не ослышался ли я? Собираться в плен? Значит, Даниэльс всерьез думает о том, чтобы прекратить сопротивление. Значит, полковник Бойе рисковал не напрасно.

Мы капитулируем

С наступлением сумерек мы возвращаемся в здание

городской тюрьмы. Прямо у входа нас останавливает фельдфебель и взволнованно докладывает: «Русские уже здесь!» Итак, парламентеры явились к назначенному сроку.

Даниэльс, казалось, на какой-то момент заколебался вновь. «Господин генерал, мы обязаны вести переговоры!» С этими словами я распахиваю дверь в одно из помещений вестибюля и быстро осматриваюсь. За столом сидят несколько советских офицеров и один солдат. Из-за скудного освещения большего разглядеть не удается. «Генерал фон Даниэльс, – представляю я, – командир 376-й пехотной дивизии. Он предлагает начать переговоры».

Переводчик переводит мои слова, а также ответ, что все понятно. Представители советского командования прибыли сюда в соответствии с просьбой немецких офицеров, которые хотят прекратить сопротивление.

Фон Даниэльс садится и предлагает представить русским присутствующих немецких офицеров. На это следует отрывистое «пожалуйста», которое переводчик дополняет тем, что подполковник согласен. Генерал Даниэльс поясняет коротко, что здесь находятся старшие офицеры и командиры боевых групп, которые уже осведомлены об установленных накануне контактах. Он просит объявить условия капитуляции.

Советский офицер заявляет, что никаких особых условий капитуляции нет; положение немецких войск настолько катастрофично, что им остается только один выход: безоговорочно прекратить сопротивление. Главное условие: немецкие войска на всем этом участке фронта воздерживаются от каких бы то ни было боевых действий. Приказ об этом должен быть объявлен немедленно. С советской стороны дано указание в течение часа ничего не предпринимать на этом участке фронта.

Генерал фон Даниэльс отвечает, что он согласен, что продолжать боевые действия при создавшихся обстоятельствах безнадежно. Поэтому он не будет выставлять никаких условий. Но обещает ли русская сторона придерживаться положений Женевской конвенции о военнопленных? На это следует утвердительный ответ. Тогда генерал спрашивает, можем ли мы взять с собой раненых и в каком порядке должны будут выходить офицеры и солдаты. Ведь для выхода с позиций нужно придерживаться каких-то правил.

Советский подполковник отвечает, что нельзя терять времени; поэтому многого организовать не удастся. Если немцы готовы прекратить сопротивление, то отход с этого участка фронта надо осуществить быстро. Солдатам надлежит сложить все оружие в одном определенном месте. Они могут взять с собой

лишь то, что совершенно необходимо в плену для них лично. Вопрос о том, что могут взять с собой офицеры, сначала обсуждается советскими офицерами и уточняется ими. Затем переводчик коротко поясняет, что для них можно принять тот же порядок, что и для солдат: ведь генералы тоже солдаты.

В заключение подполковник объявляет, что немцы должны закончить все приготовления за одну ночь. «С нами прибыла команда связистов. Мы хотели бы сообщить нашему командованию о результатах наших переговоров! Если немецкие командиры в течение ближайших часов не сумеют правильно организовать капитуляцию и если где-либо будет оказано сопротивление, то советские вооруженные силы начнут предусмотренное генеральное наступление. Нет надобности объяснять, что это будет означать для фашистских войск».

Генерал фон Даниэльс отвечает на это: «Мы сделаем все, чтобы как можно больше подразделений и частей присоединилось к капитулирующим. Это мое твердое обещание. Вы можете положиться на честное слово немецкого генерала».

До сих пор переговоры велись только между генералом фон Даниэльсом и руководителем советской группы. Теперь, казалось, настало время перейти к обсуждению отдельных вопросов, таких, например, как медицинское обслуживание наших тяжелораненых, разбросанных по разным местам и предоставленных самим себе. На мой вопрос, могут ли наши врачи остаться при наших раненых, получаю утвердительный ответ. Снабжение раненых будет организовано позднее советским персоналом на основании Положения о военнопленных в Советском Союзе; тогда же будет решено, нужно ли оставлять в дальнейшем немецкий медицинский персонал.

Второй вопрос касается питания немецких солдат. Советский подполковник некоторое время молчит, а затем говорит спокойно, но язвительно: «При капитуляции вопрос о снабжении побежденных войск продовольствием в принципе не решается так, чтобы им немедленно предоставили полные еды полевые кухни. Однако все, что возможно, будет сделано. Во всяком случае это будет больше чем немецкие офицеры здесь, в котле, делали для советских военнопленных. Есть ли еще вопросы?» Он хочет теперь получить от своего командования санкцию на свои переговоры по телефонной линии, протянутой его солдатами.

Советское командование подтверждает, что этой ночью здесь боевых действий не будет, если только немцы не нарушат условия капитуляции, которую надо начать осуществлять немедленно.

На эти переговоры ушло около часу. Примерно в 21 час фон Даниэльс вместе с генералом Шлемером, полковником Бойе и

мной возвращаются в ту часть здания, где обосновались остатки наскоро собранных штабов. Коротко рассказав офицерам о случившемся и ответив на их вопросы, я спешу к своим солдатам и сообщаю им, что должно произойти ночью и ближайшим утром. Немногих еще способных передвигаться солдат и младших командиров, которые знают общее расположение наших слабо обороняемых позиций, я посылаю на передовую, чтобы соответственно проинформировать тех, кто еще находится на переднем крае.

Однако генералы, которые фактически уже никем не командуют, снова затевают бесконечные дискуссии о том, что их ждет в плену. Одновременно они начинают отбирать вещи, которые можно будет взять с собой в плен. При этом понятие «совершенно необходимое» оказывается весьма растяжимым. Один относит сюда французский коньяк, специальный шоколад для летчиков, несессер; другой хочет отправиться в плен с пятью чемоданами и многочисленным мелким ручным багажом, и притом делает вид, что это само собой разумеется. Поражает хладнокровие советской стороны, которая сначала соглашается и с таким необычным поведением.

Некоторым совершенно необходимо разобрать вещи еще и потому, что у них есть не только топографические карты, но и приказы, которые – раз они уже были изданы – лучше не давать в руки советским офицерам. Сюда же относятся и письма, написанные в надежде, что из котла удастся отправить их самолетом, в которых врагу даются самые нелестные характеристики.

Вопрос о том, действительно ли можно считать, что с безвыходным положением покончено, что солдатам больше не грозит неотвратимая медленная гибель, все еще остается неясным. 237] Поэтому для многих эта ночь тянется бесконечно долго. И когда с какого-либо направления слышатся гром орудий, взрывы или треск пулеметов, то кажется, что снова началась чертовщина, что почти невыносимая тишина на нашем участке фронта – это только обман и что над нами вот-вот разверзнется еще более ужасный ад.

Прекращайте борьбу!

Как можно больше солдат должны узнать, что произойдет через несколько часов, когда настанет утро; как можно больше солдат должны капитулировать, сложить оружие, сохранить жизнь. Мои офицеры, врачи, ветеринары тоже пошли к войскам, а также два радиста из штаба полка, которые не участвовали в боях на открытой местности и в снеговых окопах и у которых поэтому еще осталось достаточно физических и моральных сил, чтобы

своими действиями противостоять общему упадку, общей апатии.

И это делать было нелегко. Из одного снежного окопа в другой снежный окоп, из одного подвала в другой, из руины в руину – мертвые, раненые, обмороженные, полумертвые от голода, которые, сразу даже не понимая, с безразличием встречают сообщение о капитуляции. Они снова апатично скрываются там, где их подстерегает верная смерть. Главное – надо попытаться спасти не только одиночек, а спасти всех тех, кто доверяет посланным, кто складывает оружие, выползает из укрытий и идет к сборному пункту, при этом – шатаясь, падая, снова поднимаясь.

Что будет с ранеными, с совершенно обессилевшими и с сошедшими с ума? Нести их невозможно, ни у кого для этого нет сил. Итак… лучше не думать об этом, дальше, дальше к следующему окопу: «Перемирие до рассвета… Капитуляция… Женевская конвенция… Плен, сборный пункт: городская тюрьма».

Нам удалось осуществить капитуляцию. Между четырьмя и пятью часами 28 января мы увидели, что решение о прекращении сопротивления распространилось в районы на север и на юг до реки Царица и даже захватило часть центра города.

Оставшиеся с нами советские командиры, примерно семь-восемь человек, в том числе майор и переводчик, непрерывно сообщают в свой штаб, что мы выполнили все условия капитуляции. Около пяти часов к нам снова прибывает советский подполковник со своим сопровождением. Теперь можно начинать движение.

Еще темно, едва заметны признаки наступающего утра. Мы собираемся неподалеку от входа в городскую тюрьму перед фасадом одного из соседних домов, к которому ведет высокая лестница. Тут будет официально объявлено о нашей капитуляции. Собралось много солдат: оборванных, с впалыми глазами, обессилевших, трясущихся от жара, раненых, которых, несмотря ни на что, притащили сюда.

Потом выступает генерал фон Даниэльс. Серьезно и прочувствованным голосом он говорит всего несколько фраз: «Удалось договориться с русскими офицерами о прекращении боевых действий, причем меня заверили, что с нами будут обращаться в соответствии с международным правом. Нам предстоит тяжелый, очень тяжелый путь. Но надо надеяться, что этот путь многим спасет жизнь. И это правильный путь; ведь гибнуть дальше, как этого требуют от нас, бессмысленно. Надо, чтобы офицеры и солдаты и в плену вели себя с честью». Он выражает надежду, что мы когда-нибудь снова увидимся в нашем немецком отечестве.

В этой прощальной речи, которая на всех нас произвела большое впечатление, не было ни звука о фюрере. Но большинство и так знает, что это он обрек 6-ю армию на полное уничтожение, что это он предал целую армию!

Походная колонна трогается. Рядом с нами стоят советские офицеры, которые своими мужественными действиями помогли нам сделать этот шаг. Затем и мы, офицеры, становимся в ряды бесконечной колонны. Спотыкаясь и шатаясь, поддерживая друг друга, а иногда и падая, солдаты движутся мимо руин, зигзагами через сады, на край оврага реки Царицы и оттуда круто спускаются в ее долину. Сквозь морозную утреннюю дымку видны заснеженные склоны и дно оврага, где колонна пленных петляет, пока совсем не исчезает между развалинами небольших домов и фабрик.

Так проходит около двух часов. Все плетутся вперед с трудом. В это утро каждому приходится тащить не только груз своего изнуренного, обессиленного тела, но еще больший груз непонятного и гнетущего прошлого, груз тяжелых раздумий. Все двигаются пошатываясь, с глухим топотом и приглушенным шумом, прерываемым кашлем, глубокими вздохами и стонами. Резко и хрипло звучат отчаянные просьбы, передаваемые сзади в голову колонны: замедлить движение. Но мольбы не помогают, потому что темп движения определяется теми, кто, будучи еще относительно здоровым и способным вынести марш, поставлен во главе колонны. Мера сама по себе понятная, так как надо как можно быстрее выбраться из безотрадной, покрытой снегом пустыни в районе Сталинграда. Время от времени, чтобы все подтянулись, устраиваются короткие привалы. Но перед многими перерыв движения ставит роковой вопрос, не окажется ли данный привал для них последним привалом в их жизни.

В короткие минуты отдыха никто не нарушает молчания. Мысли у всех еще слишком притуплены, каждому приходится концентрировать все свои усилия на том, чтобы выдержать марш; и, кроме того, все еще мучают сомнения и недоверие, которые уже и так немало осложнили и замедлили капитуляцию.

Меня знобит. В ногах зудит и покалывает. Пальцы на ногах потеряли чувствительность. Снова я чувствую ноющую боль в коленях и суставах. Как и несколько дней назад, мои уши распухли, горят, стали шероховатыми на ощупь. Возобновился и зуд на веках.

Мысли путаются. Было ли то, что произошло в последние часы, действительностью или это игра моего воображения? В голове трещит, так что нет не только желания, но и возможности думать. Я чувствую, как у меня невольно текут по щекам слезы. С

трудом сдерживаюсь чтобы не зарыдать как ребенок.

Тяжкий путь познания

Первые беседы в плену с советскими офицерами

Через несколько часов после начала движения колонны генералы и мы, старшие офицеры, были отделены от солдат и на открытых грузовиках доставлены в небольшой, почти не разрушенный населенный пункт.

Здесь мы выпили горячего чаю, умылись, надели свежие русские солдатские рубашки и несколько привели себя в порядок. Затем парикмахер остриг нам волосы наголо. Это было необходимо ввиду того, что мы давно не мылись и завшивели. И хотя мы стали выглядеть необычно, наше самочувствие улучшилось.

Случайно я оказался поблизости, когда советские фотографы снимали Шлемера и Даниэльса. Кстати сказать, этот снимок в апреле 1943 года появился в одной из швейцарских газет. Шлемер, который в один из последних боев был довольно серьезно ранен осколком снаряда, во время съемки опирался на палку и взял под руку генерала Даниэльса.

Потом мы все вместе оказались в большом помещении одного из деревянных домов. Перед нами стояли три или четыре советских офицера, среди них и тот подполковник, с которым мы вели переговоры. Нам, вероятно, хотели сделать нечто приятное и предложили печенье и водку, что для наших пустых желудков явно представляло некоторую опасность. Мы угостились. Затем началась первая беседа, которая велась уже в обстановке, не требовавшей формальной сдержанности. Как-то сразу разговаривать стало легко. Даниэльс поднял свой стакан и поблагодарил советских офицеров, врачей, старшин и солдат за их самоотверженные действия. Это звучало почти так же, как заключительное слово при подведении итогов на маневрах после удавшегося «мирного сражения": производится оценка, отмечаются успехи, пожимают друг другу руки. Мне показалось это даже несколько неуместным. Однако поставить это в вину Даниэльсу нельзя: он всегда был склонен к возбудимости, особенно если хороший глоток алкоголя помогал забыть условности.

Подполковник, внимательно наблюдавший за нашей совершенно различной реакцией, наверное, был хорошим человеком; один из его первых вопросов, который одновременно был пожеланием, относился к судьбе наших жен и детей на родине; они, наверное, сильно обрадовались бы сообщению, что мы живы и здоровы. Я был крайне растроган, некоторое

мгновение помедлил, а потом подошел к нему, и недолго думая, снял с себя бинокль и подарил ему в знак благодарности и на память об этом часе.

Затем нас отвели в другой дом, находившийся неподалеку. По трем сторонам не слишком большой комнаты стояли столы, за которыми сидели советские офицеры. Судя по погонам – до сих пор мы не особенно интересовались знаками различия Красной Армии, – это были старшие офицеры и генералы. Непосредственно за ними по двум сторонам помещения стояли еще столы и стулья» Там тоже сидели офицеры и несколько мужчин в штатском. Таким образом, для нас оставалось сравнительно мало места, так сказать арена. Атмосфера была напряженной, разве только кто-нибудь шепнет что-нибудь соседу.

Коли я не ошибаюсь, рядом со мной оказались генералы Даниэльс, Шлемер, полковники Шварц, Вебер, Бойе, Кур, подполковник Вернебург и несколько других, Один из старших советских офицеров коротко сказал, что советская сторона хотела бы побольше узнать о подоплеке нашего решения капитулировать, поскольку известно, с каким упорством дрались соединения и части 6-й армии. При этом речь шла и о предложении советского командования от 8 января о капитуляции. Почему уже тогда мы не решились на этот шаг; ведь можно было избежать напрасного кровопролития.

Кто-то начал отвечать – не помню теперь, был ли это Шлемер или Шварц. Во всяком случае, я не разделял того, что было ими сказано. У русских могло возникнуть представление, совершенно не отвечавшее ни тому, что наши солдаты и младшие офицеры ощущали в действительности, ни тому, что думали именно те, кому приходилось расплачиваться своей жизнью за то, что командование не хотело правильно оценить обстановку. Я не удержался и коротко высказал свое мнение, отличавшееся от оценки генералов, но, по моему мнению, отвечавшее истине. Но что и мое мнение лишь частично соответствовало действительности, я понял значительно позднее, после долгих размышлений, переосмысливания и преодоления прошлого.

Во всяком случае, уже в первой беседе с советскими офицерами в наших рядах четко обозначились расхождения, которые до тех пор были скрыты за привычкой на все реагировать обычным: «Слушаюсь!» От этой привычки никто из нас не мог тогда еще избавиться.

После того как на этой первой встрече я изложил свое особое мнение, я почувствовал, что мое поведение было расценено как нетоварищеское, как попытка взорвать единство, которое именно в плену надо было укреплять. Духовная самостоятельность,

собственные мысли и умозаключения – все это, разумеется, признавалось, но в то же время считалось, что в присутствии «советских» нельзя допускать никакого расхождения мнений, наоборот, и в плену надо сохранять спаянность и дисциплину.

Диалог, который мы вели на этой первой большой беседе; еще долго продолжал оказывать на нас свое воздействие. То, что говорили советские офицеры, было убедительно и показывало, что они стремились понять наш образ мышления. Наши собеседники проявили высокую образованность и – вопреки вдалбливавшемуся в наши головы представлению о «коммунистических роботах» – проявили разнообразие индивидуальностей и положительных личных качеств. Все это позволило благоприятно воспринять преподанный нам урок. Ведь все-таки нас обрабатывала – и не только с 1933 года – антикоммунистическая пропаганда. Мы были жертвами этой обработки. Поэтому наше положение после капитуляции пугало нас, казалось опасным и почти невыносимым.

С наступлением ночи мы разместились в открытых грузовиках и, обгоняя многокилометровые колонны пленных, проехали около полутора часов. Вокруг русские солдаты жгли костры, в отдельных домах виднелся свет, мелькали руины. Мы свернули с шоссе на узкую дорогу, проехали еще с полкилометра, затем последовала команда выгружаться, и, тяжело ступая друг за другом, мы направились напрямик к группе разрушенных домов. Первую ночь мы провели в полностью выгоревшем длинном сарае, стоя или сидя вдоль полуобвалившихся стен. Советская охрана разрешила принести разбитые двери и ящики, и вскоре посреди сарая запылал костер.

Языки пламени вырывались в ясное звездное небо, и впервые за много дней мы как следует согрелись. Часа через два огонь потух; только в середине костра сохранялся жар. Мы легли на каменные плиты, тесно прижавшись друг к другу, так что никому не пришлось стоять.

Несмотря на утомление, настоящего сна не было: нам не давали спать мучительные и беспокойные мысли. Мы вслушивались в темноту; стрельбы совершенно не было слышно; если даже еще и велись бои на отдельных участках этого невероятно большого города на Волге, то эта стрельба заглушалась гудением и шумом непрерывно проносившихся невдалеке автомашин.

К утру в сарае стало совсем холодно. С трех часов утра понемногу начали подниматься, и, чтобы как-то согреться, одни топали ногами, другие размахивали руками, растирали их, третьи похлопывали и толкали друг друга.

В шесть часов мы двинулись дальше. Снова путь шел через заснеженные поля. За развалинами этой деревни мы увидели наших солдат, которые ночевали под открытым небом и уже были построены в более или менее стройные колонны. Я нашел остатки своего полка, а также входивших в боевую группу Штейдле зенитчиков, железнодорожников и солдат одной полевой почты. Нам разрешили использовать короткое время, чтобы попрощаться с солдатами, пояснив, что отсюда наши пути разойдутся. Мы уже знали, что в соответствии с положением о военнопленных офицеры и солдаты могут размещаться вместе только в особых случаях. И тут состоялось волнующее расставание.

Здесь мы встретили также офицеров, которые раньше нас искали и нашли путь в плен. Все же число тех, кто капитулировал с нами, было значительно больше, чем мы предполагали. Говорили о шести-восьми тысячах. Многие хотели только разузнать почему неожиданно прекратились боевые действия, а в результате были вынуждены присоединиться к идущим в плен.

Штаб 6-й армии и южный котел под командованием генерал-полковника Гейтца капитулировали 31 января. Генерал Штрекер, к сожалению, до конца остался неисправим и продолжал бессмысленное сопротивление в северном котле до 2 февраля. Тогда-то сталинградский ад и перестал существовать.

Марш позора и вины

Группа офицеров, пополненная несколькими солдатами и унтер-офицерами, была построена в колонну по восемь человек (в восемь рядов). Предстоял марш, который потребовал от нас напряжения всех сил. Мы взяли друг друга под руки. Пытались сдерживать темп марша. Но для тех, кто шел в конце колонны, он был все же слишком быстрым. Призывы и просьбы идти медленнее не прекращались, и это было тем более понятно, что мы взяли с собой многих с больными ногами, а они с трудом могли двигаться по наезженной, блестевшей как зеркало, оледеневшей дороге. Чего только я как солдат не видел на этих маршах! Бесконечные ряды домов, и перед ними – даже у маленьких хаток – с любовью ухоженные огороды и садики, а позади – играющие дети, для которых все, что происходит, либо стало обыденным, либо осталось непостижимым. А потом все время тянулись бесконечные поля, перемежающиеся с лесными полосами и крутыми или пологими холмами. Вдалеке проглядывали контуры промышленных предприятий. Часами мы маршировали или ехали вдоль железных дорог и каналов. Были испытаны все способы переходов, вплоть до использования горной дороги на головокружительной высоте. А затем снова марши мимо дымящихся развалин, в которые были превращены

существовавшие в течение столетий населенные пункты.

Во Фландрии мы форсировали каналы и портовые водоемы, в которых застоявшаяся вода отвратительно воняла нечистотами, падалью и гнилью, так как водоводы были повсюду забиты. Поверху плавала нефть и все, что было принесено течением из хлевов, домов и разрушенных предприятий. Тут были трупы животных, ящики с гнилыми фруктами, домашняя утварь, бревна.

В России мы проходили мимо типичных и маленьких русских домов, немногие из них уцелели, мимо бесконечных рядов руин, из которых все еще торчали крепко сложенные русские печи, среди руин валялись остатки искореженных железных кроватей – живое свидетельство нашего невероятного варварства. Часто можно было видеть и шнырявшие по дорогам странные фигуры, закутанные во все черное, которые хоть что-нибудь пытались спасти. Мы видели людей, в глубоком отчаянии бесцельно бродивших взад и вперед.

Всюду на нас смотрели мрачные глаза, метавшие проклятия, безмолвные, но с глубоким укором! У нас от этого перехватывало дыхание, потому что эти сверлящие взгляды сжимали горло, проникали в сердце. Вряд ли кто забудет это…

По обе стороны нашего пути простирались заснеженные поля. По крайней мере, так казалось нам в то январское утро, когда морозный воздух смешивался со спускавшимся туманом и земля как бы терялась в бесконечности. Только время от времени можно было увидеть тесно сгрудившихся военнопленных, которые, как и мы, совершали этот марш, марш вины и позора!

Под тяжестью пережитого

Примерно через два часа мы добрались до большой группы зданий при въезде в Бекетовку. Это, вероятно, была школа или институт, закрытый на время войны. Нас разместили там во всех помещениях от подвала до чердака, большей частью группами по восемь, десять или пятнадцать человек. Кто сначала не захватил себе места, тому пришлось стоять или сидеть на площадках лестницы как придется. Зато в этом здании были окна, была крыша, вода и временно оборудованная кухня. Напротив главного здания находились уборные. В соседнем здании была санитарная часть с советскими врачами и медсестрами.

Нам разрешили в любое время дня ходить по большому двору, встречаться и разговаривать друг с другом.

Чтобы избежать сыпного тифа, холеры, чумы и всего прочего, что могло возникнуть при таком скоплении людей, была организована широкая кампания по предохранительным прививкам. Однако для многих это мероприятие оказалось запоздалым. Эпидемии и тяжелые болезни были распространены

еще в Сталинграде. Кто заболевал, тот умирал один или среди товарищей, где придется: в переполненном, наспех оборудованном под лазарет подвале, в каком-нибудь углу, в снежном окопе. Никто не спрашивал о том, отчего умер другой. Шинель, шарф, куртка мертвого не пропадали – в этом нуждались живые. Через них-то и заражались очень многие. И здесь, в Бекетовке, проявилось то, что мы считали совершенно невозможным, но что сделало чрезвычайно ясным и преступный характер действий Гитлера, и нашу собственную вину за то, что мы не выполнили давно созревшего решения: физический, психический и духовный крах небывалого масштаба. Многие сумевшие выбраться из сталинградского пекла не выдержали и погибли от сыпного тифа, дизентерии или полного истощения физических и психических сил. Любой, кто еще несколько минут назад был жив, мог неожиданно рухнуть на пол и уже через четверть часа оказаться среди мертвых. Любой шаг для многих мог стать роковым. Шаг во двор, откуда больше не вернешься, шаг за водой, которую больше не выпьешь, шаг с буханкой хлеба под мышкой, которую больше не съешь… Неожиданно переставало работать сердце.

Советские женщины – врачи и санитарки, – часто жертвуя собой и не зная покоя, боролись против смертности. Они спасли многих и помогали всем. И все же прошла не одна неделя, прежде чем удалось приостановить эпидемии.

Постепенно начал складываться распорядок дня. Холода усилились. Несмотря на это, мы стремились наружу, стояли, прислонившись к стене, на которую в полдень падали солнечные лучи. Переступали с ноги на ногу, чтобы согреться, прислушивались к разговорам, обменивались слухами, ожидая, пока нам дадут хлеб или кашу. Равнодушно смотрели мы, когда из зданий выносили мертвых туда, где уже лежали многие. Сталинград опустошил нас физически, психически и духовно. Становилось все труднее бороться с апатией и безразличием к жизни. Парализующая все летаргия усиливалась. Порожденный фашистской пропагандой психоз страха возродился с новой силой и стал хорошей питательной средой для самых диких слухов.

Поэтому мы радовались любому собеседнику, любой теме разговора. Мы обменивались мыслями об отношении советских людей к нам при первой встрече после капитуляции и здесь, в Бекетовке. Советские командные инстанции приложили немало сил для того, чтобы зарегистрировать всех пленных, опросить их, сделать прививки; естественно, что все это делалось для постоянного улучшения организации жизни в нашем лагере. Нас поразило, как много женщин работало в качестве военных врачей,

санитарок, а также и офицеров Советской Армии. Все шло по-деловому, без спешки и с нескрываемым интересом к немецким офицерам из-под Сталинграда. Вопросы, которые задавали нам молодые женщины в военной форме при заполнении анкет, часто нас сильно озадачивали. С военным делом эти вопросы не имели ничего общего. Речь шла обычно о доме, семье, профессии и часто также – с деликатным любопытством – о том, что мы думаем, что нас сейчас больше всего волнует.

Да, таковы советские женщины – врачи и санитарки… Но это здесь, в карантине… Но ведь долго нас тут держать не будут. Куда мы попадем, и что ждет нас? Снова тревожила неизвестность, появились раздумья обо всем, что произошло – по вине немцев, – и о том, что теперь эти немцы, то есть мы, могут ждать. Так много времени для размышлений у нас никогда не было.

Мы – Вебер, Кур, Вернебург и все оставшиеся в живых офицеры моего полка – договорились встречаться у ограждавшей лагерь стены, там, где солнечные лучи грели дольше всего. Каждый по-своему старался содействовать тому, чтобы часы, дни и ночи ожидания не были слишком тяжкими, чтобы каждый мог освободиться от того морального груза, который ему помогал нести товарищ. Эпизоды из повседневной семейной жизни и работы, мелочи из жизни провинциального городка, сплетни, рассказы о приключениях с женщинами – все это отвлекало от грустных размышлений и помогало нам прочно держаться за жизнь. «Помните ли вы еще, когда…» Не перечислить разговоров, которые начинались такими именно словами. Кроме того, мы увлекались разбором по косточкам той или другой фазы боя критической ситуации, когда какое-то время никто не знает, чем кончится бой. Интересно, что именно при этом разгорались споры, напрягались нервы и рассудок совершенно забывал, что эта вечная, вошедшая в плоть и кровь смена отдачи приказов и повиновения вдруг потеряла для нас всякий смысл.

Полковник Боне ходил взад и вперед, как всегда, руки в карманах шинели, с поднятым воротником, с выражением лица, за которым могло скрываться все: ирония, безразличие к ходу событий и холодный расчет. Полковник Шварц, как всегда, оставался добродушным; полковник Курт был замкнутым, неразговорчивым; Вернебург – дельный и находчивый, оптимистически взвешивающий все «за» и «против». Штренг, несмотря на высокую температуру, вопреки советам врачей всегда был с нами. Лицо его было багрово-красным, взгляд лихорадочный. Он хоть и с трудом, но владел собой, так как твердо верил в возвращение на родину, и потому надеялся

одолеть изнурительную болезнь. Все же ему пришлось отправиться в лазарет. После этого я его больше не видел.

К вечеру пал густой туман. Было необычно тихо. Эта почти гнетущая тишина изредка прерывалась гулом самолетов и далеким орудийным громом, вскоре все это затихло. Вероятно, со сталинградским котлом было окончательно покончено!..

На следующее утро, 4 февраля, это официально объявил нам один советский майор. Он произвел на нас большое впечатление не только тем, как он стоял перед всеми нами, построившимися в несколько рядов, не только тем, что на нем безупречно сидела форменная одежда, удивительно белый полушубок и меховая шапка, но главным образом своей спокойной, располагающей манерой держать себя. Мы не так уж много поняли из того, что он сказал по-русски, запомнились лишь несколько названий и имен: Сталинград, Жуков, Чуйков и еще несколько неизвестных нам фамилий, запомнить которые не удалось. Позднее капитан Вильдемани пояснил нам, что советский офицер высоко оценил подвиги простых солдат в последней фазе боев.

Это особенно поразило нас. Значительно позднее мы привыкли к тому, что не было почти ни одной сводки советского командования о крупных боевых действиях, в которой – совершенно иначе, чем у нас, – не указывалось бы на отличные действия на передовой сержантов, старшин и солдат.

Путь на север

Спустя неделю или полторы мы неожиданно получили приказ готовиться к походу. Наш путь лежал через Бекетовку. Надо полагать, это была деревня, но она больше напоминала обширный поселок, раскинувшийся на много километров. Этот сравнительно не очень разрушенный поселок был заполнен частями Красной Армии и, что удивительней всего, местными жителями: фронт к тому времени продвинулся на Запад на несколько сотен километров.

Мы построились на почти пустых путях перед бесконечно длинным составом пассажирского поезда. Железнодорожная колея в Советском Союзе шире, чем в Германии. Вагоны показались нам огромными, просто гигантскими. Вскоре мы сидели в чистом вагоне третьего класса, по восемь человек в каждом купе. Единственные встреченные нами советские люди были часовые на парных постах – в начале и в конце каждого вагона: украинцы, кавказцы, белорусы, а может быть, и уроженцы Ташкента. Все они говорили между собой на чистом русском языке, как объяснил нам Бойе, который к тому времени был переброшен к нам вместе с другими полковниками. Передавали, что вместе с нами едут и многие генералы.

Никому не удалось узнать, куда мы едем. Стемнело очень рано. Под равномерный стук колес, погрузившись в раздумья и мечты, мы заснули.

Поезд часто останавливался, но всегда в таком месте, где невозможно было ни прочесть название станции, ни завязать разговор с кем-нибудь по ту сторону вагона; во время стоянки запрещалось открывать окна. Женщины разносили в купе хлеб, чай, еду и даже выдавали по порции масла. Если бы наши семьи знали, в каких мы сейчас условиях!

На третий день в поезде распространились слухи, будто мы скоро приедем в Москву. Во всяком случае, уже давно стало ясным общее направление пути: на север-северо-запад. Мы часами глядели в окна. Мелькали то небольшие, то крупные селения, мирно покоившиеся в беспредельной дали среди исполинских снежных сугробов, а на полях – огромные стога, часто гораздо выше низеньких домиков.

А затем мы проехали через Москву. Хотя была ночь, нам все же удалось получить первое, еще смутное представление о размерах этого мирового города, призрачные очертания которого скользили мимо нас в глубокой тьме.

В Красногорске

Поезд остановился за станцией между многочисленными железнодорожными путями. Когда рассвело, мы прошли походным порядком через поселок, который, казалось, жил своей обычной жизнью, точно в мирное время; мы остановились у ворот лагеря. Деревянный забор, как и многие другие предметы внутри, выкрашенный в голубой цвет… Это был Красногорск!

Мы разместились в бараках. Мне посчастливилось: вместе с восемью товарищами я оказался в большом помещении, которое прежде служило сапожной мастерской. У нас было просторно, мы могли смотреть через широкие окна на лагерный двор; комната была солнечная.

Распорядок дня был строго регламентирован. Особенное внимание уделялось личной гигиене, то есть борьбе со вшивостью: всякий раз дезинсекция, а затем душ. В перерыве между дезинсекциями мы выскребывали маленькими осколками стекла гниды из шерстяных курток, кителей и фуражек. И горе тому, у кого их найдут при ближайшей проверке. Три дня карцера были ему обеспечены. Карцер находился примерно на 30 ступенек выше, под самой кровлей, вид у него был отнюдь не заманчивый.

Когда мне не удалось за три дня ликвидировать остатки вшивости, главным образом в шерстяном шарфе, который связала для меня мать, и в нижнем белье (никто не знал, что я его сохранил), я решил спрятать эти вещи. В качестве тайника я

воспользовался шторами, служившими для затемнения и каждый вечер опускавшимися. Я всегда вставал утром одним из первых, и, пока другие еще потягивались со сна, мой шарф и нижнее белье взлетали вверх вместе со свивавшейся в трубку шторой. Этот метод нередко блестяще себя оправдывал и впоследствии.

Вообще многое можно было пронести и спрятать, так как комнаты контролировались не слишком тщательно. Мой перочинный ножик я тоже утаил. Его мне дал на позициях у Дона, под Логовским, штабной казначей, который привез с собой из отпуска ящичек с набором таких инструментов. Это был отличный ножик, без малейших следов ржавчины или грязи. Я запрятал его в своем кожаном пальто. Никто не мог догадаться, что в его прошитом тройным швом подоле есть узкая щелка, куда я и засунул перочинный ножик. Конечно, ему пришлось претерпеть там все дезинсекции, и он все больше и больше ржавел. Но он остался в целости и в течение дальнейших лет оказывал весьма ценные услуги. Так же поступил я и с пилочкой для ногтей, которую подарил мне Гюнтер ван Хоовен. Впрочем, это случилось только спустя полгода. Я засунул ее в подкладку погон, и таким путем она добралась до самого нашего дома. Одно из последних писем моей матери я зашил в подкладку капюшона плаща.

В лагере уже существовал антифашистский актив. Как мы позднее узнали, еще в декабре 1941 года 158 немецких солдат обратились к германскому народу с призывом свергнуть Гитлера, чтобы положить конец войне и мирным трудом создать «свободную Германию среди свободных народов». К Антифашистскому комитету примкнули и офицеры: капитан д-р Хадерман, обер-лейтенант Харизиус и обер-лейтенант Рейхер.

Но тогда мы об этом еще не знали. Мы, сталинградские офицеры, сперва гнушались «антифа». Сотрудничать во время войны с «врагом», вести агитацию против своих «камрадов» представлялось нам беспримерным нарушением воинской присяги, не идущим ни в какое сравнение с тем, что сделали мы, когда решили капитулировать вопреки приказу Гитлера «держаться до конца». «Аитифа» в наших глазах была изменой своему народу. И на это пошли даже офицеры, правда младшие, не штабные офицеры! Мы окружили их стеной ледяного молчания. Возникло бранное слово «кашисты"{76}, оскорбительная кличка, намекавшая на то, что они примкнули к „людям из антифа“, к антифашистам, ради материальных выгод. Особенно возмущало нас, что они говорят о сотрудничестве со всеми, в том числе и с коммунистами. Коммунистами! Но ведь каждый из нас после 1918 года в большей или меньшей мере

способствовал борьбе против левых. Сколько барьеров, порожденных традицией и устарелыми условностями, пришлось уничтожить, пока и мы, сталинградские офицеры, не поняли, к чему нас обязывали честь Германии, будущее Германии!

В непосредственном соседстве с нами находились Даниэльс, Шлемер и другие генералы, а также и высшие румынские и итальянские офицеры. Всем им были даны денщики, которые рано утром чистили у дверей мундиры и сапоги своего начальства. Редкие разговоры, которые мы пытались мимоходом завести при встрече с генералами, были малосодержательны. Даниэльс был почти всегда мрачен, Роске держался заносчиво и высокомерно, Лейзер неизменно хранил молчание, Шлемер все еще ходил, опираясь на палку.

Так как, не считая легких спортивных упражнений, нас тщательно оберегали от всякого физического труда и напряжения, то мы в хорошую погоду часами слонялись по лагерному двору. На прогулке образовывались большие и маленькие группы, среди них бывали и генералы.

Состоялись первые доклады и беседы. Приглашали нас и смотреть советские фильмы. Правда, составить о них понятие мы могли только на основе зрительных впечатлений; вступительное слово на немецком языке обычно бывало слишком кратким и поверхностным. Но как раз эти фильмы побудили многих из нас серьезно заняться изучением русского языка. Начал его изучать и я.

Потом пошли толки, что в лагере появились немецкие коммунисты. Мы, принадлежавшие к старшему поколению, имели все же некоторое представление о враче и писателе Фридрихе Вольфе. Кое-кто видел много лет назад пьесу «Матросы из Катарро» или слышал о ней. Очень занимала нас личность Людвига Ренна. Бывший аристократ стал коммунистом. Странно!

Беседы после докладов и киносеансов касались преимущественно политических проблем – к нашему крайнему неудовольствию, – потому что одни из нас – а таких было большинство – ничего не хотели об этом знать; другие же разговаривали на эти темы только в самом узком кругу, с людьми, пользовавшимися их доверием.

В противовес мероприятиям администрации в нашей офицерской среде началась усиленная и тайная контрпропаганда: мы, мол, должны вести себя осторожно, держать ухо востро; нельзя знать, что случится с тем, кто вздумает выразить свое несогласие со взглядами антифашистов; есть же достаточно других тем для разговоров, чтобы как-то убить время: история,, география, литература, искусство, архитектура. Все это интересно

и вполне безобидно. Я тоже поддался этому и записывал в мои первые самодельные блокноты тезисы к докладам на такие темы. Но, несмотря на все, первые встречи с Фридрихом Вольфом и Густавом фон Вангенгеймом оставили во мне след: никак невозможно было не реагировать на их идеи. Я размышлял над услышанным, читал книги, имевшиеся в библиотеке.

Когда начало таять, я с другими товарищами стал проводить много часов за бараками. Нам разрешили пилить во дворе дрова. Позже мы занимались тем, что вскапывали грядки перед самыми бараками, расчищали дороги, обкладывали бортовыми камнями тротуар; потом мы выбелили известью камни.

В начале апреля неожиданно раздалась команда: «Готовиться к походу!» В лагере началась суета, и вдруг стало ясно: минувшие недели ушли не на то, что нужно, многое еще надо было бы сделать для других, для товарищей. А с кем нас разлучит судьба? И кто знает, когда мы увидимся снова?

Оттого, что опять предстояло расставание, тяжело было на сердце. Ведь тогда, когда мы решили капитулировать, многие из нас стали близки друг другу, это придавало силы и уверенность. Но здесь, в Красногорске, где так медленно и монотонно тянулись дни, возникло взаимное недоверие; это недоверие царило уже в «мертвом доме» под Сталинградом, когда мы, теряя драгоценное время, «прощупывали» людей, чтобы установить, кто из них готов поддержать предложение капитулировать.

С первых же дней нашей жизни в бывшей сапожной мастерской начались скандалы то из-за куска хлеба или оттого, что сосед храпит, иногда из-за слов, сказанных в присутствии товарищей советскому офицеру.

Зато, какая была радость, когда, заполнив открытки Красного Полумесяца, мы послали весточку о себе нашим семьям! Какое облегчение почувствовали мы, когда нам стало известно сообщение, переданное московскими радиостанциями о том, что мы еще живы, мы, кого Гитлер объявил убитыми в рядах 6-й армии! Эту радость, это ощущение уверенности кое-кто старался всячески омрачить. Кто знает, говорили нам, отосланы ли наши открытки из лагеря? Кто из нас сам слышал передачу московского радио?

Как трудно было хоть отчасти сохранить неясное, правда, но все же в чем-то оптимистическое настроение первых дней капитуляции! И как трудно стало теперь найти хоть кого-нибудь, с кем можно было бы откровенно обсудить все, что тебя волнует: предательство Гитлера по отношению к 6-й армии; в чем причина катастрофы – только ли в бездарности ефрейтора или только в отсутствии гражданского мужества у командующих армиями, не

сумевших противостоять этому невежде в военном деле? Или есть причины более глубокие? Может быть, они кроются в самой системе, в целях войны? И казалось, вот-вот рассыплется в прах все, на чем мы строили свою жизнь, на чем основывали существование своих сыновей. Почему мы молчали, хотя так много знали: и о судьбе наших друзей евреев, и о Варшавском гетто, и о приказе убивать комиссаров, и о зверских расправах над гражданским населением? Почему?

Нужно было научиться угадывать, с кем можно говорить об этом без риска прослыть сразу же «ненадежным» человеком, которого нужно держать в узде. Распознать, что над вами собираются совершить такую манипуляцию – взять вас в узду, – было легко: слишком часто мы сами производили ее над молодыми лейтенантами и солдатами, будучи в котле, и во время броска к мосту через Дон, и на позициях под Дмитриевкой.

Суздаль

Часов через десять поезд доставил нас на место; снова какая-то маленькая станция. Что нас там ждет? Вот об этом никто из нас не имел ни малейшего представления.

Спустя некоторое время после короткого пешего перехода мы оказались на окраине очень длинного селения, весьма типичного для этой местности, и остановились перед стенами огромного, напоминающего крепость кремля. Тогда-то мы впервые и услышали название города: Суздаль. Никто не мог предполагать, что пребывание здесь станет решающим для многих из нас и определит дальнейший жизненный путь.

Нас разместили в низких, обширных зданиях, тянувшихся вдоль крепостных стен, толщиной не менее метра, с амбразурами и сторожевыми башнями. Из бесконечных коридоров с окнами под потолком, выходившими во внутренний двор, вели двери в небольшие комнаты.

Мне с полковниками Шварцем, Вебером и фон Ганштейном досталась самая последняя комната в этом длиннейшем коридоре. В каждой имелось маленькое, с глубоким проемом окошко, забранное железной решеткой. Из него виднелся двор, очевидно внутренний, который тоже был отделен стеной от внешнего мира.

Четыре кровати с соломенными матрацами, маленький столик под окном, топорный деревянный стул и несколько табуреток составляли всю меблировку нашего жилища. Однако мы, все четверо, были довольны, что нас поместили в самом конце коридора. Здесь по крайней мере нам не будут мешать спать, думали мы. Ведь сотням обитателей этого блока придется ходить в умывальни и туалеты, пробегать несколько раз в день по

главному коридору на перекличку или во двор, где была кухня и где в хорошую погоду мы обедали на открытом воздухе.

По-видимому, эта часть кремля издавна использовалась как казарма либо как тюрьма. На площадке, за стеной, находились церкви; нас пленили их характерно русские золоченые луковицы куполов. Как нам вскоре стало известно, Суздаль был в старину резиденцией высшего духовенства и князей, а несколько сот лет назад служил крепостью в оборонительной войне против татар. Сторожевые башни, на которых стояли часовые, были выше стен кремля, за исключением маленькой деревянной башни, пристроенной непосредственно к стене; впоследствии мы узнали, что там поместили фельдмаршала Паулюса и некоторых немецких генералов.

Во внутреннем дворе, окруженном стенами, было несколько флигелей, в том числе – для административного персонала; там же было расположено главное здание с большой лагерной библиотекой и несколькими залами. Во втором этаже находился обширный и высокий – свод его уходил под самую крышу – парадный зал. Туда вела широкая лестница. К этому комплексу примыкали длинные здания, возведенные на более старом фундаменте и существовавшие, вероятно, лет полтораста; в них помещалась амбулатория и небольшая больница.

В северной части кремля поселили итальянских и румынских офицеров. Первое время с этой территорией у нас не было никакой связи.

Каждое утро и каждый вечер нас собирали на поверку посреди большой площади снаружи кремля. Несший дежурство немецкий полковник рапортовал; через него же передавались приказы и распоряжения советской лагерной администрации. Таким образом существовало подобие самоуправления. С мелкими нарушениями лагерного распорядка мы тоже должны были справляться сами.

Наше здоровье все еще было в неустойчивом состоянии, поэтому мы, как и в Красногорске получали так называемое больничное питание, более калорийное, чем обычная еда в те времена. Сверх обязанностей по поддержанию порядка в лагере мы теперь – по требованию администрации – ежедневно занимались спортом и – в известных рамках – физическим трудом: работали в саду, ремонтировали дороги, кололи дрова, мыли окна. Здесь, как и в Красногорске, имелась библиотека. Если мы хотели пополнить свои знания, нам оказывалась всемерная поддержка. Мы пользовались в этом отношении неограниченной свободой. Поощрялся также всяческий ручной труд. Для начала мы решили побелить комнаты и коридоры, а где

можно, и подцветить, добавив к мелу краски. Мы добыли толченый кирпич, известь и глину цвета охры. Я сам составил целую палитру оттенков цветной извести и начал делать эскизы орнаментов, которыми мы предполагали украсить стены между дверьми и над дверьми. Архитектура кремля позволяла взять как мотив для разрисовки дверных наличников силуэты немецких городов. Кроме того, нам хотелось обозначить каждую комнату не номером, а названием какого-нибудь немецкого города.

Тем временем один наш товарищ, дирижер кельнского радиовещания Адам, организовал мужской хор, который пользовался всеобщим успехом. Вскоре мы получили возможность покупать бумагу и тетради. При желании можно было уже начать писать мемуары. Для заметок годилась и обертка от пачек сигарет, которые мы получали каждые два дня. В сущности, уже тогда следовало бы гораздо больше записывать, особенно потому, что очень скоро нам и в Суздале довелось разговаривать с немецкими эмигрантами, которые хотели вступить с нами в контакт и всегда готовы были ознакомить нас со многими общественными и политическими проблемами, а равно и с проблемами развития Советского Союза. Когда лагерь однажды посетил депутат германского рейхстага от коммунистической партии Вильгельм Пик, мы все восприняли это как важное событие.

Впрочем, встречи и доклады мы обсуждали только в своем кругу. Никто не хотел откровенно выражать свои мысли на митингах, во-первых, потому, что боялся вызвать недовольство товарищей, а во-вторых, потому, что и здесь действовало правило: соблюдать осторожность, мы якобы находимся под постоянным наблюдением, как знать, что случится с тем, кто вздумает спорить с антифашистами. Это была мания преследования, которую нельзя было ни преодолеть разумными доводами, ни обуздать. Мне лично недоверие чуждо, поэтому я не принимал всерьез эти предупреждения и не считал себя обязанным соблюдать «особую сдержанность», которая, по мнению других, была столь необходима. Однако именно это и привело в Суздале к неприятнейшим столкновениям с моими товарищами, причем началось это уже после второй переклички. На сборе я стоял, соответственно своему росту, пятым или шестым в первом ряду. Слева от меня стоял капитан д-р Хадерман, который еще в 1941 году присоединился к Антифашистскому комитету. Поэтому некоторые полковники дали сигнал всячески сторониться Хадермана; вступать с ним в какие-либо разговоры запрещено; он должен быть в полной изоляции. Я счел недостойным этот приговор тайного судилища. Я пытался выяснить, что за человек

этот всеми презираемый д-р Хадерман; мы обменивались взглядами, объяснялись мимикой, при случае разговаривали, иной раз перебрасывались словечком; конечно, эти беседы были краткими и малосодержательными. Вероятно, мои попытки установить с ним «конспиративную связь» были довольно неуклюжи. Только спустя несколько месяцев мы, наконец, сидели с ним за одним столом и занимались общим делом.

Первого мая лагерная администрация предоставила нам возможность устроить выставку наших работ. На столах, скамьях и стенах было выставлено все, что мы рисовали, мастерили, вырезали из дерева, наряду с другими нашими изделиями. К нашему особому удовольствию, к выставке проявили интерес фельдмаршал Паулюс и некоторые генералы.

В этот день, 1 мая 1943 года, генерал Даниэльс подарил мне потрепанную картонную коробочку, в которой было штук двенадцать маленьких цветных карандашей. На ветхой этикетке значились – уже почти невидные глазом – название регенсбургской карандашной фабрики и дата: 1908 год. Даниэльс полагал, что эти карандаши у меня будут в лучшей сохранности. Я пользовался ими чрезвычайно экономно. Они были со мной несколько лет подряд до возвращения в Берлин. Этими карандашиками я сделал те немногие цветные зарисовки – отражение прошлого, – которые мне удалось довезти до дому.

Как и в Красногорске, я взял на себя организацию цикла лекций по истории искусства и военно-научным вопросам. Впрочем, позднее я выступал с докладами на такие темы: «Немецкая молодежь между двумя войнами», «1918-1919 годы. Впечатления и воспоминания».

Выбор этих тем предопределили беседы с Иоганнесом Р. Бехером, чье поэтическое творчество имело для меня особое обаяние.

Встреча с Иоганнесом Р. Бехером

Бехер всегда производил впечатление человека очень замкнутого. Несколько раз я видел его в саду; он сидел один, читая или о чем-то глубоко задумавшись, по крайней мере, так казалось. Может быть, он думал о работавших на цветочных грядках офицерах, потому что, по-видимому, очень внимательно их разглядывал.

И вот совершенно неожиданно мне сообщают: Бехер слышал, что я, как и он, родом из Мюнхена, и хотел бы со мной поговорить.

Узнав, что я намерен принять это приглашение, полковник фон Ганштейн один из моих соседей по комнате, обрушился на меня с упреками и пытался заставить меня взять обратно свое

согласие встретиться с Бехером.

– Вас там прикончат! Так или иначе, вас к нам вообще больше не отпустят! Ведь нельзя знать, что замышляют коммунисты!

Эти выпады, правда, не поколебали моего решения, да и очень уж соблазняла меня предстоящая встреча с Бехером, о котором я тогда уже много слышал и читал; и все же, должен откровенно признаться, шел я на это первое с ним свидание далеко не с легким сердцем и не без предубеждения. Я боялся, как бы Бехер не поставил меня лицом к лицу с такими проблемами, которые, быть может, грозят мне тяжелым внутренним разладом.

Мне сообщили, что встреча с Бехером состоится в одном из административных зданий, построенных внутри каменной ограды Суздальского кремля. На широкой лестнице меня поджидал младший офицер лагерной охраны и повел на второй этаж по коридорам со сверкающими чистотой широкими половицами. Из расположенного неподалеку медпункта пахло карболкой. Когда мы подошли к тяжелой дубовой двери в конце коридора, офицер отдал короткое распоряжение сопровождавшему меня часовому, затем, постучась в дверь и осторожно ее приоткрыв, весьма любезно обратился ко мне:

– Пожалуйте! Господин Бехер будет беседовать с вами здесь.

Из-за маленького столика встал Иоганнес Р. Бехер и спросил:

– Так вы, значит, полковник Штейдле из Мюнхена? Затем подошел ко мне:

– Прошу. Может быть, мы сядем? Вот сигареты. Я был очень рад, найдя среди сталинградских офицеров своего земляка.

Я сел против него. Справа и слева были окна, на дворе сияло солнце. Но в самой комнате пробирал холодок; оштукатуренные стены были голы, стульев мало, один простой шкаф. Глубокие оконные ниши выдавали толщину стен. Я попытался наскоро, с первого взгляда, составить себе представление о Бехере. «Так вот как выглядят интеллигенты, ставшие революционерами», – подумал я.

О том, что такое интеллигент, нам за последние несколько недель случалось нередко говорить, и повод для этого давали произведения Гейне, Бехера и Вайнерта. Том из нас, кто был постарше, вспоминались события после 1918 года, и понятие «интеллигент» в их толковании приобретало какой-то отрицательный оттенок, становилось синонимом человека, лишенного национального чувства; при этом слове возникали смутные представления об антинемецком пацифизме и интернационализме, об измене отечеству.

Когда же Бехер, поглядывая на меня поверх очков, стал

раздумчиво и неторопливо рассказывать о Швабинге, я решил, что в его облике есть нечто очень бюргерское.

– А где вы кончили школу? В Мюнхене? Ваши родители еще живы?

Слово за слово мы разговорились.

– Стало быть, наши отцы, и ваш и мой, были юристами.

Зашла речь о Леопольдштрассе, Мартиусштрассе, Гогенцоллернштрассе. Во время первой мировой войны наши семьи жили по соседству. Там, в Швабинге, проходила наша юность – и моя и Бехера. Правда, Бехер, очевидно, считал меня старше, чем я был на самом деле, потому что я лишь с трудом мог отвечать на его вопросы о тогдашних кабаре художнической богемы. Я был тогда школяром, поэтому, конечно, имел представление о «Симплициссимусе» и кафе «Стефани"{77}, но знал все это только поверхностно и по афишам.

К чему, собственно, клонилась эта беседа? Казалось, Бехер вовсе не считается с тем, в какой обстановке мы встретились. Однако реальностью было то, что я военнопленный, а он вольный и что он вел беседу совершенно непринужденно, его ничто не тяготило, а я сидел против него, обуреваемый противоречивыми чувствами. Как ни хотел я относиться к происходящему без всякого предубеждения, все же меня не покидало чувство внутреннего протеста и сознание, что за моей спиной, по ту сторону двери, стоит часовой с автоматом. Таким образом, то, что говорил Бехер, подчас ускользало от моего внимания. А потом мне снова приходило на память какое-нибудь его стихотворение.

Какие же духовные сдвиги происходили в сознании этого поэта, который наряду с иными его произведениями, ставшими нам лишь теперь доступными благодаря лагерной библиотеке, но для кое-кого из нас совершенно неприемлемыми, писал стихи, говорившие о такой кровной связи с родиной, такие простые и правдивые стихи? Трудно было мне тогда попять, как сочетаются его политические взгляды и революционные стремления с любовью к Германии, воссоздаваемой им так искренне и достоверно.

Но в этот час прозвучало многое такое, что поднимало меня над лагерным существованием с его излишними и, к сожалению, весьма поверхностными пересудами среди многих товарищей.

Особенно притягивало меня к этому человеку то эстетическое наслаждение, которое доставляла мне его богатая и образная речь. Во время этой беседы я порой чувствовал себя словно бы исторгнутым из окружающей действительности, и только все слушал его и – хотел я этого или нет – вслушивался и в самого себя. Я непроизвольно отворачивался от него, затем встал, а он

все продолжал говорить: о молодежном движении, о пехотном гвардейском полке, о Мюнхенском ферейне водного спорта{78}. Я подошел к окну, посмотрел на темно-красные кирпичные стены за огородом, увидел уходящую вдаль равнину, опоясанную иссиня-черной лентой лесов.

Сегодня, когда я пытаюсь восстановить и это в памяти, я могу с чистой совестью сказать, что в разговоре с Бехером не скрывал своего внутреннего несогласия с ним и существовавшей тогда еще во мне верности кастовому духу. На многие вопросы я отвечал только: «Так точно». Должно быть, мое лицо весьма ясно отражало отрицательную реакцию на некоторые вызывающе звучавшие вопросы Бехера. Наверное, этому я и обязан прозвищем «чурбан», которое он дал мне однажды, уже позднее. Впоследствии, правда, он писал и другое: «Сейчас я могу уже назвать „чурбана“ своим другом».

Бехер умел быть язвительно деловитым. Некоторые ого вопросы ошарашивали своей лаконичностью. Они метили в самую суть вещей. Ну что можно было ему ответить, когда он спрашивал:

– О чем думает этакий немецкий генерал? Или (и при этом лицо его почти леденело):

– О чем вы думали, когда вторглись в Советский Союз? Или:

– Почему эти сталинградские офицеры так замкнуто держатся?

И все же в тот час это был первый для меня после Сталинграда немец, который попытался проникнуть в самый корень моего образа мыслей. Чутье подсказывало мне, что он очень много знает, что в нем говорит безмерная тоска по его немецкой родине, что он пытается раскрыть передо мной, какое для него разочарование и даже горе все то чудовищное, что вызвало к жизни нацизм. И делалось это, очевидно, из потребности найти путь к другому человеку, который не просто замыкался в себе, противясь такому его стремлению, а, быть может, даже сам втайне испытывал подобное же чувство.

В этой невзрачной комнате стояла благотворная тишина, которая на какие-то мгновения заставила меня всецело забыть, что я в Суздале. Я и сейчас еще вижу себя, каким я был в тот час, вижу, как я шагаю взад и вперед по этой комнате от окна к окну. Перед моими глазами маячил устремленный ввысь стройный фасад собора с куполом и луковицами башенок и очень скупым старинным русским: орнаментом.

Каждый из нас, офицеров, нуждался в такой минуте, когда можно было бы опомниться после Сталинграда, собраться с мыслями, обрести в себе ясность, чтобы покончить с тем, что

осталось позади в прошлом, чтобы определить свою позицию в этом новом для нас состоянии. Но когда же выдавалась такая минута? Ведь совместная жизнь с товарищами по плену почти никогда не оставляла возможности побыть наедине с собой.

Должно быть, Бехер тогда и это понимал. Он умел, когда нужно, и помолчать, умел быть терпеливым, а когда завел речь о баварских особенностях – вероятно, для того, чтобы облегчить этот глубоко серьезный разговор, – оказалось, что он обладает юмором, что он может быть почти веселым; я заметил также, что он не имел намерения оскорбить меня, хотя его слова часто бывали суровы и беспощадны. Тем не менее одного он достиг: весь этот поток аргументов, направленный против меня, отныне не давал мне покоя.

Мы пробыли вместе больше двух часов. Мы совершенно утратили чувство времени. Он снова вернулся к тому, с чего начал: к сталинградским офицерам, к нашей солидарной ответственности, к злодеяниям, совершенным германскими войсками в захваченных ими странах. Он снова заговорил о Гитлере и о непостижимой приверженности немецкого офицера к системе, которая неизбежно влечет за собой только разрушение немецкой культуры, немецкой родины, одичание и вырождение немецкою духа. И я не мог не признать его правоту, но молчал – в тот час.

Бехер встал и посмотрел в окно на парк, по которому взад и вперед ходили сталинградские офицеры – поодиночке, парами, группами. Тени стали уже и длиннее. Это был последний перерыв в рабочем дне перед вечерней трапезой.

– Вам, верно, пора уходить? Ваши товарищи будут вас ждать. Скоро ужин. – И, повернувшись ко мне, добавил:

– Но мы ведь еще увидимся? Может, там, внизу, на скамейке? У вас есть какие-нибудь пожелания? Я ведь даже не спросил, как вы себя чувствуете?

Затем медленно и многозначительно произнес:

– Итак, господин полковник Штейдле из Мюнхена.

И он протянул мне руку.

Через несколько дней мы встретились с ним снова, сидели вдвоем на скамейке во внутреннем дворе Суздальского кремля, обсаженном деревьями и напоминавшем парк. На сей раз Бехер держался отчужденно, поглядывал на меня исподлобья. И все-таки вскоре диалог между нами состоялся. Главной темой его было последнее сообщение с театра военных действий. Немецкие дивизии опять были измотаны, разбиты, уничтожены в котле под Курской дугой. Бехер дал волю своей жгучей ненависти к гитлеровской Германии, виновнице всего этого; но в его словах

звучало и глубокое сострадание к людям, попавшим в беду, заблуждавшимся и обманутым. Он говорил, страстно, взволнованно, однако порой в его голосе снова слышались ноты сурового осуждения.

Бехер уже тогда предвидел то, что сегодня стало у нас живой явью. Он уже тогда боролся за гуманистическую Германию, входящую в состав социалистического содружества народов и наций, следовательно, являющейся частью того мира, который мы, сталинградские офицеры, тогда и представить себе не могли. Вот почему при нашей первой встрече с Бехером я не в состоянии был понять многого, и очень существенного, в своем собеседнике. Но я чувствовал в его словах могучую силу убежденности. Только позднее я понял, что означает международная солидарность пролетариата и почему Бехер еще во время войны с такой уверенностью говорил о новом обществе, в котором обеспечено мирное будущее и нашего народа» 'Его отношению к людям и к миру, его особому дару анализировать и постигать суть политических и военных событий я и обязан теми критериями истины, которые позднее сыграли решающую роль на моем жизненном пути.

Профессор Арнольд

Маленький кряжистый человек вышел из-за стола и, соблюдая правила вежливости, предложил сесть. В комнате был полумрак, единственное окно заслоняли непроницаемые для света густые кроны старых деревьев.

Мне было не по себе. Неприятное ощущение усилилось от неуютно и скудно обставленной комнаты. Положив локти па письменный стол и чиркая огрызком карандаша по бумаге, профессор Арнольд приступил к беседе. Конечно, он располагал обо мне довольно точными сведениями. Никаких предварительных вопросов он не задал. Мы разговаривали так, словно возобновили давно начатую беседу.

– Хорошо, что вы познакомились с Бехером, – заметил он. – Мы с ним сотрудничаем давно. Вы здесь у нас встретитесь с земляками. В Баварии было немало революционеров. Кажется, Бехер говорил, что вы из Швабии. Вы когда-нибудь слышали о Гернле? Ведь вы раньше занимались сельским хозяйством?

Мне пришлось признаться, что я не имею понятия, кто такой Гернле. Потом зашел разговор о Мюнхене: красивый город, множество произведений искусства, оживленная культурная жизнь. В Германии немало таких городов. Он ведь в одной из своих лекций подробно рассказывал о судьбе этих городов, о том, как они разрушены. И в этом случае немецкие офицеры хранили молчание. Почему они держатся так замкнуто, так скупы на

слова? Что я думаю по этому поводу?

Я откровенно сказал ему, что он слишком просто смотрит на вещи. Кто он такой, нам не известно. Для нас он, так сказать, чистый лист бумаги. Заметно, что он побывал во многих странах. Он хорошо знаком с немецкой литературой и прекрасно знает историю первой мировой войны. Об этом мы говорили в товарищеском кругу. Однако – об этом мы тоже говорили между собой – ведь он, несомненно, коммунист, а с коммунистами никто из нас не склонен пускаться в подробные объяснения.

Он помолчал. Затем сказал:

– Я, видите ли, не считаю немецких офицеров ни плохо осведомленными, ни малообразованными людьми. Но я думаю, что многие из них не хотят свести концы с концами.

Я недоуменно пожал плечами. Тогда он заговорил по существу, без обиняков. По-видимому, он внимательно изучил наши личные дела, познакомился с данными о наших гражданских профессиях. И он снова подчеркнул, что офицеры, конечно, были хорошо информированы обо всем происходящем. Его крайне возмутило то, что на его последнем докладе они держались так враждебно и замкнуто. Атмосфера была накаленная… Он чувствовал, что между ним и нами – стена. Он говорил намеренно резко, чтобы сломить нашу сдержанность. А нужно ли деликатничать с этими офицерами генерального штаба? Уж они-то деликатностью не отличались в обращении с русскими: и с солдатами и с гражданским населением.

Я молчал. Конечно, нас с ним разделяла стена, и эту стену намеренно создали мы. Конечно, мы были оскорблены тем, что он так открыто и агрессивно возлагал на нас вину за совершенные немцами действия, над которыми, впрочем, кое-кто из нас уже задумывался, и мы обсуждали эти действия в тесном кругу; ведь такие факты, как преследования евреев, зверства, совершенные над гражданским населением в оккупированных странах, несовместимы с честью солдата, с традицией – это просто исключено.

Мы выслушали его доклад в ледяном молчании; затем все как один шумно, нарочно стуча сапогами, спустились по главной лестнице на первый этаж; этим мы выражали протест против того, как этот советский профессор осветил факты, явно полагая, что и мы несем за них личную ответственность.

И вот теперь снова та же проблема: возвращение офицеров на действительную военную службу. Да, верно: мы возвращались не в какую-то неизвестную армию, а именно в вермахт; мы отдали в распоряжение Гитлера свои военные знания и опыт, а сделали мы это тогда, когда каждому должно было уже быть ясно, куда ведет

политический курс Гитлера.

Почему? Как же теперь, за несколько минут, распутать этот клубок причин? Мы вернулись в армию, потому что в конце концов нужно было обеспечить средства к существованию наших семей; многие придерживались и такого мнения, что кто-нибудь должен быть на своем посту, чтобы и в этой новой армии оберегать традиции; нельзя же было все передать в распоряжение Гитлера, штурмовиков и банды эсэсовцев… Что же, собственно, нам было тогда известно и о чем мы узнали лишь позднее? Что именно мы хотели знать и чего старались не замечать? Как я вообще понимал в прошлом «политический курс Гитлера», эту формулу «покончим с унижением Германии, долой позор Версаля»? А как я объяснял массовые преследования евреев? Как «крайности», последствия которых надо бы сгладить, но это, мол, «борьба против коммуны»… И вот теперь я был на положении военнопленного, лицом к лицу с «человеком из коммуны». Этот коммунист поставил вопрос о нашем мышлении в двух планах; поясняя свою мысль, он подчеркнул: в 1934-1935 годах большинство офицеров добровольно вернулись на действительную военную службу. По существу, его слова не отличались от предостережения, сделанного мне отцом: возвращаясь на действительную военную службу, я оказываюсь в одной компании с эсэсовцами.

Профессор Арнольд прервал наступившее молчание. Всем нам хорошо известны, сказал он, достижения немецкого народа, и мы знаем, что немцы могли бы еще многого достигнуть. Немецкую культуру, великих немецких классиков высоко ценят ею соотечественники. Понимаю ли я, Штейдле, как были советские люди потрясены действиями германского вермахта? Неужели я не понимаю, что зверства эсэсовцев, концлагеря, бесчеловечные приказы и гнусное мародерство, бессмысленные поджоги целых селений, уничтожение женщин и детей, – что эти злодеяния находятся в вопиющем противоречии со всем тем, о чем и теперь, даже во время войны, советские люди говорят с уважением – о великих культурных достижениях немцев, обогативших культуру всего человечества. Такова была в прошлом Германия Гете и Шиллера, Эйнштейна и Планка, Гегеля, Маркса и Энгельса. Профессор Арнольд затронул еще один вопрос: ему приходилось беседовать с некоторыми военнопленными, вменявшими себе в заслугу, что они верующие люди. Какая же это, однако, своеобразная религия, которая мирится с тем, что человек, якобы придерживающийся учения о любви к ближнему, поступает как жестокий наемник: вторгается в чужую страну и убивает людей?

Профессор Арнольд сказал, что удивлен тем, как плохо знают великие революционные традиции германской истории даже офицеры генерального штаба; они имеют весьма поверхностное представление даже о революционных событиях 1918-1919 годов, очевидцами которых они ведь были. А когда идет речь о крестьянских войнах 1525 года или об освободительном движении 1812-1813 годов, о революции 1848 года, в которой принимали активное участие Маркс и Энгельс, либо о революциях XX века, у офицеров всегда одна и та же реакция: огульное осуждение. При этом они, осуждая, оставляют без внимания аналогичные события в мировой истории, игнорируют достоверные материалы, первоисточники, не учитывают позднейшее историческое развитие. Его просто поражает, сказал профессор Арнольд, ужасающее невежество во всем, что касается фактических данных; каждый раз точное знание подменяется повторением штампов.

Я был озадачен этой характеристикой германских офицеров. Мы знали германскую историю, но мы никогда серьезно не изучали событий, которые профессор Арнольд называл кульминационными пунктами, поворотными моментами германской истории. На наш взгляд, «управиться» со всем этим было просто; разве что запомнить хронологическую дату, и этого достаточно. Предпосылками и последствиями событий мы никогда не интересовались. А сейчас профессор Арнольд осветил именно эти последствия событий с полным знанием дела, обстоятельно и подробно. Каждый поворотный момент в истории Германии всегда использовался против интересов народа. В 1812-1813 годах, в 1848 году народ самоотверженно боролся за независимость и единство Германии, но его обманули, его стремления не были осуществлены. Более того, каждый раз торжество государственного разума – ведь такова привычная терминология офицеров – приводило к расширению власти государства, к завоевательной политике, к новым войнам…

На меня обрушились новые факты, я столкнулся с новым способом мышления, с совершенно новыми критериями в оценке исторического развития, невозможно было все это сразу усвоить. Однако наибольшее впечатление произвели на меня его слова о власти правящих групп, о безграничном злоупотреблении властью, эти соображения побудили меня познакомиться с теми содержательными книгами в лагерной библиотеке, которыми я раньше намеренно пренебрегал; я стал искать новых встреч с профессором Арнольдом.

Ведь преступление, совершенное Гитлером над 6-й армией, заключалось именно в том, что он бессовестно злоупотребил

властью; он требовал от сотен тысяч людей слепого повиновения, требовал, чтобы они жертвовали жизнью; однако он сам не проявлял ни верности, ни чувства ответственности, цинично пренебрегая своим долгом, который я считал естественным, исходя из своего представления о воинской чести. Во время бегства, у переправы через Дон, на краю гибели, на позициях у Дмитриевки и Новоалексеевки, в Бекетовке, в Красногорске и теперь в Суздале я снова и снова ломал себе голову над вопросом: как дошло дело до Сталинграда? Нельзя ли, исходя из соображений, высказанных профессором Арнольдом, дать новый, более правильный ответ на мучившие меня вопросы? Вправе ли я пренебречь его доводами только потому, что пошатнутся основы моего собственного мировоззрения, привычных взглядов на историческое развитие? Не следует ли, наоборот, отнестись к его словам серьезно, продумать его доводы, раз они открывают новые перспективы и могут помочь преодолеть последствия нынешних позорных событий? Передо мной открылась возможность начать все сначала и, как я позднее понял в Национальном комитете «Свободная Германия», объединить традиции истинно национальною образа мыслей и действий с новым пониманием и новыми путями исторического развития.

К новым берегам

Моя первая беседа с профессором Арнольдом кончилась, когда стемнело. На самом же деле этот разговор так никогда и не кончился; осталось еще множество нерешенных вопросов. В памяти воскресало все пережитое во время обеих мировых войн, вспоминались разговоры с отцом и старинным другом нашей семьи, военным судьей Краусом, о «военной целесообразности"; на нее-то и ссылались правящие круги еще в первую мировую войну, чтобы прикрыть различные нарушения международного права.

Когда я после встречи с профессором Арнольдом шел через кремль к себе, я впервые за много времени снова был в хорошем настроении. Пережитое мною сейчас отнюдь не было пустой болтовней, помогающей убить время. Этот советский ученый вел со мной разговор, который будил мысли, принес какое-то облегчение и сулил помощь в дальнейшем. Как давно никто не проявлял ко мне такого внимания, не говорил со мной горячо, и притом терпеливо, вдумчиво прислушиваясь и приглядываясь ко мне. Он относился серьезно и к моим сомнениям, и к моим замечаниям, и к переживаемым мною душевным конфликтам, даже к моим взглядам, которые были ошибочными, по мнению моего собеседника.

Мои соседи по комнате, не вникая в то, что я рассказывал,

прерывали меня, мешали довести до конца мысли, которые я пытался перед ними развить. Они подвергли уничтожающей критике этого «таинственного» профессора. Вечерние часы перед сном были испорчены оскорбительными и злобными выпадами или ледяным молчанием моих соседей.

Позднее, во время одной из бесед с профессором Арнольдом, я постарался доказать ему на многих мелких примерах, что христианская оппозиция против Гитлера действительно существует; ее трудно заметить непосвященному, но она активно действует против нацистов. Профессору Арнольду было известно, какой многообразный характер имеет внутригерманское движение Сопротивления против фашизма; он подчеркнул, что борьба потребовала жертв от всех борцов Сопротивления, христиан, коммунистов, социал-демократов и либералов. Судя по заданным им вопросам, его интересовали еще неизвестные подробности и взаимосвязи, какая сторона политики Гитлера вызвала оппозицию в христианских кругах: политика в отношении церкви или бесчеловечный режим в концентрационных лагерях, преследования евреев, завоевательная война? Какова официальная позиция церкви, католической и лютеранской? Как ко всему этому относятся простые люди? Из ответов, которые я тогда мог ему дать, он, конечно, не получил точной информации. Они помогли мне больше, чем ему, побудили меня самого к размышлениям, заставляли продумать свое отношение к нацизму как христианина.

Я заметил, что в рассуждениях профессора Арнольда часто повторялись некоторые обороты; при этом между ними явно существовала внутренняя связь: «простые люди», «единый фронт», «гуманистический». Особенно такие понятия, как «гуманистический» и «гуманизм», приобрели в его речи иной и более широкий смысл, чем это было для меня привычно. В свое время нас в гимназии учили, что гуманизм – определенная эпоха в истории духовной культуры, принадлежащая к прошлому; впоследствии его сменили и даже оказались более передовыми другие течения. Когда же Арнольд употреблял эпитет «гуманистический», это всегда означало, что он дает положительную оценку чьим-либо взглядам, достижениям, делам: гуманистический ученый, гуманистический деятель искусства, гуманистические силы немецкого народа, которые должны объединиться для сопротивления фашизму, должны образовать единый фронт…

«Гуманистическое» было, бесспорно, таким качеством, к которому он, марксист, относился с уважением. Уже при нашем

вторжении в Советский Союз мне бросилось в глаза многое такое, что никак нельзя было согласовать с геббельсовской пропагандой о враждебности большевизма к культуре; так, в сельской библиотеке оказались стихи Гейне на немецком языке; в Германии в сельской книжной лавке я не нашел бы книг на иностранных языках. Уже при первом разговоре с профессором Арнольдом я был взволнован тем, с какой теплотой отзывался он о достижениях немецкого народа в области науки и искусства. Меня поразило, какие имена он назвал, перечисляя гуманистических писателей: Райнер Мария Рильке, Рикарда Хух, Томас Манн, Лион Фейхтвангер, Оскар Мария Граф, все эти авторы вовсе не были коммунистами. Такая широта и непредвзятость произвели на меня большое впечатление. Советский ученый, который умел так резко и остро формулировать свою мысль и давать многому столь уничтожающую оценку, мне все больше и больше импонировал достоверностью информации, живостью мысли, логикой умозаключений. Предвзятые, упрямо защищаемые мнения, общие места, не подкрепленные конкретным знанием, глухота и замкнутость по отношению ко всему, что расходится с привычными представлениями, – такие черты я замечал не у профессора Арнольда, а у своих товарищей.

В ту пору среди нас еще было относительно мало офицеров, проявлявших подлинный интерес к беседам с советскими людьми и немецкими эмигрантами. Только немногие среди нас были готовы уяснить себе новое положение вещей, которое требовало нового истолкования; к этому побуждали известия с фронта, чтение литературы и, прежде всего, откровенное и неприкрашенное освещение проблем в беседах. Лишь у немногих хватило решимости отдать себе отчет в том, по какому ложному пути шел немецкий народ, пути, приведшему его к катастрофе на Волге. Только немногие среди нас перестали убаюкивать себя иллюзиями и высокопарными разглагольствованиями о германской культуре, о «величии германской истории», о «великих германских деятелях в политике и науке», мало кто старался вникнуть в сущность советского общественного строя и изучить русский язык.

Так были настроены майор Энгельбрехт, сын глазного врача в Эрфурте, два капитана из Австрии и капитан д-р Хадерман, которого травили в офицерской среде. Кто же еще? Как найти с ними контакт?

Стены Суздальского кремля никоим образом не должны были помешать мне выбраться из идейного тупика; к тому же я теперь узнал, как относится Вильгельм Пик к великим германским

традициям к германским писателям и мыслителям, ко всей германской культуре; да и каждому из нас стало ясно, насколько глубже, чем все мы, понимает профессор Арнольд положение Германии. Я пришел к решению, что надо, наконец, откровенно объясниться с профессором Арнольдом. Я хотел покинуть Суздаль. Он обещал найти способ мне помочь. Однажды вечером мы снова с ним встретились возле амбулатории; он сообщил мне о плане совместной поездки: он намерен «отправиться со мной путешествовать», но просил меня никому об этом не говорить. Происходило это в середине нюня.

На другое утро – сразу же после утренней переклички – явился советский лейтенант и предложил мне собрать вещи.

– Пожалуйста, следуйте за мной. Вы отправитесь в путешествие, – многозначительно сказал он по-немецки, явно повторяя заученный оборот речи.

К ужасу моих товарищей, я действительно стал поспешно укладывать те немногие вещи, которыми располагал. Соседи осыпали меня упреками и предостережениями. Ганштейн разговаривал со мной грубо. Другие два соседа по комнате готовы были занять примирительную позицию. Но Ганштейну пришлось сразу дать отпор, его нужно было решительно оборвать. Поэтому я отвечал ему все резче и определенней. Тогда, задыхаясь от ярости, он стал кричать, что я «сумасшедший, подлец», что у меня «идиотские идеи» и русские – при этом он гнусно ругался – меня уничтожат, предварительно выжав и вырвав из меня все, что им нужно. С каждым словом он все ближе подступал ко мне, угрожающе жестикулируя. Разразился скандал. Разрыв между нами был неизбежен с тех пор, как именно он с ненавистью отвергал все, что означало бы малейшее сближение с другой стороной.

Мое терпение иссякло. Охотнее всего я бы его ударил. Наверху на моем соломенном тюфяке еще лежали кое-какие неупакованные мелочи, которые надо было сунуть в вещевой мешок. Я вскочил наверх, на матрац, думая, что таким образом прекращу спор. Вебер и Шварц и без того поняли, что меня нельзя переубедить. Они заставили Ганштейна уйти из комнаты. На несколько минут стало тихо. Мне надо было торопиться. Вещи-то нетрудно было уложить, но ведь нам многое необходимо было сказать другу. Тяжело дыша, мы все трое пытались воспользоваться краткой паузой, чтобы собраться с мыслями.

Шварц сделал несколько затяжек, закурив свою махорочную самокрутку. Комната наполнилась клубами дыма. Вебер отвернулся к окну. Сквозь окно видно было, как лучи утреннего солнца, взошедшего над стеной, осветили скудный травяной

покров в нашем маленьком внутреннем дворике.

Вдруг дверь резко распахнулась. Разбушевавшийся, багровый от бешенства Ганштейн, стоя на пороге, снова обрушился па меня, он не стеснялся в выражениях. Были сказаны и такие слова, как «подлость» и «измена». Я что-то заорал ему в ответ, сидя наверху и пригнув голову под низким потолком. В эту минуту я упаковывал вместе со своими носками, лоскутьями плащ-палатки и политическими брошюрами костыль от рельса железной дороги; за несколько недель до этого, перекапывая огород, я нашел это великолепное орудие, пригодное для забивания гвоздей, выравнивания кусков проволоки или листов жести, которые мы вырезали из старых водосточных труб и использовали как материал, когда что-либо мастерили. И я в эту минуту не нашел ничего лучшего, как швырнуть костыль в Ганштейна; все произошло мгновенно, костыль не попал в него, пролетел над плечом Ганштейна, мимо подбородка и вонзился в стену по ту сторону широкого коридора.

Моя счастливая звезда или случайность? Никто из нас в ту минуту не хотел и не мог над этим задумываться. Все мы сразу опомнились. И вот мы стояли рядом, как школьники после дикой шалости.

– Привет всем товарищам – всем, конечно, – тысяча благодарности – будьте здоровы – сообщите дежурному.

Ганштейну я тоже протянул руку.

Гулким эхом отозвались коридоры и стены, когда я пробежал к выходу.

Я быстро оглянулся назад. Кто же дорисует картины и силуэты городов над дверьми? Когда и вы последуете за мной? Я оглянулся еще раз: стены, башни, церкви с русскими крестами, высокие стены у трапезной. Здесь, в комнате за деревянным балконом, я встретился с Бехером… Ко мне подошел молодой советский офицер:

– Пожалуйте, профессор там. Он уже ждет!

Так я покинул Суздаль.

Перед воротами кремля стояла машина.

– Анна, это полковник Штейдле из Мюнхена!

Я невольно поправил фуражку, чувствуя, что выгляжу убого и жалко рядом с этой женщиной, державшейся с таким достоинством и даже величаво.

– Потом, разумеется, ты узнаешь его ближе.

– Итак, поехали! Теперь осуществятся многие ваши желания. Полковник Штейдле увидит Москву!

Рядом с водителем сидела Анна Паукер{79}, мы вдвоем поместились сзади. Первые два часа лишь изредка нарушал

молчание чей-нибудь вопрос. Мы, все четверо, были погружены в свои мысли, искали ответа на вопросы, которые сами себе задавали.

Наш водитель, русский старший лейтенант или капитан, бесспорно, знал, что позади него сидит германский офицер, наверное штаб-офицер, военнопленный из Суздаля, немец, которому его соотечественники протянули руку. Перед ним я тоже обязан был держать ответ: разве можно исчислить, сколько страданий, сколько горя пришлось испытать, сколько мертвых пришлось оплакать по вине немцев его семье и его родному краю.

Впервые мне опять довелось без опаски и не по принуждению ездить по новой для меня стране – хотя впереди неизвестное будущее, – любоваться этой страной, которая, как и наша, в конце весны цвела под высоким безоблачным небом, озаренная солнцем. Не забуду привал между полем и рощицей, под ее шелестящей листвой. Анна Паукер обо всем позаботилась. Она расстелила на земле большую льняную скатерть, вынула из корзины завернутые в бумагу добрые порции хлеба, колбасы, сала и масла и расставила перед нами кружки с чаем. Разговор касался самых будничных тем; речь шла о сносившихся башмаках, о выгоревшем плаще Анны Паукер, о бумаге, из которой водитель свернул махорочную самокрутку. Профессор Арнольд рассказал, между прочим, кое-что о своем пребывании в одном французском городе. Вот, в сущности, и все, о чем мы говорили. Но то был знаменательный час: впервые открылась перспектива обычной жизни, и это позволяло думать, что когда-нибудь все же настанет мир.

Невдалеке от нас, на расстоянии нескольких сот метров, тянулись канавы по заболоченному, топкому лугу, в трясине с застоявшейся водой; их уже годы не очищали. Где только не оставила своих следов война! С каким удовольствием я сбросил бы с себя китель и пошел бы туда с киркой и лопатой, чтобы расчистить сток для воды!

Снова в Красногорске

Мое путешествие с Анной Паукер и профессором Арнольдом закончилось в Красногорске, в лагере для военнопленных № 17. Здесь мне впервые пришлось заметить процесс размежевания, который начался среди сталинградских офицеров вскоре после капитуляции; по одну сторону – те, кто ничему не научился и все забыл, где действовали приговоры тайных судилищ, «товарищеских судов» и клевета; по другую сторону – немногие офицеры, которые решительно присоединились к антифашистскому движению, а также те многочисленные офицеры – к ним принадлежал и я, – которые, с трудом

высвобождаясь из сети традиционной схемы мышления, закоренелых навыков поведения, косных моральных критериев и понятий чести, искали новых путей, хотели начать новую жизнь» Здесь, в Красногорске, меня постигли и первые разочарования, когда некоторые товарищи от меня отвернулись, когда возникла необходимость досконально знать того человека, с которым ведешь разговор. Что же ожидает меня здесь теперь, в конце июня 1943 года?

К этому времени здесь, как и в других лагерях, бывали убежденные антифашисты, такие политэмигранты, как Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Эрих Вайнерт, Иоганнес Р. Бехер, но и военнопленные, а среди них – офицеры: д-р Хадерман и Берндт фон Кюгельген. Они призвали объединиться всех, кто хочет спасти Германию «от угрожающей величайшей катастрофы». Воззвание, которое они опубликовали 1 июля, обсуждалось во всех лагерях и уже через две недели привело к образованию Национального комитета «Свободная Германия».

Хотя мне было совершенно ясно, что содержавшаяся в воззвании оценка политического и военного положения соответствует действительности, хотя на меня произвели сильное впечатление некоторые мысли и выводы, я все же еще не соглашался войти в состав Учредительного комитета; больше того, между мной и членами антифашистского актива происходили яростные споры даже накануне основания Национального комитета, когда ежедневно прибывали делегации из других лагерей.

Запомнилось одно собрание, на котором занятая мною позиция вызвала шумный протест. Речь шла о фашистских массовых убийствах в Краснодаре. Несмотря на то, что я тогда уже многое знал и сам наблюдал, мне представлялось невероятным, чтобы были совершены подобные бесчеловечные преступления: людей отравляли газами в специально для этого оборудованных грузовых машинах! Этому я отказывался верить.

Наблюдения, которые я позднее сделал в районах, освобожденных от фашизма, впечатления, полученные в Майданеке, убедили меня, что там, где хозяйничал фашизм, совершались преступления, казалось бы, самые невозможные, самые невероятные.

Некоторых антифашистов, с которыми у меня тогда были резкие стычки, я, уже будучи уполномоченным Национального комитета, встретил позднее на фронте, и мы сотрудничали, стремясь к одной и той же цели. Впоследствии Ганса Госсенса и меня связывала самая сердечная дружба.

Уже в Красногорске я вскоре понял, что не сам мой отказ

войти в Национальный комитет, а аргументы, которыми я обосновывал свою позицию, вызвали бурю протеста. Разногласия отражали процесс брожения умов. Со многими политическими требованиями мы соглашались охотнее, когда в результате столкновения мнений осознавали, какие мы сами на своем жизненном пути допускали ошибки и упущения, с какими мелкими и крупными отрицательными явлениями мы были готовы мириться. Некоторые предъявленные нам требования превосходили наши возможности; мы еще. были не в состоянии усвоить и поддержать все высказанные соображения и доводы. Тогда мы решительно возражали, вступали в спор, рискуя даже оказаться в изоляции среди своих единомышленников.

В то время мне во многом помогла встреча с Гюнтером ван Хоовеном; между нами завязалась дружба, которая не ослабевала вплоть до его кончины в 1965 году. Хоовен к рождеству 1942 года прилетел в Сталинградский котел в качестве нового начальника связи армии и в отличие от других офицеров в своих докладах генерал-полковнику Паулюсу давал реальную оценку обстановки. Когда он прибыл в 6-ю армию, у него уже не осталось никаких иллюзий относительно возможности деблокирования. Его наблюдения в ставке фюрера и в группе армий «Дон» уже не позволяли ему выдавать желаемое за действительное. Все это он поведал без прикрас генералам Паулюсу и Шмидту и настойчиво доказывал, что надо немедленно предпринять прорыв из окружения, чтобы спасти, по крайней мере, хоть часть окруженной армии.

Мы с Хоовеном были почти одного возраста, оба вернулись на действительную военную службу, после того как по окончании первой мировой войны пятнадцать лет занимались практической деятельностью по своей гражданской профессии. Но ван Хоовен гораздо критичнее, нежели я, относился к развитию событий в Германии; кроме того, благодаря своей гражданской специальности он, работая в Центральном правлении восточно-прусского бюро путешествий, превосходно знал Восточную Европу, и прежде всего многое, касающееся непосредственно нашего восточного соседа – Советского Союза. По-видимому, его всегда интересовали исторические и политические проблемы. Его также тяготили сомнения, и это давало пищу для нескончаемых разговоров между нами.

С Гюнтером ван Хоовеном я неоднократно обсуждал проблему присяги. В связи с этой проблемой перед каждым из нас возникали трудные вопросы, хотя все мы и отличались по происхождению, воспитанию, уровню образования, мировоззрению и профессии.

Те из нас, кто принадлежал к старшему поколению, уже трижды присягали на верность: кайзеру и королям, Веймарской республике, а потом Адольфу Гитлеру. В Третьей империи воинская присяга обязывала выполнять приказы так называемого фюрера – безоговорочно, без всяких ограничений, как это было со всей определенностью сказано в указе от 12 июля 1935 года. Присяга была орудием, применявшимся в самых различных случаях для того, чтобы человека, принесшего присягу, крепко привязать к представителю аппарата власти, к государству. Нацистский рейх таким способом наложил оковы на миллионы людей, которые были убеждены, что они связаны подлинной клятвой и, следовательно, обязались часто против воли хранить верность рейху. Во время дискуссий среди военнопленных обнаружились самые различные взгляды на этот вопрос. Присяга истолковывалась как обязательство по отношению к государству, а тем самым и по отношению к народу, или как обязательство по отношению к нацистским властителям, или как клятва, данная богу.

Присяга лишь в том случае является обязательством, нарушение которого противоречит велениям совести, если действия, к которым она обязывает, служат общему благу, приносят людям пользу, согласуются с доброй волей людей. Если же воинская присяга обязывает отдельных лиц или весь народ участвовать в преступных действиях или в осуществлении преступных планов, то обстоятельство, налагаемое присягой, терять всякую силу, потому что лишено нравственной основы, а веление совести и личная ответственность человека выше подобной «присяги». Я пришел к такому убеждению в роковом котле под Сталинградом. Там же я понял, что возмущение, внутреннее отрицание ровным счетом ничего не меняют, – имеют значение только дела человека.

Однако многим именно глубоко верующим военнопленным, даже если они уяснили себе преступность нацистского режима, было трудно считать себя свободными от присяги. Никто из нас еще не знал, что в предписании 1318 церковного устава прямо сказано: «Связанные с присягой действия, непосредственно приносящие вред ближним, общему благу и спасению души, теряют обязательную силу». Если бы мы знали это предписание, от скольких сомнений, от каких колебаний, связанных с чувством вины, от скольких жертв мы были бы избавлены! А между тем, предоставленные самим себе, мы испытывали тяжкие мучения совести, пытаясь самостоятельно ответить на вопрос: к чему присяга обязывает?

Образование Национального комитета «Свободная Германия»

Заранее можно заметить приближение крупного события. Так обстояло дело и в начале июля в Красногорске. Ворота лагеря были заново покрашены, садики и мостовая во многих местах обновлены, двери и окна чисто вымыты. Почти каждый день на лагерных улицах появлялись новые лица; рабочие комиссии Антифашистского комитета заседали до поздней ночи. Потом прибыла из Москвы группа немецких коммунистов с новыми сведениями об участии делегаций из других лагерей в учредительной конференции Национального комитета «Свободная Германия».

В эти дни у меня установился более тесный контакт с Вилли Бределем и особенно с Эрихом Вайнертом. Им тоже было известно, что я не избавился от некоторых сомнений и отклонил предложение принять участие в последних приготовлениях к созданию Национального комитета. Я заявил, что это было бы опрометчивым решением. Меня возмутили некоторые резкие слова, слишком поспешные, обобщенные отзывы о генералах и высших офицерах, услышанные мною от членов инициативного комитета; я был того мнения, что все это создает препятствия на пути к осуществлению такого совместного широкого сотрудничества, к которому нас призывало воззвание от 1 июля.

Я чувствовал также, что есть возражения против моего участия. Это не удивительно. Ведь среди офицеров генштаба, вступивших в контакт с инициативным комитетом, я единственный был награжден Рыцарским крестом, видимо, кое-кто помнил и о том, что я отказался подписать резолюцию протеста против преступлений, совершенных в Краснодаре.

Поэтому меня удивило, что накануне 12 июля я и еще некоторые офицеры, в том числе подполковник Бредт, были приглашены принять участие в учредительной конференции Национального комитета. Мы, присутствовавшие в качестве гостей, были немногими офицерами, еще носившими знаки отличия; немало участников собрания, наверное, считали это неуместной выходкой, просто бравадой. Но все они держались дисциплинированно.

Эрих Вайнерт говорил в своей обычной манере, со сдержанной страстностью. Он был неистощим в формулировках, которые неизменно находили отклик в каждом из присутствовавших. В эти часы Вайнерт, несомненно, чувствовал, что он обращается не только к тем, кто находился в этом зале. Он обращался к своему народу, к нашей, к своей родине, ради которой он десятки лет боролся и от имени которой выступал. Казалось, каждый из нас стал для него живым воплощением своей деревни, своего города, своей фабрики, своей организации, своей

профессии. Народный трибун, революционер, произнес убедительную, проникновенную речь, которую каждый мог понять, постичь ее значение, запомнить, потому что она в каждом пробудила чувства, рожденные мыслью о родине. Вайнерт метко характеризовал преступную систему фашизма, духовное вырождение, призывал спасти нашу родину от грозящей ей гибели. Он не говорил только о союзе с рабочим классом. Он призвал к участию в таком интернационале, который объединяет всех, атеистов и христиан, коммунистов и честных буржуазных демократов, всех, кто счел своим патриотическим долгом борьбу против нацизма. Благодаря этому волнующий смысл приобрело его многократно повторенное требование создать «сильную демократическую власть». В разумной форме он наметил те первые средства и пути, которые дадут возможность и нам, военнопленным, воплотить в жизнь благородное стремление покончить с фашизмом.

Пользуясь историческими аналогиями, он убедительно доказал слушателям, в том числе и офицерам, приглашенным в качестве гостей, что Национальный комитет «Свободная Германия» может считать себя продолжателем лучших традиций германской истории: в час великой опасности, сказал Вайнерт, патриотически мыслящие, гуманистические силы всегда были готовы действовать самостоятельно, под свою ответственность, и их правоту признала история.

Пламенно и страстно заклеймил он вопиющие преступления, зверства и надругательство над правом и законом, в которых повинны нацисты и их закулисные подстрекатели, трусливые пособники и предатели народа, опозорившие честное имя немцев; он требовал возмездия и справедливого суда за все содеянное не только в Германии, но во всех странах, которым фашизм принес смерть и бедствия; он призывал и заклинал нас сойти с ложного пути, одуматься, отрешиться от прошлого и принять разумное решение; он обращался к добрым немцам с призывом вступить, наконец, на путь человечности и лишить губителя человечества Гитлера малейшего шанса на успех.

Затем Эрих Вайнерт выразил благодарность своим товарищам – Вильгельму Пику и Вальтеру Ульбрихту, советским друзьям, которые сделали возможным учредить Национальный комитет, дали возможность не только коммунистам и эмигрантам, но и военнопленным включиться в освободительную борьбу против фашизма вместе со всеми миролюбивыми народами.

Все время, пока не был поставлен на голосование Манифест, продолжался обмен мнениями; участники конференции

выступали с краткими или обстоятельными речами; во всех этих речах звучал пламенный призыв к немцам, все эти речи отражали тот волнующий подъем и ту всеобщую убежденность в нашей правоте, которыми был ознаменован этот великий час.

Если у кого-либо еще были малейшие сомнения в искренности наших стремлений, в правильности намеченного пути, то здесь, среди собравшихся глубоко взволнованных немцев, каждый обрел веру в новую, лучшую Германию: здесь, вдали от родины, уже видны были ростки нового, рождалась новая Германия благодаря готовности и решимости антифашистов-немцев посвятить всю свою жизнь этой великой задаче.

Почти все ораторы высказывались свободно, каждый по-своему, больше или меньше придерживаясь привычной фразеологии; один говорил совершенно в таком же стиле, в каком обращался на родине с кафедры к студентам или школьникам; другой оратор употреблял те же обороты, что и в тесном кругу, когда он отводил душу, браня нацистскую систему. Редко кто пользовался заранее подготовленными заметками. Звучали революционные речи, как в первый, так и во второй день, когда главное внимание уделялось содержанию Манифеста.

Встреча с немецкими коммунистами

Во время первого перерыва, 12 июля, мы, «гости», были немного растерянны и поэтому не только держались вместе, но и не подходили к знакомым нам членам президиума. Однако Эрих Вайнерт, Вилли Бредель, Фридрих Вольф нас сердечно приветствовали и предложили встретиться для беседы в небольшой комнате в том же здании, в котором происходила учредительная конференция. После обеденного перерыва Вильгельм Пик вступил с нами в беседу. Нас окружила толпа солдат и слушала с напряженным интересом. Уже в Суздале я заметил, что Вильгельм Пик подходит к людям без предубеждения и предвзятости. Он умел слушать, а по его ответам было видно, что он вникает в слова собеседника и старается подыскать убедительные для него аргументы. Однако до сих пор мне еще никогда не приходилось видеть Вильгельма Пика в таком хорошем, радостном настроении. Его, должно быть, глубоко тронуло, что люди из всех слоев населения проявили готовность действовать и объединились для борьбы против гитлеровского фашизма.

К моему удивлению, в утренней беседе принял участие и Вальтер Ульбрихт. Я уже видел его в Суздале, но на больших собраниях, митингах. Теперь мы сидели вместе в узком кругу. Во время этой первой встречи, когда представший передо мною

убежденный коммунист, умный, образованный и далеко видящий человек излагал свои доводы, я был поражен, с каким искусством он обрисовал историческое развитие Германии; я понял, что нужно смотреть иначе, чем прежде, на других людей. Способности и знания человека лишь тогда приобретают ценность, когда он пытается вникнуть в мысли другого, понять, что происходит у него в душе, даже если при этом приходится резко отвечать и задавать жестокие вопросы. Почти сорок лет понадобилось мне для того, чтобы осознать: смысл истории мы поймем только тогда, когда свое собственное становление будем рассматривать в неразрывной связи со всем, что творится в окружающем мире.

На учредительной конференции Национального комитета «Свободная Германия» Вальтер Ульбрихт два дня провел с нами, внимательно приглядываясь к окружающим, а когда выступал, ограничивался только краткими деловыми замечаниями; из всего явствовало, что этот руководитель рабочего движения знает подлинную цену намерениям и эмоциональной реакции людей, и он готов обсуждать даже такие проблемы, которые, на его взгляд и на взгляд его друзей, представляли собой, пожалуй, лишь скромное начало решения задачи.

Но он относился весьма серьезно к каждому слову и мнению – даже невысказанному – и таким образом завоевывал людей.

Когда Вальтер Ульбрихт пришел к нам и втянул нас в разговор, было, разумеется, заметно, что мы проявляем большую сдержанность; но говорил он с нами дольше, чем мы ожидали, солдаты из других лагерей хотели прежде всего поговорить с известным деятелем рабочего движения, использовать драгоценное время в перерыве между докладами и дискуссией. Вальтер Ульбрихт и Герман Матери, очевидно, хотели выяснить, как старшие офицеры фашистского вермахта относятся к сотрудничеству с антифашистами и, в частности, с солдатами, военнопленными. На этот счет имелись самые различные мнения, да к тому же мы еще не доказали на деле, что искренне готовы содействовать достижению целей Национального комитета «Свободная Германия». В то время подавно казалось невозможным рассчитывать и на сотрудничество генералов, хотя небольшая группа полностью разделяла мое мнение, что нужно привлечь па нашу сторону фельдмаршала Паулюса.

Надо, между прочим, отметить, что во время этих бесед отпали и те различные сомнения и ошибочные представления в отношении марксизма, которые были распространены в нашей среде.

Все это привело к тому, что уже к концу первого дня мы

отказались от многих наших оговорок и возражений.

Миновали два дня, полные событий. Мы приобрели новых друзей. Но мало кто из нас отдавал себе отчет в том, что величие задачи, поставленной перед нами, потребует действий такого размаха и приведет к таким важным последствиям. Во мне созрело решение выступить с призывом подготовить организационное объединение германских офицеров, оказавшихся в плену.

13 июля на учредительной конференции были приняты Манифест и Воззвание к немецкому народу, а также состоялось избрание Эриха Вайнерта председателем, а Карла Гетца и Генриха фон Эйнзиделя заместителями председателя Национального комитета «Свободная Германия».

Подготовка создания Союза немецких офицеров

Уже через несколько дней после 13 июля ван Хоовен и я вступили в контакт с группой офицеров, намеревавшихся основать Союз немецких офицеров, такую именно организацию, какую и мы имели в виду. Эту группу возглавлял подполковник Бредт. Он был начальником тыла XI корпуса 6-й армии, а в прошлом – членом союза «Стальной шлем» и не скрывал, что, относился тогда с особым доверием к Гугенбергу{80}. Кроме него, к инициативной группе принадлежали: майор фон Франкенберг унд Прошлитц, подполковник Бехли, майор Леверенц и майор Блюхер, капитан Домашк, обер-лейтенант Тренкман, обер-лейтенант фон Киршхофер, лейтенант д-р Грейфенхаген и обер-лейтенант Герлах. В состав этой группы входил также военный судья фон Кнобельсдорф-Бренкенхоф.

К этому времени ван Хоовен и я уже обстоятельно обсуждали поднятые нами вопросы с начальником управления советскими лагерями для военнопленных генералом Мельниковым, полковником профессором д-ром Брагинским. Установление связи с инициативной группой явилось нашим первым успехом, теперь мы могли вместе с коллегами планировать и двигать вперед наше дело.

Нам было ясно, что участие генералов в Союзе немецких офицеров для него жизненно необходимо. Уже во время первых бесед были названы имена генералов Латтмана, д-ра Корфеса, фон Зейдлица и фельдмаршала Паулюса, это предложение я постоянно поддерживал.

Еще более существенным, чем привлечение к нашему делу генералов, мы считали проведение бесед с товарищами на местах в Луневе и в других лагерях, куда мы посылали делегации. Мы знали по собственному опыту, каково положение сталинградских офицеров, какой процесс дифференциации происходит в их среде,

представляли себе, к каким выводам они уже пришли и какие им еще предстоит преодолеть барьеры, порожденные традиционным мышлением и кодексом чести.

На одном таком митинге я попытался помочь им прийти к правильному решению, рассказав о собственном тяжком пути познания. Я призывал их помнить о Сталинграде, где десятки тысяч немецких солдат были бессмысленно принесены в жертву по приказу фюрера, вопреки военно-стратегическим соображениям, вопреки здравому смыслу. Я напомнил им все то, что мы уже знали несколько лет и чему сами были свидетелями, – массовые преследования евреев, нарушение международного права и законов ведения войны в оккупированных странах. В прошлом и я намеренно закрывал глаза на то, что происходит в действительности, я тоже поклялся в верности Гитлеру и соблюдал присягу вплоть до Сталинграда, пока не понял, что для Гитлера не существует ни норм международного права, ни нравственных критериев. Для того чтобы всю Германию не постигла такая же катастрофа, какая произошла в Сталинграде, мы должны тотальной войне противопоставить тотальное сопротивление. В этом должны участвовать и мы в лагерях для военнопленных, сколь это ни необычайный и беспримерный в истории поступок.

Но разве не беспримерным является с исторической точки зрения то погибельное вырождение, которое постигло нашу родину по вине фашизма, та катастрофа, которая угрожает нашему отечеству? Разве этим не оправдываются и необычные действия? Нет другого пути, кроме того, который указан в Манифесте Национального комитета: надо свергнуть Гитлера, потому что с ним никто не станет заключать мир, никто не станет вступать с ним в переговоры! Кто же, кроме нас, в состоянии обратиться к верховному командованию вермахта с требованием устранить Гитлера и его пособников?

Когда я кончил говорить, воцарилось полное молчание, сначала никто не хотел высказываться. Одни явно сочувствовали тому, что я сказал, мои слова выражали то, что и они думали. Другие просто-напросто игнорировали здравые соображения и, прежде всего, отвергали выводы из них, они были раздражены и возмущены. Мысль о полном разрыве с Гитлером, и к тому еще перспектива сотрудничества с «противником», предложение призвать верховное командование к отказу от повиновения – все это были мысли, которые многих отпугивали. Проводя такие беседы, мы должны были проявлять терпение и помнить, что и мы сами пришли к этим выводам не без внутренней борьбы.

Прибытие генералов

Однажды днем к нам нагрянул комендант, полковник Шостин, и с ним майор Вольф Штерн, бывший преподаватель немецкого языка в Московском университете. Они сообщили: только что прибыли три генерала, может быть, мы их знаем? Это генерал фон Зейдлиц, генерал д-р Корфес и генерал Латтман. Не хотим ли мы установить с ними связь, осведомить их о ситуации, сложившейся в Луневе?

Конечно, мы дали согласие. Итак, в соседних с нами комнатах разместились генералы!

Примерно через час состоялась наша встреча в комнате генерала фон Зейдлица. Всего несколько минут соблюдались формальности. Зейдлиц знал ван Хоовена по его резким столкновениям со Шмидтом в штабе Паулюса. Я встречался с Латтманом, когда он в Сталинграде, тогда еще полковник, должен был формировать батальоны. Таким образом, мы все были друг с другом немного знакомы.

Обстановка в комнате сразу стала весьма напряженной; из быстрого обмена репликами генералам стало ясно, что мы чего-то от них добиваемся, но чего? Никто не садился; в комнате было только два стула, а присесть на край кровати было неудобно в условиях официальной встречи. Наконец нам был задан назревший вопрос; Зейдлиц спросил:

– Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Поездка сюда была для нас совершенно неожиданной. Нам сказали только, что мы встретимся с другими офицерами, со многими старшими офицерами.

Теперь пришел наш черед говорить. Сначала высказался ван Хоовен, потом я. Впервые оба мы заметили, что между нами полное единодушие, поэтому мы и могли друг друга поддерживать в беседе. Хоовен освещал проблему с позиции рассудка, он прибег к тонкому логическому анализу, словно действуя скальпелем, я ссылался на наши общие переживания и полученный опыт.

Люди, участвовавшие в этой встрече, пережили две войны, сражались на одних и тех же полях битвы, приносили воинскую присягу, которая не раз теряла свой смысл. Нужно совсем по-новому взглянуть на присягу, заметил я, осторожно выясняя позицию собеседников. Но я зашел слишком далеко, хотел слишком многого. Зейдлиц чуть не вспылил. Латтман, явно сильно взволнованный, отвернулся к окну, не глядя на нас.

Корфес примирительно заметил, что надо сначала дать нам высказаться. Он ничего не имеет против коммунистов, но у них совершенно иные, нежели у нас, представления о родине, об отечестве, поэтому они не понимают значения присяги.

Зейдлиц сказал, что воинская присяга приносилась на верность армии, а не Гитлеру, который сам же ее нарушил, позорно предал армию в Сталинграде! Таким образом, он согласен с осуждением личности Гитлера, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы здесь в плену образовалась оппозиция внутри вермахта.

Совсем другого мнения придерживался генерал Корфес: многое из того, что коллеги здесь изложили, он и сам понимал или предполагал и даже однажды высказал. Это было намеком на тот факт, что он в одной серьезной ситуации прямо отказался выполнить приказ, и это привело к столкновению между ним и СС. Нетерпеливо махнув рукой, он пробормотал:

– Достаточно ясные примеры из истории, я имею в виду Йорка{81} и Гнейзенау{82}…

– Да! Но тогдашние условия не имеют ничего общего с тем положением, в котором мы здесь находимся, – возразил Латтман, быстро повернувшись к нам, и поднял два пальца, словно наставник, подчеркивающий значение своих слов. Его выразительное лицо пылало. Правда, вид у него был чрезвычайно подтянутый, корректный в отличие от Корфеса, который держался чуть небрежно, словно ученый, которому явно доставляет удовольствие опровергать каждый новый аргумент.

Несколько минут мы молча стояли лицом к лицу. Очевидно, мы были недостаточно знакомы для того, чтобы вести такой разговор, который в нормальных условиях был бы вообще невозможен в офицерском корпусе. Это был беспрецедентный случай: два хотя бы и старших офицера затеяли диспут с генералами.

Желая рассеять создавшуюся неловкость, мы заговорили о другом: что встретимся за ужином, что комнаты наши расположены по соседству и что можно будет на балконе погреться на солнце; словом, мы старались информировать генералов о местных условиях.

Прощание после первой встречи было кратким и формальным. Пожимая руки, мы вопрошающе поглядывали друг на друга. Но никто не мог заглянуть другому в душу. Мы отдали честь по всем правилам. Засим отвесили легкий поклон, как это принято в офицерских клубах; в последний раз мне пришлось раскланиваться перед генералами 1 мая в Суздале, после того как я демонстрировал нашу выставку фельдмаршалу и сопровождавшим его генералам.

В тот же вечер мы сидели вместе в столовой: в углу – стол, где уселись генералы, неподалеку от них – мы оба, за нашим столом – дивизионные инженеры Гетц и Штеслейн, с которыми

мы уже познакомились и сблизились в дни создания Национального комитета; наискосок сидели д-р Хадерман и Генрих Хоман, военные судьи майоры Кнобельсдорф Бренкенхоф, Курт Шуман и д-р Клейн, армейские пасторы Йозеф Кайзер и Иоганн Шредер, за остальными столами сидели солдаты.

Вплоть до поздней ночи слышно было, что в генеральских комнатах идет громкий разговор. И мы заснули лишь после полуночи. Мысли, навеянные беседой с генералами, не давали нам покоя.

Мы думали о том, что многие десятки тысяч немцев, оказавшихся под Сталинградом, были бы спасены, если бы удалось противопоставить преступным требованиям Гитлера единый фронт, включая всех – от генерал-полковника Паулюса до рядового пехотинца! Как же теперь сокрушить варварский режим? Только опираясь на военный потенциал антигитлеровской коалиции? Тогда бои завершатся среди развалин последней немецкой деревни, последнего немецкого города. Следовательно, необходимо теперь, здесь создать единый антифашистский фронт от рабочего-коммуниста до буржуазного интеллигента, от рядового пехотинца до генерала. Этого можно добиться, только если умно, учитывая все последствия и терпеливо оказывать влияние на самых различных людей, с которыми мы имели дело; ведь мы сами совсем недавно вдумались в смысл событий, мы ведь только начали усваивать совершенно новый взгляд на жизнь, новое мировоззрение.

Беседы с немецкими коммунистами

Как генералы, старые военные, в большинстве случаев выросшие в немецких офицерских семьях с присущими им традициями, отнесутся к обмену мнениями с молодыми коммунистами, которые тоже находились в Луневе, и к беседам с солдатами?

Однако это оказалось проще, чем мы ожидали, и не вызвало осложнений. Уже на второй день вечером ефрейтор Ганс Циппель сидел за столом фон Зейдлица и Корфеса. А затем к ним подсели ефрейтор Ахиллес из Альтенбурга, обер-ефрейтор д-р Гюнтер Керчер из Лейпцига и солдат Гейнц Кеслер, который не скрывал своих коммунистических убеждений. Им всем прекрасно удалось совершенно непринужденно завести беседу с генералами, словно это было нечто самой собой разумеющееся.

Через несколько дней прибыл четвертый генерал, мой бывший дивизионный командир Александр Эдлер фон Даниэльс. Казалось, за то время, что мы с ним не виделись, он вообще не изменился: импульсивный, неуравновешенный, быстро откликающийся на новые идеи, он, соглашаясь с чем-нибудь в

порыве увлечения, не всегда додумывал до конца, что из этого получится. Ко мне и к ван Хоовену он всегда относился с большим доверием; мы объяснились с ним столь же откровенно, как в свое время перед городской тюрьмой в Сталинграде, когда генерал выразился весьма метко: «Пора собирать манатки». В Луневе он, возможно, еще и потому благоволил к Гюнтеру, что Гюнтер – блестящий карточный игрок и был готов в любое время, днем и ночью, завершить беседу несколькими партиями в карты.

По своему поведению, приверженности к традициям, по складу ума наш «генералитет» представлял собой как бы сколок прусско-германского офицерского корпуса. Высокомерие и предвзятость, типичные для нашего сословия, нашли свое отражение в том, как они высказывались – один более, другой менее определенно; на их позицию влияло многое: сословное чванство, националистическое высокомерие, расовые предрассудки, а также известная односторонность и ограниченность в оценке всего, что не относится к военному делу. Короче говоря, это были те же проблемы, те же предрассудки и то же формальное мышление, которые мы сами должны были последовательно преодолевать и еще не окончательно преодолели.

Нас одновременно и поражало и увлекало все то, что происходило в Луневе: идеологические дискуссии и сотрудничество на практике между марксистами и представителями немецкой буржуазии, армии и дворянства, мы были озадачены, потому что все это противоречило нашему опыту; но мы были взволнованы этим процессом, вовлечены в него, потому что без общею объединения, без гуманистического единого фронта нельзя было справиться с бедствиями, постигшими Германию.

В это время у меня впервые установился тесный контакт с Германом Матерном, Эдвином Гернле и Антоном Аккерманом. Шла ли речь об идеологии немецкой буржуазии, о христианском и марксистском профсоюзном движении или о земельной реформе, обсуждение всего было проникнуто духом сотрудничества, взаимным уваженном. Мои собеседники убедительно формулировали те выводы, которые вытекали из опыта борьбы германского рабочего движения. Мы учились друг у друга, мы научились друг с другом сотрудничать.

Естественно, во время бесед в Луневе и в других офицерских лагерях нашлось много таких офицеров, которые далеко не сразу соглашались с тем, что подобное сотрудничество возможно и даже необходимо, или вовсе не хотели об этом говорить. По дискуссиям в Красногорске и в Суздале да еще из бесед в

Сталинграде нам была уже знакома и такая разновидность собеседника, в отношениях с которым можно было лишь рекомендован» «крайнюю сдержанность"; во всяком случае, лучше было, чтобы такой офицер не разгадал наших намерений. Мы замечали также, что иные офицеры переживают глубокий душевный конфликт, который и нам в свое время пришлось испытать. Мы знали, что на определенных стадиях идейного кризиса не следует предъявлять к человеку настойчивых требований, лучше дать ему время подумать.

Иной раз просто поражало, какую чуткость проявляли марксисты, когда нужно было учесть своеобразные черты представителей различных сословий и слоев населения. Это обнаруживалось и в беседах с теми военнопленными, которых трудно было убедить или вовсе нельзя было убедить в том, что фразу «гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий, государство немецкое остается» нужно понимать буквально и что именно эта формула открывает для немецкого народа реальный выход из его отчаянного положения. Одно было бесспорно: марксисты, с которыми мы сотрудничали, относились к нам с полным доверием, хотя они и должны были считаться с тем, что в нашу среду могли проникнуть неисправимые гитлеровцы и предатели. Невозможно было заглянуть в душу другого человека, и только позднее выяснилось, кто стремился использовать Национальный комитет в эгоистических целях, а то и для конспиративных замыслов. Это обнаружилось, например, когда генерал-лейтенант Роденбург и оберштурмбанфюрер СС Хубер пытались уговорить фронтовых уполномоченных Национального комитета войти в контакт с органами фашистской контрразведки и гестапо. Но двуличным оказалось и поведение таких людей, как Эйнзидель, Путкамер, Герлах и другие, которые по возвращении на родину не погнушались прибегнуть к любой лжи, лишь бы оклеветать Национальный комитет «Свободная Германия» и Союз немецких офицеров.

Лично для меня решающее жизненное значение имело то, что оказалось возможным сотрудничество между марксистами и немарксистами, что укреплялось взаимное доверие и понимание между ними и что такая общность служила на благо всего народа; это стало основой моей дальнейшей жизни, которую я иногда полушутя называл моей «второй» жизнью; в ней стало реальностью то, что составляет смысл человеческого существования: мир и подлинная человечность.

Зейдлиц присоединяется к нам

В Луневе мы сблизились и каждый из нас – генерал и офицер, офицер и солдат, коммунист и христианин – научился

прислушиваться к мнению собеседника. Но это не исключало и того, что между нами возникали резкие стычки. Вспыхивали споры, когда кто-либо из нас подчеркивал, что военная профессия, офицерская служба в вермахте нерасторжимо связана с фашистской идеологией, когда обсуждались последствия приказа Рейхенау, приказа об уничтожении комиссаров, приказа о «выжженной земле» от 21 декабря 1941 года. Уже в Луневе можно было заметить, что кое-кто примкнул к нам, руководствуясь затаенным расчетом на то, что Советы и коммунисты, может быть, пойдут на уступки (какие, собственно?), если благодаря деятельности немецких офицеров в этом Национальном комитете удастся быстрее довести войну до конца. Подобным взглядам приходилось давать твердый отпор. Это имело и для нас положительную сторону: мы снова и снова убеждались в необходимости исходить из Манифеста Национального комитета.

Манифест не был таким документом, которым можно было бы манипулировать в меру собственного понимания или применительно к своей собственной позиции либо использовать его на практике по своему усмотрению. Манифест трезво и реалистически исходил из фактического положения, он учитывал уроки германской истории и тот опыт, который уже вторично получила Европа, столкнувшись с прусско-германским милитаризмом и его покровителями. Нужно было уничтожить корни бесчеловечной нацистской системы. Только в этом случае отечество наше могло обрести спасение и возможность нового развития. Это нужно было ясно сказать тем, кто пытался превратно толковать наши намерения; все это было им сказано.

Однако и по другим причинам отношения подчас обострялись. Никогда не забуду тот день, когда я совершенно непроизвольно по ходу беседы в столовой высказал свое мнение о том, как надо организовать работу Союза немецких офицеров, и осветил связанные с этим вопросы. Я вовсе не имел намерения изложить определенную концепцию. Но когда я сформулировал мысль, что нам надо выйти за рамки теоретических рассуждений и признаний, я тут же пришел к естественным выводам, которые импульсивно изложил присутствовавшим: «Мы должны считаться с тем, что не удастся убедить военное командование отказаться от повиновения Гитлеру. Как быть тогда? Тогда мы должны позаботиться о том, чтобы части немецкой армии прекратили – сопротивление. Средства и пути можно изыскать, можно ведь и на фронте оказать воздействие на механизм командования армией, применяя легальные и нелегальные приемы и даже обходные маневры. Гитлер объявил тотальную войну, мы должны на это ответить тотальным сопротивлением. Почему бы нам не

поступать так же, как действовали под Сталинградом Вальтер Ульбрихт, Эрих Вайнерт, капитан д-р Хадерман, – отправиться на советский фронт и через линию окопов обратиться с призывом выступить против Гитлера?»

Пока я в такой форме излагал вслух свои мысли, в большей мере стремясь самому себе уяснить положение, нежели изложить другим важную программу действий, в зале столовой возникло сильное волнение, особенно среди генералов и некоторых офицеров генерального штаба; стали подавать реплики с мест, топать ногами в знак своего явного несогласия; другие – очевидно, меньшинство – аплодировали; большинство молчало, но, отнюдь не проявляя признаков согласия. Потом поднялся с места Зейдлиц и от имени генералов осудил всякую пропаганду такого рода. Не может быть и речи о деятельности по разложению армии, а также о такой форме сотрудничества с коммунистами, сказал он.

Таким образом, ко дню рождения Зейдлица, когда ему исполнилось 55 лет, ситуация еще оставалась неясной. Мы положили на его стол собственноручно изготовленные маленькие подарки и поставили цветы. Было заметно, что он, как и каждый из нас, томится тоской по родине. С гордостью рассказывал он о своих родных местах; рисовал воображаемую картину того, что сейчас там делают его родные, с любовью вспоминая о них. Д-р Корфес, как всегда, заговорил о своих четырех дочерях, я – о своих четырех мальчиках и Гильтруде. Бросалось в глаза, как сильно привязан каждый из нас к своему дому, как глубоко волнует каждого мысль о том, знают ли наши семьи, что мы живы.

После обеда генерал Мельников пригласил генералов, ван Хоовена и меня на чашку чая. Присутствовали майор Гаргадзе, Вольф Штерн и полковник Брагинский.

Разумеется, вскоре разговор коснулся стоящих перед нами задач создания Союза офицеров и дальнейших наших целей. Я знал, что генералы неоднократно вели длительные беседы с советскими офицерами, а также и с генералом Мельниковым; я был осведомлен и о том, что последний разговор с Мельниковым произвел на генералов большое впечатление.

День рождения, подумал я, может стать поворотным моментом. Когда был произнесен первый тост и выпита рюмка водки за здоровье Зейдлица, я, недолго думая, вскочил с места и сказал Зейдлицу, что знаю, как близко он принимает к сердцу будущее нашего немецкого народа, и поэтому решаюсь просить его отметить этот день своей жизни тем, что он официально станет на нашу сторону, присоединится к нам.

В едином порыве все встали. Зейдлиц был явно взволнован. Ясно и твердо он заявил о своем желании сотрудничать на основе полного взаимного доверия; остальные генералы его поддержали.

В генеральском лагере Войково

В начале сентября мы отправились в Войково, чтобы переговорить с фельдмаршалом Паулюсом и другими генералами. Зейдлиц возглавлял нашу группу, в состав которой входили: генерал Латтман, майор фон Франкенберг и я. Кроме того, туда поехали генерал Мельников, некоторые его офицеры, в том числе полковник Новиков и Вольф Штерн.

К вечеру мы приехали в Войково, где в парке был расположен лагерь, предназначенный главным образом для генералов.

Когда мы вошли в здание, в котором жили Паулюс и другие генералы, Зейдлиц со свойственной ему живостью быстро взбежал по лестнице, мы – за ним и услышали, как он изо всех сил стучит в двери, крича: «Тауроген! Тауроген!»

Двери отворились, и генералы, очевидно уже собиравшиеся лечь, вышли, изумленные этим неожиданным вторжением. После короткого объяснения было сразу решено собраться в клубе.

Сначала говорил Зейдлиц, с присущей ему страстностью характеризуя положение в общих чертах. Латтман уточнил его соображения, высказываясь по существу, сжато и с большим самообладанием. Затем я получил слово.

Сначала генералы слушали молча, словно застигнутые врасплох внезапным нападением, потом стало заметно, что они прислушиваются с настороженным вниманием, и, наконец, разыгралась бурная сцена: им стало ясно, что мы требуем от них безоговорочного отречения от Гитлера.

Слово за слово дело дошло до того, что меня обозвали предателем. Генерал-полковник Гейтц в ярости хотел дать мне пощечину. В итоге этой отвратительной сцены некоторые генералы покинули клуб, а другие, явно взволнованные, встали и отошли к окнам.

Стоявший подле меня Франкенберг, младший из нас, очевидно, тогда еще испытывал к генералам почтение, внушенное муштрой в офицерской школе, и поэтому был ошеломлен происходящим. Ему казалось просто непостижимым, что генералы способны так разговаривать и так кричать.

Во время этой перепалки Паулюс – как я это наблюдал и при других обстоятельствах – сохранил спокойствие, достоинство и самообладание. Стремясь успокоить спорщиков, он воскликнул, обращаясь к ним: «Внимание, господа! Я знаю их, это люди, которые ни в коем случае не станут действовать исходя из недостойных побуждений! Прошу вас спокойно их выслушать!»

Ненадолго в зале воцарилась тишина, но каждый чувствовал, что обстановка не разрядилась. Затем снова вспыхнул спор. Франкенберг попытался доложить о положении в авиации вермахта, но было бессмысленно продолжать разговор. Наспех условились, что на другое утро назначается новая встреча.

Мы расстались и разошлись по комнатам. Еще теперь хорошо помню, как потрясенный Франкенберг, сидя на краю кровати, вопрошал: «Как же так можно?.. В среде генералов?.. Непостижимо!»

Я вспомнил тогда свои впечатления в Суздале и Красногорске, беседы в Луневе, приведшие к тому, что впервые некоторые генералы вступили в инициативный комитет. Путь, который мы избрали, был далеко не прост, он требовал разрыва со многими представлениями, которые считались неприкосновенными в офицерском корпусе. Это был правильный путь, но идти по этому пути было нелегко, а быстро двигаться: вперед – и того труднее. Кроме того, сказал я Франкенбергу, нам не удалось объясниться, по существу, еще и по той причине, что у одного из генералов, Гейтца, отсутствует самодисциплина.

На другое утро мы имели возможность поговорить с некоторыми генералами. Одни совершали свою утреннюю прогулку, другие работали в огороде. Сначала я разыскал генерал-полковника Штрекера, моего прежнего корпусного командира, с которым у меня были особенно тесные отношения. Однако на этот раз он держался замкнуто, уклончиво и был неразговорчив. Мои доводы он решительно отверг, хотя было заметно, что он сильно взволнован.

Затем я говорил с генерал-майором медицинской службы Ренольди, с которым я был знаком еще с 1934 года, когда он служил в баварской земельной полиции. Мой брат служил у него в звании капитана медицинской службы. Но и в этом случае дело ограничилось обоюдным признанием честности намерений собеседника: он уважает офицера, относится с уважением к его взглядам, но, к сожалению, не может в данный момент с ним согласиться.

Такой же характер имели разговоры с генералами Дебуа, Лейзером и Роске. Тем не менее, все они явились на условленное место встречи в парк, где в конце аллеи были скамейки. Паулюс открыл собрание, стараясь, как и накануне вечером, лояльно достичь компромисса. Каждый из нас – Зейдлиц, Латтман, Франкенберг и я – высказывались строго по существу и намеренно бесстрастно; я попытался снова изложить наши доводы и разъяснить наши побуждения. Но генералы хранили холодное молчание или, в крайнем случае, цедили сквозь зубы

краткие возражения.

В этом проявилось влияние кастового духа, который уже был мне знаком по суздальскому периоду: отступник подвергнут отчуждению. Выражением этого кастового духа явилось и заявление, которое было передано советскому коменданту лагеря: генералы протестовали против пребывания группы Зейдлица в лагере и против вербовки в Союз немецких офицеров или в Национальный комитет. Кроме того, они все приняли обязательство с нами больше в беседы не вступать.

Постигла ли нас и нашу миссию полная неудача? Мы этого не считали. Фронт был прорван: то, что мы сказали и что собирались в дальнейшем делать, – все это принесет свои плоды.

Последующий ход событий подтвердил нашу правоту.

Фельдмаршал Паулюс добился отмены коллективного приговора, который осуждал нас. А через год в нашей газете «Фрайес Дойчланд» было опубликовано воззвание Паулюса; это произошло в тот самый день, когда его старый друг Витцлебен был повешен палачами Гитлера. Многие из тех, с кем мы беседовали в Войкове, позднее, в декабре 1944 года, подписали воззвание 50 генералов к германскому вермахту.

Учредительная конференция Союза немецких офицеров

Наконец наступил решающий день. 11 и 12 сентября 1943 года в Луневе, местонахождении Национального комитета, при участии 94 офицеров из лагерей в Красногорске, Суздале, Оранках, Елабуге был основан Союз немецких офицеров. В собрании приняли участие также видные деятели Национального комитета «Свободная Германия», в том числе Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Эрих Вайнерт и Герман Матеры.

Во время подготовительных переговоров генерал Латтман заявил, что он намерен на собрании высказаться по вопросу о воинской присяге, и это вызвало горячее одобрение других членов инициативного комитета; генерал Латтман, который никогда не скрывал, что когда-то считал себя «верующим национал-социалистом», умел убедительно аргументировать и столь ясно разъяснял слушателям свою собственную эволюцию, что не только она становилась им понятной, но они склонялись к тому, чтобы последовать его примеру.

Первым выступил Гюнтер ван Хоовен. Его задача заключалась в том, чтобы обстоятельно анализировать положение на фронтах, поражения на Востоке, в Северной Африке, в Италии и на море; но надо было и описать полную беззащитность родины и человеческие потери во время ночных бомбардировок. Вывод, сформулированный им, гласил: «Тотальная война стала тотально безысходной. Поэтому разум и человечность настоятельно

требуют кончать войну и заключить мир, пока не поздно». Хоовен указал также на то, что интересы немецкого и русского народов во многом совпадают, и это может служить гарантией такого мира, который «обеспечил бы жизненные права нации и исключал бы возможность новых войн». Далее он сказал: «Несмотря на полученный им горький опыт, русский народ и теперь еще помнит, какие благие последствия имело мирное сотрудничество в течение нескольких веков… Разумеется, продолжение войны усиливает ненависть народов и их стремление уничтожить врага. Поэтому скорейшее заключение мира и дружба с СССР и с другими народами является для Германии жизненной необходимостью». Хоовен закончил свою речь следующими словами: «Сталинград явился грозным предзнаменованием катастрофы, угрожающей нашему народу. 6-я армия, сталинградская армия, была обречена на смерть, ее объявили мертвой. Теперь встают мертвецы, призывают одуматься и в последний час спасти отечество. Вы вправе этого требовать больше, чем кто-либо другой. Да здравствует свободная, независимая и мирная Германия!»

По просьбе товарищей я взял на себя задачу разоблачить лозунг тотальной войны как провокацию, «противоречащую нравственным основам человеческого общества"; я доказывал главным образом, что требование Гитлера о ведении тотальной войны является выражением безнравственности фашистской системы. Я завершил свою речь призывом: „За честь и свободу, за сотрудничество в мирном соревновании наций!“, указав, что все это может стать действительностью, только если одновременно с Гитлером 'будет уничтожен и режим, основывающийся на безграничной беззаконности и неслыханно безжалостном отношении к человеку.

После меня выступил генерал Латтман. Никто из нас еще таким его не видел! Я с захватывающим интересом слушал его доклад. Этот обычно столь сдержанный и рассудительный человек неожиданно дал волю своим чувствам; он стоял перед нами, как будто владея собой, но, тем не менее, казалось, что каждый нерв в нем трепещет. Пережитый в душе отказ от воинской присяги он повторил перед нами, словно хотел, открыто и неприкрашенно изложив свое решение, услышать, что мы его одобряем. Прав ли он был, когда наедине с самим собой решился на этот шаг и таким способом рассчитался с фашизмом?

Таков был тот вопрос, который прозвучал в наэлектризованной аудитории. «… Мы присягнули на верность лично Гитлеру, здесь нет никакой неясности. И мы принесли присягу перед богом, как торжественный обет. Поэтому столь

серьезен, весьма серьезен вопрос: вправе ли мы нарушить эту клятву, есть ли у нас причины, которые могут служить оправданием такого шага, оправданием перед нашей совестью, перед богом и – это мне, впрочем, кажется менее существенным – перед миром… В Сталинграде подлинно преданные генералы и офицеры ясно и честно сказали своим солдатам правду о сложившейся обстановке. Эти генералы и офицеры потребовали от себя и своих солдат выполнения воинской присяги ценою самых крайних испытаний, в такой обстановке, когда смерть поистине утратила свое жало, если сравнить ее с ужасами телесных и душевных мук.

Насколько созрело понимание необходимости покончить с войной, видно из того, что именно таким людям, как мы, можно помешать действовать на пользу мира, только снова ссылаясь на силу воинской присяги. Если додумать до конца такое понятие верности присяге, то придется сказать: пусть Германия погибнет, лишь бы не нарушить присягу. Возможность такого конечного вывода даст право считать, что теперь соблюдение присяги безнравственно!

А так как считаем, что всякая дальнейшая борьба ведет к гибели нашего немецкого народа, мы объявляем недействительной данную при совсем других предпосылках присягу на верность лично Гитлеру. Так как он знал, что наша клятва нас к нему приковывает, он мог строить планы, благодаря которым он должен был бы стать «величайшим из немцев». Драгоценная кровь наших товарищей была пролита ради этой идеи, а вовсе не во имя Германии! Разве он не злоупотребил нашей верностью, разве он не ссылался издевательски на права, которые он осмелился себе присвоить, используя наше моральное толкование формулы присяги?»

Генерал Латтман делал короткие паузы между отчетливо сформулированными фразами. Я то поглядывал на товарищей в зале, то снова бросал взгляд на генерала. Слушая, я почти бессознательно следил за игрой солнечных лучей на белой скатерти. Это же солнце светило нам под Дмитриевкой, Ново-Алексеевкой и Толовой балкой. Но мы его не замечали, даже если оно по временам дарило нам тепло.

Безостановочно движется стрелка солнечных часов и предо мной тоже по поверхности стола – миллиметр за миллиметром. Точно так же неотвратимо движение времени, секунд, минут, часов. И мы сейчас движемся через некий отрезок времени: что же было, что же есть, что же будет, что принесет нам новое время? Все живет и действует во времени: клятвы, которые связывали людей с преступником, народ, потерявший свое время, не

понимавший его смысла; постижение смысла, родившееся в долю секунды, но способное стать поворотным моментом во времени.

Все выше поднимается солнце. Грань между светом и тенью пересекает плечо слушающего товарища. Он не сводит глаз с генерала.

«Мы вовсе не приносили присягу для того, чтобы он или мы стали „хозяевами Европы“! Мы богом клялись хранить верность, если надо будет сражаться за Германию. Но он, кому мы и дали обет верности, обратил присягу в ложь; именно поэтому нас к столь многому обязывает наш долг перед нашим народом. Из этого долга мы черпаем наше право, более того, мы сознаем, что этим определяется необходимость действовать».

Я заметил, что теперь и генерал Зейдлиц волнуется. И для него наступил час, когда надо было открыто принять решение – подвести итог многодневным горячим спорам, размышлениям и колебаниям, мужественно преодолеть затаенное желание уклониться от такого шага, который приведет к серьезнейшим последствиям в его жизни вплоть до отношений в тесном кругу его семьи. Он, представитель старинного дворянского рода, оказался перед непосредственной необходимостью стать на сторону коммунистов, пролетариев, революционеров. Ведь за это время ему, как и другим генералам, стало ясно, что невозможно добиваться поставленных целей и подавно нельзя их достичь, избрав особый прусско-германский путь. Он страстно, в простых словах, постепенно повышая голос, поддержал наши соображения и подчеркнул, что источником наших поступков является сознание нашего долга перед народом и отечеством. Поэтому в наших действиях ничто не противоречит чувству чести порядочных людей.

В заключение на учредительной конференции Союза немецких офицеров генерал Зейдлиц был избран председателем Союза, генерал Эдлер фон Даниэльс, полковник ван Хоовен и я заместителями председателя, майор Герман Леверенц – секретарем Союза немецких офицеров. В президиум были выбраны генерал-майоры д-р Корфес и Латтман, а также все члены инициативной группы. Присутствовавшие офицеры и генералы единогласно одобрили Декларацию, в которой говорилось:

«Война стала бессмысленной и безнадежной. Продолжать – значит действовать только в интересах Гитлера и его режима. Поэтому национал-социалистское правительство, действия которого направлены против благополучия народа и страны, никогда не допустит, чтобы страна вступила на путь, ведущий к миру.

Это убеждение вынуждает нас объявить войну пагубному режиму Гитлера и выступить за создание такого правительства, которое располагало бы доверием народа и полнотой власти, чтобы обеспечить нашему отечеству мир и счастливое будущее».

Кроме того, оставшиеся в живых офицеры 6-й армии обратились с особым Воззванием к немецким генералам и офицерам, к народу и вермахту:

«Вся Германия знает, что такое Сталинград.

Мы испытали все муки ада.

В Германии нас заживо похоронили, но мы воскресли для новой жизни.

Мы не можем больше молчать.

Как никто другой, мы имеем право говорить не только от своего имени, но и от имени наших павших товарищей, от имени всех жертв Сталинграда. Это наше право и наш долг».

Далее мы в нашем Воззвании горячо призывали:

«Теперь нужно спасти всю Германию от подобной же участи. Война продолжается исключительно в интересах Гитлера и его режима, вопреки интересам народа и отечества. Продолжение бессмысленной и безнадежной войны может со дня на день привести к национальной катастрофе. Предотвратить эту катастрофу уже сейчас – таков нравственный и патриотический долг каждого немца, сознающего всю меру своей ответственности.

Мы, генералы и офицеры 6-й армии, исполнены решимости придать глубокий исторический смысл бывшей доселе бессмысленной гибели наших товарищей. Их смерть не должна оставаться напрасной! Горький урок Сталинграда должен претвориться в спасительное действие. Поэтому мы обращаемся к народу и армии. Мы говорим, прежде всего, военачальникам – генералам, офицерам наших вооруженных сил.

От вас зависит принять великое решение. Германия ожидает от вас, что вы найдете в себе мужество взглянуть правде в глаза и в соответствии с этим смело и незамедлительно действовать.

Сделайте то, что необходимо сделать, – иначе это свершится без вас или даже быть может, против вас.

Национал-социалистский режим никогда не может вступить на путь, который один только способен привести к миру. Признание этого факта повелевает вам объявить войну этому губительному режиму и выступить за образование правительства, которое опиралось бы на доверие народа. Только такое правительство сможет создать условия для почетного выхода нашей родины из войны и обеспечить мир, который не будет несчастьем для Германии и не будет носить в себе зародыша новых войн.

Не отрекайтесь от своего исторического призвания! Возьмите инициативу в свои руки! Армия и народ поддержат вас! Потребуйте немедленной отставки Гитлера и его правительства! Боритесь плечом к плечу с народом, чтобы устранить Гитлера и его режим и уберечь Германию от хаоса и катастрофы».

При всеобщем одобрении было также решено зафиксировать документально для всеобщего сведения факт тесного сотрудничества с Национальным комитетом. Некоторые генералы и офицеры были кооперированы в состав Национального комитета, Зейдлиц и Даниэльс, а также солдат Макс Эмендорфер были избраны заместителями председателя Национального комитета.

На пути к немецким братьям

Наша деятельность на советско-германском фронте

Не только тогда, когда мы подготовляли создание Союза немецких офицеров, но и после его образования далеко не все члены Союза разделяли высказанное мною открыто мнение, что задачи, стоящие перед Национальным комитетом, нельзя решить только с помощью газетных статей, передач по радио, листовок и дискуссий. Необходимо непосредственно на фронте оказать влияние на германских солдат. Мыслимо ли это, возражали мне, в разгар военных действий отправиться на советский фронт и прямо оттуда установить связь с солдатами на германской стороне? В такой ситуации, когда немцы и русские стреляют друг в друга, обосноваться в советских окопах? Нет, этого родина нам не простит ни в коем случае.

Ночи напролет я обдумывал эту мысль: надо тотальной войне Гитлера противопоставить тотальное сопротивление. Первоначально моим товарищам было трудно воспринять выводы, к которым я пришел. Однажды при поездке в генеральский лагерь Войково полковник Новиков, заметив на моей орденской колодке маленькую бело-голубую баварскую медаль за спасение жизни, сказал мне: «Спасайте и здесь людей – не одного, а многих!» Такую задачу можно было бы осуществить наиболее эффективно на самом советском фронте, через линию окопов, как во время смертоносных ночей в Сталинграде…

Мне придется действовать совместно с коммунистами, с людьми атеистического мировоззрения. Несомненно, я встречусь и с людьми, почитающими иконы и молящимися втихомолку, но кто бы они ни были, в сложившемся положении с этими людьми меня объединяет общее дело, борьба против фашизма. Я встречусь также с людьми, которые нас глубоко ненавидят и презирают, и они не могут к нам иначе относиться, потому что перед ними расстилаются пепелища и развалины, высятся могильные холмы, где похоронены их дети, жены и матери.

Однако я верю, что найду и друзей среди русских, грузин и узбеков. Они поймут, что хотя мы и выходцы из фашистского вермахта, но мы те немцы, которые, наконец, обрели свою человеческую сущность и хотят вместе с ними бороться против фашизма.

Я увижу поля сражений, но не такими, какими их изображали художники эпохи первой мировой войны – в мрачной и суровой манере, но все же пытаясь даже картине бойни придать оттенок героичности. Я увижу поля битвы такими, какими они стали в

результате действий германских солдат, передо мной откроется зрелище, свидетельствующее о жажде уничтожения, кровавом разгуле, злодейских насилиях, когда и женщин и детей гнали по полю, расстреливая их из пулеметов…

Таковы примерно были мои мысли, в таком примерно духе я беседовал с различными товарищами, стремясь побудить их участвовать в предприятии, которое кое-кто называл, по меньшей мере, сомнительной и рискованной затеей.

До той поры только немногие немецкие офицеры вели свою работу, находясь непосредственно в советских воинских частях. Туда направлялись солдаты, унтер-офицеры, фельдфебели, побывало там несколько лейтенантов, был д-р Хадерман. Этим пока дело исчерпывалось. Но разве товарищеское сотрудничество в Национальном комитете не обязывало и старших офицеров нести те же трудные обязанности, какие взяли на себя простые солдаты? И старшие офицеры должны были тоже «трудиться в самой глубинке», как выражаются горняки в шахтах, находиться на таком рабочем месте, где душно и грязно, где человеку постоянно угрожает опасность, где много пыли и мало света – на рабочем месте, где надо выполнять тяжкую, вероятно -самую тяжкую повседневную работу.

Встречаясь с Эрихом Вайнертом, мы долго и подробно говорили о его деятельности под Сталинградом.

Сами увидите, отвечал он, эта деятельность каждый раз развивается по-иному, но люди есть всюду. Вам будет оказана всяческая помощь, какая только потребуется.

Когда он однажды спросил меня, где именно, по моему мнению, я мог бы действовать наиболее успешно, я без колебаний предложил направить меня туда, где теперь через десять месяцев после полного разгрома моего 767-го гренадерского полка находились части под тем же номером.

Дело в том, что главное командование сухопутных сил пыталось замаскировать гибель 6-й армии, укомплектовав новые воинские соединения, придало полкам и другим подразделениям те же номера, которые были у частей, уничтоженных в котле. Мы знати также, что в этих воинских частях собраны по возможности многие из тех офицеров и солдат прежней 6-й армии, которые не участвовали в битве в окружении. Таким образом, мы могли рассчитывать, что в новых соединениях окажутся друзья и знакомые; это обстоятельство заслуживало внимания, учитывая характер предстоящей работы.

Я хорошо запомнил заседание президиума Национального комитета «Свободная Германия», на котором Эрих Вайнерт внес предложение послать на фронт новых уполномоченных. Все

члены правления Союза немецких офицеров заявили о своей готовности выехать на фронт. Не прошло и недели, примерно в середине декабря было окончательно решено, что я должен вместе с обер-лейтенантом Реклем выехать на 2-й Украинский фронт.

Когда Эрих Вайнерт с нами прощался и выдал нам удостоверения на немецком и русском языках, я познакомился с майором Эпштейном, который должен был меня сопровождать в поездке на фронт. Он со своей семьей постоянно жил в Москве и превосходно говорил по-немецки. По своей гражданской профессии он был научным работником в одном крупном учебном заведении; он на редкость хорошо знал германские дела, к тому же он до войны побывал в различных западных странах.

Мы должны были развернуть наши действия в районе южнее Кременчуга, на участке фронта между Кировоградом и Тернами. Нам удалось уже на этом участке получить большой опыт, который оказался весьма ценным позднее, когда мы действовали в Корсунь-шевченковском котле.

Моим ближайшим сотрудником, кроме обер-лейтенанта Рекля, теперь окончательно стал и майор Бюхлер, член правления Союза немецких офицеров, с которым я уже был знаком со времен создания инициативного комитета. До войны Бюхлер работал в одном крупном рейнском промышленном концерне. Этим, очевидно, объясняется, что после освобождения из плена – я полагаю, это было осенью 1948 года – он вернулся в Западную Германию. Рекль был молодым общительным учителем из небольшого городка близ Вильсхофена. Тогда же я провел несколько дней вместе с подполковником Бехли, майором Энгельбрехтом и лейтенантом д-ром Абелем.

Мы добирались до линии фронта во время сильной метели, шагали много километров по тропинкам, направляясь к расположенным на отшибе подразделениям. В сочельник мы ночевали в доме, где оставалась старуха с девочкой лет четырех. Здесь сначала создалась весьма напряженная ситуация, так как по деревне пошли слухи о том, что с наступлением темноты в одном из домов появились немцы. Поэтому мы в течение всей ночи находились под наблюдением милиции, а несколько часов нас сторожили даже в самой комнате. И милиционер не доверял нам, сомневался в том, что наши удостоверения и даже военные документы советского майора действительно в порядке. Разумеется, в этом недавно освобожденном селении ничего не было известно о Национальном комитете «Свободная Германия».

Перед фронтом 376-й пехотной дивизии «29.12.1943

Наконец у цели: Красная Каменка – штаб фронта, где нас

ждут уже три дня. Беседа с подполковником Зусмановичем.

31.12.1943 Подготовка листовок – мы даем о себе знать!

01.01.1944 Получены протоколы 376-й пехотной дивизии.

07.01.1944 Я впервые беседую с военнопленными-немцами.

Около 40 человек. Впечатление потрясающее – вечером снова беседа о Национальном комитете и о Союзе офицеров.

12.01.1944 Приказ по 106-й пехотной дивизии и по 282-й пехотной дивизии (от 20.10.1943!); наказание – столько-то палочных ударов… Средневековье.

22.01.1944 Я выступал 4 раза по мощной станции – всякий раз в течение пяти минут отчетливо повторял – отзыв Ф. Д. («Фрайес Дойчланд» – «Свободная Германия»).

Таких взятых на пробу выписок из моего дневника можно привести несчетное число. Но с чего начинать, если каждый день происходили новые события, и порой решающего значения!

В конце декабря мы прибыли в район севернее Кировограда и Терны. Через Днепр мы переправились по понтонному мосту. В середине реки лед уже тронулся; громадные льдины неслись вниз по течению, разлившаяся вода взломала ледяную кромку у берега и частично затопила ледяные глыбы. Всюду день и ночь кипела жизнь, разворачивались первые восстановительные работы без помех с германской стороны; этого и не приходилось ожидать, так как мощное советское наступление западнее Киева всецело приковало внимание гитлеровского вермахта, особенно авиации.

Майор Эпштейн сделал все от него зависящее, чтобы нас как можно быстрее доставить в штаб по месту назначения. Там нас принял подполковник Зусманович, который нам обстоятельно объяснил обстановку на фронте. Бои на этом участке фронта как раз приостановились. В течение последующих дней германские части попытались сильным артиллерийским огнем и контратаками помешать переправе советских войск через реку. Вскоре должны были начаться новые операции.

В штабе подполковника Зусмановича я познакомился с майором Рубаном; он первоначально держался суховато, не выходя за рамки чисто делового контакта. Лишь через несколько недель стали устанавливаться личные отношения. Чувствовалось, что ненависть к фашизму и возмущение всем, что к нацистам прикосновенно, для него переросло в недоброжелательство ко всем немцам. Как позднее он мне однажды сказал, только после тяжелых душевных переживаний ему удалось заставить себя сотрудничать с Национальным комитетом.

В прошлом Германия занимала много места в его жизни. Будучи по специальности преподавателем немецкой литературы, он обстоятельно изучил, даже глубоко вникнул в жизнь и труды

великих немецких гуманистов.

Когда же Германия, нарушив договор, напала на Советский Союз, когда вермахт и СС бесчинствовали на его родной земле и стало известно о бесчеловечном обращении с гражданским населением и военнопленными, о массовом уничтожении людей, о бессмысленном разрушении городов и деревень, Германия стала для него символом предательства и варварства.

Дело не только в том, что Германия совершила предательство по отношению к своему партнеру по договору, а в том, что Германия, страна Гете, Шиллера, Гейне, Маркса и Энгельса, изменила всему, чем мы дорожили и в ней ценили, она предала свои гуманистические традиции, осквернила свою великую культуру, достижения своих ученых, взволнованно говорил он мне, когда мы ближе познакомились.

Но в первые дни знакомства с майором Рубаном мы трое – Бюхлер, Рекль и я, – оставшись наедине, не раз сетовали по поводу его особенной сдержанности. Это нас угнетало и связывало, мы не знали, как себя вести.

Майор Эпштейн хорошо разбирался в людях. Несколько дней он наблюдал за отношениями между нами и майором Рубаном, а затем отвел меня в сторону и с глазу на глаз кое-что мне объяснил. Я был потрясен. Кроме жены, детей и матери – их удалось заблаговременно эвакуировать в Ташкент, – майор Рубан потерял всех своих родных, и притом не во время военных действий, в результате бомбардировок или артиллерийского обстрела, – нет, позднее; их убили, они пали жертвой массовых расстрелов в Киеве.

Родные Эпштейна тоже претерпели страшные испытания по вине нацистов. Он тоже говорил мне, как трудно ему было, несмотря на все, сохранить веру в существование «другой Германии": Германии высокой гуманистической культуры, той Германии, лучшие представители которой в прошлом боролись в Испании против фашизма, а теперь точно так же борются против Гитлера – и там, у себя на родине, и здесь, в Национальном комитете.

Что с того, что мы на митингах и в листовках высказывали хорошие и верные мысли и что нам самим было спокойней на душе оттого, что мы находились в рядах антифашистов, вместе с советскими людьми. Всего этого было недостаточно! Мы должны были всегда ясно сознавать, сколько пережили советские люди, которым мы хотели протянуть руку. Мы должны были постоянно помнить, как трудно советскому солдату примириться с тем, что рядом с ним стоят – кроме коммунистов и эмигрантов – германские офицеры и солдаты, люди, которые ведь были среди

тех, кто напал на его родину и ее опустошал.

Вероятно, Рекль реагировал на эту сложную обстановку естественнее и проще. Советские товарищи легче всего вступали в контакт именно с ним. Вероятно, им нравилось, что он всегда оказывался на месте, ко всему готов был приложить руки. Он скоро научился объясняться по-русски. Если он попадал в какое-либо школьное помещение, находившееся в мало-мальски хорошем состоянии, или обнаруживал шкаф с книгами, он там задерживался и пытался выяснить, есть ли сходство между немецкой и советской системами преподавания? Построены ли учебники с методической точки зрения иначе, чем у нас? Нельзя ли где-нибудь добыть расписание уроков?

Конечно, нам было недосуг проявлять любознательность. Мы должны были как можно скорее установить связь с немецкой стороной. В этом состояла наша задача, там она решалась.

Нужно было ежедневно давать оценку поступавшим кипами письмам из захваченных почтовых мешков, а иногда и из бумажников; надо было разобраться в свежих газетах, прибывших с родины, из Мюнхена, Гамбурга или Ингольштадта, порой всего лишь недельной давности. Каждый из нас старался таким способом узнать побольше о положении в противостоящей немецкой группировке. Нам необходимо было иметь о ней возможно более подробные сведения, чтобы найти слова, способные внушить доверие. Просмотр этого материала производил потрясающее впечатление: воздушные налеты на Германию, тревоги и заботы, отчаянная тоска по дому, но и просьбы прислать продукты, шубы, сапоги; а мы знали, как подобные вещи там «добываются», этому служат демагогические призывы способствовать солдатской удаче в боях против русских, фальсифицированные сводки в газетах, ложь, лозунги, проникнутые ненавистью.

В два часа ночи мы включали радио; на родине было ровно 24 часа – перелом от вчерашнего к завтрашнему дню. Начиналась передача информации: сводки вермахта, вздорная болтовня пресловутого, комментатора, который на завершающем этапе у Волги нас прославлял, а через несколько месяцев оповестил, что мы потеряв голову совершаем один за другим акты государственной измены и – конечно, под дулом русского револьвера – читаем по московскому радиовещанию продиктованные нам заявления. Потом мы переключились на прием других станций; мы приняли меры к тому, чтобы прослушивались все существенные передачи на немецком языке. Кроме передач московского радиовещания на немецком языке, прослушивались главным образом известия, передававшиеся

швейцарскими радиостанциями и Би-Би-Си из Лондона.

Советскому участку фронта, на котором мы находились, противостояла новая 376-я пехотная дивизия и новый 767-й гренадерский полк. Есть ли там, на другой стороне, мои знакомые? Какова же будет их реакция, когда в их руках окажутся листовки с нашими фотографиями: «Офицеры и солдаты заново укомплектованной 376-и дивизии!..»

От первых немецких военнопленных я узнал, что мой старший сын, молодой лейтенант, находился на расположенном перед нами участке фронта. Спустя несколько дней я узнал от попавшего в плен фельдфебеля, что случилось с моим сыном. Как только стало известно о нашей деятельности в Национальном комитете, его доставили в штаб армии и там допрашивали. Однако все попытки заставить его отречься от отца потерпели неудачу. Вскоре после прибытия на фронт между Кировоградом и Тернами мой сын был ранен в ногу, отправлен в тыловые части и уже больше никогда не попадал на Восточный фронт. Главное командование проявило осторожность.

Когда стало невозможно замалчивать нашу деятельность в Национальном комитете, когда наши листовки, фото и комментарии по радио уже нельзя было объявлять «грубой фальшивкой», нацисты прибегли к тем средствам, которые они всегда применяли, пытаясь устранить своих политических врагов: к террору; наши семьи оказались под домашним арестом, а нас летом 1944 года заочно приговорили к смертной казни.

Клещи под Корсунем сомкнулись

После освобождения Кировограда соединения 1-го и 2-го Украинских фронтов приступили к новой операции, в результате которой 8-я немецкая армия снова оказалась в критическом положении. Перешедшие в наступление советские соединения, а именно 5-я гвардейская танковая армия под командованием генерала Ротмистрова и 6-я танковая армия под командованием генерала Кравченко, в конце января прорвали фронт, двигаясь с северо-востока и с северо-запада, и встретились под Звенигородкой глубоко в тылу 8-й армии. Возник новый котел, в котором на относительно небольшом пространстве были зажаты и окружены два германских армейских корпуса: XXXII корпус 1-й танковой армии и XI корпус 8-й армии.

В итоге девять германских пехотных дивизий, танковая дивизия СС «Викинг» и моторизованная бригада СС «Валония» попали в такое же положение, какое сложилось – правда, на большом пространстве – в котле под Сталинградом.

Учитывая урок, преподанный на Волге, германское командование попыталось немедленно предпринять контрмеры.

Прежде всего, необходимо было организовать снабжение по воздуху. Так же как под Сталинградом, командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Манштейн должен был выделить мощные силы для прорыва котла. Речь шла о семи, а потом и о девяти танковых дивизиях, которым был дан приказ атаковать советские соединения.

Однако и на этот раз германское командование переоценило свои возможности, и притом совершенно так же, как в боях между Волгой и Доном, громогласно обещало германским солдатам, зажатым в котле, что их обязательно освободят. Немецкие войска не были в должное время выведены на исходные рубежи, и координация их действий была неудовлетворительной. Снова стали лживо и с неуместным оптимизмом хвастать первыми успехами, которые были быстро сведены на нет действиями Красной Армии, боевую силу и моральное превосходство которой германское командование снова недооценило.

Мы выразили намерение выехать в новый котел под Корсунь-Шевченковским, и полковник Зусманович сразу одобрил наш план, обещая оказать нам всяческую помощь, нужную для того, чтобы мы могли воздействовать на германские части.

Мы прибыли на нашу новую операционную базу 2 февраля, как раз в годовщину того дня, когда адские муки под Сталинградом пришли к концу. Неужели все это должно было снова повториться? Тогда 200 тысяч немецких солдат и офицеров бессмысленно погибли, теперь такая же участь угрожала 70 или 80 тысячам немцев. Еще находясь на нашей прежней базе, я обратился к войскам, попавшим в окружение, с призывом: «Крушение гитлеровской военной машины – только вопрос времени. Для того чтобы спасти Германию, спасти все, что еще может быть спасено, нужно немедленно прекратить войну». «Кругом марш на родину!» – так кончалась моя первая листовка от 23 января, предназначенная для войск, оказавшихся в котле под Корсунь-Шевченковским. Уже по пути к юго-восточному краю котла и при первом обсуждении обстановки мне стало ясно, что этот лозунг стал нереальным: здесь спасительный выход заключался не в походе обратно на родину, а в прекращении борьбы, ставшей бессмысленной, в капитуляции, в переходе на нашу сторону, на сторону Национального комитета «Свободная Германия». Поэтому моя вторая листовка содержала требование сложить оружие и присоединиться к Национальному комитету. Такой вариант мы уже обсуждали на 4-м пленарном заседании Национального комитета от 24 сентября 1943 года в Луневе.

Примерно в это же время я в Луневе предложил Эриху Вайнерту и генералу фон Зейдлицу поддержать наши действия,

издавая здесь листовки Национального комитета и главным образом отправляя письма наших генералов командующим соединений, попавших в окружение. Это было сделано. Сразу после нашего прибытия на новую операционную базу мы получили письма генералов д-ра Корфеса и Латтмана, адресованные знакомым им командирам XI и XLII армейских корпусов. Через несколько дней я узнал, что предстоит приезд еще одной группы Союза немецких офицеров. В ее состав входили, кроме генерала фон Зейдлица, генерал-майор д-р Корфес, майор Леверенц и капитан д-р Хадерман. Прибыли также представители русского командования: генерал-майор Шикин, генерал-лейтенант Бабич, генерал-майор Петров, полковник Брагинский и Вольф Штерн. Кроме того, в котле под Корсунь-Шевченковским действовали также Берпдт фон Кюгельген, подполковник Бехли и Эрвин Энгельбрехт. Хотя наша группа не могла вступить в личный контакт с другими бригадами Национального комитета, все же удавалось хорошо координировать наши действия: по радиосвязи мы обменивались нашим опытом, согласовывали аргументацию, а также направляли по назначению листовки и письма, адресованные командирам частей генералом Зейдлицем, генерал-майором д-ром Корфесом и генерал-лейтенантом фон Даниэльсом.

Мы выехали в район котла в лютый мороз. Но 2 февраля погода переменилась, подул теплый ветер, по временам нас хлестал дождь, по временам – снег с ледяным градом; днем машины застревали в грязи, ночью примерзали к земле. Все это значительно затрудняло наши действия. Тем не менее нам удалось уже 3 февраля разведать обстановку на переднем крае и поговорить с только что сдавшимися в плен германскими солдатами. Нам нужны были полученные на месте впечатления и самая свежая информация, чтобы придать возможно более оперативный характер всей нашей агитационной кампании, листовкам, письмам и радиопередачам.

Мы хотели здесь под Корсунем использовать тот опыт, который мы уже получили под Кировоградом: мы стремились в наших листовках и радиопередачах как можно точнее воспроизвести обстановку в каждом воинском подразделении и по возможности обращаться непосредственно к командирам и солдатам. Как позднее подтвердили в своих показаниях немецкие солдаты, мы поступали правильно, немедленно сообщая по радио фамилии людей, только что попавших в плен; это был особенно удачный прием, побуждавший к размышлениям. Вскоре нам пришлось прекратить передачи через рупоры, окопные громкоговорители и рации, так как мешала погода; тем большее

значение приобрели беседы с немецкими перебежчиками и пленными, которые в тот период, когда фронт окружения еще не стабилизировался, и искали пути к спасению. Во всяком случае, с самого начала было ясно: наглым воякам, призывавшим держаться до конца и пытавшимся с помощью жестоких приказов поддержать боевой дух, противостояли другие солдаты и офицеры, с глубоким разочарованием и недоверием следившие за развитием событий. Видимо, воспоминания о Сталинграде ожили не только в нашей памяти, но и в памяти тех, кто теперь тоже попал в окружение.

В моем письме генерал-лейтенанту Крузе, командиру 389-й пехотной дивизии, я заклинал его помнить о бессмысленной гибели немцев на Волге, апеллировал к его разуму, к его чувству ответственности и призывал его спасти свою дивизию от бессмысленного уничтожения. Это письмо было передано генералу Крузе военнопленным ефрейтором Якобом, который его также распространил в виде листовки среди солдат 389-й пехотной дивизии. Якоб блестяще справился со своей задачей: на участке, куда он возвратился, даже возник особый пароль – «пароль Якоб», служивший пропуском для перехода на сторону Национального комитета.

Стремясь открыть новые перспективы и перед теми солдатами и офицерами, которые состояли в войсках СС, но внутренне не были связаны с режимом палачей, мы и к ним обратились с особой листовкой, причем небезуспешно.

О первых обнадеживающих результатах нашей работы я докладывал 9 февраля Национальному комитету в Луневе; решающую роль во всем этом сыграли наши немецкие и советские товарищи, которые в штабах, расположенных непосредственно за линией фронта, печатали наши листовки и передавали их нам через несколько часов. Оценить по заслугам подобное достижение мог только тот, кто видел такую типографию. Непосредственно за линией фронта это означало, что работа здесь велась в самых примитивных условиях, приходилось часто и быстро менять дислокацию, и это означало не в последнюю очередь, что работа велась под неприятельским обстрелом.

После того как переданное 8 февраля предложение Красной Армии о капитуляции осталось без ответа, мы усилили наши старания заполучить солдат, совершавших «обратный переход"; то были военнопленные, которые изъявляли готовность перейти через линию фронта и сообщить о содержании особых условий капитуляции, а именно: гарантия сохранения жизни и личной безопасности; медицинская помощь раненым и больным, а также возвращение на родину по окончании войны; удовлетворительное

питание, обеспечение жильем и одеждой; в пределах возможного – улучшения условий существования с помощью советских войск; покровительство Национального комитета; размещение подразделений вместе с офицерами.

Бессмысленная гибель десятков тысяч

Между тем попытки гитлеровского командования деблокировать окруженную группировку потерпели крах. Только под Лысянкой удалось ударной группе вклиниться в котел на 10-12 километров, но затем клин был обрублен, и немецким частям пришлось перегруппироваться близ Шендеровки. Затем истекла кровью 1-я танковая дивизия в борьбе за высоту 239; эта высота господствовала над проходом в котел, и деблокирующая группа войск ее не сумела захватить.

Тем не менее, генералы, несшие ответственность за ход операции, особенно генерал СС Гилле и генерал-лейтенант Либ, решили усилить сопротивление и подготовить прорыв кольца в ночь с 16 на 17 февраля. Им преградили путь советские мощные танковые и артиллерийское соединения. Так, немецкие генералы повторили безумное предприятие, напоминающее варианты прорыва, которые обсуждались в последние дни Сталинградского котла.

Разразилась такая ужасающая катастрофа, которая подействовала ошеломляюще даже на нас, переживших страшное крушение 6-й армии. Несомненно, тот, кому удалось вырваться из котла, руководствовался лишь одним правилом: «Спасайся кто может, безразлично каким способом!» Немногие моторизованные части двигались на Запад по телам погибающих солдат, под уничтожающим заградительным огнем советской артиллерии, навстречу такому же уничтожающему огню заслона, расположенного на высоте 239 и вдоль селения Гнилой Тикич. В немецкой группировке царила паника; солдаты, охваченные отчаянием, побросали машины, орудия, даже свои винтовки и пытались небольшими группами или в одиночку найти путь к спасению. Это удалось только двум-трем тысячам человек, немногим штабам, в том числе группенфюреру СС Гилле и генерал-лейтенанту Либу. На поле боя осталось подавляющее большинство тех солдат и офицеров, которые 16 февраля в 23 часа двинулись в поход, пытаясь прорвать окружение. Сохранили жизнь лишь те восемнадцать тысяч солдат и офицеров, которые до 16 февраля отказались от борьбы. Многие из них, иные еще с первых дней боев в котле, хранили при себе наши листовки, прятали их либо в обмотках, либо под воротником плаща, или в штанине. Чаще всего мы обнаруживали у них листовку «Ваше спасение», которую по моему указанию сбросили 7 февраля; она

была небольшого формата, и ее легко было спрятать.

Мы беседовали с немецкими солдатами и впервые устроили большие митинги; под Смелой мы собрали около 1200 военнопленных. Из бесед выяснилось, что о Национальном комитете знали больше солдат и офицеров, нежели мы предполагали. 59 процентов опрошенных мною пленных подтвердили, что им еще до плена было известно о существовании Национального комитета. Однако цели и задачи Национального комитета им не были известны. Поэтому после боев под Корсунь-Шевченковским мы, кроме листовок местного назначения, касавшихся обстановки на определенном участке советско-германского фронта, стали все чаще сбрасывать листовки с Манифестом, а позднее и с текстом 25 условий окончания войны.

В то самое время, когда мы стояли перед бесконечными штабелями трупов на этом поле боя, когда оставшиеся на поле беспомощные раненые, если их не подобрали советские санитарки, умирали, покинутые своими товарищами, генералы Гилле и Либ лгали, выдавая гибель своих дивизий за «победу в прорыве». Их наградили высшими нацистскими орденами. Однако генерал Штемерман, «павший в боях с врагом», не был посмертно награжден. Да и обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены окончательно. Некоторые его радиограммы позволяют сделать вывод, что он скептически оценивал мероприятия верховного командования; так, в радиограмме, посланной вечером 16 февраля, говорилось: «Группа Штемермана может прорвать фронт противника на своем участке, но не сумеет форсировать второй прорыв сквозь позиции противника в расположении III танкового корпуса». Иными словами, Штемерман добивался ясности, спрашивал, что его ожидает под Лысянкой: новые бои с превосходящими советскими силами или встреча с деблокирующими немецкими частями. Ему так и не дали определенного ответа, он получил категорический приказ Манштейна: «Пароль „свобода“, цель Лысянка, 23 часа».

Сведения, полученные при опросе пленных, позволяют с достаточным основанием предполагать, что на последней стадии боев, при попытке прорыва, генерал Штемерман уже не командовал операциями; группенфюрер СС Гилле заподозрил, что генерал намерен капитулировать, арестовал его и приказал расстрелять.

Трагедия в Бабьем Яре

В середине марта закончился первый период моей деятельности на фронте, и я вернулся в Москву через Киев. В столице Украины я жил на квартире у майора Рубана в качестве

его гостя; о нас заботилась его мать. Киев все еще лежал в развалинах, но воля к жизни мужественных его обитателей была непоколебима. С невообразимой энергией они восстанавливали заводские цеха, школы и жилые дома и возобновили промышленное производство.

Здесь, в Киеве, я впервые узнал подробности о Бабьем Яре, о том, как совершалось чудовищное, систематическое массовое уничтожение людей. 195 000 граждан Киева, мужчины и женщины, дети и старики, пали жертвой неистовства фашистов; почти все они в страшных оврагах Бабьего Яра были пристрелены, брошены в ямы, задушены, сожжены. Просто невозможно представить себе, осознать все то, что происходило в Бабьем Яре. Зрелище ада, созданное фантазией Иеронима Босха, блекнет по сравнению с картиной злодеяний фашистов. То, что я там услышал от родственников невинных людей, ставших жертвами фашистской машины уничтожения, подтверждало справедливость каждого слова в Манифесте нашего Национального комитета, который требовал, чтобы состоялся «справедливый, беспощадный суд над военными преступниками, их подстрекателями, их покровителями и пособниками, над теми, кто осквернил, опозорил Германию…»

Однако перед судом предстали лишь немногие преступники, несущие ответственность за массовые убийства в Бабьем Яре, в том числе Эрих Кох, рейхскомиссар Украины. Остальные так до сей поры и не понесли наказания за свою вину.

Десять месяцев на 1-м Украинском фронте

После того как первый итог нашей деятельности был в Луневе обсужден и проанализирован, а фронтовые уполномоченные обменялись опытом, я 14 апреля снова выехал к сражающимся частям, на этот раз на 1-й Украинский фронт; там я находился до февраля 1945 года. Я работал в тесном контакте с подполковником Дубровицким, майором Щукиным, старшим лейтенантом Шпитгсном, старшим лейтенантом Нейдорфом и вместе со своими товарищами Рут Штольц и Гансом Госсенсом. На этом же боевом участке фронтовыми доверенными лицами Национального комитета были майор Эрвин Энгельбрехт, ефрейтор Руди Шольц, лейтенант д-р Абель и лейтенант Гейнц Шмидт.

Перед 1-м Украинским фронтом была поставлена задача освободить Западную Украину и с началом летнего наступления пробиться к Висле. В середине января 1945 года соединения фронта перешли в наступление с плацдарма у Сандомира в направлении Кракова, через десять дней достигли Одера, окружили Бреславль{83}, пересекли заградительную полосу по

Одеру, Бобру и Нейсе и продвинулись к Эльбе. 4-я танковая армия 1-го Украинского фронта образовала ударный клин, и именно ее части вышли к Торгау, где состоялась знаменательная встреча с американской армией.

Мы направлялись в штаб в Збараже. По дороге на путях бегства фашистских армий перед нами открылось внушительное зрелище, наглядно свидетельствовавшее о размахе только что закончившейся операции, в ходе которой был разгромлен восточный фланг группы армий «Юг» и была достигнута граница Румынии по реке Прут. Германские потери в технике были столь велики, что советские части просто регистрировали уничтоженные и захваченные танки, отмечали на башне масляной краской очередной номер. Только что это был номер 426, через час уже 980, а непосредственно перед Збаражем – 1120.

Однако не оправдались предположения, что исход этих боев поведет к окончательной катастрофе фашистского вермахта. Из показаний раненых и пленных, а также из других доступных нам источников информации нам стало известно, что фашистское военное командование предприняло отчаянные меры для того, чтобы по возможности приостановить наступление Красной Армии в районе Торчин – Берестечко – Чертков – Куты. Эти попытки сочетались с тактикой «выжженной земли». Бессмысленно расстреливались целые стада скота, перестреляли из пулеметов овец, поджигали сахарные заводы, силосные башни и целые деревни. Повсеместно без разбора пристреливали, взрывали, уничтожали все, что попадалось на пути. Не пощадили и жилищ, в которых укрылись старики и женщины с детьми.

В Збараже сохранился относительный порядок лишь потому, что удалось этот пункт быстро занять и отступавшие части не успели его взорвать. Жители, наконец, вздохнули с облегчением, вышли навстречу освободителям, радостно их обнимали. Приветствовали и нас, так как мы были в обычном советском обмундировании без знаков различия.

Понятно, что жители были поражены, когда мы не сумели им ответить на их родном языке; понятно и недоверие, с которым люди к нам относились, пока один из наших советских друзей им не объяснил, в чем заключается наша миссия. Эти люди, столько выстрадавшие, естественно, проявили крайнюю настороженность, встретившись с человеком, который владел только тем языком, на котором говорили злодеи, осквернившие священную советскую землю. Однажды близ Збаража мы, желая сориентироваться на местности, быстро шли пешком через селение, направлялись к машинам, которые ждали нас в нескольких километрах отсюда, у выхода из села. Жители встретили нас с величайшим

возмущением и проклятиями. В нас видели тех самых фашистских солдат, которые всего несколько дней назад на глазах у матерей утопили в колодце шестнадцать детей в возрасте от двух до двенадцати лет. За такое преступление должна была последовать немедленная расплата.

Наш друг, майор Эпштейн, и сопровождающий из штаба должны были употребить огромные усилия, чтобы разъяснить справедливо возмущенным людям, что существуют и такие немцы, которые уже давно отмежевались от фашистских преступлений и плечом к плечу с ними, с советскими солдатами и советскими гражданами, сражаются против нацистских варваров.

Митинги

Когда в 1943 году нас впервые пригласили на митинг, мы сначала были озадачены. Слово «митинг» было для нас непривычно, оно ассоциировалось в нашем представлении с чем-то типичным для Англии, для английских условий. Позднее мы освоились с этой терминологией и стали сами в качестве фронтовых уполномоченных созывать митинги; такая форма встреч оказалась полезной и укоренилась в нашей практике.

Митинг военнопленных, созываемый по возможности сразу после того, как они попали в плен, имел свои положительные стороны. Людям, охваченным апатией, отчаянием, сознанием безысходности, страхом, можно было внушить новые мысли, которые помогали им справиться с депрессией. Такие митинги нельзя было проводить по одному и тому же образцу; обстоятельства, при которых солдаты попадали в плен, были далеко не одинаковыми, одни добровольно складывали оружие, другие были схвачены при паническом бегстве. Они стояли перед нами пестрой толпой, люди, различавшиеся по происхождению, профессии, из разных подразделений, с различными воинскими званиями. Впрочем, почти всегда солдаты и офицеры были отделены друг от друга. Часто в результате энергично и быстро проведенных боевых операций в плен попадали военнослужащие тыловых подразделений и нацистских организаций, а также лица, состоявшие в отрядах Имперской организации трудовой повинности и в строительных отрядах Тодта, солдаты из хозяйственных частей и цепные псы полевой жандармерии, офицеры национал-социалистского руководства{84} и Имперского управления монополиями, интендантств и железнодорожники.

Наши первые краткие выступления воспринимались с величайшей сдержанностью; создавалось такое впечатление, что мы обращаемся к аморфной массе людей, внешний вид и

поведение которых более или менее безличны; ни в чем не сказывалось то, что перед нами люди самых разнообразных профессий. Чувствовалось, что все присутствовавшие, почти без исключения, относятся с недоверием к тому, что им говорилось. Это напоминало нашу собственную реакцию в лагере военнопленных. Нужно было разбить лед безразличия, и это легче было сделать, пока оставались свежими впечатления, непосредственно связывавшиеся с военной авантюрой Гитлера. Поэтому мы считали очень существенным тотчас же собирать митинги, действуя солидарно с офицерами, политработниками Красной Армии, фронтовыми доверенными лицами и их помощниками из Национального комитета.

Велико было удивление военнопленных, когда офицеры выступали перед солдатами или солдаты перед офицерами и каждый из них обсуждал проблемы, которые раньше либо не возникали, либо не были ясно сформулированы и, во всяком случае, не были продуманы до конца, до последних выводов. Конечно, пленные уже обменивались мнениями, уже излагали друг другу взгляды, находившиеся в резком противоречии с теми суждениями, которые принято было открыто высказывать. Однако они считали, что надо держаться осторожно и лишь в самом узком кругу выражать свои критические мысли и сомнения, свое отрицательное отношение к фашизму и отказ от поддержки гитлеризма.

Какое же поэтому волнующее впечатление производил внезапно прозвучавший в толпе возглас, когда кто-то из пленных наконец давал выход своим накипевшим чувствам. То было первое потрясающее выражение тех мук совести, которые терзали человека многие годы. Этот человек бессознательно становился выразителем настроений солдатской массы, и тогда уже сами солдаты в свою очередь открыто негодовали и возмущались. Часто подобные стихийные выкрики и выступления стимулировали – и больше, чем это удавалось нам самим, – решимость пленных последовать призывам Национального комитета.

Мы записывали адреса семей пленных, которые затем включались в передачу по московскому радио; каждому, кто этого пожелал, мы предоставляли возможность послать домой привет, записанный на листовке, либо обратиться к своим товарищам по громкоговорителю или по радио. Трудно даже оценить должным образом силу того воздействия на настроение пленных и их семей в Германии, которое оказывала передача привета по московскому радио. Ведь в Германии день за днем велась клеветническая кампания, распространялись лживые слухи, будто плен означает

Сибирь либо смерть, – во всяком случае, об этом человеке никогда ничего не придется услышать…

И вот теперь записывался домашний адрес военнопленного, и на родине могли узнать, что он жив.

Действительно, наши передачи внимательно слушали в Германии и находилось множество таких мужественных людей, которые решались сообщить семьям, что их муж или отец дал о себе знать по московскому радио. Так случилось и со мной. В своем первом письме от января 1946 года моя сестра писала мне: «Однако, несмотря на все, есть немало порядочных людей, и они уже 2 февраля 1943 года вечером сообщили нам по телефону: ваш брат жив!.. На другой день, 3 февраля, в половине седьмого утра я возвращалась из церкви, и какая-то фигура преградила мне путь: „Мой муж просил вам передать – сегодня в 3 часа Москва сообщила: господин Штейдле жив“. Затем у молочницы повторяется то же самое: „Он жив“. Даже в лавке раздался голос: „Мне нужно вам кое-что сказать: полковник Штейдле жив“.

Во время моей деятельности на 1-м Украинском фронте одна из моих задач заключалась в чтении лекций курсантам фронтовой школы; она была создана в марте 1944 года в Житомире, оттуда переведена в Збараж, потом в Рудник на Сане, в феврале 1945 года – в Краков, затем в Бреславль и, наконец, перенесена в Радебойль. К каким многозначительным выводам, придававшим мне силу и бодрость, я приходил, сопоставляя слушателей на курсах с участниками первых митингов военнопленных. Мы получали новый стимул в нашей работе уже тогда, когда замечали на митинге, что правдивые слова ослабляли отчаяние в слушателях, вызывали проблески доверия, побуждали к самостоятельному мышлению! Но здесь, в Руднике, мы встретились с единомышленниками, молодыми солдатами и офицерами, которые желали работать в качестве помощников фронтовых уполномоченных Национального комитета, были готовы, пробираясь через линию фронта, доставлять письма германским генералам, распространять листовки в фашистском тылу. Мы им рассказывали о нашей многомесячной работе, давали им советы, как составлять действенную листовку, и неизменно под впечатлением встречи с курсантами, вглядываясь в эти открытые юные лица, я думал: ведь это те же люди, они присутствовали на первых митингах, едва только попали в плен, и они же тут передо мной, во фронтовой школе. То, что тогда было сказано отчаявшимся людям с усталыми, недоверчивыми, ожесточенными лицами, – все это не пропало даром и здесь в школе принесло свои плоды.

Работа над собой

Что только не входило в сферу деятельности фронтового уполномоченного! Агитационные выступления на советской передовой линии огня, составление листовок, работа с мегафоном, с ОГУ – окопной говорящей установкой, а через МГУ – мощную говорящую установку – разъяснительные беседы с отдельными людьми, митинги и доклады во фронтовой школе, координация работы с советскими пропагандистскими органами и анализ нашей деятельности для доклада президиуму в Луневе… Надо было писать статьи для газеты «Фрайес Дойчланд», подготавливать комментарии для московского радио. 13 тот период я написал 160 листовок и свыше 40 радиотекстов.

Нужно было постоянно работать над собой, чтобы успешно выполнить все эти задачи. Нужно было внимательно анализировать ход дел на фронте, тщательно изучать письма, газеты и журналы из трофейных немецких почтовых мешков, чтобы на этом основании правильно и убедительно аргументировать. Я не должен был забывать, как труден был мой собственный путь к правильному пониманию действительности, и, памятуя об этом, стараться терпеливо вникать в настроения солдата или офицера, стоящего передо мной. Кроме того, нужно было усиленно изучать политические проблемы; ведь не просто из чувства протеста, из оппозиции к проявлениям фашистской системы мы вступили на наш путь, на путь Национального комитета, и шли по этому пути; нам нужно было разобраться в предпосылках фашизма, продумать вопрос о том, как окончательно искоренить фашизм и что должно прийти ему на смену, дабы наше отечество снова заняло достойное место в семье народов. Необходимо было ознакомиться с жизнью в Советском Союзе, понять значение Октябрьской революции 1917 года, о которой в среде немецкой буржуазии распространялись одни лишь извращенные и неверные представления. Нужно было изучить ту науку, которая составляла фундамент Октябрьской революции, составляет основу советского государства: марксизм-ленинизм.

Я не посещал в Советском Союзе какие-либо антифашистские школы или курсы, а разработал для себя собственную программу, на основе которой я рассчитывал как можно больше воспринять и познать, накопить самостоятельно приобретенные и продуманные знания о жизни социалистическою государства, которые в будущем имели бы для меня большую ценность.

Наряду с литературой, прежде всего историческими работами, а также беллетристическими произведениями, я пользовался кино как средством для самообразования. За те годы я просмотрел не менее 140 фильмов. Правда, мне не хватало

знания языка, чтобы улавливать тонкости диалога, но, тем не менее, эти фильмы дали мне необыкновенно богатый материал для понимания сущности, характера русского человека, его стремления к образованию и восприимчивости к искусству. Поучительно было для меня знакомство с жизнью различных поколений, изображение людей в повседневной обстановке, в кругу семьи, их отношение к молодежи. Все эти картины казались мне чрезвычайно близкими к жизни и достоверными: никакого приукрашивания быта, никакого внешнего лоска, никаких штампов – и при изображении личных конфликтов, – никаких искусственно сконструированных персонажей. Во всем ненавязчивая педагогика, тонкое знание человеческой души, захватывающие сцены, волнующее обличение недостатков, пережитков прошлого.

Так я постепенно постигал путь, пройденный русскими людьми в течение столетий, бурный процесс развития до той поры, когда Великая Октябрьская социалистическая революция пробудила совесть человечества. Я вновь пережил события первой мировой войны, оценивая их с новой точки зрения, я постигал их значение и сопоставлял свое новое понимание с собственным опытом; мне открылась внутренняя связь исторических событий, я научился критически оценивать историю своего народа.

Поражало отношение советских людей к культуре. Где-то на Сане мы были приглашены на концерт советского ансамбля. Сидели под открытым небом, на опушке леса или на склоне холма, так что можно было окинуть взором окружающую местность. С самого начала и во время исполнения толпой валили люди; шли офицеры и солдаты, медицинские работники – все вперемежку, кто явно от полевой кухни, а кто после ремонта орудийного лафета.

Сначала нас смутило то, что ансамбль был малочисленным: всего три человека. Но эти три человека, три любителя проявили, как исполнители, подлинно художественное мастерство. Однако меня изумили не только артисты, но также и зрители. В течение двух или трех часов они присутствовали на концерте этой маленькой труппы; в вермахте сочли бы устройство такого спектакля неуместной претензией. А когда еще бывало, чтобы зрители почти целый час слушали чтение отрывков из классических произведений, и притом с таким вниманием, увлечением и глубоким пониманием? Поистине можно было сказать: предоставьте этим артистам площадку в один квадратный метр, и никто из публики не скажет, что он был разочарован исполнением.

Педагоги в военной форме

Может показаться странным, что, называя источники, из которых я узнавал характер советских людей и их мир, я не сказал в первую очередь о встречах с самими людьми, а говорил о литературе и кино, следовательно, о формах отражения действительности, а не о ее непосредственном восприятии. Разумеется, и на фронте совершенно так же, как в Суздале или Красногорске, беседы с советскими людьми имели решающее значение. Однако первое время слабое знание русского языка лишало меня возможности вести беседу, касавшуюся не только фактической стороны дела. Кроме того, повседневная жизнь во время войны отличается от мирного времени, а жизнь в годы революции иная, чем во времена бесперебойного экономического строительства. Благодаря кино я получал представление об обычной будничной жизни при самых различных условиях; одновременно я познакомился с тридцатилетней историей первого в мире социалистического государства. И, наконец, ведь кино и литература изображают действительность, «воспринимаемую эмоционально». А это означало, что благодаря своеобразной манере крупнейших мастеров советского кино на зрителя оказывалось сильное и волнующее воздействие.

У нас было много встреч с советскими людьми, с офицерами и солдатами, с нашими квартирохозяевами, чаще ото были колхозники, а то и путевой сторож на железной дороге; женщины о нас заботились столь же трогательно, как о советских солдатах (одна чудом изловчилась привести в должный вид стоячие отложные воротники на рубашках, и мы вновь почувствовали себя хорошо одетыми мужчинами). Однако вполне естественно, что наилучший контакт у нас был с офицерами связи в советских штабах. Разумеется, что в наших беседах внимание было сосредоточено, прежде всего, на наших общих задачах, на агитационной работе на фронте. Но так как всякая работа, обращенная к людям, имеет многообразный характер, то мы не могли ограничиваться анализом событий на фронте, оценкой показаний военнопленных, но должны были обсудить и многое другое: жизнь советского общества, путь, по которому пошла Германия, и тот путь, по которому она в будущем должна пойти, психологию немцев.

Конечно, одно не исключало другого. Нам была необходима военно-политическая информация, так как в ином случае мы свели бы нашу агитацию к общим фразам, и тогда работа велась бы впустую. Чем точнее мы были осведомлены о положении в противостоящих немецких частях, чем целеустремленнее мы освещали положение в листовке, тем сильнее и длительнее было ее воздействие. Наилучший пример – это наши «говорящие

карты», простая схема, на которой была начертана линия фронта, какой она стала в результате последнего советского наступления; первую такую карту я сам держал в руках в котле под Сталинградом.

Иногда при обмене информацией мы углублялись в узкоспециальные, профессиональные темы. Я хорошо помню встречу с одним весьма высокопоставленным советским офицером, эту встречу устроил полковник Дубровицкий. Разговор зашел о завершающем этапе борьбы, и высокопоставленный офицер предложил мне начертить схематично, как я себе это представляю, развитие операций союзников вплоть до их встречи на германской территории. Я вырвал из трофейного немецкого географического атласа карту, начертил в виде грубой схемы стратегически наиболее выгодные для каждой из сторон пути продвижения войск и сделал из этого вывод, что первая встреча должна произойти на Эльбе, а именно в районе Ризы. Я, в самом деле, верно рассчитал: встреча на Эльбе состоялась у Торгау.

При этих профессиональных беседах одно обстоятельство мне неизменно бросалось в глаза: тщательный анализ даже самых ничтожных деталей операции. В результате сотрудничества с советскими офицерами мне впервые стало ясно, как важно систематически анализировать военные события на всех их стадиях вплоть до самых мелких подробностей. По моему мнению, именно благодаря этому методу советское военное командование во время Великой Отечественной войны так точно рассчитывало операции, что оно обладало ключом, параметром, дававшим возможность правильно оцепить военные успехи, их причины и последствия и подготовить новые операции. Такая ключевая формула служила основой для руководства военными действиями.

Однажды во время вечерней беседы я узнал, что и семья полковника Дубровицкого, и его родные ощутили последствия злодейств фашистской системы. И, тем не менее, он проявлял глубоко продуманное и искреннее понимание судьбы немцев. Кому пришлось, как нам, видеть собственными глазами, в чем заключались и к чему приводили преступления фашистов, тот умел оценить должным образом способность советского человека видеть различие между немцем, превратившимся в преступника, и теми немцами, которые сохранили в душа искру человечности. Такой способностью обладал полковник Дубровицкий, а также полковник Тюльпанов, который с поистине поразительным вниманием относился к нашей работе; мне изредка приходилось слышать его выступления или анализировать вместе с ним возникавшие проблемы, и он во всех этих случаях производил на

меня глубокое впечатление.

Майор Озеранер из Одессы был темпераментным, пылким человеком, который стремился и умел каждого собеседника увлечь своими идеями и намерениями. Полковник профессор д-р Брагинский, историк, как истинный ученый, привык все решения обстоятельно анализировать и обосновывать, но вместе с тем по ходу дискуссии он всегда интуитивно улавливал, когда и как нужно сломить остатки сопротивления, чтобы расчистить путь к пониманию стоящих перед нами задач и стимулировать нашу активность в интересах новой Германии.

Порой я задумывался над тем, что встретился с офицерами, которые, по сути дела, изучают не обычные военные проблемы, а характер, поведение немцев, их образ мыслей. Эти психологи, педагоги в военной форме, пытались с большой проницательностью и чуткостью разобраться в нашем мировоззрении и мировосприятии, приглядывались к нам, надеясь, что им удастся пробудить такие представления и черты характера, которые приведут к благотворной эволюции в нашей умственной и душевной жизни.

Внимательное отношение, проявленное к каждому из нас отдельными советскими товарищами, дружба, которая завязалась между нами и советскими офицерами, уверенность в том, что мы совместно разобьем общего врага, раз и навсегда его уничтожим, и, наконец, попросту говоря, чувство личной признательности, испытываемое каждым, кто здесь, в Советском Союзе, стал другим человеком, – все это предпосылки дружбы, связывающей нас с Советским Союзом, которую Отто Пушке{85} так охарактеризовал: «Под влиянием французской революции американский буржуазный демократ Джефферсон однажды сказал, что у всякого доброго патриота два отечества: его собственное и Франция. Теперь, когда вырос лагерь мира во главе с Советским Союзом, мы говорим: у всякого подлинного борца за мир есть два отечества, его собственное и славный, миролюбивый Советский Союз».

Крушение германской группы армий

Через три недели после открытия второго фронта на Западе, 23 июня 1944 года, три Белорусских фронта один за другим начали совместно с 1-м Прибалтийским фронтом генеральное наступление против группы армий «Центр». Первоначально были обойдены укрепленные опорные пункты – Бобруйск, Могилев, Орша, Витебск, – удержания которых Гитлер решительно потребовал в приказе № 11; советские ударные армии прорвались к Березине, окружили основные силы двух германских армий, освободили Минск, по широкому фронту пробились дальше к

самому Неману, спустя пять недель подошли к Висле и оказались на подступах к Восточной Пруссии.

Группа армий «Центр» перестала существовать, 200 тысяч солдат этой группы пали в бою, 85 тысяч были взяты в плен, среди них 21 генерал. Я писал в середине июля в листовке: «Если Сталинград стал переломным моментом в этой войне, решившим судьбу Гитлера, то нынешняя катастрофа, постигшая группу армий „Центр“, означает, что распахнулись ворота, открывающие доступ на нашу родину».

Исход этой беспощадной битвы огромного масштаба был отмечен некоторыми новыми чертами: впервые германские генералы не только капитулировали и приказали своим войскам прекратить сопротивление, но они одновременно открыто выступили против Гитлера 22 июля 1944 года, то есть через два дня после неудавшегося покушения Штауффенберга на Гитлера в «волчьем логове"; шестнадцать попавших в плен генералов группы армий „Центр“, среди них генералы Винценц Мюллер, Фелькерс, фон Лютцов, Бамлер и Голльвитцер, выступили против Гитлера, подписав воззвание, в котором поддержали лозунг: „Борьба против Гитлера – это борьба за Германию“. Из их числа восемь человек – генералы Фелькерс, Винценц Мюллер, фон Лютцов, Гофмейстер, Голльвитцер, Траут, Энгель, Кламт – заявили 3 августа на заседании Национального комитета, что они присоединяются к немецкой антигитлеровской коалиции.

В августе, в тот день, когда по приказу Гитлера повесили генерал-фельдмаршала фон Витцлебена, командующий 6-й германской армией выступил по радиостанции «Свободная Германия». Глубоко потрясенный крушением группы армий «Центр» и злодействами эсэсовцев по отношению к участникам заговора 20 июля, Паулюс высказал все те мысли, которые у него должны были зародиться еще под впечатлением наших с ним бесед и направленных ему лично наших докладов с фронта… «Война Германией проиграна… К тому же методы обращения с населением в оккупированных областях преисполняют отвращением каждого настоящего солдата и каждого настоящего немца и вызывают во всем мире гнев. Если немецкий народ сам не отречется от этих преступлений, он будет вынужден нести за них полную ответственность… Германия должна отречься от Адольфа Гитлера и установить новую государственную власть, которая прекратит войну и создаст нашему народу условия для дальнейшей жизни и установления мирных, даже дружественных отношений с нашими теперешними противниками».

Через несколько дней фельдмаршал Паулюс публично заявил о своем присоединении к Союзу немецких офицеров; о таком

своем решении он сообщил уже в середине июля в разговоре с Вильгельмом Пиком и Мартином Латтманом. Теперь он присоединился к нам; исполнилось то, на что мы надеялись еще при основании «Союза».

Между тем каждый, кто не был загипнотизирован геббельсовской легендой о «чудодейственном оружии», ясно понимал, что военная катастрофа на всех фронтах стала свершившимся фактом. Группа армий «Южная Украина» была истреблена, группа армий «Север» отрезана. В таком же положении оказались после капитуляции Румынии и Болгарии германские соединения в Греции и на Крите. Финляндия прекратила военные действия. Англо-американские войска, высадившиеся на побережье, продвигались вперед. Красная Армия подошла к самой восточной границе рейха. Вскоре должны были быть взломаны ворота, ведущие к театру военных действий на территории Германии.

В сложившейся ситуации Национальный комитет снова обратился ко всем немцам с призывом включиться в народный фронт против фашизма. В течение дальнейших месяцев мы многократно повторяли лозунг: «Все силы и все оружие против Гитлера», давали ясные указания, как вести борьбу. В листовке от сентября 1944 года я писал: «Организуйте массовый отказ от выполнения приказов Гитлера!» Я призывал: «Используя свое оружие в тесном сотрудничестве с гражданским населением» ускорьте падение Гитлера!» Другие лозунги гласили: «Всеми возможными средствами саботируйте работу военной машины! Разоружайте эсэсовцев! Уничтожайте агентов гестапо! Дайте отпор террору Гиммлера!.. Объединяйтесь с демократически мыслящими мужчинами и женщинами, со всеми противниками Гитлера, с угнетенными трудящимися всех профессий!» И снова и снова: «Вперед, во имя мира и спасения нации, вперед, за свободу и подлинную демократию! Конец войне! Все силы, все оружие против Гитлера!»

Таковы были призывы, обращения, детальные указания вплоть до последнего воззвания, с которым я обратился к населению Мюнхена 26 апреля 1945 года. Не в наших силах было сделать так, чтобы Германия сама освободилась от власти фашизма; но мы достигли того, что у многих немцев созрело решение отречься от фашизма и пойти по новому пути.

Подростки на фронте

В перерывах между агитационными выступлениями мы постоянно посещали пересыльные лагеря военнопленных. Примерно с конца сентября 1944 года все чаще бросалось в глаза, как быстро росло число совсем юных солдат. Поразительное

зрелище: перед нами стояли мальчики в военной форме, они должны были сойти за небольших, низкорослых мужчин, но это были подростки, у них на щеках чуть пробивался первый пушок. Теперь Гитлер посылал в бой шестнадцатилетних, семнадцатилетних мальчишек. Среди них были не только немцы, но и выходцы из различных стран; их привлекли обещаниями, обманом, завербовали, применяя шантаж и угрозы.

Тяжко было у меня на сердце, когда я встретился с ними; я думал о моей семье. Мои старшие сыновья тоже были совсем юными и находились где-то на фронте. Они могли бы, подобно этим мальчикам, участвовать в боях в окружении; наверное, они бы вытаращили глаза, если бы неожиданно увидели здесь своего отца в мундире со всеми знаками различия. Еще больше удивились бы они, когда бы услышали от него новые, непривычные речи; он уже не повествовал бы о приключениях на войне и не делился бы с ними впечатлениями о бесконечных путешествиях, не рассказывал бы как много можно увидеть и узнать, объездив всю Европу, о том, как он побывал в городах, которые хотел хоть раз в жизни повидать, зная об их роли в истории и в искусстве; он: не стал бы говорить о том, что ему удалось проездом нанести визит родным в Кельне или в Нюрнберге. Да, совершенно так же, как эти солдаты-подростки, и мой сыновья смотрели бы на меня удивленно и растерянно, если бы я предстал перед ними в мундире с белой нарукавной повязкой Национального комитета.

Вглядываясь в лица этих подростков, я чувствовал себя беспомощным, впервые я не знал, как завязать беседу. Мы так и сидели на сложенных штабелями телеграфных столбах, в тени плодовых деревьев, за деревянным сараем, который случайно уцелел во время пожара в колхозе. В сарае поместили группу численностью около 60 человек. Позапрошлой ночью их выловили в лесах вместе с другими солдатами, отбившимися от своих частей, либо вытащили из разбомбленных траншей и подвалов, в которых они попрятались. Как нам рассказывали советские офицеры, пришлось чуть ли не насильно выволакивать из укрытий этих ребят, которые тряслись и рыдали от страха, ожидая, что их тотчас же расстреляют.

Когда понемногу завязался разговор, я узнал от одного из мальчиков, что он спрятался между трупами солдат из пулеметного расчета. Заметивший его советский солдат приставил к его груди винтовку. Мальчишка буквально впился в наши лица темными пылающими глазами, завершая рассказ: «И тут он отвел винтовку и сорвал у меня с головы пилотку, а каску я потерял раньше…»

В глубоком молчании слушали мы его рассказ; мальчик был острижен почти наголо, и ему можно было дать двенадцать лет, он был малорослый.

Другой убежал из своей роты вместе с капитаном и командой радиосвязи. Внезапно их окружили советские солдаты. Его разлучили с капитаном, и он робко спрашивал, встретится ли он с ним снова, назвал нам его фамилию.

Никто из этих подростков не понимал, почему их собрали здесь вместе, хотя они принадлежали к различным частям. Им не приходило в голову, что об этом позаботились те советские офицеры, которые из-за войны вынуждены были прекратить свою профессиональную педагогическую деятельность. Эти юнцы неспособны были также понять, что советские солдаты – офицеры и рядовые – потрясены, что им приходится иметь дело с такими мальчиками; они вспоминали своих сыновей или сыновей своих родных и друзей и ужасались при мысли, что им приходилось в бою стрелять в детей!

Мы выясняли, откуда эти мальчики родом, где живут их семьи, расспрашивали о профессии отца, о братьях и сестрах. Нашелся такой, с которым пришлось объясняться по-французски, с другим – по-итальянски; попадались среди них и долговязые парнишки, были слабые, узкогрудые, а некоторые коренастые, но все – отощавшие, с впалыми щеками, оборванные; они растерянно смотрели по сторонам, иногда оживлялись, если удавалось их втянуть в разговор.

Долговязый француз, с нависшей на лоб из-под берета длинной прядью волос, оказался очень эмоциональным юношей; он был родом из Витрсюр-Сен. Бельгиец из Лувена сказал: «Знал бы я, что придется сражаться здесь, в России, мы бы дома вели себя умнее».

Один из этих мальчишек как-то странно шепелявил, будто нарочно передразнивая венцев, он был уроженец Верхней Австрии. Слушая его, все хохотали, даже когда не понимали, о чем идет речь. Смех способствовал разрядке.

Другой парнишка, совсем маленький – он уже играл какую-то роль в «Гитлерюгенде» и собирался стать учителем, – рассказал, что капитан из его части орал на юнцов, угрожал им револьвером, беснуясь из-за того, что они были не в состоянии молниеносно выполнять его приказания. Когда один солдат постарше, тоже из запасного батальона, попытался возражать, причем вежливо и спокойно, капитан совсем рассвирепел. Солдат не смирился, и тогда капитан его тут же пристрелил на глазах его товарищей, как бунтовщика. Тогда, продолжал рассказчик, сам он безропотно позволил нагрузить его противотанковыми гранатами, хотя лишь

с трудом мог их тащить. Он дрожал от страха, когда лежал в засаде с этими гранатами. К тому же он не проверил взрыватель, а это полагалось делать непременно, теперь бывали случаи саботажа при зарядке… К счастью, русские танки не подошли близко.

Мы делали передышку в беседе, угощали юнцов папиросами. Они спрашивали, как произносить буквы русского алфавита, писали буквы на сигаретных коробках, и это тоже их отвлекало.

Один из них сильно хромал. Мы предложили ему снять сапоги. Оказалось, что ноги у него были в сплошных пузырях и гноились. Другой, очевидно, по ошибке надел чужие сапоги, когда ночью была объявлена тревога. Его сапоги, жаловался он, были совсем новые, а эти ему велики. Находившиеся тут же советские товарищи что-то записывали в блокнотах. Парня с больными ногами они тотчас же отделили от других, чтобы оказать ему неотложную помощь.

О Национальном комитете «Свободная Германия» мы с этими ребятами не заговаривали. Мы постарались только записать побольше их домашних адресов. Листовки с перечнем этих фамилий были вскоре сброшены в расположение немецких войск. Мы обещали также включить фамилии этих мальчиков в передачи по окопному передатчику и в передачи московского радиовещания. Это вызвало удивление и радость. Они стали еще более разговорчивыми.

Они спросили, можно ли им послать письма домой, останутся ли они вместе в одной группе и потом – несколько робея, но с явным любопытством – всегда ли мы находимся на передовой и что мы здесь делаем.

Тут наступил подходящий момент для того, чтобы коснуться событий недавнего прошлого, того, что им пришлось пережить. Теперь можно было привлечь их внимание к нашим задачам. Большего в ту минуту нельзя было сделать.

В наших рядах уже было немало молодых солдат, на попечение которых можно было со спокойной совестью передать этих подростков в солдатской форме, наша фронтовая школа была благодарна за то, что ей предоставляется возможность среди юношей, использованных в преступных целях, отобрать лучших для полезного дела.

Разве можно с точностью определить, для скольких юношей эти встречи стали решающими на пути к новой жизни?

Лагерь уничтожения в Майданеке

Не было такого дня, когда бы мы не узнавали о каких-либо новых фактах, крайне тревожных и волнующих. Зверские приказы нацистов и их преступления внушали ужас. Никто из нас не мог

себе представить, какие беды сулили нашему народу эти злодеяния. Хотя в штабе фронта старались нам, немцам, дать понять, что никто не забыл о существовании другой, лучшей Германии, и хотя мы сами уже давно отмежевались от фашистской системы, нам трудно было избавиться от бремени тяжких дум и сердце сжималось при мысли о нашей страдающей родине, которая под властью бесчеловечной системы и по собственной вине неудержимо катилась к катастрофе.

Наши советские товарищи понимали, какую душевную драму мы переживаем, особенно в те дни, когда они праздновали новые победы, правда, без шумного ликования, но с чувством высокого удовлетворения и сознания, ценой каких жертв достигнуты эти успехи. Для них каждый день означал приближение конца войны и возможность, наконец, вернуться к мирному труду. Между тем судьба нашей родины становилась с каждым днем все безысходнее.

Когда советские войска приблизились к Люблину, прозвучало зловещее слово «Майданек», название того концлагеря, в котором, как нам уже довелось слышать, уничтожение людей стало системой. Мы поехали туда, чтобы засвидетельствовать, что представляло собой это место массовых убийств. За часы, проведенные там, у нас прибавилось седины. Мы на много дней были выведены из душевного равновесия, нас неотступно преследовали эти впечатления, точно так же чувствовали себя сотни людей, подобно нам увидевших эти горы трупов. Впервые мне довелось взглянуть в самую пасть Молоха фашизма!

Все, что мне пришлось увидеть, я изложил в статье, опубликованной в газете «Фрайес Дойчланд» от 15 октября 1944 года. В статье говорилось:

«В школьные годы нам рассказывали, что в Древнем Риме для развлечения власть имущих сжигали людей и они горели, как факелы; в будущем в школах всех стран мира детям расскажут, что Гитлер и его палачи годами планомерно уничтожали миллионы людей. Жертвами становились люди всех возрастов, всех национальностей без различия сословия, профессии и религии, – их истребляли и уничтожали только потому, что они не склонились перед гитлеровской тиранией, или потому, что они ей были не нужны.

Прислушайтесь к слову правды! Пусть каждый немец знает: таков подлинный облик Гитлера.

Мы ехали через освобожденный Люблин в воскресный ясный, солнечный день. Улицы были заполнены радостными людьми, их лица сияли, на каждом шагу бросалось в глаза, как они счастливы, празднуя освобождение. Если бы навстречу нам не

шли солдаты, если бы не было разбомбленных домов и превращенного в пустыню, сравненного с землей еврейского квартала, могло бы показаться, что войны вовсе и не было.

Но вот щит с указателем пути в концлагерь: 5 километров от города. Там, где на площади в несколько квадратных километров расположены многочисленные лагерные бараки и где надо всем высится, уходя в самое небо, двадцатиметровая башенноподобная дымовая труба для вывода газов, там происходило планомерное уничтожение людей.

В сотнях битком набитых бараков томились они, эти жертвы, доставленные из всех стран, из всех областей, долгие годы стонавших под гнетом гиммлеровского террора. Этот лагерь стал последней ступенью на тернистом пути миллионов жертв из «европейского пространства». Независимо от того, как долго «меченый» человек здесь находился, независимо от того, пригнали его из Дахау или из концлагеря Папенбург на берегу Эмса или из Варшавы, – все равно он был обречен на смерть.

«Процесс» проходил, как на фабрике, каждый был занумерован, подготовлен для отправки на бойню. Их не считали живыми людьми с душой и телом, с любящим сердцем, будь то мать или дитя, инвалид или юноша, храбрые русские солдаты, рабочий или ученый, – все они были в глазах палачей безликой массой, обреченной на гибель согласно гитлеровским планам массового уничтожения.

Что происходило с этими жертвами?

Перед бараком: «Построиться для мытья! Раздеться! Одежду вложить в бумажные мешки и сдать! Фамилии написать на вешалках! Шагом марш! Сегодня еще многие должны помыться!»

В бане моются худые, истощенные люди.

– Быстро, быстро вперед! Освободить место для следующих! В сушилку! Там получите обратно вещи после дезинфекции».

Но вещи не возвращаются, никогда не вернутся. Растерявшиеся жертвы входят в большие забетонированные камеры. Сразу двадцать, тридцать человек, голые, босые.

Процесс протекает быстро. Захлопываются стальные двери с резиновыми прокладками. Помещение ярко освещено.

Презренная тварь стоит снаружи у газонепроницаемого смотрового окошка. Несколько поворотов рычага подачи горячего воздуха. Раздается шипение. Газ проникает в помещение. Люди шатаются, стонут, падают наземь. Смертельные судороги сводят человеческие тела, падающие друг на друга… Номера, вычеркнутые из списка живых.

Так погибали тысячи, десятки тысяч. «Во имя немецкого народа!» Разве мало было немцев, говоривших; «Гитлер – это

Германия»?

Может быть, у вас возникают сомнения относительно числа жертв? Следуйте за мной в длиннейшие бараки, куда попросту выбрасывали тысячи штук носильного белья и одежды. Тут нагромождены кучи последних жалких пожитков мужчин, женщин и детей. Брюки, пиджаки, блузки, рубашки, лифчики, носки, арестантская одежда с номером, пуловеры с желтым клеймом, нанесенным масляной краской, шелковое белье, арестантские куртки и детские платьица – короче говоря, все то, чем покрывают тело люди всех сословий и занятий.

На передней стороне картонной дужки бумажного мешка, на которую он вешался, ставили крест, если мешок уже был использован. Но на обратной стороне имелось свободное место для нового номера. Зачем тратить больше бумаги, чем нужно для ведения дел?

Вам недостаточно этих доказательств? Следуйте за мной дальше, даже если у вас подгибаются колени, ибо вы предчувствуете, что доказательства будут еще страшней. Но я должен показать вам все!

Большой барак длиной 45 метров, шириной 10 метров. Уже вне здания лежат под окнами тысячи сапог. Две трети барака заполнены ботинками. Тысячи пар обуви всех размеров, цветов, фасонов, среди них даже изящные туфли для пляжа, далее протезы, бандажи, ортопедическая обувь и – детские -ботиночки, в которых малыши делали свои первые шаги.

Это страшный склад – более потрясающее свидетельство, нежели картотека с именами убитых и задушенных газом в душегубке. Ведь здесь столько обуви, сколько хватило бы для жителей большого города!

Я спрашиваю себя вновь и вновь: «Неужели это все реальность?» Вокруг слышу такие же вопросы. Но факты неопровержимы. Я держу в одной руке детский башмачок, пригодный для двухлетней девочки, а в другой руке – русский солдатский сапог. А вот и подбитый гвоздями горный ботинок моей баварской родины. Итак, никого не миновало это.

Но где же оставались трупы жертв?

В открытом поле, рядом с лагерем, их закапывали массами, вповалку, в глубоких ямах.

Однако такой способ захоронения не соответствовал требованиям дела – ведь нужно было подготовиться к массовому производству круглый год. Поэтому построили на самом высоком месте крематорий с большой пропускной способностью.

В одном блоке были вмонтированы рядом пять печей для кремации. Каждую печь можно загружать одновременно

четырьмя-пятью трупами. Трупы подавались в печь по рельсам в железной тележке, которая внутри печи опрокидывалась. Остатки костей и пепел падали сквозь колосники в расположенные внизу вместилища для пепла. Оттуда с обеих сторон можно было по мере надобности выгружать пепел с помощью специальных лопат и пожарных крюков. Все пять установок и теперь еще заполнены доверху пеплом сожженных людей. Он буквально просыпается сквозь двери камер. Повсюду под ногами пепел, осколки костей.

В башенноподобную четырехугольную дымовую трубу вмонтирована турбина для отсасывания газов. Даже в воздушных каналах я обнаружил полуобугленные бедренные кости и ребра. Пепел от трупов тут же отвозился на близлежащий огород и смешивался с кучами компоста, дабы лучше удобрить землю. Все это можно увидеть на месте.

На случай, если бы не было известно, кто здесь хозяйничал, на всех найденных документах и бумагах каждый раз можно обнаружить печать СС.

Вдумаемся в то, что фюрер этих СС теперь верховный командующий германской резервной армии! Подумать только, что этот преступник теперь беспощадно распоряжается нашими принудительно мобилизованными в армию юными сыновьями и имеет возможность послать их в последний отчаянный бой! В руках Гиммлера сосредоточена неограниченная власть на нашей родине, ему подчинена германская полиция, и он полномочен совершать любые акты грубого насилия. Этим все сказано.

Именно мы, немцы, должны выполнить свою священную обязанность и помочь разоблачению убийц миллионов, не только обвинить злодеев, но и покарать этих людей. Во имя Германии!

Я покинул это страшное, ужасное место, исполненный мучительной тревоги за судьбу нашей молодежи, отравленной ядом нацизма.

Невдалеке от лагеря, метрах в двухстах, расположен госпиталь, в котором раненым немецким военнопленным оказывается наилучшая медицинская помощь, и они выздоравливают. Им нисколько не дают почувствовать, что и они должны были бы отвечать за то, что здесь натворили их соотечественники. Теперь вам понятно, почему я, низко склонив голову, отдал дань великодушию наших противников? Я склонил голову, охваченный скорбью и стыдом.

Мужчины и женщины Германии! Если мы не хотим, чтобы злодеяния, совершенные здесь, в лагере уничтожения близ Люблина, навеки покрыли позором имя нашего народа, мы должны вступить на единственно возможный путь: открытая, беспощадная борьба против Гитлера и его системы! Очистить наш

разум от пагубной отравы! Беспощадное осуждение Гитлера и его подручных! – во имя немецкого народа!»

Когда спустя полгода война приблизилась к стенам моего родного города Мюнхена, я обратился к населению с призывом прекратить бессмысленное сопротивление и, вспоминая уроки Майданека, как обязательство и предостережение, писал: «Всеми средствами помогайте спасению заключенных в концлагере Дахау и освобождению политических узников из тюрем Нойдек и Штадельхейм. Помогите освободить иностранных рабочих и военнопленных!»

Пребывание в Луневе

В рабочей группе по церковным вопросам

В феврале 1945 года я завершил свою деятельность на фронте в Намслау и вернулся в местопребывание Национального комитета – Лунево. Первые две недели были посвящены анализу проделанной работы, составлению докладов, подготовке выступлений по радио и статей для нашей газеты. После этого я, наконец, нашел время, чтобы спросить, «что нового», снова побыть со старыми друзьями: с Гюнтером ван Хоовеном, Эрихом Вайнертом, Альфредом Куреллой – и встретиться со знакомыми мне священнослужителями вермахта, прежде всего с Йозефом Кайзером и патером Людвигом. Я пробыл на фронте без перерыва десять месяцев; моя жажда информации была столь же сильна, как и потребность поделиться впечатлениями. Мне хотелось узнать, как обстоит дело с рабочей группой по связи с христианскими кругами, созданной во время моего пребывания на фронте. Из газеты и листовок мне стали известны некоторые факты, но оставалось неясным, в какой атмосфере разворачивается деятельность этой группы. Не представляла ли она церковный собор в миниатюре? Как протекает сотрудничество с Национальным комитетом?

Среди военнопленных нашли широкий отклик такие факты, как участие священнослужителей обоих вероисповеданий в деятельности Национального комитета, их выступления по радио, доклады, которые они делали в лагерях для военнопленных. Особенное впечатление производило, конечно, на них, что священники совершали богослужения – в том числе и по московскому радио; они также исполняли свою обязанность духовников.

Несомненно, Йозеф Кайзер был одним из наиболее популярных католических священников вермахта. Горный инженер по образованию, он довольно поздно, тридцати лет, приступил к изучению теологии и стал приходским священником в Зауерланде. Под впечатлением нищеты и бедствий семей горняков и собственных столкновений с владельцами шахт он понял, что такое классовая борьба, стал проявлять интерес к социальным и политическим проблемам. Выступая в защиту шахтеров, он оказался в конфликте со своим церковным начальством; он сам об этом нам рассказывал; а от солдат мы узнали, что он с таким же бесстрашием выступал против эсэсовцев и зондерфюреров, когда они пытались в его присутствии бесчинствовать. В котле под Сталинградом, близ

Вертячего, он с наперсным крестом в руке передал своих подопечных тяжелораненых солдат первому же советскому коменданту со следующими словами: «Пожалуйста, помогите, я священник!»

Хорошо помню, как патер Кайзер, беседуя с нами, излагал свои мысли о будущем послевоенной Германии; ему мерещилась перспектива создания христианской государственной общности вроде средневекового сословного государства. Патер Людвиг более трезво оценивал положение, он учитывал в своих концепциях необратимые перемены, происшедшие со времен первой мировой войны; не в последнюю очередь он указывал на необходимость считаться с существованием обоих христианских вероисповеданий и с различиями между их взглядами.

В конце 1943 года мне пришлось беседовать и с евангелическими священниками: с пастором Иоганнесом Шредером, пастором Николаем Зенихсеном, с пастором Карлом Пагелем, а также с дивизионным священником 208-й пехотной дивизии и нынешним епископом в Грейфс-вальде д-ром Фридрихом Вильгельмом Круммахером. Обсуждая занимавшие нас проблемы, мы, в конце концов, уясняли для себя собственные позиции. Нам очень помогли встречи со священнослужителями русской православной церкви. Мы знали, что русская православная церковь морально и материально поддерживает борьбу советских народов против захватчиков, мы знали, что она наставляет и проповедует, находясь в атеистическом окружении; во всем этом мы видели подтверждение правильности выбранного нами пути: независимо от различий в образе мыслей, вере и мировоззрении совместно уничтожать общего врага – фашизм.

Шестнадцатого июня 1944 года по инициативе пасторов Йозефа Кайзера и Иоганнеса Шредера состоялось совещание, которое завершилось основанием рабочей группы по церковным вопросам. В этом совещании участвовало много священнослужителей, студентов-теологов и мирян.

Спустя несколько дней – я тогда работал на фронте и поэтому не мог участвовать в совещании – получили и мы первое воззвание рабочей группы и протокол заседания.

Воззвание и протокол свидетельствовали, что в это столь горестное для всего мира время христиане ищут решения важнейших вопросов с чувством высокой ответственности, честно и серьезно, действуя в духе глубокой религиозности и миролюбия. Понятно, что отношения между церквами и государством в прошлом и позиция церквей по отношению к новой Германии неоднократно подвергались обсуждению. Председатель Национального комитета Эрих Вайнерт сказал по

этому поводу в своем докладе:

«Наша задача заключается в том, чтобы показать немецкому народу, как должна вестись национальная борьба за нашу свободу и нашу честь при участии всего народа без различия политических и религиозных взглядов.

В концентрационных лагерях третьей империи томятся и страдают рядом друг с другом деятель рабочего движения и священнослужитель, христианин рядом с человеком, не принадлежащим к христианской церкви. Но долгие годы совместных тяжких испытаний сблизили людей, эти связи сохранятся и после ликвидации власти террора. Таким образом, заложен фундамент, который послужит крепкой основой нашей будущей демократии.

Когда церковь, подвергаемая преследованиям, обороняется против враждебных выпадов и притеснений со стороны людей, обожествляющих Гитлера, то это справедливая война, которая встречает полное сочувствие неверующих антифашистов; более того, они считают ecclesia militans{86} своим союзником и товарищем по оружию в борьбе за свободу. Поэтому мы глубоко убеждены, что это боевое содружество предстанет в будущей Германии как нерасторжимый союз, построенный на взаимном уважении.

Та часть немецкого народа, которая исповедует христианскую религию и принадлежит к ее церквям, желала бы, чтобы была внесена ясность в вопрос о том, какое положение займет церковь в демократической Германии, какие ей будут предоставлены права и привилегии. Я могу вам дать ответ от имени Национального комитета и сказать, что мы твердо придерживаемся принципов нашего Манифеста, в котором предусмотрено восстановление и расширение политических прав и социальных завоеваний трудящихся, свобода слова, печати, организаций, совести и вероисповедания. Мы считаем эти права священными и неприкосновенными.

Однако такая подлинная демократия, в которой все эти права и привилегии были бы осуществлены и обеспечены, может стать реальностью только при условии, что наш народ сам завоюет эту демократию. Народы еще никогда не получали свободу и права как дар небес. Но недопустимо и такое положение, когда одна часть народа в борьбе добивается прав для другой части народа и преподносит их ей в дар. Из этого следует, что и перед церковью встанет вопрос, предъявляет ли она лишь требования насчет будущих прав, не занимая уже сейчас ясную позицию, или она сумеет своим участием в борьбе на стороне всего народа обосновать свое право на свободу вероисповедания. Только таким

образом могут быть созданы предпосылки для того, чтобы демократическое государство, претворяя в жизнь волю народа, защитило церковные учреждения и свободу их религиозной деятельности от нападок и преследований. Но в том случае, если бы церковь себя противопоставила народному движению против Гитлера, ей не придется рассчитывать на то, что она получит желательные ей гарантии».

Тогда же евангелический пастор Иоганнес Шредер в своем заключительном слове обрисовал позицию священнослужителей по отношению к Национальному комитету следующим образом:

«Мы не призываем вас участвовать в политических авантюрах, а послужить христианскими добрыми делами немецкому народу в столь тяжкую для него годину. Мы призываем к сотрудничеству, к объединению всех, кто с чистым сердцем и чистыми руками стремится помочь Германии. Но ведь такие сердца и силы объединены именно в нашем движении, в движении „Свободная Германия“. И в этой связи я хочу еще раз сослаться на высказывания господина председателя Эриха Вайнерта, которым я придаю большое значение: все мы знаем, что в миллионах немецких сердец не осталось ни следа доверия к Гитлеру; мы знаем, что миллионы немцев борются, трудятся и умирают на гитлеровской войне только потому, что испытывают ужас при мысли о вакууме, который наступит после падения Гитлера; они в страхе задают себе вопрос: что будет после Гитлера? Ежедневно национал-социалистская пропаганда им внушает, что после крушения Гитлера наступит хаос, гибель, конец западной культуры.

В этой громаде лжи ваши слова, господин председатель Вайнерт, пробили брешь… Вы предопределили путь к решению далеко не простой проблемы взаимоотношений между государством и церковью».

По окончании заседаний была создана рабочая группа по церковным вопросам; в ее работе участвовали в качестве представителей церковных кругов католические священники Кайзер, Людвиг и Мор, евангелические священники Шредер, Зениксен и д-р Круммахер.

Мы знаем, что образование рабочей группы и ее Воззвание стали известны авторитетным католическим инстанциям в Германии еще во время фашистской войны. К сожалению, тогда у высших католических инстанций не хватило мужества осведомить об этом широкую общественность. Однако нам уже тогда было ясно, что основные права, закрепленные в нашем Манифесте, станут составной частью будущей конституции свободной Германии.

Принципы, послужившие в деятельности Национального комитета основой для сотрудничества людей различного происхождения и мировоззрения, стали фундаментом первого мирного государства в германской истории, которое всеми нами совместно строится, совместно защищается и развитию которого мы все содействуем.

Национальный комитет завершает свою деятельность

После безоговорочной капитуляции фашистского государства мы из Лунева следили с поистине жгучей тревогой и с глубоким участием за послевоенными событиями в Германии. Многие из нас только теперь отдавали себе отчет в том, какие грандиозные, смелые решения, какие всеобъемлющие, крутые перемены с самого начала были связаны с работой Национального комитета «Свободная Германия": целью антифашистского фронта должно быть не только низвержение Гитлера и фашистской системы, но и создание новой основы общественной жизни для всего немецкого народа и германского государства. Только демократический антифашистский строй мог воплотить эти стремления, а мы понимали, что слово „антифашистский“ – это понятие, охватывающее все, что в эти годы сформировалось и реализовано в деятельности Национального комитета, и все, что оказалось реальным и необходимым в движении Сопротивления против Гитлера у нас в Германии, я имею в виду – основанное на взаимном доверии широкое сотрудничество ради общей цели марксистов и христиан, пролетариев и буржуазных интеллигентов.

В этом духе действовали наши друзья из группы Ульбрихта, на которую в первый же час освобождения пала огромная ответственность. В таком же духе построили свою программу и новые партии. «Мы призываем вас забыть о том, что разделяло немцев. Следуйте нашему призыву о создании большой партии, которая готова сотрудничать с другими партиями новой демократии ради возрождения Германии», – говорилось в учредительном Воззвании Христианско-демократического союза, с которым я чувствовал себя связанным как участник католического движения.

В том же духе выступал весь демократический блок, в котором 14 июля объединились вновь созданные партии, Коммунистическая партия Германии, Социал-демократическая партия Германии и Либерально-демократическая партия.

Потом наступил знаменательный день 2 августа, когда государства антигитлеровской коалиции подписали Потсдамские соглашения. Мы испытали чувство глубокого удовлетворения, что в международно-правовую форму облечены принципы

строительства миролюбивой Германии, которые мы сформулировали в Манифесте Национального комитета, немецкой антигитлеровской коалиции. Наши требования заключались в следующем:

«Сильная демократическая власть, которая не будет иметь ничего общего с бессилием веймарского режима; демократия, которая будет беспощадно, в корне подавлять всякую попытку каких бы то ни было новых заговоров против прав народа или против европейского мира.

Полная отмена всех законов, основанных на национальной или расовой ненависти, всех порядков гитлеровского режима, унижающих наш народ, отмена всех мероприятий гитлеровской власти, направленных против свободы и человеческого достоинства.

Восстановление и расширение политических прав и социальных завоеваний трудящихся, свобода слова, печати, организаций, совести и вероисповедания…

Немедленное освобождение жертв гитлеровского террора и материальное возмещение причиненного им ущерба.

Справедливый, беспощадный суд над виновниками войны, над ее зачинщиками, над их закулисными подстрекателями…»

Все это было закреплено в Потсдамских соглашениях.

Разумеется, возникали и острые разногласия в нашей среде, в первую очередь по вопросу о германской восточной границе. Не все были способны сделать надлежащие выводы из того, что германский милитаризм дважды брал своего восточного соседа в клещи, образуемые Силезией и Восточной Пруссией, а, следовательно, эти клещи надо было ликвидировать раз и навсегда; политика возмещения потерь должна была осуществиться на деле, а не ограничиваться декламацией{87}.

Впрочем, те бывшие военнопленные, которые еще в плену и особенно те, которые, получив возможность вернуться на родину, цинично предали цели Национального комитета, теперь распространяют злостную клевету, когда заявляют, будто события 8 мая и 2 августа вызвали в Союзе немецких офицеров отчаяние, уныние и апатию. Национальный комитет и Союз немецких офицеров в течение многих месяцев своей работы постоянно предупреждали, что борьба против Гитлера не может быть приостановлена с наступлением неизбежного поражения Германии. Мы неизменно призывали противопоставить фашистской войне народную борьбу против Гитлера. Мы, фронтовые уполномоченные, – но не только мы! – знали, как трудно добиться перелома и побудить немцев вступить на новый путь. Сколько писем и обращений мы направили генералам и

командирам, и как невелик был реальный итог по сравнению с ожидавшимися результатами! Но именно поэтому мы снова и снова обращались к солдатам и строевым офицерам, призывая их прекратить бессмысленную борьбу, сохранить свою жизнь ради лучшей Германии. «Жить, чтобы спасти не одного, а многих» – это нам удалось. И вот теперь надлежало и здесь, в лагерях военнопленных, и там, на развалинах немецких городов, вовлечь людей, оставшихся в живых, в дело строительства новой Германии. Именно в этом теперь заключалась наша задача.

Апатия? Отчаяние? В такое состояние могли, пожалуй, впасть те офицеры, которые с самого начала по-своему толковали Манифест Национального комитета, я это наблюдал при создании Союза немецких офицеров; разочарование могли испытывать те, кто не желал, чтобы разрыв с Гитлером повел к разрыву с губительным наследством прошлого Германии, с милитаризмом, с притязаниями на мировое господство; они видели в отходе от Гитлера всего лишь разрыв с человеком, который оказался непригодным для осуществления целей германского милитаризма.

А для нас все, что мы делали после освобождения Германии от фашизма, было последовательным продолжением того, что мы делали раньше. Мы внимательно следили за развитием событий во всех оккупационных зонах Германии, и вскоре мне стало ясно, что задачи, которые мы поставили в Национальном комитете, по-настоящему осуществляются в советской оккупационной зоне. Обсуждая возникшие вопросы, мы старались, прежде всего, внести ясность в общую проблему: как должна развертываться работа здесь, в Национальном комитете, а позднее – на родине; так созревало решение обсудить весь этот комплекс проблем в Национальном комитете, а также в Союзе немецких офицеров.

По ходу своей работы в качестве фронтового уполномоченного я привык не скрывать возникающих у меня мыслей; поэтому я изложил свои соображения Эриху Вайнерту и Вольфу Штерну. Оба согласились со мной и пока еще доверительно дали понять, что, видимо, пришло время завершить деятельность Национального комитета. Следует продолжать просветительную работу в лагерях, а также занятия на политических курсах. Однако надо понимать, что самая трудная задача ждет нас на родине.

Второго ноября 1945 года состоялось пленарное заседание Национального комитета с Союзом немецких офицеров.

Эрих Вайнерт снова обрисовал задачи и развитие деятельности Национального комитета, оценил заслуги его членов и почтил память солдат, которые в этой борьбе отдали

свою жизнь: «только эти солдаты погибли во имя Германии».

«Одна из важнейших задач Национального комитета заключалась в том, чтобы пробудить во всем народе дух воинствующей демократии, который прежде был присущ только авангарду рабочего класса и прогрессивной интеллигенции. Только действуя в таком же духе, можно преодолеть традиционные предрассудки в самых различных слоях нашего народа, и все подлинно свободолюбивые немцы, стремящиеся к справедливости, объединятся в едином боевом фронте.

Развитие событий в Германии уже теперь позволяет провидеть очертания новой Германии, которые мы обрисовали в нашем Манифесте. И деятели движения «Свободная Германия» могут поставить себе в заслугу, что они раньше других немцев убежденно вступили на этот новый путь».

Эрих Вайнерт закончил свою речь следующими словами:

«Сохраняя уверенность, что идеалы, которые воодушевляли нас в нашей работе, стали теперь творческим началом в жизни широких масс нашего народа, Национальный комитет может считать свое дело завершенным.

Национальный комитет был первым шагом к свободному, демократическому объединению немцев. Он выполнил свою задачу: идеи, которыми он руководился с самого своего основания, стали жизненной силой у нас на родине. Когда все честные немцы воспримут эти идеи с такой же страстностью, с какой мы поддерживали их и развивали, наш народ сможет снова предстать перед миром».

После того как Эрих Вайнерт сделал свой отчетный доклад, выступил генерал фон Зейдлиц в качестве президента Союза немецких офицеров; он, как солдат, призвал содействовать возмещению потерь и возрождению Германии. Он подчеркнул, что «восстановление нашей родины и возмещение потерь пострадавшим странам – два процесса, тесно между собой связанные». В заключение мы единогласно приняли решение прекратить деятельность Национального комитета и Союза немецких офицеров.

Москва, 8 декабря 1945-го: полет на родину

Я еще раз прошелся по улице Горького, чтобы, наблюдая утреннюю суету, напоследок получить как можно больше впечатлений, заглянул в маленькую церковь, где года два назад стоял с Гансом Мале перед иконостасом с несчетными горящими свечами. Гуляя по улице, можно было, как и два года назад, увидеть, что делается за окнами в первом этаже, если в комнате горит свет: все еще не хватало штор, занавесей. Кое-где на площадях были сложены тысячи поленниц дров, которые там же

распределялись. По улицам двигались бесчисленные машины, уже совершенно изношенные, по временам показывался трамвай, скрипя и дергаясь на поворотах; шли укутанные люди в высоких простых валенках; пробегали веселые ребята с портфельчиками в руках или с ранцами за плечами; женщины в белых халатах предлагали прохожим свой товар: горячий чай, хлеб с колбасой.

За последние часы нашего пребывания в Москве мы, встретившись в доме Национального комитета на Арбате, о многом поговорили, сказали нашим советским друзьям «до свидания», хотя не очень верили, что свидание состоится: ведь наша родина была далеко, на расстоянии двух тысяч километров. Невольно задумавшись, все мы как-то притихли. Предстоял путь домой! А значит, и начало новой жизни!

Двухмоторный почтовый самолет доставил нас в Берлин. Вместе со мной летели патер Йозеф Кайзер, пастор Иоганнес Шредер, товарищи Леонард Гельмшротт и Матиас Клейн. Перед отъездом мы получили штатскую одежду, а мундиры сложили в один узел; кроме того, я имел при себе спальный мешок, куда упаковал бумаги – заметки, документы, рисунки, накопившиеся за последние два с половиной года.

Около 16 часов мы приземлились в Берлине-Иоганнистале. Спустя несколько минут мы уже сидели вместе с Вальтером Ульбрихтом в небольшом кабинете. Это было в субботу 8 декабря.

Во время этой сердечной встречи Вальтер Ульбрихт подтвердил то, что мне уже сообщили в Москве. Главное управление сельского и лесного хозяйства, руководимое Эдвином Гернле, уже два месяца ожидало моего приезда; в качестве одного из заместителей председателя я должен был возглавить работу в области животноводства.

Вальтер Ульбрихт предоставил нам полную свободу выбора и предложил нам свое содействие, если бы мы захотели в другом пункте Германии участвовать в восстановлении страны. Через несколько дней пастор Шредер выехал в Ноймюнстер в Шлезвиг-Гольштинии, патер Йозеф Кайзер пожелал сначала оглядеться в Берлине, а затем вернуться на свою родину – в Вестфалию.

Воскресный день мы провели, возобновляя старые контакты и завязывая новые. Мы посетили священника в католической больнице на Нидервальштрассе, с которым был знаком патер Кайзер, и там в часовне в воскресенье утром Йозеф Кайзер впервые снова на немецкой земле служил раннюю обедню. Затем мы отправились к кардиналу графу Прейсингу, к д-ру Гермесу и в дом Католического женского союза у озера Литцензее; оттуда через телефонистку на американской телефонной станции были переданы в Мюнхен мои приветы родным; так моя семья

получила первую весточку о моем благополучном возвращении.

Между Волгой и Ильмом

Начало новой жизни

Еще в Луневе я пришел к твердому решению, что буду продолжать свою деятельность на пользу миролюбивой Германии там же, где я ее начал: в одном ряду с друзьями из Национального комитета, с марксистами и антифашистами из буржуазной среды, вместе со всеми, кто готов идти по новому пути.

Начало новой жизни и возвращение на родину – одно от другого было неотделимо; ведь все эти годы надежды на лучшее будущее моего народа владели мной так же, как и тревога о судьбе моей семьи, которой с лета 1944 года грозил домашний арест.

Моя семья отнеслась с сочувствием к тому, что я вступил в состав Национального комитета и решил вместе с ним бороться против фашизма, за свободную Германию. Но в последующие годы она оказалась не в состоянии понять мои дальнейшие шаги: я решил не возвращаться в Мюнхен, по собственному желанию остался здесь, в Берлине, так как не хотел отречься от всего, что усвоил и сделал после Сталинграда. Мой первый брак распался именно из-за этого непонимания нового мировосприятия, которое увлекло меня на иной путь и преобразило.

Современный труд, чувство общности с другими людьми, сознание ответственности, на меня возложенной, – все это придавало смысл моей жизни. Но я не мог обманываться: я вернулся домой, и все же я еще не был дома.

В здании на Рейнгардштрассе, где тогда находилось Главное управление сельского и лесного хозяйства, в числе своих сотрудников, я встретил и Ганну Клаузен. Ее жизнь сложилась так же, как у многих немок: счастливый брак, потом гибель мужа на фронте, годы бесплодного ожидания в надежде, что печальная весть окажется ошибкой, неустанные заботы о сестре и ее маленькой дочке; однако вопреки всему – ни тени уныния; Ганну Клаузен не сломило бремя тяжелого прошлого. Она с головой ушла в работу.

Понимание происшедшего, проницательность и ум позволили ей освоить новое поле деятельности; она с увлечением относилась к своему делу, была ценным сотрудником, внимательна к людям, всегда готова им помочь, используя свой богатый опыт. Она выросла в скромной семье ремесленников. Потеряв мать, она рано стала самостоятельной и успешно повышала свою профессиональную квалификацию, ибо с горячим

интересом относилась ко всему, что могло способствовать ее образованию и общему развитию.

В ее лице я встретил человека, который не только сочувствовал моему стремлению начать новую жизнь, но и был готов идти со мной по этому пути. Через несколько лет мой первый брак был расторгнут; убедившись за эти годы в прочности наших чувств, мы в 1954 году поженились и создали новый семейный очаг.

Именно она всячески старалась наладить отношения между мной и моими детьми и родственниками, которые первоначально относились к моей эволюции сдержанно и не без предвзятости.

И вот сегодня я сижу поздно вечером в нашем доме – как это часто бывает – и продумываю все пережитое за последнее десятилетие.

Раздается тихий звон часов в стиле бидермейер{88}; на бой их откликаются другие старинные часы, которые я вернул к жизни здесь, в этом доме. Когда я поднимаю глаза, мой взор привлекают призрачные очертания корабельных снастей на стене, я предаюсь мечтам о неделях отпуска на взморье. На полке рядом с письменным столом лежат театральные программы, которые моя жена собирает начиная с драматического 1945 года. Вспоминаются наши с нею впечатления, споры у нас дома и на встречах с актерами и художниками. И снова я гляжу на акварель, на мою работу, исполненную в летние месяцы.

{88}Стиль бидермейер господствовал в 1819-1850 годы в Германии и Австрии.

За стеной слышен стук пишущей машинки. Вероятно, моя жена еще работает над корректурой или разбирает неотложную корреспонденцию, поступившую на наше имя; там, за стеной ее владения, – мир ценных для нас книг, художественной литературы, которая является очень важным элементом нашей жизни, ведь мои книги преимущественно посвящены общественно-политическим и историческим проблемам.

Мои мысли обращены к прошлому, к пережитому, к продуманному, и в памяти возникает декабрь 1945 года, когда на Рейнгардтштрассе я сидел в кабинете Эдвина Гернле, который тогда сразу уделил много времени долгому и обстоятельному разговору о моей будущей деятельности. Речь шла об аграрной реформе, которую все ощутимее саботировали политические противники, о мерах по обеспечению населения продовольствием, о восстановлении здорового поголовья; важнейшая задача заключалась в том, чтобы взять инициативу и власть в свои руки, настоять на своем во взаимоотношениях с упорствующими собственниками в землях{89}, потому что, только действуя в

масштабе всей зоны, можно было достигнуть успеха. Гернле снова проявил присущие ему качества, свою способность точно определить, за какую первостепенную задачу надо взяться, выделив ее среди других, тоже важных задач, для решения которых, однако, еще нет достаточных предпосылок. Он блестяще справлялся с практической работой вопреки сложившемуся у нас в Луневе впечатлению, что он главным образом крупный аграрник-теоретик. Совершенно так же, как в Луневе, он живо откликался на замечания и предложения собеседника, побуждая к дальнейшим размышлениям. Беседы с ним были интересными и плодотворными, они будили мысль, Гернле стремился, чтобы люди проявляли самостоятельность, смело выдвигали новые идеи. С самого начала мне стало ясно, что создается такая обстановка, которая будет стимулировать нашу совместную работу.

Когда была провозглашена земельная реформа, я сразу предложил, чтобы в одну из первых же моих поездок по стране я посетил – как только это окажется удобным – Кампель, то имение, где некогда властвовала княгиня Блюхер и где позорно провалились мои первые планы земельной реформы. Хорошо бы увидеть на месте, какие в Кампеле теперь наступили перемены. Для меня эти перемены имели бы символическое значение, по ним можно судить о направлении нашего пути.

– Да, да, – отвечали мне, – но поезжайте также в те деревни, где возникли и все еще существуют трудности при проведении земельной реформы…

– Там, очевидно, засела клика юнкеров, остался бывший бургомистр или кулаки. Быть может – я считаю это вполне вероятным, – сопротивление поощряется откуда-то извне…

– Да, но не только в этом дело. Иной раз сельскохозяйственные рабочие сначала отказывались поделить между собой земельные угодья юнкеров, но и там теперь проведена земельная реформа, через полгода люди станут сознательнее, а потом двинутся еще дальше вперед, через год, через пять лет.

То, что мне рассказали, не явилось для меня неожиданностью. Наша работа на фронте, в лагерях по приему военнопленных имела тот же характер, и тогда тоже не следовало предаваться иллюзиям. Во время нашего последнего разговора в Луневе Эрих Вайнерт сказал мне: «Самая трудная работа нам еще предстоит, работа на родине». Эта работа требовала от нас, кроме ясности мысли, еще и терпения, силы убеждения и постоянной готовности сгруппировать людей на правильных позициях.

Объезжая деревни, мы познакомились с Гертрудой Хаберсаатс

и с Лизль Хулькс, с Феликсом Янушем, с крестьянином из Краске, могли мы, пожалуй, встретить и Вуншгетройя – всех тех людей, с которыми я позднее снова встретился в произведениях писателей Хельмута Заковски, Бенно Фелькнера, Юрия Брезаня, Эрвина Штриттматера.

Мы вели борьбу повсюду, в каждом хозяйстве, за пресечение бешенства, ящура, против распространения эпизоотии. Приходилось иной раз и стукнуть кулаком по столу на заседании, когда текущие потребности противопоставлялись требованиям, обеспечивающим будущее, когда раздавались призывы «поделить также сельскохозяйственные опытные имения и конные заводы». Во имя будущего необходимо было решительно сказать: нет, нам нужны опытные селекционные станции немецкой аграрной науки, нам нужны Думмерсторф, остров Риме, нам снова понадобятся пастбищные угодья наших конных заводов в Нойштадте, в Градице, в Фердинандсхофе и Редефине. Нелегко было людям это понять в такое время, когда каждый клочок земли, даже зеленые насаждения в городах, нужно было использовать, чтобы снабжать население продовольствием. В ту пору многим казалось, что план работы тягловой силы важнее плана работ по разведению племенных пород. Однако достаточно было взглянуть на диаграммы, сделанные у нас в Главном управлении на основе первых статистических данных, чтобы понять, в какой степени необходимо, трезво оценивая тяжкие заботы и нужды сегодняшнего дня, не забывать о завтрашнем дне: высокая колонка отражала наличие тягловой силы, быков и коров, рядом уже значительно скромнее – графическое изображение численности лошадей и потом уже совсем маленький столбик – число технических агрегатов, включая и немногие отремонтированные паровые плуги.

Незабываемые времена! Они заложили фундамент для всего того, что стало реальностью. В те времена был предопределен масштаб наших огромных успехов. В сельском хозяйстве двадцать лет – небольшой срок, ведь это только двадцать урожаев. Кто из крестьян решится сказать, что он как земледелец использовал каждый из этих двадцати урожаев так эффективно, чтобы суметь благодаря накопленному собственному опыту с каждым разом добиваться все больших успехов? Никто этого не скажет, не погрешив против правды.

Как же избегнуть возможных потерь от недостаточной продуктивности сельского хозяйства? Только объединив воедино опыт многих людей! Совместное планирование, обмен опытом, который учитывает и ошибки и достижения, живой интерес к науке – все это залог успеха. Мы понимаем, что в итоге каждого

года мы не только получаем новые материальные ценности – урожай, но множится богатство духовных ценностей в результате трудовой деятельности в различных специальных отраслях: ведь растут и созревают не только плоды земли, но и люди.

В Главном управлении сельского хозяйства, а позднее в Германской экономической комиссии, в состав которой я входил в качестве заместителя председателя, рядом с нами работали молодые сотрудники, которые по ночам с ожесточением наверстывали упущенное, восполняли то, чего были лишены из-за войны, или ограничений доступа к образованию, либо из-за пребывания в концлагерях; рядом с нами трудились пожилые, опытные товарищи по профессии, но и им нужно было приобрести новые знания. Тогда-то и началась пора учения; она никогда не заканчивалась, ведь и в настоящее время тяга к знаниям и к повышению квалификации широко распространена в ГДР; многие уже не сознают, что это существенная черта человека в стране социализма. Естественное явление, иначе и быть не могло.

В те трудные годы восстановительного периода на меня особенно глубокое впечатление произвело, как держались буржуазные ученые. Они пришли к нам, один – ради своей науки, другой, так как инстинктивно чувствовал, что после уроков фашизма уже невозможно оставаться в стороне от жизни общества; некоторые сделали свой выбор под сильным впечатлением от первых недель после капитуляции. Так, наш сотрудник, прибывший из Мюнхеберга, однажды взволнованно рассказывал:

«Не только дворец Сан-суси спасли от бессмысленного уничтожения, но и наш институт. Справа и слева мимо нас двигались воинские части, но даже все оконные стекла остались целы; мы могли сразу же возобновить работу по выращиванию виноградных лоз, не поддающихся заражению филлоксерой».

Среди тех, кто к нам тогда примкнул, был деятель науки, который навсегда остался для меня образцом, с него надо брать пример; я имею в виду профессора Митчерлиха, выдающегося ученого в области почвоведения. В конце войны, в самое бедственное время, он с женой, ребенком и многими сотрудниками приехал с востока в поисках новой родины. Не теряя времени, он энергично принялся за дело: ему нужно было предоставить своим сотрудникам возможность снова заниматься своей профессией и дать им средства к существованию. Важнейшая задача заключалась в том, чтобы на втором этапе своей жизни вновь развернуть научную исследовательскую работу, широко известную и за пределами Германии. Он получил

из отчужденных земель имение в Паулиненауэ и приступил там к опытам, которые он потом продолжил в Институте по агрокультуре при Германской Академии сельскохозяйственных наук. То, что теперь делают сельскохозяйственные производственные кооперативы, чтобы улучшить плодородность почвы, опирается прежде всего на труд всей жизни этого ученого. В те месяцы профессор Митчерлих думал лишь об одном: он старался энергично вести работу, строить, давать советы, восстановить с советскими специалистами тесные связи, которые были и до войны. Эта сторона его деятельности требует столь же высокой оценки, как и его заслуги в повышении урожайности нашего сельского хозяйства.

Борьба за идейную ясность

Однако я нарисовал бы неверную картину того времени, если бы умолчал о деятельности других, не имевших ничего общего с такими людьми, как профессор Митчерлих в Паулиненауэ, профессор Мюссемейр в Берлине (он был, как и я, членом ХДС), профессор Штуббе в Гетерслебене, профессор Бекер в Кведлинбурге и мой друг профессор Гоффман в Йене. Совсем других людей можно было встретить всюду, в научных институтах и в деревнях, в рядах партий, а также у нас в Главном управлении. Там оказался бывший чиновник министерства, который установил нелегальный контакт с англичанами и американцами. Был и такой сотрудник, который до обеда вел переговоры в Карлсхорсте с представителями Советской военной администрации, а после обеда подробнейшим образом информировал об этих переговорах американского офицера связи в Целендорфе. Некоторые лица были субъективно честными противниками Гитлера, но они не понимали, в чем корни фашизма; они ждали спасения от «улучшенной Веймарской республики», это не требовало отказа от враждебного отношения к коммунизму. Кое-кто выдавал себя за участника Сопротивления и под этой личиной прятал свое нацистское прошлое. Нашлись и такие, которые пробрались во вновь созданные демократические партии и пытались дезориентировать членов партий и дезорганизовать работу. Они стремились подорвать доверие между партиями, готовность к сотрудничеству между ними, созревшее понимание необходимости такого сотрудничества.

С одним из таких деятелей я познакомился еще до того, как начал работать в Главном управлении сельского и лесного хозяйства. На другой день после моего возвращения из Москвы, когда мы вместе с патером Йозефом Кайзером побывали у знакомых в западных секторах Берлина, мы посетили также Андреаса Гермеса, который, как мы узнали, был 26 июня 1945

года избран председателем ХДС в советской оккупационной зоне.

Вероятно, по мнению Гермеса, один из «офицеров Паулюса» – как он меня называл – мог оказаться и опасным посланцем коммунистического Востока, но католического патера он не решился просто-напросто причислить к такой категории людей. Поэтому мы сначала беседовали оживленно, свободно, в дружелюбном тоне. Гермес не скрывал, что не согласен с земельной реформой. Он считал, что она имеет слишком революционный характер, проводится необдуманно и, конечно, не специалистами, а некими функционерами, преимущественно из КПГ, и они, разумеется, хотят насильно установить у нас советские порядки. Да и вообще ни в коем случае нельзя расчленять крупные сельскохозяйственные предприятия, это вызовет хаос в снабжении продовольствием. Он хотел знать, что мы думаем по этому поводу.

– А вы что же, согласились или обязались в Национальном комитете проводить определенную линию в области аграрной политики?

Смысл этих слов был мне ясен, так что у меня пропало всякое желание обсуждать с Гермесом задачи, которые предстоит решать на новом поприще моей деятельности. Я ограничился замечанием, что, по моим наблюдениям, советские органы, как правило, хорошо осведомлены об обстановке в Германии. Но самое важное, добавил я, – выполнять решения Потсдамской конференции.

– Да, да, – услышал я в ответ, – это весьма поучительно. Но вам непременно надо установить связи с руководителями аграрного отдела ХДС господином Гуммелем, с графом Шметтау и с господином фон Цитцевиц-Муттрином. Они, конечно, дадут вам ценные указания. Вам нужно хорошо разобраться в положении, сложившемся в Германии; да к тому же ведь вы баварец и не знакомы с условиями, существующими здесь, в Пруссии.

Во время этой встречи 8 декабря Гермес скрыл от меня, что члены ХДС не согласны с позицией, занятой им и д-ром Шрейбером. Земельные объединения и многочисленные местные группы выразили публичный протест против его отношения к аграрной реформе и к новоселам и заставили Главное управление ХДС отозвать Гермеса и Шрейбера с занимаемых ими постов. Таким образом, организованный некоторыми правыми деятелями в руководстве партии ХДС саботаж аграрной реформы не удался, ему оказали сопротивление.

Встречи с Отто Нушке

В эти дни – пожалуй, это было еще до рождества – я

познакомился с Отто Нушке, тогдашним руководителем издательства «Нейце цайт». Для меня Отто Нушке был опорой в напряженной обстановке, какая царила тогда в здании ХДС на Егерштрассе.

Примечательны были в Нушке его доброта, вдумчивый, почти созерцательно-уравновешенный характер, и особенно располагали к нему его открытый, спокойный взгляд и та четкость, с которой он ясно и честно выражал свое мнение. Именно с такими людьми мне всегда хотелось сотрудничать.

Двенадцатого февраля 1946 года я вступил в ХДС; я старался почаще беседовать с Отто Нушке, и таким образом я в дружественной обстановке сблизился с политиком, который имел большой опыт парламентской деятельности. Как все его слушатели, в том числе даже его противники, я неизменно восхищался его находчивостью, мастерством и юмором во время дискуссий, причем можно было заметить, какое ему самому доставляет удовольствие то, что он подыскал отшлифованную формулировку или обронил острое словцо. Именно Нушке выдвинул лозунг Христианско-демократического союза: Ex Oriente – pax! {90} Нушке сформулировал этот лозунг на раннем этапе существования партии, когда он, выступая на большом собрании, дал волю своему таланту к импровизации. Он возглавил тех, кто повел Христианско-демократический союз по ясному пути дружественного и построенного на доверии сотрудничества с Социалистической единой партией Германии и другими партиями.

Это был ясный путь к миру и социализму. Никто не «сделал» Нушке отцом и учителем ХДС, он сам стал им благодаря своей политической деятельности и влиянию на своих сторонников В конце 1947 года вокруг Нушке сгруппировались прогрессивные члены Главного управления ХДС и земельных объединений, среди них были Август Бах в Тюрингии, Геральд Геттинг в Саксонии-Ангальт, д-р Рейнгольд Лобеданц в Мекленбурге, пастор Людвиг Кирш в Саксонии, Ганс Пауль Гантер-Гильманс в Бранденбурге и д-р Герхардт Десчик в Берлине. Между тем Якоб Кайзер, Эрнст Леммер и д-р Фриденсбург снова попытались повернуть вспять или приостановить процесс общественного развития в тогдашней советской оккупационной зоне, процесс, который был исторически обусловлен и необходим с национальной точки зрения; они пытались взорвать антифашистско-демократический единый фронт. Эти реакционные политики рассчитывали достигнуть своих целей либо вводя в заблуждение своими политическими концепциями «наведения мостов между Востоком и Западом» или лозунгами «христианского социализма», либо

создавая ложные мировоззренческие альтернативы, например «христианство или марксизм», либо, наконец, открыто выдвигая реакционные требования. В это время началась холодная война. Таким образом, политический кризис в ХДС находился в непосредственной связи с глобальной стратегией империалистов, а стратегия того времени отличалась от современной лишь своими методами, но – как свидетельствует сопоставление с прошлым – она не отличалась от современной характером лозунгов, которые тайно распространялись или настойчиво провозглашались.

Кризис в ХДС достиг высшей точки, когда в результате интриг Кайзера и Леммера была предпринята попытка саботировать первый германский Народный конгресс единства и справедливого мира. Члены ХДС решительно отвергли такое решение. Мы приняли участие в Народном конгрессе, высказались во время дискуссии по жизненным вопросам нашего народа, избрали делегатов, в том числе Отто Нушке и д-ра Рейнгольда Лобеданца: они должны были представлять интересы нашего народа на конференции министров иностранных дел в Лондоне. В какой мере реакция переоценивала свои силы в рядах ХДС, обнаружилось, когда я выступил в поддержку движения за Народный конгресс, тогда реакционеры попытались исключить меня из ХДС. Но дело не дошло даже до обсуждения такого требования, потому что инициаторы этой затеи перебежали к своим подстрекателям и покровителям после того, как Кайзер, Леммер, Фриденсбург и другие реакционеры лишились своих постов в партии. На проведенном в соответствии с уставом 3-м съезде ХДС в сентябре 1948 года Нушке был избран председателем ХДС.

Тем временем движение за Народный конгресс – позднее на его основе сформировался Национальный фронт демократической Германии – превратилось в мощную акцию, объединявшую всех честных немцев и опиравшуюся на восемь миллионов граждан, о чем свидетельствовал исход выборов на 3-й германский Народный конгресс в мае 1949 года. Этот конгресс состоялся через три недели после принятия боннской конституции Парламентским советом, а в сентябре уже образовалось западногерманское сепаратное государство; 3-й Народный конгресс утвердил разработанный германским Народным советом проект Конституции Германской Демократической Республики. 7 октября 1949 года Народный совет был преобразован во временную Народную палату, принял Конституцию и объявил о создании немецкого миролюбивого государства – Германской Демократической Республики. 10

октября генерал армии Чуйков передал Временному правительству выполнение всех функций, которые прежде, согласно Потсдамскому соглашению, входили в компетенцию Советской военной администрации. Тогда и я был среди тех, кто с величайшим волнением участвовал в этом торжественном акте, и мы стояли на том самом месте, где 8 мая 1945 года разбитые фашистские генералы вермахта подписали акт о капитуляции.

Одиннадцатого октября 1949 года на совместном заседании Временной Народной палаты и временных земельных палат избранный тогда президент Вильгельм Пик дал оценку происшедших событий в своей проникновенной речи.

«Мы можем с удовлетворением констатировать, что борьба Национального фронта, всех немцев за единство Германии и за справедливый мирный договор вступила в новую фазу благодаря образованию Германской Демократической Республики. В большей степени, чем когда-либо, мы можем с твердой надеждой на успех продолжить борьбу за наше справедливое дело. Германская Демократическая Республика не одинока. В своей борьбе за мир, единство и справедливость она может опираться на дружбу великого, могучего Советского Союза, на дружбу со всеми странами народной демократии, со всеми силами мира во всем мире».

В октябре 1949 года начался новый период в моем сотрудничестве с Отто Нушке. Мы оба стали членами правительства, Отто Нушке – в качестве заместителя председателя Совета министров, а я – в качестве министра труда и здравоохранения.

Строительство социалистического здравоохранения

Летом 1968 года я, выполняя свои служебные обязанности, в очередной раз приветствовал один из многочисленных конгрессов, происходивших в Веймаре. Находясь среди участников Германского терапевтического конгресса, я подумал: собственно говоря, на скольких конференциях и совещаниях мне пришлось участвовать после 1945 года? Сколько их было: триста, шестьсот или больше? Было их по два или по три в месяц, не считая бесед и заседаний по ходу работы?

Оглядываясь на прошедшие годы, я могу сказать, что никогда не приходилось так часто проводить конференции и совещания, как между 1949 и 1958 годами, когда я был министром здравоохранения. Такое впечатление у меня сложилось вовсе не потому, что тогда один конгресс следовал за другим, одно совещание примыкало к другому, а в силу того, что все эти конференции, совещания, заключительные беседы в больнице или на медицинском факультете да и встречи с разными людьми

неизбежно приобретали характер идейной дискуссии, борьбы за каждого отдельного человека, за его эволюцию, за принятие им верного решения.

Разумеется, новые задачи, вставшие в 1949 году, ничуть не походили на те, которые пришлось решать в 1945 году. Теперь уже незачем было добывать подковы или подковные шипы либо орудия для, прорубки лесосек в тюрингенских лесах, поврежденных короедом. Для сравнения скажу: теперь речь шла о том, чтобы наладить в нашей республике изготовление пенициллина и противотуберкулезной вакцины, о том, чтобы развернуть в наших лабораториях производство новых лекарств, которые могли бы найти сбыт на мировом рынке. Теперь задача заключалась в том, чтобы построить больше больниц и правильно их разместить по стране. На первом плане была забота о человеке, о больном, которого надо исцелить, о здоровом, которого надо уберечь от болезней, да и забота о самом враче.

Все, что в то время было достигнуто в области здравоохранения, как и во всех сферах нашей жизни: в экономике, в культуре, в науке и в школьном деле, – явилось результатом новаторства, освоения нового поля деятельности либо плодом тяжкого труда, целью которого было восполнить все, что упущено во время войны или разрушено войной. Необходимо было преодолеть вред, нанесенный народному здоровью войной и послевоенными годами, ликвидировать эпидемии, вести, прежде всего, борьбу против туберкулеза; нужно было с помощью новейших научных открытий и методов улучшить состояние здоровья всего народа и, наконец, положить предел катастрофической отсталости здравоохранения в деревне. Все это задачи одинаково важные, и каждая из них могла быть успешно решена только во взаимозависимости с решением других задач. Следовательно, нужно было построить новые клиники и санатории, развернуть сеть поликлиник и сельских амбулаторий, равномерно распределив их по всей стране; следовательно, нам нужно было иметь больше врачей, а чтобы повысить их квалификацию, требовалось создать новые медицинские институты и научно-исследовательские центры. Наконец, нужно было расширить просветительную деятельность по охране здоровья, распространять сведения о том, как обеспечить здоровый образ жизни и предупредить заболевания. При этом, мы стремились по возможности избегнуть временных мероприятий и строить свои планы, ориентируясь на будущее.

Мы анализировали опыт первого социалистического государства, где дело охраны здоровья в своей классической форме находилось на самом высоком уровне. Руководящие

работники Министерства здравоохранения неоднократно ездили в Советский Союз – в 1953 году я пробыл пять недель в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике; мы изучали методы работы наших советских коллег, составляли план дальнейшего обмена делегациями по изучению опыта, договаривались о том, как в будущем разворачивать научное сотрудничество.

Знания и практический опыт, который мы получали во время этих поездок, мы должны были применить и реализовать в наших условиях. Эта задача требовала мобилизации всех наших сил. Ведь в тот период холодная война принимала с каждым годом все более острый характер; учащались диверсионные акты, а переманивание ценных специалистов превратилось в систему.

Участвуя в конгрессах, совещаниях и во время встреч в клиниках, амбулаториях и институтах я познакомился со многими людьми, с самыми выдающимися деятелями медицины: профессорами Бругшем, Шоинертом, Ибрахимом, Качем, Цеткипым и Фридрихом, с врачами в землях и с медицинскими сестрами, а также с рабочими, которые в качестве профсоюзных функционеров несли ответственность за охрану здоровья. Никогда не забуду и тех, кто вместе с нами первыми вступили на путь обновления и новых решений. Я вспоминаю профессора Вальтера Фридриха, который в 1950 году во время острейших идеологических столкновений поддержал движение за мир своим научным и моральным авторитетом; в 1962 году на Национальном конгрессе, обозревая пройденный путь, он следующим образом характеризовал свой приход к реальному социалистическому гуманизму:

«Когда я после окончания войны из Западной Германии переселился в Берлин, я не руководился никакими политическими соображениями. Я переехал сюда, потому что здесь относятся с необыкновенным вниманием к науке и научным исследованиям; я убедился, что здесь научные исследования и обучение в высшей школе всецело направлено на достижение гуманных целей. Исходя из этого, я в дальнейшем пришел к пониманию двух истин, которые я желал бы здесь высказать.

Силы, ориентирующиеся на войну и осуществление империалистических притязаний, неспособные вести нацию по правильному пути, неспособны также открыть перед наукой перспективы мирного развития.

Все гуманистические стремления и идеи, игравшие роль в германской истории и присущие науке, могут получить дальнейшее осуществление и развитие только там, где интересы народа, где стремление к миру и социализму стало официальной

государственной политикой, а именно здесь, в Германской Демократической Республике».

Многие поступали так же, как поступил профессор Фридрих, то, что понял он, поняли многие. Наша совместная работа привела к наглядным, убедительным результатам: распространение туберкулеза приостановлено, смертность новорожденных сократилась, было создано 30 новых клиник и исследовательских учреждений, четыре новых медицинских института. Из года в год Народная палата уделяла четверть государственного бюджета для развития социалистического здравоохранения и социального обеспечения. Благодаря всеобщей помощи и содействию были подготовлены и приняты первые законодательные акты, относившиеся к нашей сфере: закон о труде и закон об охране материнства и младенчества.

Теперь, проезжая по сельским местностям, мы не только убеждаемся, что там, где были жалкие хижины сельскохозяйственных рабочих, теперь возникли чистые, обжитые усадьбы, что исчезли сельские школы с одной классной комнатой и что мелкие земельные участки слились в обширные угодья сельскохозяйственных кооперативов; теперь повсюду новые сельские амбулатории и медицинские пункты, и мы убеждаемся, что преодолено наследие прошлого, что и в области здравоохранения ликвидирована существовавшая сотни лет отсталость деревни.

В городе на Ильме

Веселое и красочное зрелище представляет рыночная площадь перед веймарской ратушей в базарные дни: по прямой линии как по ниточке вытянулись ряды ларьков, их полотняные крыши пестрят разноцветными, красно-белыми и бело-голубыми полосами, а на прилавках – все богатство ярких летних красок, все, чем могут одарить поля и сады; вспыхивают на солнце красным цветом помидоры, зеленеют огурцы, отливают светлой желтизной ранние яблоки и груши, и всюду цветы – сплошной цветник. В послеобеденные часы, когда уже разобраны палатки, исчезает вся эта красота. Уже нет вытянутых по ниточке рядов, ящики нагромождены один на другой или разбросаны в беспорядке, всюду клочки бумаги, овощные отбросы. За несколько часов площадь приведут в полный порядок-это все знают. Но пока это еще не сделано, площадь – малоподходящее место для приема почетного и желанного гостя, а им был генерал в отставке Тюльпанов. Мы с ним встречались еще в Национальном комитете, потом он работал в Советской военной администрации в Берлине-Карлсхорсте, теперь же он снова профессор в Ленинграде.

Как же быть? Он стоял на площади, очевидно, со своей

женой; я быстро сбежал вниз, чтобы пригласить гостей в дом. Но мы не ограничились крепким рукопожатием на площади, не убранной по окончании базарного дня. Завязалась оживленная беседа. Тюльпанов не был в Веймаре несколько лет, он заметил, что кое-где еще остались незастроенные участки, правда, теперь на них разбиты скверы, много цветов и высятся мачты с флагами. Посыпались вопросы за вопросами, мы разговаривали громко и весело, и нашим голосам вторили эхом стены ратуши и дома Луки Кранаха{91}.

Несколькими днями раньше я приветствовал гостя из Одессы Нойдорфа, бывшего старшего лейтенанта; потом приехал из Москвы профессор Брагинский. Весной меня посетил Корольков, председатель Общества охотников СССР. Это была встреча со старым другом. С 1945 по 1948 год, три года подряд, мы виделись чуть ли не каждую неделю, чтобы обсуждать вопросы, связанные с моей работой, я всегда был уверен, что могу рассчитывать на его поддержку, шла ли речь о том, чтобы он мне помог продвинуть вне очереди важное мероприятие, или о том, чтобы для работ по лесопосадкам нам «одолжили» советский гусеничный трактор. Не удивительно, что мы во время поездки в Эрфурт предавались воспоминаниям о первых трудных временах строительства… о том, как я объезжал отдельные земли, чтобы собрать чистосортные семена, которые мы хотели обменять на племенной скот из западных зон (это была одна из немногих почти легальных обменных операций того времени)… о том, как я повздорил с крестьянами в Кальтеннордхейме, которые нарочно привели на выставку достижений не самую лучшую корову, так как опасались, что тут же на месте будут повышены нормы поставок молока… о том, как после ухода специалиста, унесшего с собой новейшие культуры вакцин, мы спешно изготовляли сыворотку против ящура и добились к 1948 году, что свирепствовавшая в Западной Германии эпизоотия не распространилась на нашу территорию.

И вот теперь мы осматривали огромную площадку выставки, сиявшей всем великолепием ранней весны. Садоводство и семеноводческое дело в сельскохозяйственных кооперативах, в народных имениях, предприятиях с участием государства, то есть в организациях любой формы собственности, достигли такого высокого уровня развития, о каком можно только мечтать, откровенно признал Корольков. Но его интересовали не только экспонаты, плоды продуманной системы растениеводства; еще больше привлекали его люди, новое поколение молодых специалистов, получивших образование в наших школах; в своей работе они разумно сочетали опыт старых агрономов с

достижениями современной науки.

– Да! Стоило потрудиться тогда.

В такой форме Корольков подытожил свои мысли. «Тогда» в его устах имело всеобъемлющий смысл, подразумевалось многое: борьба за каждого человека, борьба против недоверия, предрассудков, малодушия, против враждебных происков противников; борьба с собственным внутренним сопротивлением, когда нужно было постоянно делать различие между фашистами и немцами; когда пришлось отказаться от того, чтобы сразу принять непосредственное участие в восстановлении своей родины да и на долгие годы разлучиться с семьей.

В Веймаре ежегодно бывают сотни тысяч гостей, люди со всех континентов, с Востока и Запада. Ученые и писатели встречаются здесь на конгрессах; музыканты и преподаватели высшей школы – на международных семинарах по поднятию квалификации; туристы посещают богатые традициями очаги немецкой культуры в пору былого расцвета; но все они знакомятся и с новым Веймаром, со строительством социалистического города; в этом городе я занимал пост обер-бургомистра с 1960 по 1969 год.

Кто только не побывал тогда в моем рабочем кабинете: американский профессор-германист, приехавший из США со своими студентами; молодые французы из департамента Норд; все они задавали вопросы, прислушивались и посматривали по сторонам. Я заметил, что внимание посетителей привлекали старинные гравюры на стенах нашей комнаты, а также серебряный рельеф с видом старой Москвы: приобрел я его в антикварном магазине в советской столице.

– Да, – говорил я, – эта гравюра, изображающая домик в саду Гете, сейчас особенная редкость, так как клише погибло при пожаре в Берлине в 1945 году. А эти географические карты графства Геннеберг, Северной Африки и Японии относятся к XVI и XVIII векам. Средневековые карты чрезвычайно интересны с историко-культурной точки зрения: север вы видите не наверху, как вы привыкли видеть на современных картах, поэтому и трудно в этой карте разобраться, требуется другой ориентир…

Молодой американский студент разглядывал эту карту, где направление с севера на юг указано иначе, чем это принято сегодня; потом он снова взглянул на меня. Видимо, он обдумывал мои слова о том, что «требуется другой ориентир…». Все, что он здесь увидел и услышал, резко отличалось от того, что он узнал и слышал у себя на родине о нашей социалистической республике; он был явно озадачен, даже встревожен.

Как много людей испытало такое же чувство! Знакомство с Веймаром заставило многих преодолеть неприязнь к коммунизму,

постараться лучше понять, что в действительности представляет собой дотоле неизвестный и оклеветанный мир социализма. С такой точки зрения знакомство с Веймаром было, пожалуй, более плодотворно, чем с любым другим немецким городом! Здесь, в этом городе, в его научных центрах, накопивших огромный исторический опыт, хранится и обогащается гуманистическое наследие, ставшее всеобщим достоянием, общей собственностью; здесь наши обязательства перед прошлым слились воедино с теми, символом которых является памятник на горе Эттерсберг с запечатленной бухенвальдской клятвой – призывом бороться против фашизма и войны, за мир и дружбу народов. Все, что здесь, в Веймаре, предстает перед посетителем, находится в тесной, нерасторжимой связи с путями, пройденными нашим народом за несколько веков до наших дней, до современных великих свершений, когда в результате коллективных усилий наше отечество стало оплотом мира и социализма. В этом наш город видит свою национальную и интернациональную миссию; радостно сознавать, что мы внесли свой вклад в решение такой задачи.

Каждый год мне приходилось участвовать в бесчисленных беседах на конференциях, на заседаниях, на семинарах и в мастерских; они поистине бесчисленны; но время от времени происходили особенно важные и памятные для меня встречи, ибо они заставляли меня снова оглядываться на пройденный путь; это был путь человека, который в 1918 году сказал: «Никогда больше», а потом забыл свои слова, постарался вытеснить из своего сознания эти такие важные для него тогда слова; затем тот же человек второй раз сказал: «Никогда больше» – и на этот раз остался верен своему решению; он неуклонно шел по той дороге, которая не только дала возможность осуществить на деле одному человеку лозунг: «Никогда больше», но и превратила этот лозунг в решение народа, в политику государства. Я прошел этот путь к социализму как христианин, плечом к плечу с моими единоверцами и со своими друзьями атеистами.

Эти двадцать пять лет, имевшие решающее значение для нашего будущего, эти годы плодотворной творческой деятельности оживают в моей памяти во всем своем многообразии, когда я встречаюсь с немецкими или советскими боевыми товарищами по Национальному комитету. И столь же живо предстало прошлое перед моим умственным взором, когда несколько лет назад Веймар посетил председатель Городского совета героического Волгограда. Тогда я сопровождал своего друга Дынкина в поездке в Бухенвальд, как, впрочем, и многих других гостей нашего города. В поездке участвовала в качестве

переводчицы одна молодая женщина; только потом мы узнали, что она в детстве потеряла родителей: вместе со всей ее семьей они погибли в фашистских камерах пыток.

Никто из нас и не подозревал, каких усилий ей стоило переводить объяснения гида перед газовыми печами.

Все мы были подавлены, потрясены и взволнованны после осмотра Бухенвальда. Нам хотелось хоть немного прийти в себя. Поэтому мы пошли пешком от памятников Эрнсту Тельману и Рудольфу Брейтшейду к Бухенвальдскому мемориалу.

И вот мы внутри башни, в огромном зале, своды которого, казалось, уходят ввысь, в беспредельность. Мерно и гулко гудит колокол. Взгляд каждого устремлен на гигантскую медную чашу с землей, собранной со всех концентрационных лагерей. Перед нами – символ истекающей и все же не сломленной Европы, символическое напоминание о ненарушимых обязательствах, воплощенных в бухенвальдской клятве.

Кто-то тихо, нерешительно задает вопрос. Один, другой. Потом снова наступает тишина. Меня просят сказать несколько слов. Переводчики переводят, каждый своей группе. Молодая переводчица, стоящая рядом со мной, та, что сначала не в состоянии была слова вымолвить, преодолевает свое волнение, делает усилие и замирающим голосом повторяет по-русски все сказанное мною.

Каждое слово дается ей с трудом. Это замечает и наш друг волжанин; он понимает, какое это для нее потрясение, и берет ее под руку, чтобы она могла на него опереться.

И она продолжает переводить, исполняет свой долг до конца. Затем лицо ее начинает подергиваться, она дрожит, едва сдерживает подступающие слезы.

Мне чудится, будто сейчас это хрупкое создание мысленно проходит мученический путь, пройденный ее отцом, матерью, братьями, сестрами, друзьями и родными, безымянными жертвами и жертвами, поименованными в списках: она идет сквозь ворота и коридоры, где сердце сжимается от страха, ступает по каменным плитам и брусчатому настилу, вновь и вновь попадает на площадь, где происходила перекличка обреченных узников, где земля пропахла людским потом и кровью, она идет дальше, пока не настает то мгновение, когда нужно силой воли разорвать колючую проволоку, преодолеть муки душевного смятения и невыносимый ужас одиночества, выдержать до конца последние страшные испытания сохраняя мужество и не теряя присутствия духа во имя собственного человеческого достоинства и во имя всего, что придавало силы в безысходной борьбе.

Так и стоит молча, эта молодая женщина среди нас в тишине, нарушаемой лишь шелестом листвы венков, шелестом цветов, возлагаемых в мемориале. Когда же она снова начинает переводить, преодолев словом и речью волнение, преданная долгу, сознавая свою ответственность, она вновь становится посредницей в передаче важных мыслей и глубоких чувств… Но вот раскрылись медные врата, как бы даруя людям освобождение, солнечный свет, свежий воздух и жизнь.

Мы смотрели вдаль, прислушиваясь к призыву и предостережению, только что прозвучавшим в бухенвальдском набате. В наступившей тишине кто-то произнес слова Иоганнеса Р. Бехера: «Поэтому родина подлинно прекрасна только там, где человек создал порядок, достойный человека».

Там, между холмами, в легкой дымке над долиной Ильма, раскинулся город, где люди заново пишут историю, созидая и новый Веймар.

Приложения{92}

Письмо кардиналу Фаульхаберу

В октябре 1943 года я обратился к архиепископу Мюнхенскому кардиналу Михаэлю Фаульхаберу со следующим письмом:

К концу четвертого года войны наше любимое немецкое отечество неотвратимо приближается к национальной катастрофе. Это последний результат самонадеянного внутри– и внешнеполитического государственного руководства Адольфа Гитлера. Поэтому не удивительно – хотя и необычно, – что немецкие солдаты из всех слоев нашего народа, которые в качестве военнопленных, главным образом из сталинградской армии, находятся здесь, в России, объединились, чтобы ради спасения рейха отважиться на все.

При этом они объединились с теми мужчинами и женщинами, которые в силу суровой судьбы из-за честных политических убеждений уже много лет назад вынуждены были покинуть Германию в качестве эмигрантов.

Здесь, в СССР, возникло движение «Свободная Германия», оформившееся как Национальный комитет «Свободная Германия», к нему присоединился Союз немецких офицеров, во главе которого стоят выдающиеся немецкие генералы.

Так возник фронт, объединяющий от правых до левых, единый в намерении спасти наш народ. Образовался фронт, где не спрашивают ни о вероисповедании одних, ни о политических убеждениях других и который объединен одной общей целью: все для свободной, демократической Германии – все для мира между всеми народами!

При этом как солдаты-католики, так и евангелисты и о глубокому внутреннему убеждению присоединились к движению и теперь делают все для того, чтобы привести силы христианского лагеря к достижению общей цели. Этот решающий шаг не в последнюю очередь облегчается тем фактом, что русское государство и русский народ предстали перед нами в совершенно ином свете, чем пыталась представить их немецкая пропаганда, особенно в последние годы и во время войны.

С одной стороны, мне известно стремление церкви выяснить все вопросы, касающиеся восточной церкви, которое, несмотря на определенные политические взгляды различных правительств по отношению к большевизму в прежние годы, традиционно поддерживалось церковными учреждениями. С другой стороны, здесь, в СССР, церковное движение среди нас, христиан,

усилилось и мы встретили объективное понимание всего, что связано с этим. В такой же степени проявляется понимание того факта, что широкие круги немецкого народа по глубокому внутреннему убеждению являются христианами и стараются решать все жизненные вопросы исходя из христианской морали. В той же мере здешние авторитетные учреждения признают, с какой неуклонной объективностью и духовной свободой немецкий христианин противостоит атеисту, не говоря уже о том, что из различия убеждений, которое существует между христианством и атеизмом, никогда не выводилась необходимость отношений вражды и нетерпимости, не говоря уже об оправдании физических методов борьбы.

Здесь полностью отдается должное явно отрицательному отношению немецких церковных кругов к национал-социалистскому решению расовой проблемы. Авторитетные высказывания высшего католического и евангелического духовенства и руководителей церкви воспринимаются здесь всегда с глубоким уважением именно потому, что, несмотря на грозящую со стороны органов национал-социалистской партии опасность, они совершенно открыто направлены против заблуждений национал-социалистского «мировоззрения». В этой связи я укажу на примечательное положение из книги Академии наук СССР «Против фашистского мракобесия и демагогии», выпущенной Государственным социально-экономическим издательством в Москве в 1936 году, где говорится, что демагогии национал-социалистов противостоят имеющие единую точку зрения церкви и что особенно католицизм борется против нее, то открыто, то тайно, иногда с неоспоримой смелостью; именно он воспрепятствовал распространению гитлеровской «национальной религии».

Ваше Высокопреосвященство поймет теперь, почему для нас, для меня и многих так же думающих офицеров и солдат, стремление освободить Германию от Гитлера путем активного участия в движении «Свободная Германия» было само собой разумеющимся. При этом тяжелая внутренняя борьба по вопросам присяги и права действовать самостоятельно, которую пришлось испытать каждому из нас как военнопленному, прежде чем он пришел к свободному решению о сотрудничестве, только подтверждает серьезность наших намерений.

Я полностью убедился, что заявления маршала Сталина о военных целях России являются программой, что русский народ и его государственные деятели проводят явное различие между немецким народом и Адольфом Гитлером с его правительством. Этому будет соответствовать и позиция русского правительства во

всех вопросах подготовки мирного договора и заключения мира с Германией. Поскольку мы знаем это, мы с убеждением и решительностью участвуем в немецком освободительном движении, чтобы избавить Германию от дальнейшего роста ответственности за ведение войны и чтобы прекратить дальнейшие бессмысленные кровавые жертвы многих народов, чтобы помочь восстановить честь и авторитет Германии во всем мире и быстро добиться мира и освобождения, прежде всего Европейского континента, от последствий нацистского мировоззрения…

Для нас, военнопленных, смелое поведение многих немецких католиков и протестантов, проявивших энергию в борьбе за христианское учение, является особо важным примером.

Наконец, глубокоуважаемый господин кардинал, Вы представляетесь нам человеком, который в эти месяцы и годы глубочайшего унижения помогает немецкому народу, твердо и непоколебимо указывая ему путь.

Вот почему я позволяю себе просить Ваше Высокопреосвященство уделить как можно больше внимания немецкому освободительному движению, принять его всерьез и в надлежащее время правдивым словом пробуждать народ и рассеивать всякое сомнение в правоте нашего дела, призывая все христианские вероисповедания к совместной борьбе против нацизма, и таким образом силою Вашего слова способствовать освобождению Германии.

В этом духе и вспоминая о некоторых Ваших знаменательных беседах, которыми Вы до последнего времени удостаивали моего ныне умершего отца, и с просьбой о епископском благословении нашей работы приветствует Ваше Высокопреосвященство с глубоким уважением

Штейдле.

Аналогичные послания я направил папе Пию XII, епископам графу Прейзингу и Вильгельму Бернингу, а также другим высокопоставленным церковным деятелям.

Офицеры пишут из Елабуги

Господину полковнику Штейдле, командиру полка. В настоящее время в Москве Елабуга, 11 октября 1943 года

Глубокоуважаемый господин полковник!

Ваше письмо от 19 сентября очень обрадовало нас. Позвольте мне от имени всех товарищей сердечно поблагодарить Вас за него. Мы особенно рады потому, что господину полковнику живется относительно хорошо.

Целеустремленная и ясная позиция, в которой господин полковник заверил нас в письме и которую мы также узнали из

речи господина полковника в Москве по случаю основания Союза немецких офицеров, одних товарищей удивила, других же чрезвычайно обрадовала. Среди обрадовавшихся капитан Линдеманн, лейтенанты Урбан и Свобода, обер-лейтенант хозяйственной службы Форстер и моя скромная особа, которые уже являются членами лагерной группы «Свободная Германия» или Союза немецких офицеров. Среди тех, кто был удивлен и пока стоит в стороне, – обер-лейтенант ветеринарной службы Ренерт, Хитермейер, капитан Канеке и др.

Мы искренне радуемся тому, что Вы, господин полковник, наш испытанный в бою командир, и в упорной борьбе за будущее Германии снова стоите и боретесь на переднем крае.

Мы от всего сердца поздравляем вас с избранием вице-председателем Союза немецких офицеров{93} и желаем Вам всего хорошего и наилучших успехов в исполнении Ваших высоких обязанностей. Вместе с господином полковником мы твердо убеждены, что современное положение требует всех наших сил, чтобы в последнюю минуту спасти наш подверженный тяжелым испытаниям народ. Поэтому посвятить себя этой задаче – это наша само собой разумеющаяся обязанность.

Будучи, таким образом, связаны с господином полковником, как в прежние, так и в нынешние времена, приветствуют господина полковника и заверяют в нерушимой верности

Шпек, обер-лейтенант; Урбан Ганс, лейтенант; Свобода Флориан, лейтенант; Форстер, обер-лейтенант хозяйственной службы; Линдеманн, капитан (отдельный 849-й артиллерийский дивизион, затем III дивизион 376-го артиллерийского полка).

Крепость Сталинград – крепость Европа

Немецкий народ на родине! Через несколько недель для твоих сынов, твоих мужей, твоих братьев исполнится годовщина страшного передвижения многих дивизий 6-й армии в окружение, в массовую «могилу Сталинграда». Тогда во время этого передвижения никто из нас не имел ни малейшего представления о том, что предстояло всем нам. Все мы были убеждены, что в результате скорости переходов и сосредоточения вокруг Сталинграда огромного числа (немецких) дивизий образуется боевая сила, неодолимая для прорвавшихся на наших флангах и в тыл русских войск. Мы были убеждены, что в зимней кампании русская армия разобьется об эту боевую преграду и погибнет, если только она действительно осмелится наступать на всю окруженную 6-ю армию.

Наша вера в командование укрепилась, когда Гитлер своими приказами гарантировал окруженным, что для своевременного деблокирования будет сделано все необходимое. Деблокирование

сталинградского котла должно было положить начало огромному, решающему исходу войны – поражению русских войск, участвовавших в окружении. Твердо веря в это, каждый из нас, начиная с самого молодого солдата и кончая самым старшим офицером, приносил невероятные жертвы.

Мы попали в окружение истощенными, изнуренными. Непрерывные оборонительные бои на фронте и в солончаковой степи нашли свое ужасное продолжение. И все же мы верили и надеялись на выручку и на конечную победу, потому что Гитлер недвусмысленно обещал нам это. «Гитлер не бросит нас на произвол судьбы. Он не может бросить армию в беде, он поможет, он уже помогает». Да, так сильна была наша вера – нам на гибель!

Однако эта гибель уничтожила последнюю веру в Гитлера. Полководец Гитлер оказался лжецом, преступником. Так было в Сталинграде, этой массовой могиле для тысяч и тысяч убитых, замерзших, погибших самым жалким образом.

С тех пор одно поражение следует за другим потому, что Гитлер построил свою власть не на верности и честности, а на вероломстве и обмане. В Сталинграде это впервые сделалось совершенно ясным целой армии. Одновременно, однако, Сталинград сделался предупреждающим сигналом для всего нашего народа.

Теперь готовится еще больший, величайший в истории Сталинград: гибель не только одной армии – нет, гибель целого народа.

Но вера в Гитлера уже уничтожена.

Признаки те же, что и под Сталинградом. Название этой драмы уж дано Гитлером в его самонадеянном выражении «крепость Европа"{94}.

Эту крепость защищает истощенный, изнуренный немецкий народ, окруженный и перемешанный с миллионами порабощенных народов, которые обречены в своей крепости на подневольный труд и ждут лишь последнего толчка, чтобы стряхнуть ярмо рабства.

В эту крепость вступают не гордые, воодушевленные борьбой войска для успешной обороны. В эту крепость шаг за шагом оттесняются, отбрасываются последние обескровленные резервы с фронтов на севере, востоке, западе и юге – быстро перебрасываемые то туда, то сюда, с одного фронта на другой, плохо обученные войска, которые даже не имеют достаточно оружия, не говоря уже о боеприпасах. На востоке это отступление в крепость происходит с такой быстротой, что целые подразделения уничтожаются, десятки тысяч солдат гибнут на широких просторах России.

Каждую ночь вражеские воздушные армады уничтожают в немецкой крепости кузницы оружия и склады с запасами. Каждую ночь вражеские воздушные армии уничтожают физические и духовные ресурсы немецкого народа. Долго ли это будет продолжаться? Один-единственный человек присваивает себе право решать это: Адольф Гитлер! Как под Сталинградом! Так и вам, немецкие мужчины и женщины на родине, он опять обещает чудо, вызволение и победоносное сражение. Так обещает он и вам, что об эту «крепость Европа» разобьются и погибнут вражеские войска всего мира.

Нам давно известно, что все вы сомневаетесь в этом, что миллионы из вас уже потеряли всякую веру в Гитлера и его обещания.

Только преступник, только сумасшедший, не знающий другого выхода, может требовать от вас гибели, как тогда от нас в Сталинграде.

Извлеките же, в конце концов, урок из крепости Сталинград и действуйте, пока еще новые сотни тысяч не погибли, не замерзли или не умерли от истощения физических и духовных сил – ведь любая жертва просто бессмысленна.

Объединяйтесь для открытой борьбы против своей собственной гибели – только в этом случае вы можете предотвратить в последний час верную гибель крепости Европа.

Не ждите, как ждали мы в Сталинграде, пока разразится катастрофа.

Требуйте единодушно и открыто отставки Гитлера и его пособников.

Только так вы можете отвратить от себя лично катастрофические последствия войны и исполненный гнева совместный штурм всех народов против всей Германии.

Мы заклинаем вас, предупреждая: «крепость Европа» накануне своего падения!

(Выступление по радио в октябре 1943 года.)

Обращение к офицерам Управления VII корпусного округа

Товарищи из Управления корпусного округа Мюнхен на Шенфельдштрассе!

Товарищи из VII корпусного округа!

Объявленная мертвой, сталинградская армия жива! Я, которого многие из вас знают, имею возможность обратиться к вам лично, хотя геббельсовская пропаганда снова объявила нас мертвыми. Мы действуем свободно и совершенно независимо, никем не принуждаемые, мы боремся за спасение Германии от гибели, за освобождение нашей родины от нацизма.

Мы узнали, наконец, что в действительности происходит в

мире. Я живо вспоминаю многие наши беседы с некоторыми из вас два года назад, в декабре 1941 года. Как вы все были озабочены, какие сомнения высказывали мне – совершенно открыто! Я как раз вернулся с фронта под Москвой, где наша 7-я дивизия вела тяжелые оборонительные бои. У вас самих было немало сомнений и опасений. Уже без основания, так как незадолго до этого всему корпусному управлению было отказано в регулярно поступавших до этого оперативных сводках с фронтов. И вы надеялись узнать от меня правду о тяжелых боях под Москвой.

Быть может, за эти два года вам стали рассказывать больше о положении на фронтах? Нет, как раз наоборот! Официально вы узнаете еще меньше, и, уж конечно, не чистую правду. Быть может, за эти два знаменательных года обстановка изменилась к лучшему? Как раз наоборот!

Все наши опасения превратились в печальную действительность – худшую, чем мы тогда осмеливались предполагать. Хлопот в некоторых отделах Управления корпусного округа прибавилось. Я как бы слышу ваши нынешние размышления: «Откуда взять пополнение при таких требованиях, при таких потерях? Откуда взять вооружение, обмундирование, автотранспорт и многие мелочи, совершенно необходимые войскам для зимней кампании?»

Мне слышится ваш недовольный вопрос: «Как высвободить тех, кто получил броню в качестве незаменимых, это огромное число уклоняющихся от посылки на фронт во всех нацистских инстанциях?» Я думаю о вставших перед нами труднейших проблемах снабжения. Теперь Мюнхен – важнейший железнодорожный узел для снабжения нового фронта на юге. Разве кто-нибудь из нас думал тогда, что Роммель не удержится в Африке, что американцы сумеют высадиться на африканском побережье, что Италия объявит нам войну – на стороне англичан и американцев? Никто из нас не отваживался думать так, хотя все мы не могли скрыть неприятное чувство, когда стояли перед картой и вымеряли безграничные пространства, захват которых, как об этом стало каким-то образом известно сверху, являлся последней целью Гитлера. И все же и в Мюнхене я знаю людей, которые высказывали трезвые соображения и делали серьезные, очень серьезные выводы, так как они знали положение дел в мире и не переоценивали действительную мощь людских и материальных ресурсов Германии. В одном, однако, не сходились и эти немногие: в оценке силы русских.

Именно эту русскую силу многие из вас распознали, и вы находились под сильным впечатлением моих рассказов о том, что

нам пришлось пережить в первый год войны с Россией.

И вот прошло два года. Вы отлично знаете, что они принесли нам. Вы еще лучше, чем я здесь, в Москве, ощущаете, что произошло за эти годы в Мюнхене, в Баварии, в Германии: поражение Гитлера на всех фронтах, поражение Гитлера во внутренней и внешней политике, полный провал Гитлера как полководца!

Теперь мы оказались перед вторым 1918 годом, который неотвратимо наступит, если мы будем идти прежним путем. Многие из вас хорошо помнят, что произошло тогда. Теперь нам грозит то же. Однако еще многое может быть спасено, еще все может быть направлено по другому, разумному пути.

На этот раз вы хорошо знаете, не так, как это было в 1918 году, что происходит в стране и на фронте. Все вы без исключения придерживаетесь, конечно, одного мнения, одной точки зрения, надеетесь на одно, начиная от командира корпуса до последнего ефрейтора, до солдата ландвера{95}, который стоит под ружьем у моста на Шенфельдштрассе. Вы все без исключения придерживаетесь одного мнения: Гитлер должен уйти. Мюнхен должен освободиться от коричневой чумы, которая кошмаром лежит на всем! Германия должна освободиться от оков нацистской партии, чтобы покончить, наконец, с войной и добиться мира, крайне необходимого нашему народу.

Мы не проповедуем удара кинжалом в спину{96}. Удар кинжалом в спину наносят те, кто хочет принудить нас продолжать безнадежно проигранную войну, что приведет к катастрофе невероятного масштаба. Враг находится в собственной стране, между вами, и, быть может, самый сильный – в ваших собственных сердцах. Назовем его прямо: нерешительность, несамостоятельность, робость, быть может, также недостаток гражданского мужества, боязнь ответственности, страх за свою жизнь, боязнь потерять должность, соображения престижа. Что еще? Ответьте на этот вопрос сами, но дайте себе отчет в том, что именно такой образ действий повлечет за собой катастрофу.

В движении «Свободная Германия» мы участвуем ради определенной ясной цели: спасти единство и свободу рейха. Не говорите, что нам было легче, чем вам. Хотя мы под Сталинградом остались в живых, смерть стократно витала вокруг нас. Мы отважились принять решение – и победили, хотя иначе, чем ожидал Гитлер.

С полным сознанием ответственности и с высоко поднятой головой боремся мы теперь за свободу Германии. У нас хватило смелости разделаться с противоестественными национал-

социалистскими взглядами и с грубым насилием.

Каждый из вас уже много месяцев думает, где же выход. Пора принять решение совместно! Быстро и решительно, а затем – затем действуйте! Чем больший пост вы занимаете – с тем большим чувством ответственности и решительнее действуйте! Сейчас речь идет о нашей общей судьбе. Ваше решение, друзья, принесет успех всей Германии.

(Выступление по радио 20 октября 1943 года.)

К мужчинам и женщинам католического движения

Мужчины и женщины католического движения!

Вы все знаете, что война проиграна. Одно поражение следует за другим. Зима принесет еще больше ужасов не только Восточному фронту, но и вам на родине. Поэтому не вызывает удивления, что сознающие свою ответственность солдаты из всех слоев нашего народа, находящиеся здесь, в России, в качестве военнопленных, объединились в движении «Свободная Германия» с мужчинами и женщинами, которые из-за честных политических убеждений еще несколько лет назад были вынуждены покинуть нашу родину. Фронт, в котором представлены все политические течения от правых до левых, борется независимо от политических взглядов и вероисповедания, объединенный одной целью: все для свободной, независимой Германии – все для восстановления мира между всеми народами!

Мы присоединились к этому движению после зрелых размышлений. Сложная внутренняя борьба по серьезным вопросам нарушения присяги и права действовать самостоятельно, будучи военнопленным, которую пришлось пережить каждому из нас, должна подтвердить глубокую серьезность наших намерений. Для меня этот решающий шаг облегчался тем фактом, что я увидел русское государство и русский народ совершенно иными, чем их представляла геббельсовская пропаганда. Прежде всего, вам следует знать, что русскому человеку удалось сплотить свою семью народов вплоть до Дальнего Востока на основе связывающего всех учения о мире. В центре его государственной доктрины стоят самые гуманные требования. Благодаря им советским народам удалось создать те духовные предпосылки, которые сделали Россию способной победоносно вести свою отечественную освободительную войну. Здесь, в России, я смог вопреки нашим привычным представлениям объективно разобраться в вопросах положения церкви.

Вот несколько фактов:

1. При Президиуме Верховного Совета СССР существует Управление по делам православной церкви.

2. В Москве в сентябре состоялось заседание святейшего синода под руководством митрополита Сергия, патриарха всея Руси.

3. Представители высшего русского духовенства участвуют в работе государственных комиссий.

Здесь хорошо знают, что широкие католические и протестантские круги в Германии, несмотря на каверзы нацистов, стремятся решать все жизненные вопросы исходя из христианской морали. Здесь наряду с атеизмом признается свобода вероисповедания. Здесь знают, что из различия взглядов между христианами и атеистами настоящие христиане никогда не делали выводов, которые оправдывали бы низменную борьбу друг против друга. Особенно ценят здесь наше совершенно отрицательное отношение к нацистскому лозунгу расовой ненависти.

С большим уважением говорят в России о выступлениях влиятельных католических и евангелических высших деятелей и руководителей церкви именно потому, что эти люди, несмотря на преследования, совершенно открыто и в резкой форме выступают против заблуждений так называемого нацистского мировоззрения. В научном труде, изданном в России в 1936 году, дается положительная оценка нашей немецкой христианской оппозиции. В нем говорится, что демагоги национал-социалистов противостоят церкви, имеющие единую точку зрения, и что особенно католицизм борется против нее то открыто, то тайно, иногда с неоспоримой смелостью; именно он воспрепятствовал распространению гитлеровской «национальной религии».

Я полностью убедился, что русский народ и его государственные деятели проводят ясное различие между немецким народом, с одной стороны, и Гитлером и его правительством – с другой. Если наш немецкий народ отвернется от Гитлера, то аналогичным будет и отношение к Германии наших противников – союзников России.

Когда-то я верил, что могу быть полезен нашему народу, отдав все свои силы службе в качестве офицера вооруженных сил. Но многочисленные горькие уроки последних лет, показавшие подлинный характер национал-социалистской системы, и, главное, личные действия Гитлера сделали меня его противником.

Ведь не кто другой, как лично Гитлер, нарушив договоры, своими захватническими планами и планами порабощения соседних народов развязал эту бессмысленную войну. Теперь, друзья, вы понимаете, почему для меня и многих моих товарищей-единомышленников сделалось святой обязанностью

поддержать вызволение Германии из рук Гитлера…

Требуйте немедленного прекращения бессмысленной войны! Требуйте немедленного освобождения из тюрем и концентрационных лагерей всех невиновных мужчин и женщин независимо от их политических взглядов и происхождения!

Со всей решимостью выступайте против террористических приказов Гитлера, отказываясь выполнять их! Эти приказы требуют бессмысленных разрушений в районах боевых действий, следствием чего являются страшные мучения и гибель безоружного населения. Не забывайте: сотни тех немецких солдат, которые следуют приказам, каждодневно оказываются заклейменными перед всем миром как военные преступники.

Отвечайте на призыв угнетенных народов к освобождению ясным и единогласным требованием – требованием немедленной отставки Гитлера и его правительства. Только так можно освободить место для правительства, отвечающего воле всего народа и способного заключить всеобщий мир.

Вопреки всем тенденциям к расколу внутри нашей страны ведите совместно борьбу против Гитлера и национал-социализма в тесном единстве со всеми единомышленниками.

Путь к прочному миру

Слушатели и слушательницы!

Еще стреляют пушки, а уже во всем мире идет речь о грядущем мире и об устранении последствий войны. Недавно состоялась важная конференция в Москве, а несколько дней назад – конференция в Тегеране. Главными являются их решения о совместных действиях в борьбе против гитлеризма и о совместных действиях в целях поддержания международного мира. Решающее положение принятой в Тегеране Декларации трех держав гласит:

«… Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех стран, больших и малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя, подобно нашим народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и нетерпимости. Мы будем приветствовать их вступление в мировую семью демократических стран…"{96}

Те, кто до сих пор еще не понял, должен был бы понять теперь, что Германия поставлена перед необходимостью серьезного поворота, если она не хочет оказаться исключенной из семьи народов. Могут спросить: осталась ли еще у Германии надежда на достойное участие в семье народов, которая хочет прочного мира? Ответ гласит: да, такая надежда есть!

Мы обязаны громко и четко заявить об этом каждому на фронте и на родине. Германия еще может доказать всему миру,

что она хочет прочного мира.

Что делать? Сначала нанести уничтожающий удар подлинному врагу! Этот враг – Гитлер, зачинщик этой войны, а с ним и его преступный режим. Но, прежде всего немецкий народ должен прекратить войну против других народов и отказаться от всего завоеванного. Этим он докажет, что не имеет ничего общего с лицами, чуждыми подлинно немецкой сущности, которым он в результате политической близорукости доверил высшую государственную власть. Это было бы первым шагом к прочному миру. Не менее важен второй этап.

Мир имеет право знать, каким политическим путем пойдет новая Германия после войны. Это же право имеет, прежде всего, и каждый немец: мужчина ли, женщина ли, независимо от профессии, имущественного положения, происхождения; мелкий служащий, кустарь, строитель, студент; железнодорожник и ученый; крестьянин и горнорабочий. Все они примут участие в определении пути, каким пойдет новая Германия. Все они примут участие в определении того, какая политика будет проводиться в новой Германии.

Все вы, конечно, выскажетесь против всякой войны, против всяких захватов. Тогда станет невозможным еще раз злоупотребить немецким народом. Отказавшись от коварных замыслов, Германия сможет жить и работать, пользуясь таким же уважением, как и другие народы. Предпосылкой возврата в сообщество народов является подлинная демократизация Германии.

Теперь дело за тем, чтобы полностью перестроиться! Слово «свобода», в гитлеровской Германии потерявшее значение, в новой Германии должно быть превыше всего. Желания и планы малых групп должны правильно учитываться в структуре всего общества, всего народа. В нашей памяти как предупреждение встает бессмысленное раздробление на множество партий в период Веймарской республики. Свобода убеждений и слова должна сменить и преодолеть господство безыдейного деспотического строя.

Мы не позволим возродиться тем силам, которые стали бы думать о том, чтобы снова злоупотреблять народом, или снова стали бы строить империалистические планы. Не будет больше места тем сторонникам насилия, которые с помощью политических обещаний, подкупа, лжи, обманывая народ внешним блеском, подсаживали друг друга на теплые местечки.

Руководителями новой Германии должны быть люди, пользующиеся доверием всего народа и действительно положительно проявившие себя на ответственных постах. Мы

будем предъявлять к ним высокие требования. Народ не потерпит уступок в этом вопросе.

Государственная деятельность и применение изданных законов будут поставлены под контроль всего общества. Как и чиновник, рабочий или крестьянин, мелкий ремесленник будет участвовать в определении того, как с пользой для отечества использовать все материальные и человеческие ресурсы!

Свобода личности требует уважать и инакомыслящих. Поэтому мужчины и женщины различных взглядов и вероисповеданий будут сотрудничать ради демократической идеи. Их пути разойдутся не один раз. Однако у всех будет общая цель борьбы: свободная, мирная и независимая Германия!

Уже сейчас немецкий народ может дать доказательство того, что он готов пойти по пути создания демократической Германии.

Это будет исключительно делом немцев. Никакая страна мира не будет навязывать нам свой государственный строй. Никакая конференция не преподнесет нам государственный строй Германии в готовом виде. Строительство нашего нового государства – нашей немецкой демократии – будет исключительно нашей задачей. Каждый должен будет участвовать в ее решении, используя все свои знания и способности.

Движение «Свободная Германия» в своем Манифесте{97} указало путь. Теперь мир ждет выступления всего немецкого народа. Это выступление будет одновременно против Гитлера, за новую Германию и, следовательно, за прочный мир.

(Выступление по радио 11 декабря, 1943 года)

Национальный комитет «Свободная Германия» Союз немецких офицеров

Офицеры и солдаты вновь сформированной 376-й пехотной дивизии! {98}

Из листовок, передач по радио «Свободной Германии», а также из разосланного главным командованием вермахта в октябре 1943 года специального номера бюллетеня для немецких офицеров, посвященного движению «Свободная Германия», вы знаете об обращении Союза немецких офицеров к немецкому народу и вермахту{99}.

По поручению председателя Союза немецких офицеров генерала артиллерии Вальтера фон Зейдлица я нахожусь в настоящее время на этом участке фронта, чтобы лично сказать вам, о чем идет речь.

Почему пришлось заново формировать 376-ю пехотную дивизию? Потому что Гитлер бессмысленно пожертвовал под Сталинградом настоящей 376-й пехотной дивизией вместе со всей 6-й армией ради своей безумной военной политики! Известно ли

вам, что это значит? Это значит, что тогда под Сталинградом целые полки, веря в правоту своего дела, боролись до полного изнеможения, терпя голод и холод.

В конце концов, у оставшихся в живых солдат 6-й армии открылись глаза после того, как под Новый год Гитлер радировал: «Вы можете твердо положиться на меня», хотя тот же Гитлер в действительности бросил нас и нарушил свое новогоднее обещание. Более 200 тысяч немецких солдат своей кровью заплатили за безумную авантюру под Сталинградом.

Можете ли вы еще доверять такому фюреру? Нет! Никогда! Вы вправе спросить, каким образом я, командир 767-го гренадерского полка, пришел к тому, чтобы говорить вам это. Некоторые из вас знают меня. Они знают, что я всегда говорил чистую правду, все равно, была ли обстановка благоприятной или нам грозила опасность. Я никогда не молчал, если моя совесть требовала, чтобы я говорил. Именно, как командир полка, я обязан сказать вам полную и чистую правду, какой бы горькой она ни была. Командир 376-й пехотной дивизии генерал Эдлер фон Даниэльс, с которым я все время работаю вместе в Москве в Национальном комитете, призвал бы вас к тому же самому со всей силой убеждения. Подумайте над тем фактом, что почти все оставшиеся в живых офицеры и солдаты 376-й пехотной дивизии разделяют наши убеждения.

Раньше обманывали нас. Вас всех, офицеры и солдаты, продолжают обманывать и теперь.

Вот правда. Эта захватническая война против всего мира преступно развязана Гитлером в безмерном ослеплении и потому давно проиграна! Тем самым нашей родине угрожает та же судьба, которая год назад постигла сотни тысяч солдат 6-й армии, – хаос и уничтожение! Но еще есть выход! Немецкое освободительное движение указывает вам путь! Наши цели ясны:

1. Устранение Гитлера и его режима любыми средствами.

2. Прекращение военных действий, чтобы добиться мира на почетных условиях.

3. Создание новой свободной, мирной и независимой демократической Германии.

Об этом каждый из вас, офицеров или солдат, может лично побеседовать со мной. Каждый, кто вступит в контакт со мной, будет находиться под защитой Союза немецких офицеров. Я гарантирую каждому возможность беспрепятственного возвращения к своим войскам. Штабы Красной Армии имеют соответствующие указания.

Фронтовые товарищи!

Не ждите, не медлите, а действуйте!

Этого требуют не только ваши честь и свобода, но и Германии.

Фронт, 6 января 1944 года

Штейдле, полковник и командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии, вице-председатель Союза немецких офицеров

(Листовка от 6 января 1944 года)

Национальный комитет Свободная Германия Союз немецких офицеров

Офицеры и солдаты 72-й, 57-й, 389-й пехотных дивизий, дивизии СС «Викинг» и приданных воинских частей!

Вы окружены, и вас ждет уничтожение. Помощи вам ждать больше не приходится. Повторяется трагедия Сталинграда. Тогда по приказу Гитлера 200 тысяч солдат погибли в боях. Вам угрожает та же судьба. Гитлер запрещает вам принять любое предложение Красной Армии о капитуляции. Поэтому берите сами свою судьбу в собственные руки.

В России существует мощное немецкое освободительное движение, поставившее своей целью освободить Германию от гитлеровской тирании и начать переговоры о мире. В этом движении участвует также Союз немецких офицеров во главе с генералом артиллерии Вальтером фон Зейдлицем. Мы, нижеподписавшиеся, находимся на вашем участке фронта в качестве уполномоченных Союза немецких офицеров, чтобы установить с вами связь. Мы прошли через ад Сталинграда, и поэтому нам понятно ваше тяжелое положение.

Идите к нам и присоединяйтесь к Союзу немецких офицеров. Устанавливайте связь с нами. Посылайте к нам парламентеров, которым мы можем дать детальные инструкции. Каждый парламентер должен иметь на фронте белый платок и требовать встречи с одним из подписавшихся ниже офицеров. Мы гарантируем каждому парламентеру беспрепятственное возвращение к своим войскам. Штабы Красной Армии имеют соответствующее указание.

Товарищи! Действуйте, пока не поздно. Не жертвуйте собой ради Гитлера. Вы нужны новой Германии. Идите к нам, чтобы вместе бороться за мир и за свободную независимую Германию!

Фронт, 4 февраля 1944 года

Штейдле, полковник и командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии

Бюхлер, майор и командир 1-го дивизиона 241-го зенитного артиллерийского полка

Реклъ, обер-лейтенант и командир батареи II батальона 46-го полка тяжелой артиллерии

(Листовка от 4 февраля 1944 года)

Национальный комитет Свободная Германия Союз немецких офицеров

Открытое письмо командующему I танковой армией генералу танковых войск Хубе

Многоуважаемый господин генерал!

Уничтожение основных сил десяти дивизий в котле западнее Черкасс требует открытого разговора между нами, немецкими солдатами. Мы оба – Вы, господин генерал, и я, как преподаватель тактики в военных училищах, – стремились учить в первую очередь одному: правильно оценивать оперативную обстановку. Катастрофа в котле под Черкассами ясно показывает, что здесь пожертвовали десятками тысяч солдат, так как верховное командование вермахта было просто не в состоянии правильно оценить положение. Полностью провалившаяся попытка направить на выручку в котел нашу танковую дивизию показывает даже большее: в главном командовании вермахта вообще не решаются правильно оценивать обстановку.

Там единолично распоряжается ефрейтор Гитлер. Именно он отдает сумасбродные приказы стойко держаться в окружении до самоуничтожения. Именно он гонит лучших солдат, чтобы выручить окруженных, хотя это заранее обречено па неудачу.

Почему? Потому что этот «верховный главнокомандующий» попросту не способен командовать!

В Сталинграде вы, господин генерал, как командир XIV танкового корпуса, приобрели тяжкий опыт. Командиру 1-го дивизиона 241-го зенитно-артиллерийского полка майору Бюхлеру, который действует здесь вместе со мной, вы сказали на своем командном пункте в Дмитриевке в конце ноября 1942 года: «У меня есть опыт окружения!»

Во время тяжелых оборонительных боев за Казачий Курган я неоднократно разговаривал с вами. Тогда Ваши предположения не помогли – помочь могли только реальные танки и солдаты, а их-то и не было! Вам пришлось тогда вылететь из Сталинграда, чтобы лично доложить Гитлеру об ужасном положении в котле. Следовательно, Гитлер получил полную информацию; и все же он хладнокровно обрек на гибель целую армию.

Вы, господин генерал, вернулись и тут же приказали подготовить для вас окоп, чтобы непосредственно встретить противника – так близко были тогда вы сами к вопросу о бессмысленности сопротивления до последнего, – когда Гитлер вновь приказал вам вылететь из котла{100}.

Теперь, по истечении года, Вы опять точно так же информировали Гитлера еще до того, как дело дошло до

окружения западнее Черкасс. И все же он отдал приказ, чтобы 11 дивизий держались – пока они не были уничтожены без остатка. Несмотря на это, Вы «по приказу Гитлера» вынуждены были ввести в дело целую танковую дивизию, чтобы попытаться прорвать окружение – попытка, которая заранее была обречена на провал.

Как часто такое будет повторяться?

Солдат просто-напросто покидают или бессердечно пренебрегают ими. В подавляющем большинстве случаев офицеры скрывают правду о положении и таким образом лгут вместе с Гитлером. Тысячи пленных солдат из этого котла спрашивают с полным основанием: «Где были в решающий момент наши командиры? Почему нам пришлось искать спасения самим, хотя нашим командирам была предложена капитуляция на почетных условиях? Почему некоторые офицеры ушли от ответственности, покончив жизнь самоубийством, и оставили нас на произвол судьбы?»

То, что произошло в котле, ужасно! То, до чего допустили офицеры, – преступление! Приказы Гитлера – вечное обвинение ему и его приспешникам.

Вся Германия еще многое узнает об этом последнем поражении, ибо этот котел показывает, что Гитлер, в конце концов, погубит весь наш народ.

И мы, господин генерал, должны смириться с этим? Этого не будет! Поэтому я обращаюсь к вам лично. Вы, господин генерал, должны смотреть правде в глаза. Ваше слово звучало авторитетно под Сталинградом, Ваше слово имеет вес и теперь! Весь немецкий народ ждет этого! Или, быть может, вы примиритесь с тем, что Германия погибнет по вине Гитлера, который не способен к правильным оценкам?

Этого не должно быть! Мы, офицеры, участники немецкого освободительного движения здесь, в России, имеем основание быть уверенными, что еще и теперь может быть заключен мир на приемлемых условиях, что перед нашим народом, если только он захочет, откроются широкие возможности для новой жизни.

Пора кончать с любой уступчивостью по отношению к безумным требованиям Гитлера! Пора положить конец дилетантскому руководству Гитлера!

Надо трезво и осмотрительно оценивать положение! Действовать осмотрительно! Во главе с генералами!

Только так можно прекратить бессмысленную войну и спасти Германию!

Преданный Вам Штейдле, полковник и командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии, вице-председатель

Союза немецких офицеров.

Место службы в мирное время: Военное училище в Мюнхене.

Фронт, 25 февраля 1944 года.

(Листовка от 25 февраля 1944 года)

Союз немецких офицеров

Фронт, 10 марта 1944 года.

Полковник Штейдле, майор Бюхлер, обер-лейтенант Рекль

Отчет о Корсуньском котле

28 января 1944 года в районе Корсуня были окружены 10 немецких дивизий. С помощью штаба 2-го Украинского фронта мы могли сразу же организовать нашу пропаганду на эти окруженные дивизии, чтобы побудить их капитулировать и присоединиться к освободительному движению.

Чтобы согласовать пропаганду Национального комитета «Свободная Германия» с пропагандой Красной Армии, 7 февраля полковник Штейдле дал всем уполномоченным Национального комитета указания по ведению пропаганды через громкоговорящие установки и по радио. Ввиду наступления распутицы пропаганда через мощные установки не могла быть осуществлена.

На основании оценки положения немецких войск, составленной письменно полковником Штейдле 9 февраля 1944 года, мы обратились к окруженным офицерам и солдатам с листовками.

Кроме того, полковник Штейдле написал открытое письмо генерал-лейтенанту Крузе, командиру 389-й пехотной дивизии. Это письмо вместе с письмом генерал-майора Латтмана было передано генералу Крузе ефрейтором Гельмутом Якобом из 11-й роты 544-го гренадерского полка 389-й пехотной дивизии.

Нас очень обрадовало, что Красная Армия в одной из своих листовок поименно упомянула нас, офицеров – участников немецкого освободительного движения.

18 февраля в результате концентрированного наступления Красной Армии котел был ликвидирован. До прибытия первых пленных были составлены новые листовки к немецким войскам, находившимся вне котла.

Наши встречи с военнопленными.

1. Наблюдался стихийный подъем среди пленных с демонстративным выражением одобрения, когда мы впервые представились им. Мы сами удивлены столь открытому одобрению солдат.

2. Наблюдалось воодушевление, когда мы обменивались мнениями и беседовали в больших группах военнопленных.

После речи полковника Штейдле, обращенной ко всему

лагерю, и заключительных слов лейтенанта Бюрка весь лагерь, включая офицеров, присоединился к освободительному движению, что было скреплено болевшем 1200 подписями и снятием эмблем немецких вооруженных сил.

В наших речах мы подчеркивали, что в борьбе против Гитлера находимся в одном ряду с поляками, чехами, венграми, бельгийцами, голландцами, эльзас-лотарингцами и т. д., с освободительными движениями соответствующих стран. Граждане этих стран{101} были так обрадованы этим, засыпали нас вопросами и охотно участвовали во всех демонстрациях.

Анализ анкеты Национального комитета

Советский штаб был настолько любезен, что напечатал наши анкеты, прекрасно оправдавшие себя. Поэтому мы ставим вопрос о том, чтобы ввести эту систему на всем фронте. Таким способом мы получим не только хорошую картину настроений в Германии, но и ясное представление об успехах нашей пропаганды. Соответствующее предложение Красной Армии будет сделано в Москве.

А. Вопрос. Каково настроение на родине?

Из всех ответов следует, что настроение весьма подавленное и что народ очень устал от войны. Беседуя об этом с военнопленными, мы видели, что народ ждет человека, который избавил бы его от этих страданий. Чрезвычайно велик страх перед большевизмом. От этого страха немецкий народ в своей массе может быть избавлен только посредством мероприятий широкого характера, которые мы собираемся обсудить в Москве.

В. Вопрос. Что вы думаете о войне и ее исходе?

Все считают, что война проиграна Германией и что надо свергнуть Гитлера. Будучи подробно опрошены об этом, все пленные заявили, что руководство оказалось несостоятельным и что вследствие бомбардировок началась дезорганизация военной промышленности. Большинство не ориентировано в общей военной обстановке.

С. Вопрос. Что вы знаете о Национальном комитете «Свободная Германия» и Союзе немецких офицеров и Как вы узнали о них?

Из ответов мы могли сделать весьма интересные выводы об успехе нашей пропаганды. Ничего не знали 41,0% Узнали на ротных занятиях 1,6% Узнали из листовок 33,2% Узнали из листовок и передач громкоговорящих установок 1,4% Узнали из листовок и радиопередач 11,4% Узнали из листовок, передач радио и громкоговорящих установок 0,6% Узнали только из радиопередач 5,2% Узнали из радиопередач, газет и листовок 1,6% Узнали через радиопередатчики 0,2% Узнали только из

передач громкоговорящих установок 0,8% Узнали только из газет 1,0%

Следовательно, 59 процентов знали о Национальном комитете еще до того, как были взяты в плен. Однако ни одному человеку не были известны цели и задачи Национального комитета. Отсюда следует, что пропаганда Манифеста{102} должна продолжаться. Из приведенных выше данных следует также, что чрезвычайно важно сбрасывать листовки на главные узлы сопротивления.

Если бы соответственно сбрасывалась и листовка с Манифестом, то на немецкой стороне возникало бы еще больше дискуссий о Национальном комитете.

Средний возраст пленных: 29 лет. Следовательно, в котле находились крепкие, боеспособные войска. Несмотря на это, в котле возникла паника, что можно объяснить следующим:

1. неудовлетворительное командование;
2. потрепанные части;
3. отсутствие боевого духа;
4. безнадежное положение;
5. плохая боевая подготовка;
6. использование на фронте солдат тыловых служб;
7. сильная разбавленность отдельных частей солдатами не немецкой национальности, не имевшими боевого духа.

Краткая оценка обстановки в котле

События в котле в районе западнее Корсуня дают существенные отправные моменты для понимания настроения войск и их отношения к главному командованию сухопутных войск. При этом наблюдаются три фазы.

Первая фаза. Прежде чем дело дошло до окружения немецких дивизий, им пришлось уже несколько недель оборонять мешкообразный выступ в районе Смелы. Конфигурация фронта толкала русскую армию к окружению. По словам многих военнопленных, этот факт был давно понят немецкими войсками и являлся предметом критики, в которой участвовали и простые солдаты. Во многих подразделениях «ожидали окружения». При этом недоумевали, почему Гитлер не принял мер и не отвел войска из этого угрожаемого положения на запад, хотя с точки зрения времени это было вполне возможно. Таким образом, сообщение, что 28 января войска оказались окружены, не было неожиданным. Так как в штабах вскоре стало известно число окруженных дивизий, то это немедленно использовали для пропаганды, пытаясь представить солдатам факт окружения как совершенно безобидный. Оперативная сводка немецкого главного командования дала первые сообщения об этом только 18 февраля,

то есть в день ликвидации котла. Кроме того, в массе офицеры и солдаты вообще не имели никакого представления о размерах окружения, что касается территории. Так как, далее, было довольно точно известно, насколько относительно невелико было расстояние в километрах до немецкого внешнего фронта, сначала никто не сомневался, что освобождение придет через несколько дней.

Отход немецких сил от превосходящих сил русских преимущественно на север, восток и юг котла объясняли стягиванием сил и тем самым увеличением оборонительных возможностей, а также сосредоточением для прорыва, что воспринималось сначала без комментариев. Поэтому в этот период пропаганда посредством радио и листовок была малодейственной. С другой стороны, нужно отметить, что передачи фронтовых радиостанций начиная с 22 января предупреждали об угрозе окружения и на некоторые из них были получены подтверждения о приеме.

Первые сомнения у многих офицеров и солдат возникли, когда все обозы окруженных дивизий пришлось стянуть в район Корсуня и Стеблева, а также когда было приказано очистить от хлама транспортные средства и ликвидировать все автомашины с одной ведущей осью. Эти сомнения усилились благодаря огромным потерям транспортных средств в результате русских атак в районе Городища, что расценивалось солдатами как признак предстоящих особенно тяжелых боевых дней.

Со стороны командования в котле – генерал-лейтенанта Штеммермана – было сделано все, чтобы спасти положение. Штабы пользовались полным доверием. Предложение дивизии СС «Викинг» уже в начале февраля прорвать котел было отклонено верховным командованием вермахта. И в этом солдат увидел признак уверенности в безусловной победе.

Между тем все подразделения несли большие потери. На все участки, где шли бои, пришлось направить солдат тыловых служб. Сильно подействовали на войска погодные условия. Однако после того как площадь котла была значительно сужена, давление Красной Армии стало ощущаться особенно сильно. Осадная артиллерия имела возможность подвергнуть окруженных сосредоточенному обстрелу со всех сторон. После неоднократной смены аэродромов немецкая авиация могла осуществлять снабжение только в чрезвычайно тяжелых условиях, посредством сбрасывания грузов, и то в ограниченных размерах. Ввиду чрезвычайного превосходства русской авиации немецкая авиация уже понесла столь большие потери, что о достаточном снабжении вообще не могло быть и речи.

С этого времени русское командование имело все возможности, чтобы уничтожить котел. Несмотря на это, чтобы избежать напрасных жертв, русское командование предложило немецкому командованию капитулировать на почетных условиях.

Вторая фаза. После предложения Красной Армии капитулировать борьба вступила в решающую фазу, которую надо рассматривать как защиту гитлеровского тезиса: «Мы не капитулируем никогда». Верховное командование вермахта знало, что силой оружия спасти положение нельзя. Оно знало, однако, и то, что капитуляция, первая организованная капитуляция в этой войне, вообще может иметь огромное значение для будущего. Так как своей пропагандой главным образом Национальный комитет и Союз немецких офицеров активно включились в вопрос о капитуляции, призывая безоговорочно согласиться на нее, то принятие предложения о капитуляции было бы одновременно признанием существования немецкого освободительного движения. А верховное командование вермахта ни за что не хотело признать это.

Таким образом, в этой второй фазе Гитлер защищал свой тезис: «Мы не капитулируем никогда» как от Красной Армии, так и от немецкого освободительного движения. Ради этого он не остановился ни перед чем. При этом «подходящими людьми» оказались некоторые эсэсовские командиры. Началась «борьба» между генералом Штеммерманом и генералом Гилле. Это не осталось скрытым от штабов в котле и от некоторых солдат. Наоборот, об этом говорилось открыто, высказывались различные точки зрения, «за» или «против», в зависимости от отношения отдельных лиц к обстановке, к Штеммерману, к Гилле и даже к самому Гитлеру.

Генерал-лейтенант Штеммерман понимал все трудности и искал выход из создавшегося положения. Он систематически информировал армию. Он распорядился о строгих мерах с определенной целью действительно прорвать кольцо окружения. Поэтому упреки в трусости или в непонимании обстановки, которые в отношении него позволял себе Гилле, совершенно не обоснованы. Именно трезвая оценка обстановки сделалась роковой для генерала Штеммермана. В верховном командовании вермахта и на этот раз не захотели обратить внимание на действительное положение. Поэтому использовали Гилле, который, как преданный Гитлеру генерал, решил, несмотря ни на что, сопротивляться до последнего патрона и попытаться – чего бы это ни стоило – вырваться из окружения, вмешался и арестовал генерала Штеммермана.

Быть может, несмотря на это, генерал Штеммерман еще

рассчитывал спасти кое-что, когда он не сопротивлялся аресту и эсэсовской охране. Во всяком случае, остается невыясненным, был ли последний приказ генерала Штеммермана о спасении раненых, согласно которому они вместе с врачами и санитарами должны были оставаться в районе боев у Шандеровки, подписан действительно им самим или же это была фальшивка.

В это время основная масса солдат еще была убеждена в том, что прорыв должен удаться. Настроение весьма уверенное, хотя уже известно, что при прорыве придется бросить все транспортные средства и основную массу материальной части. Питание достаточное. Боеприпасов недостает лишь в отдельных случаях. Снабжение по воздуху кое-где ощутимо, и это также поддерживает уверенное настроение. По словам офицеров, расстояния до передовых танковых подразделений, направленных извне для деблокирования, с каждым днем сокращаются. При нормальном движении такие расстояния можно преодолеть за несколько часов.

Так, по крайней мере, считает простой солдат, и он сопоставляет все это с пропагандой Красной Армии и немецкого освободительного движения. Листовки прячут как «последнюю соломинку» и «на всякий случай», а внутренне, за небольшим исключением, все настроены в пользу прорыва. В качестве приманки распространяются такие лозунги, как «виды на отпуск», «отдых в Южной Франции» и «никогда больше на Восточный фронт».

Появление русских парламентеров некоторые обсуждают оживленно. Свидетели особенно большое внимание уделяют абсолютно европейской манере держать себя, безупречной форменной одежде парламентеров и тому, что они действовали в соответствии с международными правилами. «Этого от красноармейцев не ждали». Идут толки о готовности принять предложение о капитуляции, проявленной генералом Штеммерманом и многими старшими офицерами ввиду исключительно тяжелого положения. Мнения о самом предложении расходятся.

Небольшая группа интерпретирует предложение как слабость Красной Армии, которая «хочет по дешевке получить в свои руки котел в последнюю минуту перед его прорывом». Значительно большее число солдат видит, однако, в появлении парламентеров признак исключительно тяжелого положения немецкой группировки. В связи с этим все листовки приобретают совершенно особое значение. Об этом говорят даже офицеры в штабах. Личное письмо Союза немецких офицеров генералу Крузе, командиру 389-й пехотной дивизии, признается

заслуживающим доверия. Появление на одном из участков фронта обер-ефрейтора Якоба ведет к рождению пароля «Якоб», равнозначного переходу на сторону Национального комитета. Подавляющее большинство солдат ожидает принятие предложения о капитуляции как единственный выход из ужасного положения.

В противоположность этому офицеры держатся строго дисциплинированно. Солдат подбадривают. Через радистов и телефонистов мнения внутри офицерского корпуса становятся известными всем. Даже в разговорах между собой офицеры очень осторожны. Их настроение угнетенное. Смерть или плен – об этом идет речь в отдельных случаях. Готовность к капитуляции преобладает и здесь. Только некоторые эсэсовские офицеры считают капитуляцию проявлением трусости. В связи с капитуляцией и среди офицеров ведутся разговоры о генерале артиллерии фон Зейдлице и о Союзе немецких офицеров в России как о «все же возможном».

Третья фаза. После того как генерал Гилле захватил командование, он стал действовать соответственно этому. Он поставил все на одну карту – ведь это была последняя возможность спастись самому. По-видимому, значительная часть всех офицеров в котле, которые 16 февраля еще находились на своих постах, была согласна с этим.

После того как на командирском совещании 16 февраля был объявлен и передан в подразделения устный приказ пытаться осуществить прорыв несколькими эшелонами, значительная часть офицеров, многие в одиночку, стремились присоединиться к первому эшелону. Там имелась наибольшая вероятность выбраться из котла. Именно в это время много офицеров погибло. Следовательно, в решающий момент масса войск осталась без руководства.

Сильное воздействие русской авиации и артиллерии, плохие дороги, пестрый состав соединений, опоздания во времени занятия исходного положения для прорыва, самовольные действия отдельных воинских частей и явления разложения – все это вместе послужило причиной распада всех частей. Поэтому десятки тысяч солдат, несколько тысяч конных упряжек, раненые в пешем строю плутали как попало, без всякого руководства, хотя даже к этому времени, если бы было проявлено благоразумие и осуществлено твердое руководство, крупные соединения могли бы капитулировать организованно. Масса солдат тотчас же последовала бы этому.

Хотя малой части головного отряда, усиленного танками, удалось под покровом ночи, чему способствовала метель,

прорваться небольшими группами, железный засов Красной Армии между котлом и введенными в бой извне передовыми отрядами немецких танковых частей воспрепятствовал осуществлению прорыва. Ликвидация котла закончилась решающей победой русской армии над десятью дивизиями. Так трагедия пришла к своему страшному концу. Вся артиллерия, все тяжелое оружие, множество танков и весь обоз были захвачены русскими или сгорели.

Идея немецкого освободительного движения оказывала в котле большое воздействие. Письма к ведущим генералам, пропаганда с помощью листовок, радиопередачи, появление посланных назад солдат, агитировавших в пользу освободительного движения, – все это будоражило офицеров и солдат. Немецкая контрпропаганда была поколеблена. Нашей пропагандой было охвачено около 60 процентов всех окруженных солдат. Так была подготовлена почва для того, чтобы, например, 100 процентов военнопленных в лагере «Смела» без всякой особой агитации присоединились к немецкому освободительному движению.

В итоге можно определенно считать, что немецкий солдат больше не признает Гитлера своим верховным главнокомандующим. Отсюда можно сделать определенный вывод о соответственном настроении на родине. полковник Штейдле 9 февраля 1944 года

Краткое изложение моих впечатлений о немецких солдатах после бесед с военнопленными и по приказам и письмам

В январе и феврале 1944 года среди военнопленных были выявлены два типа:

1. Солдаты с многолетним сроком службы. В результате непрерывного участия в боях в значительной мере изнурены. Военная выправка довольно хорошая. Ввиду своей хорошей подготовки и большого фронтового опыта они являются подлинной опорой командования (большей частью унтер-офицеры и обер-ефрейторы). Они привыкли к беспрекословному выполнению приказов, в общем, имеют хорошее представление о боевой обстановке в узких рамках и могут четко доложить подробности, включая указания на местности. Они хорошо оценивают недостатки своих начальников и своего вооружения, знают также слабые стороны противника и правильно определяют причины его успехов. Их стойкость в результате частого использования в боях, преимущественно при отходе и в другой критической обстановке, упала. По сравнению с солдатами 1941-1942 годов им недостает воли к тому, чтобы, несмотря ни па что, стойко держаться, что тогда можно было наблюдать почти

повсеместно. Они лично, по-видимому, размышляют о возможных исходах войны, не верят в победу, но считают возможным – некоторые даже при Гитлере – приемлемое для Германии окончание войны. Они покорны своей судьбе.

Так как большинство из них непрерывно используется в боях, их физическое состояние в целом плохое, они сильно переутомлены, грязны, а их обмундирование нередко невероятно изорвано и запущено. Зимнее обмундирование имеется почти у всех.

Политически они сдержанно, а частично резко отрицательно относятся ко всему национал-социалистскому. О политике почти не говорят. Идеологическая подготовка, согласно всем показаниям, почти не проводится, если не считать отдельных случаев, когда офицеры в связи с теми или иными событиями указывают в беседах на политические цели и призывают к тому, чтобы безусловно держаться, или комментируют соответствующие приказы высших инстанций о том, чтобы держаться до конца.

2. Значительно больше представлены среди военнопленных такие, которых в свою очередь можно поделить на три категории. Общим для всех является отсутствие фронтового опыта, недостаточная военная подготовка и большое нежелание воевать: а) Призывники 1924-1925 годов. Одиночная подготовка представляется нередко недостаточной. Подготовка в составе подразделения иногда была прервана слишком рано, так как они требовались на фронте. Постепенное приучивание к боевым действиям нередко отсутствует. Отсюда большие потери уже в первых боях. Отрицательно сказывается на молодых солдатах также разница между жизненным укладом в месте расположения частей; на родине, а также в местах стоянки в качестве оккупационных войск в Голландии, Бельгии и т. д. и суровыми условиями в России. б) Призванные по тотальной мобилизации солдаты. Многим из них не хочется воевать. Причина: до сих пор они находились на выполнении гражданских работ, большей частью далеко от опасной фронтовой полосы. Связи с семьей и родиной почти не были нарушены. Заработок был как в мирное время, плюс нередко надбавки. По собственному опыту они хорошо знают о положении на родине и соответственно резко оценивают существующую систему. в) Эта категория охватывает солдат, собранных из тыловых служб. Мероприятие, вызванное чрезвычайно тяжелой обстановкой. Сюда относятся писаря, конюхи, мастеровые всех видов, пекари, повара, солдаты из строительных подразделений, связисты, штабной персонал и т. д. Они знакомы с войной лишь по своей прежней деятельности за

линией фронта. Большая часть из них прошла переподготовку в полевых запасных подразделениях, но и здесь с явным нежеланием. Они никогда не были внутренне подготовлены к тому, чтобы сражаться с оружием в руках. Они избалованы тыловой обстановкой.

Общим для всех является то, что они хорошо питались, имеют хорошее обмундирование, ведут себя не по-солдатски, а также слабая привязанность к войсковой части. Причиной последнего являются: смешение различных подразделений из понесших большие потери частей, формальные отношения со своими командирами, чьих имен они часто даже не знают.

3. Положение в войсках СС представляется, в общем, несмотря на их более высокую боеспособность, аналогичным. И здесь большие потери вынудили прибегнуть к набору солдат отовсюду. Приходится считаться с более сильным воздействием отдельных эсэсовских офицеров на солдат в смысле безусловного требования стойко держаться, так как любое поражение эсэсовской части равнозначно потере престижа и тем самым политическому провалу.

4. Потери офицерского корпуса очень велики. Необычно часто батальонами командуют обер-лейтенанты. Частью очень молодое офицерское пополнение в большинстве случаев почти не имеет фронтового опыта, отчего страдает управление боем. В соответствии с этим солдаты не слишком доверяют таким офицерам. Бросается в глаза, что трудные задачи нередко приходится выполнять только унтер-офицерам и фельдфебелям.

Офицеры, как правило, не ведут с солдатами разговоров на политические темы, хотя сами резко критикуют как политические, так и военные мероприятия. Во всех этих вопросах положение офицеров, особенно младших, столь же трудно, как и простых солдат.

5. Отдельные явления, как, например, трусость перед противником, дезертирство, сознательное шатание за линией фронта, негативные высказывания в письмах, ни в коем случае не могут считаться крупными признаками разложения. Войска еще держатся спаянно.

Причины этого следующие: твердая дисциплина, поддерживаемая строгими дисциплинарными взысканиями; хорошее питание; относительно хорошая почтовая связь; достаточное снабжение войсковых лавок товарами; в целом добросовестное выполнение положений об отпусках даже в тяжелых условиях боев. Надежды, хотя и неясные, на более или менее сносное окончание войны. В этой связи на настроение войск довольно значительное влияние оказывает характер

большинства сообщений с родины, хотя в некоторых письмах о положении в рейхе говорится весьма открыто и без прикрас.

О положении в целом солдат информирован очень плохо. Немецкая пропаганда намеренно переключает внимание с Востока на Запад, на ожидаемый второй фронт, чтобы тем самым умалить значение чрезвычайно тяжелых боевых действий на Востоке.

На вопрос, как долго еще Германия сможет вести войну, даются совершенно различные ответы. Их можно обобщить следующим образом: «Народ ничего не может предпринять против руководства, хотя его силы на пределе истощения. Власть Гитлера все еще очень сильна». «Его свержение – невообразимый риск». «Создать организации против Гитлера невозможно». «Есть надежда, что в этом году война как-нибудь да кончится».

(По копии, хранящейся у автора)

Национальный комитет «Свободная Германия» Союз немецких офицеров.

Мы предупреждаем!

Товарищи по оружию!

16 апреля после ожесточенных боев гарнизон Тарнополя вынужден был сложить оружие.

Мы предупреждали об угрожавшем окружении и напоминали об ужасах, пережитых под Сталинградом. Нашим предупреждениям не вняли, и Тарнополь был окружен 24 марта.

Точно зная общую обстановку, мы предупреждали от надежд на освобождение извне и от попыток прорвать кольцо окружения. К нашим предупреждениям не прислушались, все эти попытки провалились со страшными потерями.

Мы предупреждали коменданта Тарнополя генерал-майора фон Нейдорфа, чтобы он не доводил сопротивление до крайности. Нашими предупреждениями пренебрегли. Хотя генералу фон Нейдорфу было известно о безнадежном положении, он, выполняя приказ Гитлера, приказал сопротивляться до последнего патрона. Его позиция определялась главным образом тем, чтобы «оставить своей семье порядочное имя». Это он прямо высказал своему адъютанту подполковнику Кейенбургу, который теперь борется в наших рядах.

И снова генерал, в некритичной преданности Гитлеру, из ложного чувства чести и из личного честолюбия, забыл о своей ответственности перед своими солдатами и тем самым перед немецким народом. Из-за этого тысячи наших товарищей по оружию вынуждены были истечь кровью и погибнуть в безнадежной борьбе.

Товарищи по оружию! Отказывайтесь повиноваться таким

командирам, так как они и дальше будут бросать вас в безнадежные бои и, когда дело дойдет до конца, оставят вас на произвол судьбы.

Вы, наверное, будете удивляться тому, что немецкие офицеры требуют от вас «неповиновения». Поверьте, что мы требуем этого с чувством глубочайшей ответственности, так как мы увидели, к какой военной и политической пропасти Гитлер бессовестным образом подвел наш народ.

Мы лично пережили это в Сталинграде, где нас бессмысленно гнали в безнадежные бои. Теперь это полностью повторилось в Тарнополе. Но в Сталинграде у нас хватило мужества отказаться выполнять приказы Гитлера, и благодаря этому десятки тысяч товарищей по оружию были спасены для новой Германии.

Вас ожидают теперь такие же безнадежные бои, потому что вы упрямо и покорно продолжаете выполнять приказы Гитлера.

Не увиливайте трусливо от единственно возможного решения, которое еще остается немцу.

Рвите с Гитлером!

Решающим в этом не должна быть ни ваша должность, ни ваше звание. Решает только, действительно ли вы любите наш народ, а также ваше личное мужество.

Наше немецкое освободительное движение, сотни тысяч товарищей, которые борются в его рядах, зовут вас, зовут тебя! Объединяйтесь и создавайте в войсках группы нашего движения! Распространяйте наши боевые лозунги! Совершенно открыто говорите со своими офицерами о нашей освободительной борьбе.

Не должно повториться, что было под Тарнополем, где тысячи погибли только потому, что один генерал в некритическом послушании и из ложного чувства чести продолжал борьбу только ради Гитлера.

Гитлер должен пасть, чтобы Германия жила!

Штейдле, полковник и командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии, уполномоченный Национального комитета «Свободная Германия» на данном участке фронта, вице-председатель Союза немецких офицеров

Энгелъбрехт, майор, член правления и фронтовой уполномоченный Союза немецких офицеров, ранее в штабе 14-й танковой дивизии

Национальный комитет «Свободная Германия» Союз немецких офицеров

Ты и Национальный комитет!

Наше движение – движение немецкого народа. Оно борется за мир и за свободную Германию.

Наше движение вызвано к жизни активной деятельностью

немецких генералов, офицеров, солдат и немецких политиков.

Товарищ по оружию! Ты знаешь, что война проиграна!

Ты хочешь жить – приказы Гитлера принуждают тебя к бессмысленному сопротивлению. Они несут тебе смерть!

Ты хочешь работать по своей профессии – Гитлер использует тебя как пушечное мясо!

Ты хочешь домой – Гитлер уничтожает твое жилье вызванными им же бомбардировками с воздуха!

Ты хочешь к жене и детям – Гитлер разрушил твою семейную жизнь!

Ты хочешь свободно высказать свое мнение – Гитлер зажимает тебе рот!

Ты хочешь мира – Гитлер хочет воевать дальше!

Ты хочешь того, что на родине хочет всякий порядочный немец.

Тем самым ты хочешь того, что Национальный комитет изложил в своих «25 тезисах об окончании войны"{103}.

Не войны ты хочешь, а мира и работы.

Тем самым твои цели – это цели широкого немецкого освободительного движения!

Вместе мы добьемся того, чего хотим. В нашей борьбе есть только один противник: Гитлер и его партия войны! Свести с ним счеты – это справедливо и необходимо. Это будет стоить меньше крови, чем безнадежная борьба против превосходящих сил народов.

По эту сторону фронта уже находятся тысячи немецких офицеров и сотни тысяч солдат под руководством сталинградских генералов во главе с генералом артиллерии Вальтером фон Зейдлицем.

Пока вы еще по другую сторону фронта. Но вы принадлежите нам. Вы должны быть в наших рядах.

Товарищи по оружию! Вы понимаете необходимость нашей борьбы и спрашиваете, что делать вам? Мы даем в ответ следующие указания:

Ищите наши листовки и газеты. Позаботьтесь о том, чтобы каждый военнослужащий вашей части познакомился с их содержанием. Распространяйте «25 тезисов об окончании войны».

Слушайте нашу радиостанцию «Свободная Германия». Ее передачи ведутся шесть раз в день на средних и коротких волнах. Для этого вступайте в контакт с радистами.

Сообщайте вашим близким на родине о существовании и целях широкого немецкого освободительного движения.

Организуйте с надежными товарищами боевые группы Национального комитета. В ваших рядах уже есть люди, которые

вместе с нами борются за свержение Гитлера и тем самым за спасение рейха. Если они обратятся к вам, оказывайте им содействие.

Отказывайтесь выполнять приказы, которые заставляют вас ставить на карту вашу жизнь. Мертвые не могут восстанавливать Германию. Ваша жизнь принадлежит немецкому народу, а не Гитлеру.

Не медлите и совершенно открыто говорите со своими офицерами о немецком освободительном движении. Требуйте от них смело и решительно, чтобы они возглавили вашу борьбу против Гитлера.

Товарищи по оружию! Если народ и вермахт объединятся для организованной борьбы против тех, кто губит Германию (так говорится в «25 тезисах об окончании войны"), то Гитлер и его приверженцы останутся маленькой изолированной кучкой. Борьба против Гитлера является сейчас подлинно национальным актом. По ней завтра будет производиться оценка. Речь идет о том, чтобы действовать осмотрительно, но не уклоняться от опасности. Было бы недостойным, если бы немец, который мирился с опасностями гитлеровской захватнической войны, стал уклоняться от опасностей, связанных с борьбой за спасение Германии.

Гитлер должен пасть, чтобы Германия жила!

Уполномоченный Национального комитета «Свободная Германия» на здешнем участке фронта

Штейдле, полковник, командир 767-го гренадерского полка 076-й пехотной дивизии, вице-председатель Союза немецких офицеров.

Уполномоченные Национального комитета «Свободная Германия":

Энгелъбрехт, майор, штаб 14-й танковой дивизии, член правления Союза немецких офицеров

Шмидт, лейтенант 51-й авиаэскадры («Эдельвейс»)

Шольц, ефрейтор II р., 251-й гренадерский полк 83-й пехотной дивизии

(Листовка от мая 1944 года)

Национальный комитет «Свободная Германия"' Союз немецких офицеров

Последнее предупреждение!

Началось концентрическое наступление против нашей родины!

Оно началось на севере. Линия Маннергейма, над сооружением которой лихорадочно работали более двух лет, полностью захвачена, и Выборг уже несколько дней как занят

советскими войсками. Свиръ между Ладожским и Онежским озерами форсирована на всем протяжении. В Карелии русские продвигаются полным ходом.

На Центральном участке фронта города Жлобин, Могилев, Орша, Витебск и Бобруйск с отстраивавшимися в течение нескольких лет укреплениями на всех этих узлах сопротивления, несмотря на отчаянное противодействие, были без труда захвачены за несколько дней. Остатки наших разбитых дивизий по всему фронту откатываются на Минск.

Однако, к счастью, десятки тысяч наших товарищей, попавших в окружение под Витебском, проявили разум»

На основе наших неоднократных предупреждений русское предложение капитулировать было принято.

Для вас, товарищи по оружию, именно на этом участке фронта эти события должны служить последним предупреждением и предостережением! Поймите бессмысленность этой развязанной Гитлером войны!

Поэтому мы предупреждаем вас от каких-либо надежд. Русские армии уничтожат вас на ваших позициях, как бы хорошо он ни были оборудованы!

Не выполняйте бессмысленные приказы Гитлера держаться во что бы то ни стало. Вы не сможете выполнить их, потому что ваши дивизии уже понесли слишком большие потери и выдохлись. На пятом году войны силы Германии, растраченные Гитлером, на исходе.

Мы предупреждаем вас от лживых заверений Гитлера. Он не может поддержать вас ни резервами, ни танками, ни самолетами.

Мы предупреждаем вас!

Не ждите, пока вы окажетесь в окружении!

Не ждите, пока сотни ваших товарищей погибнут в огне боев!

Товарищи по оружию! Ваши генералы и офицеры давно знают, что только свержение Гитлера может спасти существование немецкой нации. Обращайтесь к ним коллективно! Требуйте, чтобы они использовали весь свой авторитет против Гитлера, чтобы положить конец этим бессмысленным боям! Требуйте от своих офицеров, чтобы они возглавили вас в этой борьбе.

Боритесь вместе с нами за свободу и независимость нашего народа!

Гитлер должен пасть, чтобы Германия жила! Фронт, 1 июля 1944 года.

Уполномоченный

Национального комитета «Свободная Германия» на здешнем участке фронта

Штейдле, полковник, командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии, вице-председатель Союза немецких офицеров

(Листовка от 1 июля 1944 года)

Национальный комитет «Свободная Германия» Союз немецких офицеров

Долой Гитлера! Долой войну! Жить для Германии!

Фронтовики офицеры и солдаты в южной Польше!

Катастрофа приближается к Германии гигантскими шагами. Центр нашей родины находится под угрозой со всех сторон. Бои идут уже на немецкой территории в приграничных районах Рейнланда и в Восточной Пруссии. Каждый день, каждый час буря войны может со страшной силой перебросится в Верхнюю Силезию. Тем самым будет окончательно предопределено поражение Гитлера, его свержение и уничтожение.

Действительно ли вы так прикованы к Гитлеру, что хотите погибнуть вместе с ним? Неужели вы готовы погибнуть ради того, чтобы продлить последний срок жизни этого бешеного тирана Гитлера?

Нет, этого не может быть, и вы не хотите этого!

Гитлер обманывает вас, утверждая, будто бы немецкому народу грозит уничтожение! Это не так! Германия будет жить, уничтожен будет только Гитлер. Он отлично знает это и потому хочет увлечь вас с собой в пропасть.

Товарищи по оружию, мы настойчиво предупреждаем вас!

Не соглашайтесь бессмысленно гибнуть на фронте! Спасайте вашу жизнь ради новой Германии! Всеми силами боритесь вместе с нами в национальном движении «Свободная Германия»!

Долой войну!

Покидайте окопы! Прочь с линии фронта! Возвращайтесь на родину!

Все оружие – против Гитлера!

Всеми средствами саботируйте его военную машину! Разоружайте эсэсовцев! Уничтожайте агентов гестапо! Противодействуйте гитлеровскому террору!

Гоните больших и малых гитлеров из всех учреждений и со всех постов!

Связывайтесь с демократически настроенными мужчинами и женщинами, со всеми противниками Гитлера, с угнетаемыми трудящимися всех профессий!

Захватывайте вместе с антифашистами руководство в городе и деревне!

Только в свержении Гитлера и уничтожении всего его аппарата власти – последнее спасение Германии! Вперед, за мир,

за свободу и подлинную демократию!

Уполномоченный Национального комитета «Свободная Германия»

Луитполъд Штейдле, полковник и командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии, вице-председатель Союза немецких офицеров

(Листовка от октября 1944 года)

Национальный комитет «Свободная Германия» Союз немецких офицеров

Разоблачайте ложь!

Офицеры и солдаты-фронтовики!

Вы воюете не за правое дело! Вы воюете из-за лживой гитлеровской пропаганды, которая хочет застращать вас большевизмом. Болтая вздор об ужасных намерениях наших противников, которые будто бы хотят уничтожить всю Германию, Гитлер толкает вас к дальнейшему безнадежному сопротивлению.

В действительности же Сталин заявил еще 6 ноября 1942 года:

«У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство – можно и должно"{104}.

Далее Сталин заявил 23 февраля 1942 года:

«Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское – остается"{105}.

Вы страшитесь большевизации Германии? И на это Сталин еще 6 ноября 1941 года дал ясный ответ:

«У нас нет и не может быть таких целей войны, как захват чужих территорий, покорение чужих народов, все равно, идет ли речь о народах и территориях Европы или о народах и территориях Азии…"{106}

Товарищи по оружию!

Мы заверяем вас: страны, которые до сих пор боролись на стороне Гитлера и которые теперь полностью порвали с Гитлером – Италия, Румыния, Болгария и Финляндия, – уже перестраивают свои государства для мирной национальной жизни. В своих договорах Россия дала заверения этим странам, которые далеки от того, чтобы изменить существующий социально-экономический строй!

Товарищи по оружию!

Помогайте разоблачать подлую ложь геббельсовской пропаганды, которая толкает вас и все наши вооруженные силы на смерть.

Ни один солдат не должен больше погибнуть из-за этой лжи!

Поэтому: долой гитлеровскую войну!

У вас еще есть выбор: или верная гибель с изолгавшимся Гитлером, смертельным врагом нашего народа, или с миллионами немецких борцов за свободу, против Гитлера, к победе правды и мира!

Фронт, ноябрь 1944 года

Уполномоченный Национального комитета «Свободная Германия» на здешнем участке фронта

Луитполъд Штейдле, полковник, командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии, вице-председатель Союза немецких офицеров

(Листовка от 21 ноября 1944 года)

Национальный комитет «Свободная Германия» Союз немецких офицеров

Гитлер, каким его никто не знает!

Товарищи по оружию!

Вы все, вероятно, уже видели книгу «Гитлер, каким его никто не знает!» Гитлер развернул вокруг нее достаточно пропаганды.

В ней на многих иллюстрациях «фюрер» показан как «заботливый отец народа», которого приветствуют и стар и млад, как «художник», как «оратор» и т. д.

Действительно, товарищи по оружию, название книги правильное! «Гитлер, каким его никто не знает!» Немецкий народ знает его не как «фюрера», каким его хотела бы подать нам пропаганда. Немецкий народ теперь уже распознал своего «фюрера»!

Он знает его как поджигателя войны, который навлек ужасы войны на страны Европы, а теперь и на наше собственное отечество.

Он знает его как банкрота – «государственного деятеля и полководца», который безответственно привел наш народ к катастрофе.

Товарищи по оружию! Слушайте, смотрите! Мы дополняем фактами книгу «Гитлер, каким его никто не знает!»

В лагере смерти под Киевом… 200 тысяч убитых! В Одессе – 250 тысяч убитых! В Минске – 300 тысяч убитых!

На фабрике уничтожения в Люблине – 1,5 миллиона убитых!

Массовые расстрелы и массовые убийства гражданских лиц в застенках и автомашинах-душегубках – по приказу и от имени Адольфа Гитлера!

Еще вскроется, что гитлеровские команды убийц натворили в Югославии, Греции, Франции, Голландия, Норвегии и т. д. Однако нам известны слова, сказанные Гитлером бывшему президенту данцингского сената Раушнингу: «Надо развить

технику истребления населения!»

Таков Гитлер, каким его никто не знает. Гитлер как осквернитель культуры и крупнейший преступник!

Товарищи по оружию! Известно ли вам высказывание Гитлера: «Если я когда-либо объявлю войну, меня ничто не остановит, даже судьба 10 миллионов юношей, которых я пошлю на смерть!»

Скоро дело дойдет до этого, если мы, немцы, в самую последнюю минуту не наложим на Гитлера наручники. Теперь он гонит в фольксштурм{107} на бессмысленную гибель ради своей проигранной войны не только подростков и детей, но и стариков. Вас он тоже обрек на смерть.

Вот еще одна страница из книги «Гитлер, каким его никто не знает!».

Известно ли вам, что Гитлер объявил немецких военнопленных мертвыми? Известно ли вам, что он заявил женам тех, кто попал в плен под Сталинградом: «Ничто не препятствует вашему вступлению в новый брак! Ваши мужья погибли!»

Это говорит Гитлер, хотя он отлично знает, что сталинградские генералы, офицеры и солдаты живы, что в Советском Союзе имеется миллион военнопленных и с ними обходятся гуманно и корректно.

Вот каков Гитлер, каким его не знает никто из вас!

Если же вы его узнаете, то вы не пошевелите и пальцем ради его войны!

Мы же знаем его! Мы говорим от имени немецких военнопленных! От имени всех, погубленных Гитлером! От имени миллионов павших! От имени миллионов инвалидов войны! От имени жертв развязанной им воздушной войны!

Мы призываем к священной войне против отъявленного преступника и варвара!

Долой Гитлера! Поворачивайте оружие против него!

Уничтожайте его, губителя и убийцу нашего народа! Тогда наступит мир!

И Германия, да и все человечество избавятся от своего злейшего врага!

От имени Национального комитета «Свободная Германия»

Луитполъд Штейдле, полковник, командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии, вице-председатель Союза немецких офицеров

Леше, лейтенант и командир 7-й роты полка «Лемберг», евангелический пастор в Лаутере, Рудные горы

(Листовка от декабря 1944 года) 418

Национальный комитет «Свободная Германия» Союз

немецких офицеров

Открытое письмо командующему войсками в Бреслау

Будучи серьезно озабочен судьбой города Бреслау{108}, я обращаюсь к Вам по поручению генерала артиллерии фон Зейдлица, вице-председателя Национального комитета «Свободная Германия».

Вам известно угрожающее положение Бреслау. Крупные силы русской армии, наступающие на Запад, уже находятся севернее и южнее города. Сам Бреслау окружен и сделался полем боя.

Только от вашею решения зависит, будет ли город разрушен или сохранен. Бреслау может быть спасен, если вы, руководствуясь только священной ответственностью перед народом и отечеством, сдадите город без боя. Поймите также, что ввиду далеко превосходящих сил русской армии и катастрофического поражения наших войск на всем Восточном фронте всякое дальнейшее сопротивление совершенно бесполезно и бессмысленно. Его следствием будет только принесение в жертву всех ваших солдат ради давно проигранной Гитлером войны и полное разрушение нашей родины.

Вы сами знаете: то, что Гитлер требует теперь от командования и от солдат вермахта, есть преступление. Уже давно наступил момент, о котором Клаузевиц сказал в IX главе четвертой части своей книги «О войне": «Как ни высоко надлежит ценить мужество и стойкость на войне… все же наступает момент, за которым дальнейшее упорство является отчаянием безумца; такое упорство не может встретить одобрения со стороны критика"{109}.

Свыше пятидесяти генералов движения «Свободная Германия», в котором участвуют миллионы, во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом и генералом артиллерии Вальтером фон Зейдлицем, предлагают вам поэтому:

Прикажите немедленно прекратить всякие боевые действия!

Прекратите и запретите всякие акции отчаяния, следствием которых является разрушение зданий или уничтожение человеческих жизней! Сдайте город без боя!

Со всем гарнизоном присоединяйтесь к Национальному комитету «Свободная Германия», где вы будете под началом генерала артиллерии Вальтера фон Зейдлица!

С этой целью немедленно пошлите в соответствии с международными соглашениями парламентеров для согласования условий сдачи!

Не медлите! Дело идет о том, чтобы в последний час спасти последнее! Дело идет о том, чтобы сохранить жизнь ваших солдат! Дело идет о том, чтобы сохранить город Бреслау!

Фронт, февраль 1945 года

Луитполъд Штейдле, полковник, командир 767-го гренадерского полка 376-й пехотной дивизии, вице-председатель Союза немецких офицеров, уполномоченный Национального комитета «Свободная Германия».

(Листовка от февраля 1945 года)

Призыв к населению Мюнхена!

Десятки тысяч баварцев – товарищей по оружию, которые находятся в русском плену, с беспокойством следят за судьбой своей родины, своей столицы Мюнхена. Я обращаюсь к вам, мои земляки, мюнхенцы, мюнхенки, офицеры и солдаты VII военного округа,

В результате победоносного наступления наша баварская столица находится перед историческим решением от которого больше нельзя уклоняться.

Пробил час, когда вы, мюнхенцы, должны провести разделительную черту между собой и гитлеровским режимом, блестящий пример чему вам не раз давали в эти годы мюнхенские студенты{110}, жители и рабочие Мюнхена. Для вас возможно только одно решение: против Гитлера и тем самым, наконец, за мир и восстановление, за спасение Мюнхена и нашей баварской родины ради нового будущего. Настал час контр-движения{111}, восстания.

Не ждите, когда гранаты союзников будут рваться в центре города. Не ждите, пока городские кварталы огнем танков союзников будут превращены в развалины только потому, что так хотят неисправимые нацисты и заядлые эсэсовцы.

Действуйте теперь же! Сегодня! Немедленно! Еще до того, как союзники начнут штурм города!

Офицеры и солдаты VII военного округа! Покидайте все опорные пункты, сооруженные для обороны! Объединяйтесь с гражданским населением, с рабочими и служащими против СС! Своим оружием срывайте террор этих гитлеровских бандитов в Виттельсбахском дворце и в эсэсовской казарме во Фрейманне! Гоните нацистских бонз из их укрытий, разгоняйте нацистские колонии в Золльне, коричневые гнезда в Римсе и Харлахинге! Уничтожайте эсэсовские караулы перед зданиями нацистской партии и сажайте нацистов в их же подвалы!

При всех обстоятельствах мешайте тому, чтобы наши мюнхенские женщины и дети были принуждены к работам по оборудованию позиций и к сооружению уличных заграждений и баррикад!

Мюнхенские фольксштурмовцы! Отказывайтесь выполнять приказы сопротивляться! Наоборот, охраняйте наши

гидротехнические сооружения в Дейзенхофене, охраняйте электростанции на Изаре! Охраняйте еще оставшиеся запасы продовольствия в помещениях городских крытых рынков!

Товарищи по оружию! Связывайтесь с экипажами воздушных сил на аэродромах в Нойбиберге, Шлейсхейме и Фгорстенфелъде-Бруке, связывайтесь с тыловыми зенитными частями и с их помощью подавляйте эсэсовские подразделения, если они где-либо будут противодействовать вам!

Все стянутые в пригороды войсковые части имеют лишь одну задачу: они должны при всех обстоятельствах воспрепятствовать тому, чтобы где-либо мог образоваться фронт против продвигающихся союзников. Особенно это касается населенных пунктов Эрдинга, Фрейзинга, Дахау, Олъхинга, Мазаха и Фюрстенфельда-Брука. Поэтому действуйте заодно с местным населением. Вывешивайте повсюду белые флаги!

Особое слово к товарищам, которые имеют возможность освободить заключенных: всеми средствами содействуйте спасению заключенных в концентрационном лагере Дахау и освобождению политических заключенных из тюрем Нойдек и Штадельхейм. Помогите иностранным рабочим и военнопленным обрести свободу! Мюнхенцы и мюнхенки! Не забывайте одного: кроме ответственности за наш город, на вас лежит также ответственность за Верхнюю Баварию{112}. Там тысячи людей спрашивают с беспокойством: что будут делать жители Мюнхена? Дайте им ясный ответ своими действиями: против нацистов любым оружием и любыми средствами! За немедленное мужественное и энергичное прекращение боевых действий!

Примечания

{1}В немецком издании книга вышла под названием «Решение на Волге»,

{2}См.: «Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Offiziere», 1970, № 10, S. 15.

{3}B. Scheurig. Nationalkomitee und der Bund deutscher Offiziere in der Sowjetunion, 1943-1945, Munchen.

{4}Там же, стр. 118.

{5}Archiv des Instituts fur Marxismus-Leninismus beim ZK SED, Gestapo-Akte, Hanke u. a., 11 I 264/44, Berlin.

{6}Glondajewski G., Schuman H., Die Neubauergruppe, Berlin, 1957.

{7}Glondajewski G., Schuman H., Die Neubauergruppe, Berlin, 1957.

{8}См. «Военно-исторический журнал», 1960, № 2, стр. 92

{9}Северная Бавария

{10}Уменьшительное от слова «Burg» (нем.) – крепость, крепостца.

{11}В Германии стиль модерн Jugendstil получил название в девяностых годах XIX века по заглавию мюнхенского авангардистского журнала «Jugend» («Юность»)

{12}Пряным душком (франц.)

{13}Турп-и-Таксис– старинный дворянский род в Германии и Австрии; создав сеть почтовых контор, представители его организовали и упорядочили почтовое дело в Европе в XVIII веке.

{14}"Хрустальная ночь». В эту ночь (1938 год) по приказу Гитлера по всей Германии прошли еврейские погромы, что вызвало протесты во всем мире.

{15}Пангерманскии союз – реакционная шовинистическая организация, созданная в 1891 г. наиболее агрессивными представителями германской буржуазии, ставила своей целью разработку плана борьбы за мировую гегемонию Германии.

{16}Битва народов – сражение союзных и русской армии против Наполеона I у Лейпцига 12 октября 1813 г.

{17}Преступления немцев (франц.).

{18}"Голубой всадник».

{19}"Идите, месса совершилась!» (лат.)

{20}В подлиннике – Pinnebergs. Пиннеберг – фамилия старинного графского рода.

{21}"Послание апостола Павла римлянам», 13, 1.

{22}Крест покаяния – придорожное распятие, у которого собирались молящиеся в день покаяния.

{23}Thingplatz – древнегерманское название площади, где происходили народные собрания и суд, присвоенное гитлеровцами месту своих сборищ. {24}Вер махт – буквально: вооруженные силы. Название применялось в гитлеровской Германии с 1935 по 1945 г.

{25}Укрепленная линия, построенная Францией на границе с Германией в период между двумя мировыми воинами.

{26}В 1410 г. в Танненбергской (Грюнвальдской) битве польские и русско-литовские войска разгромили войска немецких рыцарей Тевтонского ордена, чем был решен исход войны. В результате экспансия немецких феодалов в славянские земли была приостановлена.

{27}Так немцы называют пролив Ла-Манш.

{28}Вильнюс.

{29}Директива об обращении с политическими комиссарами, изданная главной ставкой вермахта 6 июня 1941 г., предписывала уничтожать всех взятых в плен комиссаров Красной Армии.

Приказ «О поведении войск в оккупированных странах Восточной Европы», изданный 10 октября 1941 г. генерал-фельдмаршалом фон Рейхенау, предписывал немецким войскам не останавливаться перед 'уничтожением мирных жителей, включая женщин и детей.

{30}Речь идет о сражении при наличии внешней и внутренней (против окруженных войск) линий фронта.

{31}В действительности Могилев обороняла одна 172-я стрелковая дивизия под командованием генерала М. Т. Романова.

{32}В ожесточенных боях под Ельней было разгромлено 8 немецких дивизий. Тем самым гитлеровские войска были надолго задержаны на дальних подступах к Москве.

{33}Сапа – окоп, выкапываемый для постепенного приближения к укрепленной позиции противника (ср.: тихой сапой).

{34}Реисхкомиссар – глава гитлеровской гражданской оккупационной власти; зондерфюрер – гражданское лицо, ведавшее на оккупированной территории каким-либо специальным вопросом; управление по вербовке – учреждение, занимавшееся принудительной отправкой гражданских лиц на рабский труд в Германию»

{35}В гитлеровской Германии в каждом военном округе было по одному армейскому корпусу. Поэтому номера округов и корпусов совпадали. Во время войны округ представлял собой как бы тыловой штаб корпуса.

{36}Дигтмар – официальный военный обозреватель в гитлеровской Германии»

{37}Автор ошибается. От Кубинки до Москвы 64 км.

{38}Название белого французского вина.

{39}Аркашон – курорт в юго-западной Франции на берегу отделенного узкой косой участка Бискайского залива.

{40}Германик (15 год до н. э. – 19 год н. э.) – римский полководец, совершавший походы против германцев.

{41}Кайенна (центр французской Гвианы в Южной Америке) – с конца XVIII века место ссылки политических заключенных. Каторжный режим и тропический климат вызывали массовую смертность среди заключенных.

{42}Вобан, Себастьян ле Претр (1633-1707) – маршал Франции, военный инженер, построивший 33 и переделавший более 300 крепостей.

{43}Великой нации (франц.).

{44}Звание (морск.), отвечающее званию старшины 1 и статьи.

{45}Директива Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 г. предусматривала, в частности, уничтожение Сталинграда и прорыв через Кавказский хребет к советским нефтяным источникам. Затем на очереди были Ленинград и Москва. Весь план отличался переоценкой собственных сил и недооценкой боеспособности Советской Армии.

{46}Имеется в виду Гитлер, получивший во время первой мировой войны звание ефрейтора.

{47}Речь идет о начале знаменитого сталинградского контрнаступления советских войск, в котором участвовали три фронта: Юго-Западный (командующий генерал Н. Ф. Ватутин), Донской (командующий генерал К. К. Рокоссовский) и Сталинградский (командующий генерал А. И. Еременко). Первые два фронта начали наступление в 8 часов 50 минут 19 ноября мощной артиллерийской подготовкой, которая продолжалась 1 час 20 минут. Около 3500 орудий и минометов, сосредоточенные на узких участках прорыва, обрушили на врага мощнейшую лавину огня. Сталинградский фронт перешел в наступление из района южнее Сталинграда на следующий день, 20 ноября 1942 г. Целью наступления было окружение 330-тысячной группировки врага, прорвавшейся к Волге в районе Сталинграда.

{48}Так немецкие солдаты называли советские бесствольные многозарядные минометы «РС» («катюши») по характерному звуку выстрела и полету серии мин.

{49}Имеются в виду католическое и протестантское вероисповедания.

{50}Сокращенное немецкое Ottokraftstoff – бензин.

{51}Груневальд – район Западного Берлина, где проживает

буржуазия.

{52}В действительности у полка Штейдле и его соседей не было возможности избежать охвата, так как наряду с ограниченной по масштабам операцией по окружению и ликвидации задонской группировки врага осуществлялся крупнейший в истории войн маневр по окружению всех сил вермахта, находившихся в Волго-Донском междуречье.

{53}I а – оперативный отдел штаба дивизии или корпуса.

{54}"Равенклау» – сорт сигарет.

{55}Так немецкие солдаты-фронтовики называли укрывавшихся в штабных и тыловых учреждениях офицеров и солдат»

{56}В действительности события развивались следующим образом. В 16 часов 23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов своими подвижными соединениями (4-й танковый корпус генерала А. Г. Кравченко и 4-й механизированный корпус генерала В. Т. Вольского), сомкнув клещи в районе Калач, Советский, завершили окружение сталинградской группировки врага. В кольце оказались 22 дивизии 6-й и 4-й танковой немецкой армии, а также 160 отдельных частей всех родов войск и резерва главного командования вермахта. Общая численность окруженных составила 330 тысяч человек. В последующие дни укреплялись внутренние и внешние фронты окружения, началось сжатие кольца. В тот же день, 23 ноября, в 23 часа 30 минут завершилась ликвидация так называемой Распотенской группировки врага (левого соседа 376-й пехотной дивизия фон Даниэльса, в которую входил полк Штейдле). Было взято в плен 27 тысяч солдат и офицеров 5, 6, 13, 14 и 15-й пехотных дивизий 5-го и 6-го армейских корпусов 3-й румынской армии. Командовавший окруженными румынскими соединениями генерал Стонеску, видя безвыходность положения, выслал парламентеров и принял условия капитуляции. Эта операция была проведена смежными флангами 21-й (командующий генерал И. М. Чистяков) и 5-й танковой (командующий генерал П. Л. Романенко) армий. В эти же дни, с 19 по 23 ноября, под неослабным воздействием 65-й армии П. И. Батова (Донской фронт) отходили, а нередко и панически бежали части 14-й танковой, 376, 44 и 384-й пехотных дивизий, стремясь уйти за Дон и присоединиться к основным силам 6-й армии Паулюса, вместе с которой они и пережили катастрофу на Волге.

{57}Доломиты – высокие, массивные горы в Итальянском Тироле.

{58}Бедеккер – немецкий издатель распространенных в свое

время путеводителей по разным странам.

{59}Так немецкие солдаты прозвали по звуковому сходству советские самолеты «ПО-2».

{60}Члены «Гитлеровской молодежи».

{61}Чиновник группы, ведавший строительством в каком-либо центральном учреждении Германии.

{60}Члены «Гитлеровской молодежи».

{61}Чиновник группы, ведавший строительством в каком-либо центральном учреждении Германии.

{63}"Трудовой фронт» (1933-1945) – фашистская организация, в которой были принудительно объединены рабочие, служащие и мелкие предприниматели.

{64}"Фронтиллюстрирте» – «Фронтовой иллюстрированный журнал» на немецком языке, выпускавшийся политорганами Советской Армии для солдат и офицеров противника.

{65}Генерал артиллерии фон Зейдлиц, командир LI армейского корпуса, подал 25 ноября 1942 года командующему 6-й армией Паулюсу памятную записку, в которой, проанализировав обстановку, высказался за «свободу действий» и прорыв кольца окружения.

{66}Соединения 4-й танковой армии, наступавшей вместе с 6-й полевой армией на Сталинград, были окружены советскими войсками в период с 20 по 23 ноября. Армейское же управление во главе с генералом Готом осталось вне кольца окружения, и ему были подчинены другие соединения, кроме перечисленных автором, среди них были также 17-я танковая дивизия, 16-я и СС «Викинг» моторизованные дивизии.

{67}* «Зимняя гроза» – так была закодирована наступательная операция, которую пытался осуществить фельдмаршал «Манштейн с целью прорыва кольца окружения.

{68}Для полного укомплектования этой группировки у неприятельского командования не хватало сил.

{69}Под кодовым названием «Удар грома» был зашифрован второй этап операции «Зимняя гроза». По условному сигналу Манштейна 6-я армия должна была частью сил нанести удар навстречу армии Гота, прорывая внутреннее кольцо окружения советских войск, и одновременно основными силами начать отход от рубежа к рубежу, оставляя захваченные кварталы Сталинграда. Как следует из достоверных источников, Манштейн был не против того, чтобы 6-я армия нанесла удар навстречу 4-й танковой армии, но он не разрешал Паулюсу одновременно с этим начать отход из Сталинграда.

{70}С 16 по 30 декабря Юго-Западный (командующий генерал II. Ф. Ватутин) и Воронежский (командующий генерал Ф.

И. Голиков) фронты осуществили операцию «Малый Сатурн», нанеся удары по 8-й итальянской армии, оперативной группе «Холидт» и остаткам 3-й румынской армии на Среднем Дону. В итоге было разгромлено 11 дивизий и 3 бригады. 8-я итальянская армия потерпела сокрушительное поражение. В плен было взято 60 тысяч ее солдат и офицеров, захвачено более 2 тысяч орудий, 178 танков, 368 самолетов. {71}Реликварий – ларец для хранения особо почитаемых церковью предметов. Нередко реликварии представляют собой образцы ювелирного искусства.

{72}Альгау – местность в южной горной части Западной Германии между Лехом и Боденским озером.

{73}Автор цитирует ультиматум советского командования генерал-полковнику Паулюсу, полный русский текст которого приведен в книге «Великая победа на Волге» под редакцией Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, Воениздат. М., 1966, стр. 445-446. Речь идет о начале контрнаступления трех советских фронтов с целью окружения и разгрома Сталинградской группировки противника. На участке, где находился полк Штейдле, наносило удар правое крыло Донского фронта (командующий генерал К. К. Рокоссовский), в частности, 65-я армия под командованием генерала П. И. Батова.

{74}Лизоформ – дезинфицирующее средство.

{75}Шпенглер, Освальд (1880-1936) – реакционный немецкий философ. В его книге «Закат Европы» (1918-1922 гг.) отразился кризис буржуазной идеологии. Он пытается предотвратить его посредством «героического пессимизма» и призывает к агрессивной фашистской активности. Шпенглер своими взглядами подготовил путь для гитлеровско-фашистской идеологии и практики.

{76}Kaschisten – арготизм, происходящий от русского слова «каша», который можно перевести как «прихлебатели».

{77}Кафе «Стефани» изображено в автобиографическом романе Бехера «Прощание» («Abschied»), Изд-во Художественной литературы, М., 1953.

{78}Членом этого спортивного общества был герой романа П Р. Бехера «Прощание».

{79}Анна Паукер партийная деятельница Румынской коммунистической партии.

{80}Гугенберг – промышленный магнат, один из тех, кто привел Гитлера к власти.

{81}Йорк – прусский генерал. Йорк фон Варненбург в 1812 году подписал в Тауроггене (Таураге, Литовская СССР) с русским генералом Дибичем конвенцию, по которой прусский вспомогательный корпус, входивший в наполеоновскую армию,

объявлялся нейтральным.

{82}Гнейзенау – прусский фельдмаршал, военный теоретик 1760-1831.

{83}Вроцлав.

{84}После катастрофы под Сталинградом в гитлеровском вермахте был введен институт офицеров национал-социалистского руководства, усилена политическая слежка за солдатами.

{85}Отто Пушке – общественный и политический деятель ГДР. Был председателем ХДС.

{86}Воинствующая церковь (лат.).

{87}Следует подчеркнуть, что в основе Потсдамских решений по этому вопросу лежал принцип исторической принадлежности СССР и Польше указанных территорий.

{89}Земля – административная единица, примерно область.

{90}С востока – мир! (лат.) Перефразированное латинское изречение: Ex Oriente – lux! (С востока – свет!)

{91}Кранах Лука (старший) – знаменитый немецкий живописец, (1472-1553). Одно из его произведений – напрестольный образ – находится в веймарской церкви.

{92}Печатаются с сокращениями.

{93}Союз немецких офицеров был создан 11-12 сентября 1943 г. в Луневе под Москвой. Его председателем был избрав генерал артиллерии фон Зейдлиц, а вице-председателями – генерал-лейтенант фон Даниэльс и полковники Штейдле и ван Хоовен.

{94}Ставка Гитлера именовала окруженную под Сталинградом 6-ю армию сталинградской крепостью. (См.: В. Адам, Трудное решение, изд-во «Прогресс», М., 1967, стр. 222.)

{95}Ландвер – старшие возрасты запаса (35-45 лет).

{96}Легенда об «ударе кинжалом в спину» была создана немецкой реакцией после поражения Германии в первой мировой войне. Она состояла в том, будто бы Германия потерпела поражение в результате революционных событий в немецком тылу, а не в результате перевеса сил Антанты, просчетов командования и авантюристической политики германского империализма.

{96}Сборник документов Московской, Тегеранской, Крымской, Берлинской конференций и Европейской консультативной комиссии, М., 1946, стр. 20.

{97}В Манифесте Национального комитета «Свободная Германия» к германской армии и германскому народу разоблачалась преступная политика германского фашистского империализма, немецкий народ призывался к свержению Гитлера

и превращению войны и созданию свободной демократической Германии.

{98}До капитуляции в Сталинграде Штейдле командовал полком дивизии под этим номером, командир которой генерал фон Даниэльс капитулировал с остатками личного состава дивизии.

{99}Речь идет о документе «Задачи и цели Союза немецких офицеров». {100}Генерал Хубе в конце декабря 1942 г. был вызван в ставку Гитлера «для вручения ему мечей к Рыцарскому кресту с дубовыми листьями», и Паулюс поручил ему лично и без прикрас доложить Гитлеру о положении окруженной 6-й армии. В начале января 1943 г. Хубе вернулся с указанием главного командования «держаться безоговорочно, чтобы сковывать как можно больше сил противника». 10 января Хубе снова был вызван из окружения, и ему, командиру танкового корпуса, была поручена… реорганизация снабжения 6-й армии.

{101}Ввиду больших потерь гитлеровцы особенно после поражения под Сталинградом в порядке тотальной мобилизации насильно забирала в армию жителей оккупированных ими стран.

{102}Имеется в виду Манифест Национального комитета «Свободная Германия» к вермахту и немецкому народу. {103} Документ «25 тезисов об окончании войны» был принят Национальным комитетом «Свободная Германия» 5 марта 1944 года»

{104}Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, т. I, Госполитиздат, 1946, стр. 81.

{105}Там же, стр. 58.

{106}Там же, стр. 49. {107}Фольксштурм – в данном случае вооруженные отряды из стариков и подростков, организованные Гитлером после больших потерь и поражений на советско-германском фронте.

{108}Бреслау – польский Вроцлав. В результате длительной осады Красная Армия вынудила немецко-фашистский гарнизон города и крепости Бреслау численностью более 40 000 солдат и офицеров сдаться в плен 7 мая 1945 года.

{109}Клаузевиц. О войне, т. I, изд. 3-е, Госвоениздат Наркомата обороны СССР, М., 1936, стр. 289.

{110}Имеется в виду движение Сопротивления в Мюнхенском университете, где действовала группа «Белая роза». После поражения фашистов под Сталинградом выпускала листовки с призывом к борьбе против фашизма. Ведущие деятели группы, брат и сестра Шолль, были казнены в 1943 году.

{111}Речь идет о выступлении против нацистского движения, центром которого тогда считался Мюнхен, то есть об

антифашистском движении.

{112}Верхняя Бавария – округ на юге Баварии. Мюнхен, столиц» Баварии, расположен на его территории.